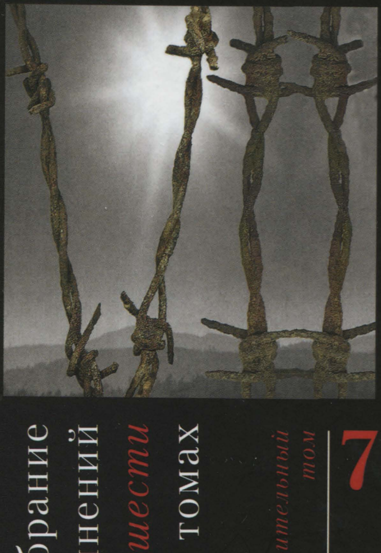
Варлам ШАЛАМОВ

7

Варлам
ШАЛАМОВ



собрание сочинений в *шести* томах

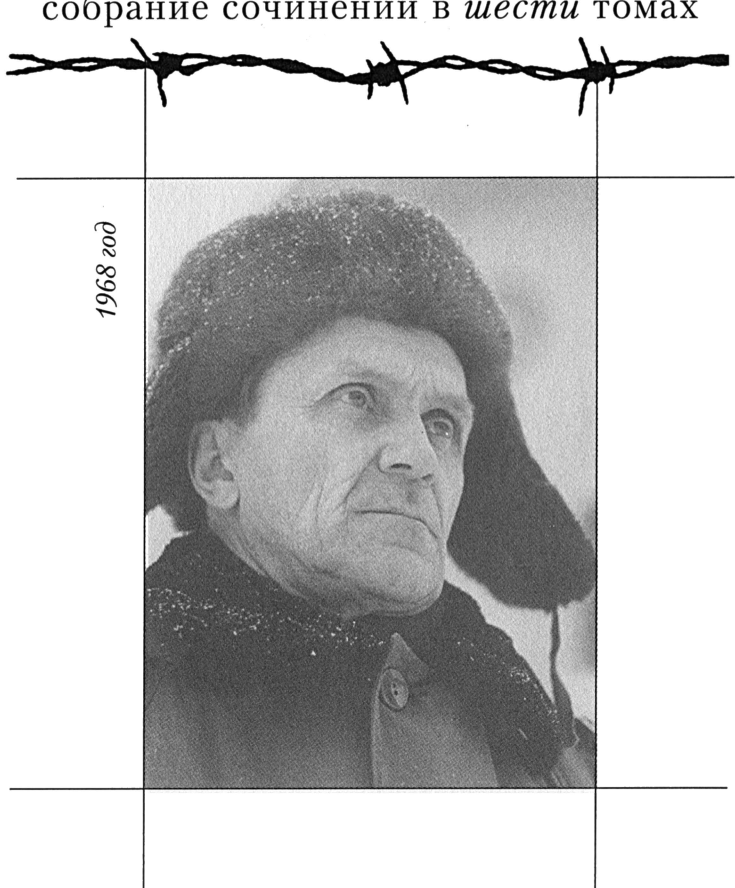
дополнительный том 7

Варлам
ШАЛАМОВ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам ШАЛАМОВ

собрание сочинений в *шести* томах



1968 год

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

Варлам **ШАЛАМОВ**

собрание сочинений

том седьмой

дополнительный

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (1960–1970)

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТРЕТИЙ ТОМ (1950–1970)

СТАТЬИ, ЭССЕ, ПУБЛИЦИСТИКА

ПИСЬМА (1950–1970)

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Ш18

Оформление художника
С. Любаева

Составитель
И. Сиротинская

Шаламов В. Т.

Ш18 Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп.: Т. 7, дополнительный: Рассказы и очерки 1960–1970; Стихотворения 1950–1970; Статьи, эссе, публицистика; Из архива писателя. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 528 с.

ISBN 978-5-4224-0704-0 (т. 7, доп.)
ISBN 978-5-4224-0697-5

В седьмом, дополнительном томе собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) в большом объеме представлена лирика, рассказы, очерки, эссе и письма писателя, публиковавшиеся с 1980 по 1990 год в малодоступных периодических изданиях и сборниках, а так же новые материалы из архива писателя, подготовленные И. П. Сиротинской — хранительницей наследия В. Т. Шаламова. Приложение содержит материалы из архива ФСБ, позволяющие проследить судьбу писателя через призму официальных донесений на него.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0704-0 (т. 7, доп.)
ISBN 978-5-4224-0697-5

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Произведения В. Т. Шаламова, включенные в дополнительный седьмой том собрания сочинений писателя, представляют два рода текстов. Во-первых, это рассказы, очерки, стихи, эссе и письма, опубликованные в конце 1980 — начале 1990-х гг. в журналах, сборниках и малодоступных периодических изданиях, но не вошедшие в силу разных причин в шеститомник (прежде всего — из-за ограниченности его объема). Во-вторых, это новые материалы из архива писателя, подготовленные к печати после ухода из жизни публикатора и хранителя наследия Шаламова — Ирины Павловны Сиротинской.

Огромная роль И. П. Сиротинской в судьбе В. Т. Шаламова, ее подвижническая работа по сохранению, исследованию и публикации наследия писателя общеизвестна. Поэтому в начале тома представлены несколько глав ее воспоминаний, которые помогут читателю глубже понять личность Шаламова. К уже издававшимся главам воспоминаний И. П. Сиротинской добавлены новые, не печатавшиеся ранее.

Несмотря на публикацию целого ряда новых материалов, данное издание не может претендовать на полное собрание сочинений Варлама Шаламова. В него не включены некоторые малоинтересные широкому читателю журналистские материалы из разряда литературной «поденщины», написанные в период работы писателя в 1932–1936 гг. в профсоюзных журналах («За ударничество», «Прожектор» и т. п.) и в 1957–1958 гг. — корреспондентом журнала «Москва» (с некоторыми из них можно ознакомиться на сайте Shalamov.ru). В то же время составители сочли необходимым познакомить читателей с наиболее интересными статьями Шаламова 1950-х годов, а также с рядом его рецензий на рукописи самодеятельных авторов («самотек»), написанных во время внештатной работы в журнале «Новый мир» в 1959–1964 гг.

Произведения, опубликованные ранее И. П. Сиротинской, не подвергались дополнительной сверке с оригиналами, хранящимися в архиве писателя (РГАЛИ, ф. 2596). В републикуемых

материалах исправлены лишь отдельные опечатки, тексты сопровождаются рядом необходимых примечаний и комментариев. В разделе «Из архива писателя (неопубликованное)» приводятся рукописи и машинописи произведений Шаламова, относящиеся к периоду с 1957 г. по начало 1970-х годов. Часть поздних рукописей с трудом поддается расшифровке, в связи с чем трудночитаемые фрагменты отмечены угловыми скобками и конъектурами в квадратных скобках.

Седьмой том собрания сочинений значительно расширяет и обогащает представление о Шаламове как писателе и мыслителе, показывая его неустанную духовную работу, горячую жажду запечатлеть все пережитое и высказаться до конца по всем волновавшим его вопросам. Важнейшее литературное значение имеет недавно обнаруженный в архиве рассказ «У Флора и Лавра» (включенный самим автором в общий цикл «Колымских рассказов» и предполагавшийся, возможно, в состав сборника «Воскрешение лиственницы»). Не менее важными являются очерки-воспоминания «Слишком книжное» и «Вторжение писателя в жизнь», раскрывающие роль литературы в реальной жизни. Конкретными дополнениями к биографии писателя являются короткие новеллы и очерки-воспоминания — о детстве и о более поздних периодах его биографии.

Вероятно, для читателей станут открытием многие стихи Шаламова — как печатавшиеся ранее, так и не печатавшиеся: в них поэт предстает в гораздо большей масштабности, а также и в гражданской прямоте своего таланта.

Трудно найти другого автора, который в такой мере, как Шаламов, страдал от цензуры. Понять это помогут публикуемые ответы из редакций журналов и издательств, а также его воспоминания о сотрудничестве с «Советским писателем» (глава «Б. Полевой»). Именно по цензурным причинам не увидела свет написанная в 1961 г. принципиальная статья Шаламова «Несколько замечаний к воспоминаниям И. Эренбурга о Б. Пастернаке». Она восполняет важный пробел в истории эволюции отношения Шаламова как к Пастернаку, так и к Эренбургу. По цензурным причинам не был напечатан в свое время большой очерк Шаламова о Ф.Ф. Раскольникове — одном из немногих старых большевиков, имевших смелость выступить против тирании Сталина. Впервые публикуется и комментируется в изданиях сочинений Шаламова его публицистическое «Письмо старому другу», характеризующее общественную позицию писателя в условиях середины 1960-х годов.

Блестящее знание Шаламовым законов литературного творчества, его новаторство не только как писателя, но и как теоретика литературы ярко раскрывают его статьи и эссе, среди которых настоящим сюрпризом для многих читателей станет эссе об Э. Хэмингуэе, написанное в 1956 году. Статьи о «Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. Бунина и о Пушкин-

ской премии Академии наук показывают Шаламова пытливым исследователем-литературоведом. Шаламов предстает и как незаурядный теоретик стиховедения — об этом свидетельствует его статья «Звуковой повтор — поиск смысла».

Можно быть уверенным, что все новое, открывшееся в наследии писателя, в том числе в его переписке и записных книжках, поможет вдумчивому читателю еще раз ощутить широту интересов Шаламова, независимость и глубину его мысли, особое положение автора «Колымских рассказов» в русской литературе советского периода.

К сожалению, в данный том удалось включить лишь небольшую часть из личного архива Шаламова. Почерк писателя постоянно ухудшался в связи с тяжелыми болезнями, вызванными лагерными испытаниями, многое все еще с трудом поддается расшифровке. В связи с этим при публикации предпочтение отдавалось машинописным копиям и наиболее четко читаемым рукописям. В настоящее издание включены записи из дневников последних лет, воспоминания об одном из ближайших друзей Я. Д. Гродзенском, наброски о М. Шолохове (о «лагерных» главах романа Шолохова «Они сражались за Родину») и фрагменты незаконченной пьесы «Вечерние беседы». Эти материалы имеют, несомненно, исключительную ценность и станут объектами пристального изучения литературоведов.

В Приложение включены политические донесения на Шаламова 1950-х гг. из архива ФСБ.

Подготовка 7 тома во многом стала возможной благодаря деятельности сайта Shalamov.ru, в том числе работы по созданию виртуального архива В. Т. Шаламова, поддержанной грантом РГНФ № 11-04-12055в.

В подготовке рукописей Шаламова к данному тому принимали участие С. Ю. Агишев, А. П. Гаврилова, В. В. Есипов, Н. А. Дмитриева, С. М. Соловьёв, Ф. Тун-Хоэнштайн.

Составители благодарны директору РГАЛИ Т. М. Горяевой и заведующему читальным залом РГАЛИ Д. В. Неустроеву за помощь в работе с фондом Шаламова, филологу М. Ю. Михееву за ряд важных замечаний, Р. Р. Садыкову — за своевременную техническую помощь.

Ряд материалов для публикации предоставили И. И. Емельянова, С. И. Злобина, Т. И. Исаева, С. Ю. Неклюдов, Б. Я. Фрезинский. Алфавитный указатель составляли А. В. Анохина, М. А. Дрёмов.

Комментарии и примечания в томе, кроме специально оговоренных случаев, принадлежат В. В. Есипову.

Как уже было сказано, данное, самое полное на сегодняшний момент семитомное собрание сочинений В. Т. Шаламова не может считаться исчерпывающим. Есть надежда, что в будущие годы удастся расшифровать еще целый ряд трудночитаемых архивных рукописей, текстологически уточнить некото-

рые имеющиеся публикации, а кроме того, надо полагать, со временем станут доступными иные тексты писателя, находящиеся у частных лиц, в редакциях и издательствах — как в России, так и за рубежом. Все это должно создать основу для подготовки академического издания сочинений одного из выдающихся художников XX века.

В. В. Есипов, С. М. Соловъёв

Его судьба, несмотря на ее трагизм, оставляет ощущение какой-то пронзительной завершенности. Сбылось именно то, что должно было сбыться при столкновении этого сильного, твердого, несгибаемого человека и государства, и жизни такой, какая она была.

И. П. Сиротинская

МОЙ ДРУГ ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

(главы из воспоминаний)

Воспоминания писать очень трудно. Во-первых, помнишь все как бы вспышками-кусками. Что-то яркое, порой пустяки — запомнилось до мелочи, до интонации, до жеста, а от иного важного, главного остается общее впечатление, эмоциональное ощущение какое-то, трудно переводимое в слова. А во-вторых — всего не скажешь, не напишешь.

Как говорил Варлам Тихонович: «Что мы знаем о чужом горе? Ничего. Что мы знаем о чужом счастье? Еще меньше».

У меня такое убеждение, а вернее сказать — чувство, что не все может быть достоянием публики — есть и автономия личности, черта, за которую не должны переступать другие. Я никогда не записывала за Варламом Тихоновичем, как не записывает, наверное, никто за действительно близкими и дорогими людьми. Это иной пласт отношений. И только в 1981 году я почувствовала, что он угасает, и появилась потребность как-то удержать, притормозить эти ускользающие последние дни. И я стала записывать. Просто завела тетрадь и записывала

туда его слова, его последние стихи, а заодно — и то, что вспоминалось. Тетрадь я положила в стол, чтобы была под рукой. И вот уже две толстые тетради заполнены такими фрагментами из воспоминаний. Из этих тетрадей я и взяла некоторые отрывки.

Каким он был

Первое впечатление от Варлама Тихоновича — большой. И чисто физический облик: высокий, широкоплечий, и ощущение ясное незаурядной, крупной личности с первых же слов, с первого взгляда.

Мне пришлось многие годы знать его. Это первое впечатление не изменилось, но усложнилось... Нельзя, да и не надо приводить эту сложную, противоречивую личность к одному знаменателю. В нем сосуществовали, противоборствовали, всегда находясь на «точке кипения», разные ипостаси его личности.

Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб.

Умница с удивительной памятью. Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочей. Исследователь.

Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик.

Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. «Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась...»

Маленький беззащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью».

Беспредельно самоотверженный, беспредельно преданный рыцарь. Настоящий мужчина.

Теперь ношу ее цвета
В раскраске шарфа и щита...

2 марта 1966 года

Разбирая его архив, я нашла в конвертике бережно хранимый им листочек настольного календаря за это число с его пометкой «11-30». Именно в этот день и час я впервые пришла к нему. Пришла по служебному делу

как сотрудник отдела комплектования Центрального государственного архива литературы и искусства. Устроила эту встречу моя подруга — Наталья Юрьевна Зеленина, мать которой, поэт и ученый Вера Николаевна Клюева, дружила с Варламом Тихоновичем. Наташа меня предупредила:

— Смотри, он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит.

Я решила рискнуть, тем более и жил Варлам Тихонович тогда на первом этаже. К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить. Но повод был приличен и официален — я собиралась предложить ему передать на вечное хранение свои рукописи в ЦГАЛИ.

Дверь передо мной распахнул настежь высокий ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг! (В книжности В. Т. меня упрекал, но «викингом» ему быть нравилось, даже в стихи это вошло.)

Викинг галантно помог мне снять пальто, провел в узкую комнатушку (метров 7–8) и предложил изрядно облезлый стул. Я, не мешкая, изложила свою официальную миссию. Пока я говорила, он смотрел на меня чуть прищурившись, пронзительно, прямо-таки пронзающе. Но меня это почему-то не смущало, хотя я всегда легко смущалась и краснела до ушей. Но скоро его лицо утратило напряжение, стало мягким и доброжелательным. Он ответил согласием на мое предложение относительно рукописей. И я, без всяких предисловий, приступила к главному. Как жить? Этот вопрос его не удивил. Может быть, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была чуть-чуть разочарована. И все? И тогда он добавил одиннадцатую заповедь — не учи. Не учи жить другого. У каждого — своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его.

Уходя, я спросила, можно ли его навещать иногда.

Он кафедрально, внушительно, словно ставя мне оценку, сказал: «Приходите. Вы мне понравились». Я ответила: «Вы мне — тоже». И увидела, как суровый викинг вдруг смутился, как мальчишка, и стал неловко подавать мне пальто.

Действительно, он меня не разочаровал — он был точно такой, каким должен был быть Автор «Колымских рассказов».

А свою одиннадцатую заповедь ему самому случалось часто нарушать. Его убеждения всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости.

Мне, например, матери троих малых детей и дочери любимых и любящих родителей, он не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство.

«Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!»

Это не мешало ему с неуклюжей почтительностью принимать у себя моих малышей (я часто ходила в гости с ними), хранить их рисунки, даже писать стихи о них. «Мой знакомый Пикассо...» — это стихи о рисунках моего сына Алеши.

«Заключенных гонют!»

Во время войны мы эвакуировались из Москвы в Иркутск вместе с авиационным заводом, где работал мой отец. Поселились мы на Болотном участке — так называлась застройка из двухэтажных бараков, действительно на болоте, так что вместо тротуаров были настланы деревянные доски. Мимо пролегал тракт — булыжная дорога с глубокими кюветами. Однажды мы играли у дома, и дети закричали: «Заключенных гонют!» И я вместе со всеми подбежала к тракту. Из кювета мы смотрели на медленно приближавшиеся серые колонны. Помню шорох от шарканья многих ног. И мое потрясение оттого, что это были обыкновенные уставшие люди. Не знаю, чего я ждала.

Я рассказала Варламу Тихоновичу об этом детском воспоминании, и он был взволнован до крайности: имен-

но «гонют», именно серые. И рассказал, что Иркутлаг был одним из крупнейших лагерей.

Потом мы, москвичи, часто встречали длинные колонны заключенных, и уже не удивлялись, не бежали навстречу, это было обыкновенно.

Ту первую встречу я помнила всегда. Значит — знала. Но это мне не мешало верить в справедливость и доброту мирозданья к человеку. Верить даже не на интеллектуальном, а на каком-то биологическом уровне. Может быть, оттого, что во мне, как и в Варламе Тихоновиче, гены древнего священнического рода. И хотя я, как и он, неверующая, но на каком-то генетическом уровне во мне закрепилась вера в добрые высшие силы. Варлам Тихонович писал мне: «Мы очень с тобой похожи». В этом мы действительно были похожи.

Есть и еще один исток «похожести» — мы оба выросли на книгах, на литературе XIX века. Об этом мне В. Т. сказал в одну из первых же встреч.

Если тщательно проанализировать стихи и прозу Варлама Тихоновича, то обнаружится в нем даже не вера — структура души, сознающей свое единство с вечной и высшей силой. В «Вишерском антиромане» он писал: «Идеальная цифра — единица. Помощь “единице” оказывает Бог, идея, вера... Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95 камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы...» Это было в 1929 году.

Он и прошел свой путь «единицей» — в первой, главной ипостаси своей личности.

Долгие-долгие годы бесед

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос, замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял короб-

ку...» (Он рассказывает мне о Г. Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кипреева».) Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966-м и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутя, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственницы». Истинно здесь только то, что мое восхищение его прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порой затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны...» — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделать, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчался и в ответ мне написал как-то целое эссе, отстаивая «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера... В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие рассказы. В них нет отделки, а законченность есть...» («О моей прозе», 1971 г.)

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора...

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одиночного замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни...» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

Вологда

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколупнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

8 июля 1968 г.

«...Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (имеется в виду художник В. Н. Сигорский и его жена, уроженцы Вологды)... никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе... А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома...»

Так начался поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В. Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной В. Т. Смущало меня зырянское, по словам В. Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»).

Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга, в «усть-сысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Кухонные занятия матери — это, конечно, уже послереволюционная пора.

Варлам Тихонович без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе. Но кто из женщин не тащит этот воз — семейное хозяйство. И мать на кухне, и Наташа над корытом — это еще не трагедия. Но деньгами в семье распоряжалась мать, охотничьи трофеи делила мать... Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей.

Скончался Тихон Николаевич 3 марта 1933 года, а мать — Надежда Александровна 26 декабря 1934 года, оба — в возрасте 65 лет.

Своей семье многим обязан Шаламов — несгибаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. И щепетильная честность, и гордое стремление к независимости.

Как презирал он интеллигентские московские поборы на бедность опальным. «Три рубля даст — и уже в прогрессивном человечестве. Три рубля за вход — и уже твой благодетель». Вспомнишь его слепого отца, ходившего сражаться за бога, и мать, в одиночку боровшуюся с нищетой.

И о брате Сергее. Есть у Варлама Тихоновича четверостишие:

Зови, зови глухую тьму —
И тьма придет.
Завидуй брату своему,
И брат умрет.

Старший брат, Сергей, признанный лидер вологодских мальчишек. Лучший охотник, самый отважный

пловец, строитель «Шаламовской горки». Мальчишечье благоговение было в интонациях Варлама Тихоновича, когда он рассказывал о брате, о его неограниченной власти над мальчишками. И этот эпизод, когда какой-то парень на ледяной горке сказал ему, малышу:

— Подвинься-ка, пацан.

А его провожатый (и В. Т. принимал крайне забавный вид холодного достоинства, а губы его подергивались от предвкушения веселого торжества) сказал медленно и веско:

— Это не пацан. Это брат Сережки Шаламова.

Была какая-то детская зависть к брату, всеобщему любимцу. «Я хотел быть в детстве калекой, больным». — «Зачем?» — удивилась я. «Чтобы меня любили».

Может быть, было какое-то предчувствие у родителей. Смерть ходила за Сергеем по пятам. И погиб он в 22 года.

Редко относился к мужчинам Варлам Тихонович с сердечной теплотой. С уважением — да. Но не с теплотой. Но Сергей... Я видела эту живую детскую любовь, восхищение, которые связывали В. Т. с давно погибшим братом.

«С Тютчевым в день рождения»

Многие стихи рождались на моих глазах. Расскажу еще об одном стихотворении.

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты рядом,
Лучше, когда — всерьез.

Нынче прошу прощенья
В послегрозовый свет.
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой,
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты
Мненье или сомненье
Все это тоже ты.

1968 г.

Событийная основа стихотворения, как всегда, реальна: в 1968 году мы праздновали день его рождения, как всегда, 18 июня: глубокие тарелки с конфетами и яблоками, свежие огурцы, курица — из кулинарии, моя фотография у Вологодского кремля — на столе. И гадание по Тютчеву. Бывало — по Блоку. Но почему-то никогда — по Пастернаку. В июле я уезжала в отпуск с детьми и ему строго-настрого наказала не жариться на солнце в Серебряном бору: был год активного солнца, а он любил плавать и загорать в Серебряном бору.

Вот об этих моих запрещениях он и написал. Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время. Это лето 1968 года, июнь 1968 года он назвал лучшим месяцем своей жизни. Из письма:

Москва. 12 июля 1968 г.

«...Июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни... Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники... я желал бы себе будущего в вечном только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня...»

Солнечная правота — это правота света, правота счастья.

...Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел. Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые.

Галина Игнатьевна Гудзь

Собирая архив Варлама Тихоновича, я познакомилась с Галиной Игнатьевной Гудзь, его первой женой, году в 1969-м наверное. Я надеялась, что она сохранила колымские письма В. Т.

Это была милая, обаятельная женщина, небольшого роста, полная, с яркими черными глазами. К этому времени уже много знала о ней. Они познакомились во время первого заключения Варлама Тихоновича: Галина Игнатьевна приехала навестить своего мужа, тоже на-

ходившегося на Вишере, и тут, как рассказывал В. Т., — стремительный роман. Она бросает мужа... «Я считаю, что Галину я любил».

Возвращаясь в Москву в 1932 году, он уже возвращался к ней. В 1934 году был оформлен их брак, а в 1935 году родилась дочь Лена.

Были тогда и другие увлечения у В. Т. Даже сильные увлечения, но любви к жене это не поколебало.

«Я был очень самоотвержен в любви. Все — как хочет жена. Всякое знакомство, ей неприятное, прерывалось тут же».

Ее образ оставался с ним все страшные колымские годы. Ей посвящались стихи из «Колымских тетрадей» («Камея», «Сотый раз иду на почту...», «Модница ты, модница» и другие).

Она связала В. Т. с Пастернаком, переписка с Борисом Леонидовичем шла через Галину Игнатьевну.

Она встретила его на Ярославском вокзале 12 ноября.

И оказалось, что через семнадцать лет разлуки (и какой разлуки!) и перешагнуть любовь их не может — только память.

Хотя Галина Игнатьевна тоже была в ссылке в Чарджоу с 1937 по 1946 год, а потом бесправно, без прописки жила в Москве, перебиваясь случайными заработками, она не вынесла испытаний той непримиримости к насилию, которая не укрощена была у В. Т. даже Колымой.

«Давай все забудем, поживем для себя», — говорила она. И не одобряла «Колымских рассказов», за которые принялся сразу же после возвращения В. Т.

Для В. Т. это было главным делом жизни.

Твоей — и то не хватит силы,
Чтоб я забыл в конце концов
Глухие братские могилы
Моих нетленных мертвецов,

— писал он в стихотворении «Возвращение».

Жить им пришлось опять врозь. Он через день уехал в Конаково, а потом — в поселок Озерки Калининской области — в Москве ему было жить нельзя.

Дочь его писала в анкетах, что отец умер, училась в институте, вступила в комсомол. А тут является отец, еще не реабилитированный, и принимается опять за старое.

В. Т. с горечью говорил, что даже первую ночь в Москве провел не дома. Жена боялась привести в квартиру его, нарушителя паспортного режима. Провожая его в Калинин, она утешала:

— Зато как я писать тебе буду! Ну, держись, почта!
— Писать? Опять писать?

Он ждал чего-то другого, безмерно романтически приподняв образ этой милой обыкновенной женщины.

А у нее ведь на руках была дочь, обретенный, наконец, кров, работа. Бросить все и уехать с ним в полную и беспросветную неизвестность и нищету? У кого есть право осудить эту женщину? Кто столь высокого мнения о себе, чтобы требовать от другого — иди на Голгофу?

Пути расходились неудержимо. Хотя еще и были письма, были встречи... В июле 1956 года В. Т. был реабилитирован. 28 августа он написал Галине Игнатьевне письмо:

«Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись и на их сближение нет никаких надежд.

Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. Это я чувствовал с первого часа нашей встречи (последняя фраза зачеркнута).

Будь здорова и счастлива.

Что есть у тебя из моих вещей (шуба, книжки, письма), сложи в мешок — я приеду как-либо (позвонив предварительно) и возьму.

Лене я не пишу отдельно — за три года я не имел возможности поговорить с ней по душам. Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать».

В октябре того же года он вернулся в Москву и женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, писательнице, и поселился в ее доме. Разрыв этот был нелегок Варламу Тихоновичу. Это было крушением самой дорогой иллюзии, мечты. «Я так метался тогда по Москве. Так метался. Отчего ты тогда не встретилась мне? Я так тебя звал, так звал. Горы я бы своротил...»

Я же говорила, что всегда надо помнить, Галина Игнатьевна — это женщина, которая писала по сто писем в год на Колыму.

В 1979 году, тяжело больной, перед отправкой в дом инвалидов, он просил меня: «Привези, привези ко мне Галину. Скажи ей — мы вместе будем делать книжку. Это будет возвращением».

Я позвонила Галине Игнатьевне, но она только оправлялась после инсульта и сказала, что приехать не может. Я позвонила дочери Лене, но она ответила мне: «Я не знаю этого человека».

Я ни в малейшей степени не осуждаю Галину Игнатьевну и Елену Варламовну. В этом случае судья — Бог, как говорится. Варлам Тихонович разорвал с ними отношения жестко и навсегда, и Лена, конечно, почти совсем его не знала и не могла питать к нему дочерние чувства.

Так он и не простился с женщиной, которую любил так долго и так верно.

Борис Леонидович Пастернак

Вновь и вновь возвращаясь к Варламу Тихоновичу, вспоминая его слова, его поступки, даже интонации, душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного. Отсюда была и его жажда увидеть, узнать пророка, «живого Будду», как он говорил.

Таким живым Буддой долго был для него Пастернак. Будда в поэзии и в человеческих своих качествах. И все стремление В. Т. возвести на пьедестал, страстно обожествить живого человека не без слабостей, а обнаружив слабости, столь же яростно свергнуть — тоже было стремлением души, воспитанной в вере.

Переписка его с Борисом Леонидовичем стала предметом нашего обсуждения с В. Т. буквально со второй встречи в 1966 году. Пришлось мне под диктовку В. Т. записывать его воспоминания о Борисе Леонидовиче.

«Пастернак — величайшая поэтическая вершина XX века».

Но к этому времени, к 1966 году, Будда-человек был уже повержен с пьедестала. В одном из писем (к Г. Г. Демидову) В. Т. написал высокомерные слова: «Я хотел сделать из него пророка, но это мне не удалось».

С нотой пренебрежения говорил В. Т. о «покаянных письмах» Пастернака. Б. Л. не проявил душевной твер-

дости, по словам В. Т. Если он пошел на публикацию романа на Западе — надо было идти до конца. Либо ехать на Запад, либо дать оплеуху западному журналисту вместо интервью. Либо это, либо то. Не колебаться, бегать, советоваться, суетиться, то благодарить за премию, то от нее отказываться. «Плащ героя, пророка и Бога был Пастернаку не по плечу».

Бедный, он не думал, что и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды, пусть не столь шумную.

Но об этом, о трагедии 1972 года, о его письме в «Литературную газету» я расскажу отдельно.

Правы ли мы, возлагая на других людей долг быть нашими безгрешными идолами, опорой нашей душе, нашей нравственности, нашей вере? И не в себе ли самих мы должны искать и находить опору, веру, а если надо, и надежду?

Литература

Варлам Тихонович с резким неприятием относился к толстовской традиции в русской литературе. Он считал, что Толстой увел русскую прозу с пути Пушкина, Гоголя.

В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского.

В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского — Тютчева — Пастернака. В его любви к Пастернаку было что-то умственное, если можно так сказать. Варлам Тихонович часто читал что-нибудь из «Сестры моей жизни» и говорил: «Какой взгляд! Я уж не знаю, как это можно, целые новые пласты втащил он в поэзию».

Это было профессиональным восхищением поэта. Но как-то глубоко душевно он любил Блока. Когда он читал Блока, то никогда не говорил о поэтических находках, а словно ощущал что-то свое, душевное свое в Блоке.

Иногда мне казалось — какие-то воспоминания молодости, эхо какое-то себя еще доколымского. Я об этом не выспрашивала — это столь тонкие ощущения, что их не надо высказывать вслух, переводить в слова. Только видела, как молодело, освещалось его лицо.

...И тотчас же в ответ
что-то грянули струны...

или:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего...

Тютчев все чаще лежал на его столе в 70-е годы.

О как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней...

и:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир...

Были любимые стихи и других поэтов, которые он часто читал: «Черный человек» Есенина, «Роландов Рог» Цветаевой, Ходасевича:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю...
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...

Я любила Гумилёва. Это В.Т. раздражало. Вся эта Африка, экзотика — это дурной вкус. Хотя «Заблудившийся трамвай» он читал. Я же любила и «Эзбекие», и «Капитанов», и все «Жемчуга». Конечно, весь «Огненный столп». И часто читала Гумилёва.

Гумилёв гораздо многомернее и глубже расхожего представления о нем. Никто так это не понимал, как Ахматова, которая в своих записных книжках написала: «Гумилёв поэт, еще не прочитанный, и человек, еще не осознанный».

Мы даже «говорили» друг с другом стихами. Мы оба не любили объясняться.

Где-то в первые годы он показал мне Мандельштама:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть,
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать...

— и отвернулся почти со слезами. Это — его всегдашнее острое сочувствие женской доле. Я, правда, не ощущала

ее как страдание и считала нормой и счастьем отдать себя детям, любимым. Тогда это свойство отдавать, расточать себя казалось мне неисчерпаемым. Потом я убедилась, что физические и, главное, моральные, душевные силы имеют предел.

Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:

Суров ты был, друзей ты не искал
И не искал единоверцев,
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце...

А году в семьдесят пятом он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:

Ты меня не любишь больше,
Истина в пяти словах.

Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках.

В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», — сказал он. Я взяла все. Он спросил: «Как твои дети?» Я промолчала. А он сказал: «Ты думаешь, мне это неинтересно». И заплакал. «Я думал, ты ко мне приходила. Показалось — звонят, я выскочил — никого. Я — к окну, и увидел женщину с двумя детьми. Мне показалось, что это ты зашла по дороге в зоопарк». Я говорю: «Мои дети уже выросли и не ходят в зоопарк. Они уже выше меня». Но он не поверил, для него я так и осталась молодой матерью, и малыши прижимались ко мне с двух сторон, держали меня за руки.

Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъял часть архива В. Т., и они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников «Колымских рассказов» (все это было документировано). Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание большого архива В. Т., я поняла, что возращено не все. Но В. Т. уже не было в живых.

Конечно, похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном машинописные экземпляры рукописей. Однако, возможно, что исчезли и варианты с какими-то разночтениями, которые

необходимо изучать в процессе текстологической работы. Пропали также и некоторые толстые тетради со стихами, где заключались первоначальные варианты стихов. Запись стихотворения в такую тетрадь Варлам Тихонович считал истинной датой стихотворения. Утрату этих тетрадей Варлам Тихонович считал невосполнимой. И я, конечно, виновата в том, что не обнаружила ее сразу же, не разобрала архив сразу...

В. Шаламов и А. Солженицын

Я познакомилась с Варламом Тихоновичем в 1966 году, когда его отношения с А. И. Солженицыным еще не прервались. Еще какие-то надежды Шаламов возлагал на «ледокол» — повесть «Один день Ивана Денисовича», который проложит путь лагерной прозе, правде-истине и правде-справедливости. Еще стремился обсудить с А. И. Солженицыным серьезные вопросы... Но трещина в отношениях уже наметилась и росла неудержимо. Не приносили удовлетворения беседы — они просто не понимали друг друга. Солженицын был далек от чисто профессиональных писательских проблем: «Он даже не понимает, о чем я говорю». Да и мировоззренческие, нравственные проблемы обсудить не было возможности.

А. И. был занят тактическими вопросами, «облегчал» и «пробивал» свои рассказы, драмы, романы. В. Т. обитал на ином уровне.

Один — поэт, философ, и другой — публицист, общественный деятель, они не могли найти общего языка.

У В. Т. оставалось чувство тягостного разочарования от этих бесед: «Это делец. Мне он советует — без религии на Западе не пойдет...»

Эта эксплуатация священного учения отталкивала В. Т. Он, не раз афишировавший свою нерелигиозность, был оскорблен именно за религию, к которой относился с огромным уважением. Использовать ее для достижения личных практических целей считал недопустимым. «Я не религиозен. Не дано. Это как музыкальный слух — либо есть, либо нет».

По свойствам своей личности В. Т. просто не мог думать и чувствовать в этом направлении — как ему надо написать, чтобы иметь успех, чтобы напечататься в Москве или Париже. Возможно ли вообразить, что он пере-

делывает «Колымские рассказы» в угоду «верховному мужику»? Или поучает страну, ученого и мужика, как ему жить по правде.

Теперь многие благородно «прощают» Варламу Тихоновичу «грех» письма в 1972 г. в «Литературную газету» с гневными отречениями от зарубежных публикаций и чтений по «голосам» его рассказов.

Гнев В. Т. вполне объясним — его без зазрения совести и без авторского согласия использовали в «холодной войне», «маленькими кусочками», разрушая ткань произведения, а книгу не издавали (она впервые вышла в Лондоне в 1978 г.). Что бы сказал Александр Исаевич, если бы его «Раковый корпус» публиковали по отрывку в месяц в течение десяти лет? «Колымские рассказы» публиковал в Нью-Йорке «Новый журнал» Р. Гуля, храня свою монополию на тексты В. Т. Так и «Войну и мир» можно погубить. Именно так и воспринимал Шаламов эти разрушительные, губительные для его прозы публикации. Да к тому же они перекрывали и тоненький ручеек его стихотворных публикаций в России. А стихи для В. Т. были единственной отдушиной, жизнью и смыслом той жизни. Вопль удушаемого — вот что такое его письмо в «Литературку».

А вся эта «сволочь», по выражению В. Т., «спекулирующая на чужой крови» (к тому же удачно сочетающая приятное с полезным — правозащитную деятельность с присвоением чужих авторских гонораров) еще отпускает Шаламову его грехи!

Но ведь ни одной строки в своих работах он не поправил в угоду «верховным мужикам».

Была мандельштамовская «Ода», был пастернаковский «Художник». Но у Шаламова не было таких строк.

И это главное. Прям он был, негибок, и об имидже даже думать не умел, «хитрожопости», столь необходимой и полезной для практической стратегии и тактики, не имел ни грамма.

И тогда, в 60-е годы, растущее отчуждение от «дельца», как он называл А. И., уже ясно чувствовалось. Он рассказывал мне о неудавшихся беседах в Солотче осенью 1963 г. — куда он ездил в гости к А. И. Выявилась какая-то биологическая, психологическая несовместимость бывших друзей при таком длительном контакте. Вместо ожидаемых В. Т. бесед о «самом главном» — какие-то мелкие разговоры. Может быть, А. И. просто не был так расточителен в беседах и переписке, как В. Т.,

берег, копил все впрок, в свои рукописи, а В. Т. был щедр и прямодушен в общении, ощущая неистощимость своих духовных и интеллектуальных сил.

По поручению В. Т. я ходила к родственникам А. И. в Чапаевский переулок — я жила рядом, на Новопесчаной — за рукописью романа «В круге первом». В. Т., как я помню, одобрил роман: «Это разрез общества по вертикали, от Сталина до дворника».

Но была какая-то обязательность в этой положительной оценке. Словно В. Т. считал нравственным долгом поддержать каждое гневное слово против сталинизма.

Я помню его слова, сказанные с какой-то интонацией усталости, как будто еще раз повторенные: «Форма романа архаична, а рассуждения персонажей не новы». Этот философский ликбез, настойчиво внедряемый в ткань художественного произведения, и огорчал, и раздражал В. Т., как и вся «пророческая деятельность» (так он называл) Солженицына, претензионная, нравственно неприемлемая для писателя, по мнению В. Т.

Не сбылись надежды и на дружескую помощь А. И.: Солженицын не показал рассказы Шаламова Твардовскому. Может быть, это был естественный для стратега и тактика ход: уж очень тяжкий груз надо было подымать — «Колымские рассказы». «Боливару не снести двоих!» Да и много бледнеет «Иван Денисович» рядом с «Колымскими рассказами».

А. И. оттягивал знакомство В. Т. с Л. Копелевым. Ему самому Копелев помог найти пути в «Новый мир», в конечном счете — на Запад. И делиться удачей вряд ли хотелось. На Западе важно было оказаться первым и как бы единственным. И А. И. всячески уговаривает В. Т. не посылать на Запад свои рассказы.

В 70-х годах Шаламов редко и раздраженно говорил о Солженицыне, тем более что до него дошли осуждающие слова бывшего друга, «брата» (как говорил Солженицын), с такой легкостью и жестокостью оброненные из благополучного Вермонта («Варлам Шаламов умер») о нем, еще живом, бесправном, но недобитом калеке.

Сейчас распускаются слухи, что Солженицын помогал Шаламову. Нет, никогда, нигде и ничем не помог А. И. Шаламову, да и Шаламов не принял бы такой помощи.

Пусть Бог простит Александра Исаевича!

«ПЧ»

Человек, сложившийся в 20-е годы, Варлам Тихонович часто употреблял аббревиатуры. В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой мелькает часто упоминание о «ПЧ». «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному начинанию. У «ПЧ» — мало серьезного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, сгущает краски, когда говорит, что «"ПЧ" состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало».

Он был прав. И стукачи его сопровождали буквально до смертного одра, до края могилы — меня позже просветил в этом отношении такой проницательный старый лагерник, как Федот Федотович Сучков.

1972 год

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» — к В. Фогельсону. Приходил издерганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и «ПЧ»:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.

Я ушла. А через два-три дня В. Т. позвонил и попросил прийти. Я пришла и увидела на столе листы с черновиками письма В. Т. в «Литературную газету». Стала читать, вычеркивая совсем немыслимые пассажи: «меня пытаются представить резидентом...». Опять сказала: «Не надо посылать это письмо». Но не стала решительно настаивать, ведь такие вещи должен каждый решать сам. Просто повернулась и ушла.

А 23 февраля в «ЛГ» был опубликован краткий вариант этого письма. Для меня это было крушением героя. Я (вообще-то совсем не плакса) ревела целую неделю. Насколько умнее меня был мой сын Алёша, совсем тогда еще мальчик двенадцати лет. Он сказал:

— Мама, как ты можешь судить его, оставлять. Этого я от тебя не ожидал.

Вскоре позвонил В. Т., и я пошла к нему. Он встретил меня, буквально заливаясь слезами, говорил, что он не такой, каким я его себе представляла, что только в яму и должен был свалиться... В общем, тяжелая и грустная была встреча.

Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе. Не мне, конечно, было его судить. Да и кто в своем рассудке мог его судить? Говорят сейчас об «остракизме», которому он был подвергнут. Это, конечно, сплетни, сплетни «ПЧ». Какой остракизм?! Недавно дочь Г. Г. Демидова рассказала мне, в какой ярости был ее отец, когда кто-то при нем осмелился осуждать Варлама Тихоновича за это письмо: «Не вам, соплякам, судить этого человека!» Б. Полевой прислал ему ободряющее письмо. Н. Столярова и Ф. Сучков пришли его ободрить, но он не пустил их в дом.

Все эти ободрения были пустяками для него. Самое страшное — собственное о себе мнение.

Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».

— Ну, — ответила я жестоко, — не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.

И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк. Как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припо-

минаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом.

А книжка «Московские облака» была сдана в набор 17 апреля 1972 года.

Три давления совместились в этом печальном инциденте с письмом: не печатали здесь, грозила полная немота; печатали там — жалкими кусочками, без согласия автора, «спекулируя на чужой крови»; немалую роль сыграло и раздражение против «ПЧ», против этой истеричной и глупой публики, толкавшей его на Голгофу.

Но, написав, что «колымская тематика исчерпана жизнью», он продолжал писать «Колымские рассказы-2». И впереди был 1973 год, который он называл одним из лучших, счастливейших в жизни. В этот год было написано особенно много стихов, несколько толстых тетрадей: «Топор» («Орудие добра и зла...»), «Стихи — это боль и защита от боли...», «Она ко мне приходит в гости...», «Мой лучший год...» и, наконец, «Славянская клятва». Клятва верности себе, делу своей жизни.

Универсальное средство

В. Т. спросил меня однажды: «Ты думаешь — в лагере я ругался?» Я ответила: «Нет, наверное».

— Одним из самых отчаянных ругателей я был. И дрался. Тут в трамвае мне на ногу наступили, я такое выдал, парень в столбняк впал...

Плюха — была его универсальным, хоть и теоретическим средством решения всех проблем.

— Этой сволочи (ПЧ) плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься...

— Встретил Молотова в Ленинской библиотеке. И — не дал ему плюху! Встретил — и не дал!

Даже буквально в последние дни он пытался, размахивая руками, отогнать от себя «наседку» в доме инвалидов: «Уходи, ты мне надоела!»

Плюха — моментальное решение проблемы, а это было в характере В. Т., не терпящем неясностей и проволочек.

— Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайны, во мне все просто и ясно. Никаких тайн.

Тайн он не терпел, хотя, конечно, умел молчать, когда надо. Но всякие кивки, намеки, таинственные недомолвки безмерно его раздражали.

— *Я привык с жизнью встречаться прямо. Не отличая большого от малого.*

Был у него очень добрый друг и поклонник таланта — Яков Гродзенский. Жил он в Рязани. И была у него страсть объясняться с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В. Т. жутко раздражался, хотя «Яшку» любил.

Однажды я пришла и застала В. Т. в глубокой молчаливой грусти (а молчалив В. Т. не был, всегда бурлила в нем жажда высказаться). «Яшка умер», — сказал В. Т. Было это, кажется, году в 1970-м.

<Точки отсчета>

Недавно обратился ко мне один писатель. Он был полон сочувствия Варламу Тихоновичу! Бедняга, какая нищета — 72 рэ в месяц!

Конечно, для этого писателя, привыкшего к зарубежным вояжам, собственной машине, даче, кабинету и т. п., жизнь на 72 руб. — Голгофа.

Я ответила ему: «У Вас с В. Т. разные точки отсчета. У него — арестантские нары и баланда, а у Вас — вот машина, дубленка, квартира». Нет, жизнь в Москве не была для В. Т. Голгофой. У него не было разорительных привычек. Ни вино, ни рестораны, ни путешествия его не манили. Его любимая и почти постоянная еда: утром кофе, в обед и ужин — вареная докторская колбаса с вареной же картошкой и капустой. Яблоки. Единственная роскошь — книги. У него даже небольшие собрания были из гонораров за книжечки, за переводы. Это было непрочной гарантией устойчивости его быта. Ко всем бытовым проблемам (одежды, еды, ремонта) он относился с обдуманной серьезностью. [надписано И. П. Сиротинской: В полной мере изучил он науку выживания — «Добить меня очень трудно»]. Не любил ничего нового, ни людей, ни вещей, никаких нарушений в своем микромире.

Это было очень мудро: такая бытовая стабильность оберегала шаткое равновесие его организма, просто перегруженного до отказа всякими болезнями: Меньера,

глухота, стенокардия, цирроз печени и т. д. Я всегда понимала благотворность этого размеренного быта, опасность всяких потрясений и, как могла, его оберегала.

В. Т. и Запад

«На Западе те же сволочи, что и у нас, но их еще больше» — вот генеральная мысль В. Т. по поводу западного мира.

Отношение к Западу на протяжении лет менялось — и все от прохладного к холодному.

Главное, мы для Запада «чужие», интерес есть — как к акробату — выйдет из сальто или грохнется, любопытство, но не глубокое и действенное сочувствие, понимание.

Все это, как всегда у В. Т., проистекало из глубокого личного опыта. Веря в Запад, он отдал свои рукописи Р. Гулю. А тот десять лет (с 1967 по 1977 г. (!)) поддерживал ими свой журнал. Десять лет! Убийство для «Колымских рассказов». Ради своих частных интересов Гуль предал не только В. Т., но те миллионы колымских мертвецов, которые остались безгласными. Это считал В. Т. предательством, подлостью, тупостью.

Успех Солженицына усугубил его пессимизм. Вот что нужно Западу — сенсация, позволяющая извлечь коммерческую и политическую выгоду из страданий и смертей тысяч и тысяч людей. «Делец» Солженицын умело создал эту сенсацию и поддерживал ее своими письмами по каждому поводу. Не нужен талант, проза кровоточащая, правда, справедливость — нужна газетная шумиха, ловкий стратег и тактик, удачливый акробат.

«Нобелевскую премию они отдали Солженицыну», — с горечью сказал В. Т., понимая разный уровень своей и А. И. прозы. «Они», конечно, и не знали Шаламова. А А. И. умело снял сливки западного интереса к лагерной теме. «Красное колесо», наверное, никто не дочитал до конца.

Итак, от некоторых иллюзий (отчасти под влиянием Н. Я.) до крайнего, бешеного неприятия, раздражения благодушной западной всеядностью.

С этим же благодушием незаинтересованности западные издания относились не только к прозе В. Т., но и к нему самому, полностью игнорируя тот факт, что В. Т. еще жив и надо бы поинтересоваться его мнением, да и

поделиться прибылью от защиты прав личности с больным стариком. Нет, его печатали и оглашали в эфире, не затрудняясь спросить разрешения. Меня до сих пор не покидает удивление — как могли так действовать известные западные либералы и защитники прав человека вроде Н. Струве? Как могли так пренебречь не только правами человека и автора, но элементарными моральными требованиями, запрещающими присваивать плоды чужого труда?

Что говорить о гадком монстре — Союзе писателей, ничего не сделавшем для своего коллеги? Монстр — он монстр и есть, кормит самого себя — и только.

А что говорить о государстве? Чего ждать от него, взявшего 20 лет жизни В. Т. и миллионов своих граждан? «Детоубийца Русь». Но это одно дало В. Т. — комнатку в интернате, еду три раза в день. Жалкое милосердие соцстраха.

А что сделали борцы за права человека? Ограбили больного, нищего старика. То, что было для них грошами — сто тысяч франков, десять тысяч долларов, — могло спасти В. Т. от интерната, сделать его старость защищенной. Сволочи, конечно, готовые присвоить каждый франк. И еще распускают слухи, что В. Т. помогал Солженицын. Ни копейки, никогда.

Боже мой, как беззащитна старость. Даже младенец защищен <теплотой>, нежностью.

Что он думал о себе

Его мнения о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер.

Как-то я отозвалась хорошо о Юрии Осиповиче Домбровском. Он обидчиво и очень запальчиво сказал: «Я лучше всех людей!» Потом подумал и поправился: «Лучше меня только ты».

Что главное ценил в себе: верность, нравственную твердость («не предал никого в лагере, не донес, на чужой крови не ловчил»). Талант. «Я тот сапожник, рожденный, чтобы стать Наполеоном, как у Марка Твена. Я собирался стать Шекспиром. Лагерь все сломал».

Но иногда он впадал в уничижение и говорил иное: что он неблагодарный, капризный, и я думаю о нем гораздо лучше, чем он заслуживает. Что он растоптанный человек, собравший себя из кусков, что он непоправимо искалечен лагерем.

Готовя его рукописи к изданию, я вижу, насколько его стиль выражает его личность. Даже подбор любимых эпитетов: твердый, лучший, энергичный, любой, высший... Стремление к абсолюту, к невозможной непреложности, к высшей точке...

Таков и ты, поэт.

Страсть и рассудочность, стихия, поток — и самоограничение беспрерывное. Серьезность до последней мелочи. Полное отсутствие чувства юмора. Суеверный. Косноязычие шамана присуще порой его стихам — что-то с трудом пробивается в мысль, в слово, что-то, едва переводимое в слова.

Часто повторял слова — «его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба». Его судьба, несмотря на ее трагизм, оставляет ощущение какой-то пронзительной завершенности. Сбылось именно то, что должно было сбыться при столкновении этого сильного, твердого, несгибаемого человека и государства, и жизни такой, какая она была.

1976 год

Жизнь сама подталкивала меня к какому-то решению. Я видела ясно, что и Варламу Тихоновичу нужна, наконец, определенность. Я понимала, что ему нужен друг, который целиком посвятит свою жизнь ему, и надеялась, что после моего ухода такой друг появится.

Последних жалких слов мы, верные себе, не произносили. Отмечали 10-летие нашего знакомства. И было мне очень больно, но как-то неотвратимо я чувствовала, что все кончено. И сказала: «Ну вот, все кончается так». Он сказал: «Это были десять лет жизни и счастья. Ты подарила мне десять лет жизни».

Потом, в письме из конвертика — «Экстренно, после моей смерти» — я прочитала: «Спасибо тебе за эти годы, лучшие годы моей жизни».

Это не значит, конечно, что мы не встречались больше. Я навещала его иногда, были письма, звонки. И свою книгу «Точка кипения» он прислал мне в октябре 1977 года с надписью «Моему верному товарищу и другу с глубоким волнением». Приходя изредка, я встречала у него женщину, которая за определенное вознаграждение (которое ему казалось большим, а ей недостаточным) иногда убирала и готовила для него. Но к 1979 году ему уже нужна была не просто приходящая время от времени помощница, а постоянная сиделка.

Премия Свободы

Он диктовал мне стихи, прорвавшиеся к нему сквозь неустойчивую, глухую темноту мира, сквозь косноязычие и скудеющую память:

Человеческий шорох и шум
Предваряют мое пробужденье,
Разгоняют скопление дум,
Неизбежных в моем положеньи.

Это, верно, сверчок на печи
Затрещал, зашуршал, как когда-то.
Как всегда, обойдусь без свечи.
Как всегда, обойдусь без домкрата.

Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется. Даже лежа он чувствует, что мир вокруг гудит и качается.

Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен,
Дрожит рука.

Я входила в этот дом, пропахший беспомощной и беззащитной старостью, под блеклыми взглядами старушек и двух мальчиков в креслах-каталках я поднималась на третий этаж, открывала дверь 244 палаты. Он лежал, сжавшись в маленький комок, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос — без одеяла, на мокром матрасе. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас — чтоб не украли. Полотенце завязывал на шее. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил.

Здесь ему нравилось. «Здесь очень хорошо. — И очень серьезно, весомо: — Здесь хорошо кормят».

Маленькая отдельная комнатка с широким окном, тишина, отдельный санузел («это очень важно»), тепло, еда — вот этот скудный рай последних его стихов.

Не буду я прогуливать собак,
Псу жалко
Носить свое бессмертие в зубах,
Как палку.

В раю я выбрал самый светлый уголок,
Где верба.
Я сердце бросил — он понюхал, уволок,
Мой цербер.
Кусочек сердца — это ведь не кость,
Помягче — и цена ему иная.
Так я вошел, последний райский гость,
Под своды рая.

Но и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта, ощущающая большой мир, живо и его неутоленное честолюбие. Он жаждет славы, денег — «золотого дождя»...

1 июня 1981 года я пришла его порадовать — французское отделение Пен-клуба одарило его премией Свободы.

Я подхожу к кровати и беру его за руку, он всегда узнает меня по руке, на ощупь.

Он долго и трудно усаживается на стул у тумбочки.

— День, день какой?

— 1 июня, понедельник! — кричу я в бескровное, сухое ухо.

— Час, который час? Але! Час который? Але!

— Пять, пять часов! Премию, премию дали! Премию!

— Премия — деньги! Але! Але! Премия — деньги!

— Во Франции!

Он понимает и теряет к премии интерес.

Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне, — мне дал его для В. Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает книгу: «Я понимаю, что издали Там, — говорит он равнодушно, — но ведь должны быть деньги».

Из «золотого дождя» от изданий за рубежом на него не упало и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в «Юности» его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.

— Номер? Номер какой?

Я еще не знаю точно, но кричу наудачу — седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это — последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтоб у него остался еще лишний экземпляр для подарка.

Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки...

Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей настигла его. И кусочки личности, сцементированные волей и мужеством, распались.

И вот — лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию Свободы. Он диктует стихотворение, последнее стихотворение обо мне:

Яблоком, как библейский змей,
Я маню мою Еву из рая.
Лишь в судьбе моей — место ей,
Я навек ее выбираю.

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.

Я всегда приносила ему любимое — яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?» Я говорю: «Нет ее в магазинах». — «Ну, сходи сейчас, купи». — «Ее нет, не продают». Он понурился. И вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал, серьезно укладывал в тумбочку. Они, я думаю, и дали толчок стихам. Всегда какая-то мелочь, деталь включала этот поток стихотворения. И последние стихи из новых (он часто диктовал и варианты старых):

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.

Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой — 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел.

Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, умостившись на стуле, продиктовал воспоминания о Б. Полевом. Бедная «наседка» металась, не понимая ни того, что он говорил, ни того, что я писала (стенографировала). Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все.

15 января 1982 года его непрочный бедный рай разрушили — перевели в другой, психо-неврологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его доброжелателей. Были среди них, конечно, и люди действительно добрые, были и хлопотавшие из корысти, из страсти к сенсации. Ведь именно из них у Варлама Тихоновича обнаружились две посмертные «жены», с толпой свидетелей осаждавшие официальные инстанции.

Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу. И я не умела это прекратить. Только могла отстраниться. А дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, обзваниванием левых деятелей.

17 января 1982 года он умер. Умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.

Были похороны — дело суетное. Чужие возбужденные лица — попавших в сенсацию людей. Много спектакля. Я ему все говорила про себя: «Не бойся, я с тобой». У меня было ясное ощущение его присутствия. Покой был на его мертвом лице. Я положила в кармашек его пиджака наш талисман, который он мне подарил давно («чтоб всегда был с тобой») — маленького моржика, вырезанного из моржового клыка.

Прощай, мой друг.

«Горящая судьба»

В судьбе В. Т. есть какая-то предопределенность. Вспомнишь известное: «Посеешь характер — пожнешь судьбу». В его судьбе противостояли два начала — его характер, убеждения и давление времени, государства, стремившегося уничтожить этого человека. Его талант, его страстная жажда справедливости, бесстрашие, готовность делом доказать слово... Все это было не только не востребовано временем, но и опасно ему.

В. Т. ясно чувствовал этот ветер времени, всегда дувший ему навстречу. Но порой порыв слабел, словно забывая его, и В. Т. не упускал возможности что-то сделать для своего спасения, для своей работы.

Был он суеверен, как, наверное, все люди, живущие опасной жизнью — моряки, летчики... Он говорил: «Ко-

гда попадаешь в полосу неудач, сиди и не предпринимай ничего, когда же подует попутный ветер — действуй, соглашайся на все предложения». Это — не новое наблюдение. Вспомним Шекспира: «В делах людей приливы и отливы. С приливом достигаем мы успеха...»

Писатель, которого не печатают, который пишет в стол кровоточащую новую прозу, понимает силу и новизну своего таланта — и лишен читателя. Помогают жить две силы — стихи (все-таки иногда проникающие в печать), и не то что равнодушие, а просто знание истинной цены мнению людей; конечно, поддержка и понимание немногих, которых он уважает или любит, тех, которые верят в него.

Слава его не была громкой, обвальной, но в какой-то степени элитарной. Многие воспринимали КР как мемуары.

Не всем внятный глубокий подтекст, метафоричность, символы — ненавязчивые, кажется, незаметные. Вот и В. Войнович и Л. Чуковская называли его прозу просто очерками. Конечно, в этой мозаике есть и очерки — «для вящей славы документа». Но, думаю, эти уважаемые люди не прочли целиком «Колымских рассказов». Это — труд, душевный труд для читателя. Не просто прочесть, но пережить, перечувствовать! Не глазами, а сердцем. И тогда поднимется перед тобой великая фигура Автора. Бескомпромиссная, правдивая фигура Поэта, которому внятен голос души человеческой, голос камня, ветра и воды, дерева и братьев наших меньших...

* * *

Когда я вспомнила его слова, поступки, прочитала каждую строчку, написанную его рукой, я могу сказать — он был лучшим из людей XX века. Он был святым — неподкупным, твердым, честным — до мелочи — благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом.

Я отдала тебе жизнь, друг мой Варлам, мой великий и добрый друг.

Из книги И. П. Сиротинской «Мой друг Варлам Шаламов». М., 2006. Глава «В. Шаламов и А. Солженицын» печатается по: Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда: Грифон, 1997. С. 73–76. Главы «Точки отсчета» и «В. Т. и Запад» печатаются по рукописи И. П. Сиротинской (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 189.)

Рассказы и очерки

1960–1970

У ФЛОРА И ЛАВРА

Большая собака-овчарка не скулила. Она только взглянула в глаза хозяйки, как глядят собаки, обманутые человеком... Ибо обмануть животное — хуже, чем обмануть человека. И собака это понимала отлично. Но верная, страстная, самозабвенная служба хозяйке — все это стало ненужным — жизнь разводила их. Собака взглянула в глаза хозяина, и этот собачий взгляд женщина запомнит на всю жизнь. Что делать? У людей есть свои дела. Пути людей и животных часто сходятся вместе, ущербы разлук — смертей, расставаний — очень велики — раны в любой час могут быть разбережены памятью. Ибо домашнее животное — кошки, собаки, лошади — включено в мир людей, участвует в решениях человека, в его поступках, судьбах, и в молениях по случаю выздоровления рабочего осла или любимой кошки нет ничего смешного и бессердечного.

Каждый хранит в памяти эти прощальные взгляды животных, зверей, птиц. Но собака-овчарка прощалась не просто с хозяйкой.

В снежном хлестком буране, в темной крутящейся снежной пыли пронесся табун якутских лошадей. Якуты их не кормят. Летом лошади щиплют траву, а зимой «копытят» снег, как олени, доставая спасительный ягель, или уходят в нагорья, где ветер сдувает снег, и гложут там мерзлую прошлогоднюю траву, кусты ольхи, листву и обгладывают корни деревьев. Мохнатые, косматые, грязные лошади мало похожи на лошадей.

В глубокой четырехметровой траншее — дороге для автомашин — табун в сотню голов пронесся бесшумно. Я едва успел отскочить в сторону — к снежному борту траншеи.

Табун исчез и что-то оставил на снегу — слишком маленькое, чтобы быть взрослой лошадью. Я подошел ближе. Новорожденный жеребенок, только что скинутый кобылой, еще дымящийся теплом и жизнью. Кобыла родила на бегу, побоялась из-за холода остановиться, чтобы облизать, согреть жеребенка, побоялась остаться одна ночью в шестьдесят градусов мороза, когда спасают только движение, потные спины соседей и бег, бег, бег. С жеребенком остался я — но это был уже труп — полусогнутые ножки заиндевели, пока я разглядывал жеребенка. В лошадиной здешней судьбе, жестокой, голодной и холодной, есть и жизнь, и любовь.

Я пошел в поселок. Там была якутская церковь в память великомучеников Флора и Лавра — изъеденные ветрами коричневые бревна лиственницы, с трудом повторяющие какой-то куполообразный мотив на крыше церкви. Само тело церкви было конусообразное, похожее на юрту. Сейчас на входной двери висел железный замок — тут был склад, а когда-то церковь Флора и Лавра. Это ведь звериные святые, ветеринары, что ли, покровители лошадей и прочих домашних животных.

Но якутские лошади никогда не были под покровительством какого-нибудь святого — слишком уж это были несчастные, мучающиеся своей жизнью создания.

И на якутских коров тоже не глядели Флор и Лавр — коров пузатых, крошечных коров с огромными цепкими копытами, приспособленными, чтобы цепляться за выступы скал, пастись на горной крутизне, на откосе гольца, пастись, как козы, которых здесь отроду не было. Коровы и молока давали, как козы, — по литру в день.

Флор и Лавр наблюдали здесь за оленями, берегли оленьи стада. Флор и Лавр наблюдали здесь за собаками, за ездовыми псами, за охотничьими лайками. И за диким зверем наблюдали Флор и Лавр.

Разница между диким и домашним зверем в тайге — столь же, пожалуй, незыблема, как и в средней полосе России. Волк и на Севере волк. Собака и на Севере собака. Еще ближе к человеку в тысячу раз.

Флор и Лавр наблюдали и за диким зверем — за песцами, медведями, росомахами, лисами, соболями, рысями, горностаями. Наблюдали за зайцами, чтобы не было их много и мало, и в обильные годы тушки зайцев накладывали на крышу барака зимой, как новый изоляционный утепляющий материал, открытый в Заполярье.

И за птицами наблюдали Флор и Лавр. Слушали гоготание гусей, резкое хлопанье лебединых крыльев, глухаря, куропаток рябых — все подлежало охране, заботе. Флор и Лавр наблюдали и за рыбой — сумасшедший нерест лососевых пород, прыжки хариуса. Омуль, нельма, голец.

Флору и Лавру было немало дел в Якутии.

Церковь Флора и Лавра, превращенная нынче в продуктовый склад, была очень к месту в якутской тайге...

Я не знаю, что написано в Четьих Минеях о жизни Флора и Лавра. Но думаю, что они были люди — редкого дара общения с миром животных, птиц и рыб, обладатели одного из важных ключей, какие природа дает человеку, разгадавшему одну из ее постоянных тайн.

Мой рассказ не о якутской фауне, не о церкви Флора и Лавра. Церкви этой не существует давно. Люди, которые сохранили в себе тайную светлую силу общения с миром животных, — не переводятся на земле.

Подобно тому как на свете существуют рудознатцы, строители колодцев в пустыне, обладающие тайным даром чувства воды, — живут на свете люди, обладающие даром дружбы с животными. Это не просто любители живой природы и даже вовсе не любители. Это не дрессировщики, не укротители зверей, не исследователи зоопсихологии, не научные сотрудники зоологических садов и даже не потомки охотников, которые выращивали боевых соколов для охоты царя Алексея Михайловича.

Но между этими людьми и животными существует какая-то тайная связь — не могущество, не власть, — а дружба и доверие. Не повелители, не слуги, а братья и друзья.

Этой науке не учат в школах, и человек, обладающий этим светлым даром, не обязательно родится в деревне, на природе. Горожане до мозга костей, они удивительным образом постигают животных и животными постигаются. Город тут ни при чем. Эта тайна глубже городской тайны, первичней, что ли.

Шепчут ли они слова «мы одной крови — ты и я», я не знаю, но если шепчут нечто подобное хоть мысленно, то можно поражаться художественной силе Киплинга — он первым назвал этот важнейший мировой закон.

А где же хозяйка овчарки?

— Я никогда не хожу в зоосад. Никогда! Видеть зверей в клетках, за решеткой вместе с животными пережить их угнетение, их несчастье, их заточение, их страдание... Для меня это слишком.

— Зато я охотно фотографируюсь с птицами. Птицы — старые мои друзья.

Женщина подходит к голубям, но голуби даже не взлетают, не отбегают в безопасное место. Просто — глядят на нее. Голубь — городская птица, привыкшая к людям. И все же когда подхожу я — тревога — хлопанье крыльев, похожее на выхлопы мотора или треск разорванной материи. Птицы в панике. Женщина улыбается. А ведь я достал из кармана булку, разламываю ее пальцами, крошу — голуби не обращают внимания, не верят в мою булку.

В прошлом году в подмосковном городе на бульваре раскричались гуси, целое стадо провинциальных горластых гусей. Всякий знает этот крик — тревожный, неостановимый. Гуси мешали людям говорить, озабоченность гусей была неподдельной. И женщина подошла, что-то гусям сказала, просто постояла около разбушевавшихся птиц, и гуси затихли, успокоились, заковыляли к берегу, к воде, к реке.

И я, не имеющий власти над животными и не имеющий доверия зоомира, рассказываю о судьбах якутских лошадей, о жеребенке, погибшем в мороз. И я слушаю рассказ, запоминаю рассказ о табунах в Казахстане. О крепком запахе конского пота, о мохнатом ветре, летящем с гор, способном смять, раздавить, растоптать все живое, встреченное на пути. Но табуны расступались перед спокойной, доверчиво встречающей эту бешеную скачку женщиной. Первая лошадь внезапно делала чуть заметное движение в сторону, чтобы дать достаточно места для жизни, чтобы проложить новый, воображаемый, огороженный прозрачной оградой путь. Ни одна из лошадей не нарушила этой воображаемой линии, отклоненной в этой слепой скачке.

В жизни лошадей была свобода, свобода, свобода, в их реве, ржанье и в их бешеной скачке все было свободным, раскованным.

Движенья и позы лошади, кошек, собак, птиц — грация дикой природы женщиной была хорошо понята.

Ночью женщина приходила в конюшню и, затаив дыхание, слушала шорохи, движения, похрапывание, шумы, негромкие голоса лошадей. Слушала жизнь лошадиную.

— Позже в Москве — я так соскучилась по лошадям — и друзья привели меня на ипподром — где же еще лошади в Москве, как не на ипподроме? Мы купили

билеты, посмотрели несколько заездов. Не играли, не для этого и приходили. Я ушла с горьким, горьким чувством неправды, обмана. Лошади были разряжены в какие-то шляпки, ленты, в кожаной сбруе, в упряжке. Души лошадей были изуродованы человеком по своему подобию. В упряжке лошади были похожи на людей, с людскими страстями, с людской заботой, с азартом, игрой — несвободны. Я ушла грустная и больше никогда не бывала на ипподроме.

Черная моя кошка Муха, которая от рожденья не шла ни к кому на руки, кроме меня, вдруг замурлыкала на коленях у хозяйки овчарки.

— У кошек — девять разных выражений лица.

— Вы и это знаете?

Я хотел расспросить ее о котах, которые ходят по улице города, как люди, и автомашины объезжают их, как людей.

Хотел рассказать о кошачьих контейнерах смерти, приготовленных для газовых камер металлических клетках, туго набитых бродячими кошками, в подвалах Московской «биологической» станции. Обреченные кошки встречали входящих не мяуканьем, не писком, а молчанием — вот что было всего страшнее.

Но разговор оборвался, и мне не пришлось рассказать о гибели своей кошки, застреленной на дворе дома.

Мне не пришлось расспросить о кошках, которым дают дорогу, как людям.

Только раз женщина возненавидела животное — хозяйского поросенка, которого надо было чистить и мыть. Это было первой вольной работой, первой работой после освобождения из лагеря после десяти лет. Освобождение принесло не радость, а страх и бесправие, безмерное унижение, многолетние скитанья.

— Я училась, и самой выгодной для меня работой после лагеря — если не идти в лес с пилой — была работа прислуги у какого-то лагерного начальника. Ухаживала за поросенком. Я работала только один день. На другой день ушла, отказалась от своего счастья и поступила инкассатором — боже мой — это было всего несколько лет назад.

— Я никогда не хожу в зоосад. Никогда.

Вот и весь рассказ о церкви Флора и Лавра.

Все это истинная правда. Я и сам был волк — и научился есть из рук людей.

1966

СЛИШКОМ КНИЖНОЕ

Я не помню себя неграмотным и смело думаю, что никогда не был таковым. В три года — время, с какого я вижу себя — у меня была первая и последняя в жизни библиотека...Она состояла из двух книг. «Ай-ду-ду!» и «Азбуки» Толстого. Обе эти книжки я помню отлично и зрением, и осязанием: полотняный переплет «Азбуки», форму букв, рисунки... во́рона, трубившего в серебряную трубу с черного дуба в другой книжке...

Много позднее была школа, учительница Марья Ивановна — я ничего не запомнил об учительнице, кроме огромной муфты из черного плюша, вытертого до дыр. В школе не было КНИГ — там были только УЧЕБНИКИ, — пока в 1918 году в городе не открыли Первой рабочей библиотеки.

Библиотека эта была собрана из книг, реквизированных в помещичьих усадьбах. Разместили ее в бывшей пересыльной тюрьме, распахнутой в октябре семнадцатого года.

Место было выбрано не очень удачно, но все искупалось прямой и простой символикой: «Раньше тюрьма — теперь очаг культуры». Однако решались на посещения такого экстравагантного очага только энтузиасты. Чтобы добраться до книг, надо было войти под темные своды глубоких тюремных ворот и долго шагать по огромному захламленному двору, выбирая дорогу среди множества странных вещей, сваленных в беспорядочные груды. Там был огромный чугунный двуглавый орел, сорванный с фронтона мужской гимназии еще в феврале семнадцатого года; ржавые кладбищенские решетки и обломанный гранитный памятник какой-то «Капитолины Парменовны, вдовы подъесаула Левицкого». Среди всего этого добра была протоптана горбатая узенькая тропочка к верхнему крылечку, сверкающему струганными деревянными заплатами в углу одного из пересыльных корпусов. Там вечером мерцал свет керосиновой лампы-«семилинейки», и хлопала в ладоши и притоптывала по-извозчичьи, чтобы согреться, библиотекарша Маруся Петрова — донельзя краснощекая, в овчинной шубе, туго подпоясанной ярким цветным кушаком. Маруся выдавала заиндевевшие книги в золотых переплетах.

Свежеструганые толстые некрашеные доски книжных полок Первой городской рабочей библиотеки пахли

смолой, живым лесом, и запах этот смешивался с тонким запахом бумажного тления, книжной пыли. Полки прогибались под тяжестью книг в затейливых блестящих узорных переплетах: полное собрание сочинений Александра Дюма; полное собрание сочинений Фенимора Купера! Что за блаженство!

Школьники, мы уносили домой из бывшей тюрьмы наши золотые сокровища. Именно там встретился я впервые — и навсегда! — с Ламолем, с д'Артаньяном и Кожаным Чулком!

Совсем недавно я прочел статью какого-то критика о «Зеленых холмах Африки» Хемингуэя. Критик поражается — как мог Хемингуэй включить в число любимых своих литературных героев Ламоля из «Королевы Марго». Критик пишет «Конконаса», а Хемингуэй пишет о Ламоле, но, по существу, это все равно.

Небрежного критика обидело соседство Дюма с Толстым, Достоевским и Стендалем. Ханжа-критик не хочет понять величайшего воспитательного значения лучших романов Дюма. Романы эти читались, читаются и будут читаться молодежью всего мира. Это — на всю жизнь — так, как читался у нас «Овод» Войнич. Герои Дюма — смелые, остроумные, героические, праздничные люди. Мир героев Дюма — это мир подвига, деяния, энергии.

В том крупном провинциальном городе, о котором идет речь, была еще с первой революции большая Публичная библиотека — гордость города, — с большим читальным залом и абонементом выдачи книг на дом. Но нас, школьников, она отпугивала своей таинственностью, сложностью, официальностью дела. Лакированные барьеры выше нашего роста оберегали от нас книги. Книги прятались где-то глубоко внутри, их к нам выводили, выносили по каким-то секретным зашифрованным запискам — ключами шифров мы не владели, — обращаться всякий раз за помощью к библиотекарше было слишком мучительно, читать надо было за столом, рядом с незнакомыми, чужими людьми. Неизбежный ровный шум, который всегда стоит в любом библиотечном зале, — шум библиотечной тишины, звуковой конгломерат из откашливаний, перевертывания страниц, стука отодвигаемых и придвигаемых стульев — мешал нам неустранимо. Зрительных помех тоже было больше, чем нужно. Каждое движение соседа-читателя, дежурного библиотекаря мешало, отвлекало. Мешали даже овальные портреты на стенах — Менделеев, Пирогов.

Много лет подряд я учился работе в читальном зале библиотек и так и не научился. Уйти в книгу до конца, до самозабвения — нетрудно. Но так можно делать с романом, с повестью, но не тогда, когда читаемое — предмет изучения, разбора, обсуждения. Вниманию особого рода, которое тут требуется, библиотечная публичная обстановка мешает. Ленинская библиотека в Москве, ее научные залы — не исключение. Лучше всего, надежней всего — читать дома, без людей, один на один с книгой. Чтение в присутствии других всегда было для меня неприятно, даже стыдно — еще хуже, чем писать душевное письмо на почте, — все хочется загородиться и боишься зазеваться — вдруг кто-нибудь прочтет то, что ты написал.

Страшно подумать — будто чтение — это тайный порок — впрочем, в какой семье в нашем городе не считали чтение тайным пороком?

В Москве есть библиотечный зал, где я читал тринадцать лет кряду. Дважды у меня был читательский билет № 1. Я начал здесь читать еще тогда, когда работал на кожевенном заводе, по вечерам. Я готовился в этой библиотеке к поступлению в университет и много позднее был в ней членом «актива» — готовил читателей. Переписка с читателями на огромной доске была весьма оживленной. Я вырос в этой библиотеке. Библиотекарши старились вместе со мной.

Давно уже овладел я премудростями каталога, Кеттеровскими таблицами, хорошо разбирался в них. Но разрыв между читальным залом и книгохранилищем — библиотечный барьер оставался, и это был разрыв между книгами и мной. Я не мог автоматически выписывать книги, терпеливо их ждать. Ожидание выписанных книг — пусть на это уходили минуты — обязательно вносило некий холодок.

Я понимал, конечно, что книги — вода, которой поят по очереди уставших от жары пешеходов, что библиотекарь — это ковш для воды.

Я всегда покупал книги, хоть немножко, хоть одну в месяц, в два месяца. Когда я женился, я подумал, что смогу собрать немного книг — своих, которые можно метить, завертывать страницы, тискать и мять, и гладить по переплету, прислушиваясь к лучшему, чем шелест лесной листвы, — шелесту книжных страниц. Я покупал книги при каждой получке — немного — и только знакомое, любимое, близкое, важное.

Недолго я собирал книги. В Туле, на базаре, в книжном «развале» купил я редкость — тридцать шесть томов Лескова в издании Маркса — ценнейшее приобретение по тем временам. Через несколько дней в коридоре меня остановил шурин мой — его семья жила с нами в одной квартире. Это был подающий надежды чиновник НКВД, бывавший на заграничной работе, — человек тридцатых годов нынешнего столетия. Люди двадцатых годов отличны от людей тридцатых, а люди тридцатых отличны от людей сороковых годов — от нашего военного времени. Тридцатые годы — время сплошной коллективизации и сплошных лагерей, время доноса, возводимого в доблесть, жестокости и вероломства как признаков человеческой мудрости.

Мой «родственник» время от времени обыскивал комнаты своего отца, матери и сестры в «профилактических» целях.

— Это ваши книжки?

— ?

— Лесков-то?

— Да.

— Это ведь, согласитесь, подозрительная литература.

Я захлопнул дверь перед его носом...

. . . .

Библиотека Бутырской тюрьмы была удивительной библиотекой. По необъяснимым причинам библиотека эта избежала бесконечных проверок и «изъятий», которым систематически подвергались все библиотеки России.

В ней были издания вроде эренбурговского «Рвача» или «Нового мира» с пильняковской «Повестью непогашенной луны», журнал «Россия», «Новая Россия» с неоконченным романом Булгакова «Белая гвардия» и стихами Валентина Катаева о современности, о которых редактор «Юности» предпочтет, конечно, не вспоминать. Впрочем, «Белую гвардию» я читал в библиотеке Москвы — когда был в «активе», она была, как и «Ленин» Маяковского, в то время снята с полок и не выдавалась. Позднее она была уничтожена, сожжена — сожжения книг происходили при Берии регулярно и без всякой публичности.

Труды Икова об Интернационале, «Записки Казановы», «Воспоминания Массона», голландского посла при дворе Екатерины Второй — все такое имелось в библиотеке Бутырской тюрьмы.

Казалось, что начальство решило дать арестантам некое утешение на дальнюю дорогу, на скорбный путь. Казалось, начальство рассуждало — «к чему контроль над чтением людей обреченных?»

Книги — одна на каждого жителя камеры — давались на десять дней. В камере на двадцать пять мест было восемьдесят человек. Прочесть восемьдесят книг в десять дней невозможно.

У тюремного чтения есть свои особенности. Там ничего не запоминается — все внимание, вся сила мозга направлена на допросы, на следственное «дело», на психологическое привыкание к тюрьме, ее быту, ее жителям, ее хозяевам.

Заниматься серьезно в общей камере тюрьмы было невозможно. Впрочем, говорят, что Ефим Рубин написал свои «Очерки по теории стоимости Маркса» в Бутырской тюрьме. Мы знаем, что Чернышевский писал «Что делать?» в каземате Петропавловской крепости. Морозов и Фигнер работали над собой десятками лет — в отдельных камерах. В следственной же тюрьме никто никогда книг не писал, никто никогда не занимался серьезно. Чтение книг могло только отвлечь, притом чуть-чуть, совсем немного — недостаточно для того, чтобы внести покой в смятенную душу арестанта.

Все, читанное в Бутырской тюрьме, — забыто тогда же — при выходе из тюрьмы «на этап».

Возможно, что крайняя «неустойчивость» тюремного чтения известна начальству и, может быть, потому и не беспокоилось оно о «криминале» книжных полок тюремной библиотеки. Ведь существуют же какие-то «научные кабинеты» по изучению психологии заключенного, и если таких работ не ведется в лагерях, то в столичной следственной тюрьме они должны были бы вестись. Возможно, впрочем, что интерес власти к психологии арестанта ограничивается уголовным миром.

Книги Бутырской тюрьмы для многих из нас были последними читанными в жизни книгами.

Был прииск, «золотой» забой, четыре страшных года, когда люди убеждались ежедневно, ежечасно, как непрочно держится на человеке шелуха цивилизации. Нам не хотелось думать о завтрашнем дне и не приходилось «убивать время». Наоборот, время, как в великолепном английском четверостишии, переведенном Маршаком, расправлялось со всеми нами, всех убивало нас. Мы забыли о книгах. Книге не было места в нашем мышлении,

в нашем двадцатисловном лексиконе: «подъем», «работа», «обед», «кайло», «лопата», «конвой», «нарядчик», «смотритель» и т. д. Слово «книга» казалось нам незнакомым, может быть, не бывшим, а слово «газета» содержало что-то бесконечно важное, но недоступное для нас. Всякие радиоприемники, конечно, были запрещены в наших бараках, так же, как книги, газеты. Однажды я нашел кусок газеты, обрезок газеты, запачканный мылом, близ палатки парикмахера. Я бережно вытер мыло и прочел шепотом странные слова:

«Леон Блюм оставил кабинет», — писал корреспондент ТАССа. На обороте этого газетного обрывка было сообщение о каком-то очередном «процессе».

Радиоприемники, а также газеты и книги были у вольнонаемных — «на поселке». Рискнуть рассказать что-либо нам — хотя бы о Леоне Блюме и оставленном им кабинете, никто, конечно, не решался. За такие рассказы не отделаться служебным выговором или лишением партбилета. Тут дадут, обязательно дадут «срок». Конечно, выдадут этот срок не «весом», не «сухим пайком» в виде семи граммов свинца, но «срок» дадут наверняка. А «срок», отбываемый в забое на севере, — все вольнонаемные на севере знали это очень хорошо — это смерть в девяносто случаях из ста. Идти на такой риск из-за рассказа о тысячной речи Вышинского на Генеральной ассамблее ООН или о беседе Молотова с Гитлером — не было, конечно, никакого смысла. Это понимали и мы — остатки нашего иссушенного, обессиленного мозга.

Героическим выглядит неожиданный поступок одного невысокого хозяйственного начальника, у которого я работал по ночам после трудового дня на морозе — за хлеб, за суп переписывал негнущимися пальцами какие-то ведомости, списки, карточки «категорий питания». Применение слова «категория» в групповом питании лишь повторяло язык газет, язык «больших» людей.

Однажды ночью хозяйственный начальник этот, бывший заключенный, вошел в избушку-контору МХЧ, где я работал ночью. Он открыл дверцу тумбочки и показал втиснутую туда пачку газет, полную «подшивку» Рыковского процесса.

— Сегодня ночью поменьше работай и побольше читай. — И вышел в ночь.

Я прочел весь этот «процесс» тогда и до сих пор поражаюсь его смелости, благородству его поступка. Вскоре я перестал работать в МХЧ ночами, уехал и никогда

больше не встречал этого человека, этого хозяйственника — Владимира Михайловича Смирнова.

Первую книгу я встретил на пятом году после Бутырок. Я хорошо помню эту встречу. Я был освобожден от работы в этот день по болезни — редчайшая удача.

В приземистом арестантском бараке были голые, закопченные нары в два этажа из бревен, разрубленных клиньями в длину. И верхние, и нижние нары при уборке прометались метлой, связанной из тонких прутьев, вроде русского «голика». Нары были пусты, на них не было ни одной тряпки, ни одной вещи — вся одежда надевалась рабочими на себя перед работой. Гарантия от краж, да и теплее. Хлеба, конечно, никто оставить дома не мог. По традиции освобожденные от работы по болезни помогали дневальному в уборке барака. Повышенная температура не была препятствием для такой работы. Отдых по болезни превращался в проклятие — арестант отдыхал только тогда, когда ложился в больницу, а туда попадали только будущие мертвецы.

Голый пустой черный барак с земляным утрамбованным полом, с железной бочкой-печкой с неугасимым огнем, темный барак без окон, освещенный только светом, падающим, входящим в раскрытую настежь дверь...

Я вымел верхние нары и опустился по зарубке-ступеньке на нижние. На углу нижних нар лежало нечто необычное, неестественное, неподходящее для барака, некое «инородное тело».

Это была толстая книга. Я не бросился, нет. Нет, я кончил мести нары, принес ведро воды, где стучали льдинки, по ночам ближайший ручей уже затягивало льдом, сел рядом с книгой и неуверенно, неумело взял ее в руки.

Это было «Падение Парижа» Эренбурга. Я раскрыл книгу, отгибая обеими руками страницу, вгляделся и сразу понял, что я потерял свою прежнюю способность чтения. Я читал всегда очень быстро — пятнадцать-семнадцать строк книжной страницы одновременно охватывались глазами и попадали в сознание, в память. Сейчас я глядел на строки — и ничего не понимал. Было еще светло, я стал шептать, выговаривать слово за словом, но никакого удовольствия от такого чтения не получил. Книга перестала быть моим другом. Я отвык от книги, и книга отвыкла от меня. Я был встревожен и усилием воли заставил себя читать и читать. Болела, шумела голова, но мне удалось принудить себя к чте-

нию. Я стал разбираться в сюжете, в отношениях героев между собой. Поступки были непонятны. Какое-то пустое убийство, вызывающее столько волнений!

Через несколько месяцев я увидел в руках блатарей томик Гюго «Собор Парижской Богоматери». Из него кроили игральные карты — бумага была плотная, блестяще-белая — сдваивать, склеивать листы было не нужно.

Я спокойно отнесся к этому кощунству и даже, рассматривая край одной из карт, успел прочесть несколько строк о Клоде Фролло, который летел в пропасть — на каменные плиты площади. Но кто такой был Клод Фролло — я так и не мог вспомнить.

Снова был ряд лет, когда я даже издали не видел книги. Я уже был ветераном Дальнего Севера и не думал, что когда-нибудь стану читать. Голодным, больным зверем я был, когда ложился в больницу для людей на поселке «Беличья».

Главным врачом была молодая женщина. Покровительница моя велела не спешить с перепиской и принесла мне книгу Генриха Манна «Юность короля Генриха Четвертого». «Юность короля Генриха» я прочел внимательно, несколько раз, и читательское чувство увлеченности книгой, безоглядного перехода в авторский мир — вернулось ко мне. Вот почему мне важно запомнить эту книгу. Книга могла вернуться ко мне раньше, чем женщина, книга была сильнее женщины. Сжалившийся надо мной фельдшер — заключенный Борис Лесняк приносил мне хлеб, селедку, табак и обещал сделать в тысячу раз больше.

Я был вымыт, одет в чистое, не вшивое белье, когда получил работу, — переписку каких-то историй болезни. Каждое утро на меня надевали чистый крепкий халат, шапку-ушанку, обували в огромные валенки и приводили в дом, где жил главный врач, — один в целом доме. Там было тепло, много еды — жирные остывшие борщи, холодные котлеты, молоко, белый хлеб. Я доедал все остатки с барского стола. Всего съесть было невозможно, и я набивал карманы стеганых ватных брюк и уносил куски «домой», в больничную палату, где поедал все это ночью, — лишь малую часть отдавая своим соседям по палате, — я был бесконечно голоден. Это было чертовское везение. Переписке не было конца, и я скоро понял, что работа моя лишь предлог помочь мне, оживить меня. Но мне было не до тонкостей — самое главное было воскреснуть из мертвых.

Больничное блаженство скоро кончилось. Новые мучения ждали меня на приисках, вечно одинаковых в своей жестокости. И снова проходили годы, когда вблизи меня не было никаких книг.

Пришла и кончилась война, а книги все не появлялись. Война была выиграна и именно поэтому «бдительность» достигла довоенного уровня. Но у меня появились надежды на жизнь — я работал уже не в забое, а фельдшером в большой больнице. Вслед за сытостью, за укреплением физической силы моей явилось вновь желание обладания книгой.

Фельдшера получали жалование около пятнадцати рублей в месяц — из общей суммы заработка их ставки вычитались «коммунальные услуги» в виде конвоя, надзирателей, колючей проволоки, немецких овчарок. Остаток выдавался заключенному на руки.

Скопив шестьдесят рублей и приложив к этим деньгам две пайки хлеба, я купил у бывшего актера Мейерхольдовского театра Португалова томик Хемингуэя с «Пятой колонной», ту самую книжку, которую в рассказе «Посвящается Хемингуэю» украл во время войны Виктор Некрасов.

Книга эта вновь вернула меня в мир читателей.

Через два года пришла новая удача. На «вольнонаемном поселке» была библиотека, тысячи две томов. Заведовал этой библиотекой — бесплатно, в порядке не то комсомольской, не то профсоюзной нагрузки — мой прямой начальник — заведующий приемным покоем — я работал фельдшером этого покоя. Младший лейтенант медслужбы Корженевский был хороший парень, но лентяй и трус, а работа в приемном покое огромной больницы для заключенных на тысячу коек была горячей и опасной из-за постоянных столкновений с блатарями, которые хотели подчинить себе больницу и ее работников. Конечно, блатные бы не решились на убийство Корженевского в качестве одного из аргументов спора. Жизнь вольнонаемного работника лагерей, притом «договорника», а не бывшего заключенного, — одно, а жизнь арестанта-раба — вовсе другое. Если бы блатные убили меня — никто из высшего начальства пальцем бы не двинул ни для мщения, ни для осуждения — и я это знал превосходно. Но блатарей я не боялся, имел с ними кое-какие счеты за убийства 1938 года. Я, фельдшер приемного покоя из заключенных, взял на себя всю работу и всю ответственность по приему больных. Помощ-

ников у меня не было, но я справлялся — сном я дорожил мало.

Моему официальному начальнику лейтенанту Корженевскому оставалось только получать свои три тысячи рублей в месяц и не вмешиваться в мои дела. Корженевский был парень хороший, все это понимал и придумал, как меня отблагодарить. Я пользовался свободным бесконвойным хождением по поселку — это было незаконно, не положено «по статье», но без этого в приемном покое нельзя было бы работать. Я мог бывать в поселке «кратковременно и по делу».

Корженевский вручал мне ключ от библиотеки и лучшего подарка сделать мне не мог. Я набирал десятки книг и совсем перестал спать. Я читал, читал, читал. В библиотеке этой было много дряни — тридцатые годы наложили свою печать на литературу тех времен. В новых изданиях было мало хорошего. Но в библиотеке было много книг изданий двадцатых годов — «Академии» и «ЗИФ». Были книги и дореволюционных лет. Именно тогда впервые в жизни прочел я Писарева — не Писарева — литературного критика, а Писарева — великого популяризатора знаний — на это ведь тоже нужен талант.

Я читал по ночам неутомимо, при перемежающемся свете электричества местного производства — глаза мои были всегда воспаленными.

Способность к скоростному чтению вернулась ко мне. Этой библиотеке и Корженевскому я обязан хоть частичной заделкой тех огромных многолетних провалов в чтении, в знании, в работе мозга, провалов, которые и составляют истинную цель всякого лагерного срока, всякой тюремной политики.

Уехал Корженевский — другие врачи продолжали приносить мне книги. Это не осталось секретом для лагерных надзирателей. Их служебное рвение не позволило смотреть сквозь пальцы на такие явные нарушения лагерного режима. Начальником больницы был в это время старик Люцарев, подполковник медицинской службы, бывший начальник Баумановской больницы в Москве. Он приехал на север за пенсией, чтоб оклад при расчете пенсии был достаточно высоким.

Мужик он был неглупый и быстро разглядел, что окружающие его вольнонаемные много хуже по своим человеческим качествам, чем арестанты.

На первый утренний прием к нему в кабинет явился больничный надзиратель — один из трех дежурных надзирателей — Мелешко.

— Докладываю вам, товарищ начальник, что фельдшер приемного покоя читает книги, — развязно доложил надзиратель.

— Ну и что?

Неопытный Люцарев попытался уловить криминал.

— Врачи вольнонаемные книги носят, а фельдшер заключенный читает...

— Ну и что?

— Врачи вольнонаемные носят.

— Вон! — загремел Люцарев, и Мелешко выскочил из кабинета. На дежурство он не возвратился. Так, совершенно случайно, больница избавилась от самого отвратительного надзирателя.

. . . .

Маяковский считал библиотекарей воинствующими агентами бескультурья и неграмотности. По Маяковскому, библиотекари — люди, которые ничего не читают, не любят книг, не любят стихов.

В этих простеньких парадоксах есть кое-что истинное. Подобно тому как «активисты», неспособные на партийную или хозяйственную работу, становились профсоюзными функционерами, как наименее талантливая молодежь заполняла педагогические институты, в библиотекари шли действительно люди ниже среднего культурного уровня. Библиотечный институт не поправлял дела, да в северных библиотеках не найдешь работников с высшим специальным образованием. Тамошние библиотекарши — жены лагерных начальников — тупицы на чудовищных окладах. Такая, в высшей степени любезная дама ждала меня в библиотеке Дорожного управления в поселке Адыгалах. У нас любят слова значительные. Так, больница с врачихой-южанкой называлась «Центральная районная больница». Таковы были официальные штамп, печать и вывеска учреждения. Библиотека Дорожного Управления тоже называлась «Центральная районная библиотека».

В это время я кончил срок заключения и ехал на фельдшерскую работу на отдаленный дорожный участок — попробовать свои силы в новой для меня специальности.

Заплывшая жиром библиотечная дама, прищурив подведенные глаза, пригласила меня сделать доклад о каком-нибудь романе, например о «Белой березе» Бубеннова. Мое замечание, что Бубеннов — не писатель,

не смутило даму. Тогда я вынужден был обратить ее светлейшее внимание на собственную общественную неполноценность — «бывший заключенный да еще с поражением в правах».

Тон разговора изменился мгновенно. Никаких просьб о романе Бубеннова больше не было. И даже разрешение на занятия в углу зала на маленьком библиотечном столике, заваленном газетами, было взято обратно.

Я поехал на участок в глушь за триста километров от Адыгалаха. Там ждала меня «передвижка» Центральной районной библиотеки, организованная жирной дамой, двадцать книг на три месяца для восьмидесяти шести жителей поселка. Девятнадцать из двадцати книг не поддавались чтению — это были романы Аркадия Первенцева и кого-то еще. Только одна книга, на тонкой газетной бумаге, с оборванной обложкой оказалась книгой. Это была «Бегущая по волнам» — лучшая книга Грина. Я знаю ее хорошо, люблю за трогательную поэтичность, за важность для людей всего сказанного на ее страницах, за светлый образ Фрэзи Грант — творческого начала жизни.

Я захватил «Бегущую по волнам» на самолет, когда прощался с Колымой. «Бегущая» была моим единственным талисманом в пути за тринадцать тысяч километров.

«Бегущая» была со мной и тогда, когда, скитаясь в поисках работы по Калининской области, я нашел работу после месяца, проведенного в вагонах пригородных, местных и дальних поездов, грохота электровозов, паровиков, дизелей — остановиться мне не давали мои колымские документы. Шел пятьдесят третий год — все в Москве еще дышало тем, что было до пятьдесят третьего года, — страхом.

Место, которое мне «вышло», было место агента по техническому снабжению на небольших торфоразработках. Четыреста пятьдесят рублей в месяц жалованья, сто рублей налоги и квартирная плата за койку в общежитии, обязательный «займ»... Но у меня был огромный опыт в экономном расходовании денег — на такой зарплате я проголодал более двух лет.

В этом крошечном поселке по торфодобыче годами не было в продаже масла, сахару, колбасы, разве что на «праздники», дважды в год: за всем этим каждое воскресенье ездили в Москву — вместе с жителями города Калинина — они были в таком же положении.

Но зато в поселке встретил я, к своей радости, замечательную, богатейшую библиотеку. Библиотека была загадкой. Культурный уровень библиотекарши — а она работала тут более десяти лет, не давал права думать, что книги собраны ее трудами. Она была только сторожем этих книжных сокровищ. Библиотека была подобрана, составлена чьей-то умелой и уверенной рукой из книг, купленных в букинистических магазинах столичного города. Здесь были все классики русской и мировой литературы, богатейший мемуарный отдел. Жихарев, Кони, Фигнер, Кропоткин — вот, кто давал тон в мемуарном отделе.

Ибсен, Гамсун, Андреев, Блок, Ростан, Метерлинк, весь Достоевский с «Бесами» и «Дневником писателя» теснились на полках. Даже прижизненное четырехтомное издание Державина стояло все.

Не было ничего лишнего, ничего случайного, ничего, не имевшего права стоять на книжных полках.

Вскоре я разгадал загадку. Главным инженером этого торфопредприятия был целых шесть лет ссыльный Караев. По его настоянию деньги, ассигнованные на книги, были деньгами, а не «средствами», и тратились в Москве в книжных магазинах столицы. Никаких «перечислений», никакого принудительного ассортимента. Дорогу настоящей книге! Караев сам ездил с библиотекаршей в московские букинистические магазины — езды от торфопредприятия до Москвы пять часов. Караев сам паковал и сам отправлял драгоценные свои находки в тверскую, калининскую глушь.

Только после его отъезда библиотека вернулась на торный путь снабжения через Книготорг и областком профсоюза и стала наполняться печатным хламом.

Караев сумел внушить библиотекарше понимание ценности тех книг, которые были им приобретены. Это сказывалось в той оригинальной системе абонирования, которая применялась в этой библиотеке. Книги были поделены на три части — часть наиболее дорогая по цене, что не всегда совпадало с духовной ценностью, была заперта на ключ в особый шкаф и выдавалась только «особо заслуженным» читателям. Для этого нужно было добросовестно возвращать книги, интересоваться ими — «привилегированности» мог добиться любой. Вторая, наибольшая часть — все сокровища Караева — стояла на полках, и читателям второй группы разрешалось самостоятельно рыться в

книгах, что на этих полках стояли. Наконец, третья группа читателей читала то, что лежало на столе около библиотекаря.

Не всякому можно было пользоваться книгами свободно. Но мне было можно — по тем же самым причинам, по которым в Адыгалахе было нельзя участвовать в читательской конференции.

Калининская область, «Большая земля» — не Колыма. С тридцать восьмого по пятьдесят третий год в России не осталось ни одной семьи, не затронутой арестами. Буквально у всех жителей торфяного поселка были родственники или близкознакомые в лагерях и тюрьмах. «Преступность» этих родственников не была секретом для жителей поселка.

Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием — такой, какого я не встречал ни на Колыме, ни в Москве.

Великолепная караевская библиотека — там не было ни единой книги, которой не стоило бы прочесть, — воскресила меня, вооружила меня — сколько могла. Бывая в любимой этой библиотеке чуть не каждый день, я часто был свидетелем одной и той же сцены. Большая часть читателей толкалась у барьера — и здесь был барьер! — у стола, за которым работала библиотекарша. К полкам их не пускали. По правую и по левую руку от нее были сложены стопки книг, изрядно изношенных, по преимуществу изданий последних лет. Это были «вторые экземпляры» или малоценные в денежном смысле книги. Библиотекарша наугад отобрала сотни две книг и пустила их в ускоренный оборот.

Рекомендации ее касались всегда только этой «ходовой» груды ничтожной духовной ценности по сравнению с остальным книжным фондом.

Приходилось мне и позже, и раньше видеть подобную «упрощенную» организацию библиотечного дела. Так работают почти все работники маленьких библиотечных «точек».

Когда несколько лет назад один из московских журналов хотел проверить популярность писателей по данным библиотек — вопреки официальной критике, — соображение о возможности организации дела, подобной рассказанной, сняло попытку журнала.

Библиотечная статистика — это не только вопрос культурности библиотекаря, но и его совести, его трудолюбия, его книголюбия.

В статистике моей библиотекарши с торфопредприятия самым читательным, самым популярным писателем был забытый мной автор документальной повести «Генерал Доватор». У книги был крепкий переплет, и библиотекарша энергично совала его каждому посетителю. Будучи лицом, «материально ответственным», библиотекарша предпочитала книги в надежных переплетах.

Цвейг называет книги «пестрым и опасным миром». В меткости определения Цвейгу нельзя отказать.

Но вместе с тем книги — это тот мир, который не изменяет нам. Возраст наш диктует нам наши вкусы и ограничивает, локализует восприятие. В разные годы жизни разное мы ищем и разное находим в одном и том же романе — я отчетливо знаю, чего я искал в мопассановском «Монт-Ориоле» в десять, в пятнадцать, в двадцать, в сорок, в пятьдесят лет.

Мы становимся взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина. Подлинное небольшое место Золя и Бальзака определяется нами только в зрелые годы. Мы ошибаемся в книгах. Мы читаем тысячи печатных страниц, на которые не нужно было тратить время.

Книги — люди. Они могут нас разочаровать, увлечь. В жизни каждого грамотного человека есть книга, сыгравшая большое значение в его судьбе. Зачастую это вовсе не роман гения, это — рядовая книга скромного автора. Для двух поколений русских людей таковой книгой был «Овод» Войнич. Для меня такой книгой-судьбой был прочтенный мной в 1918 году роман В. Ропшина «То, чего не было». И сейчас я помню наизусть, сам не знаю почему, многие, очень многие места из этой книги. Книги — это наше лучшее в жизни, наше бессмертие.

Мне жаль, что я никогда не имел своей библиотеки.

<Начало 1960-х гг.>

ВТОРЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ В ЖИЗНЬ

Мы все знаем, что писатель имеет право на домысел, на художественное преображение жизни, что писатель не несет ответственности историка в своей работе. Эстетические границы тут очень широки. Но существуют ли границы этические? И кто может запретить считаться с книгой — романом, повестью, рассказом — как мате-

риалом действительной жизни, внося вымысел снова в жизнь.

Левитан после «Попрыгуньи» много лет не разговаривал с Чеховым[1]. Прав ли был Левитан?

Есть примеры более серьезные, нежели репутация русского художника — писателя или живописца.

Есть книги-доносчицы. Неискушенные в тонкостях писательского ремесла следователи ставят знак равенства между вымыслом и действительностью, между художественным правдоподобием и жизнью. Удивительным образом за литературного героя отвечает не писатель, а сам герой — или прототип героя.

«Вторжение писателя в жизнь» осуществляется весьма своеобразно.

В 1914 году был повешен царем некий эсер Иванов. Престарелая мать Иванова получала от Советской власти пенсию за сына, погибшего в борьбе с самодержавием. Эту пенсию она получала до 1926 года. В 1926 году за границей вышла книга воспоминаний А. Спиридовича[2], жандармского генерала, начальника личной охраны Николая II в 1917 году. В этой книге (она была издана под названием «Записки жандарма» в 1926 году) знаменитый жандармский генерал упоминает фамилию Иванова — якобы его, Спиридовича, осведомителя в партии эсеров. Как это проверить? Иванов давно на виселице. Все же словам жандарма была дана полная вера, и мать погибшего была лишена пенсии. В хлопотах она умерла.

Случай — пример использования мемуара для практических целей — вещь допустимая, конечно, хотя и смерть Иванова бесспорна и служба Спиридовича не подлежит сомнению. Во всяком случае старушка умерла.

Второй пример книги-доносчицы не мемуар, не «Записки жандарма», а русский «исторический» роман небезызвестного писателя Льва Никулина «Адъютанты господа бога»[3]. Этот, вышедший в 1927 году сенсационный толстый роман на тему последних дней Романовых, изданный в ЗИФе[4], посвящен был в значительной своей части изображению жизни тогдашних хозяев России — митрополита Питирима, Распутина, Варнавы. Роман написан был по материалам, в нем было огромное количество действующих лиц. Несколько строк было отдано описанию секретаря митрополита Питирима, розового молодого человека Ивана Осипенко[5]. Через этого Осипенко и был связан Питирим с Распутиным.

Книга вышла в 1927 году. Тотчас она поступила в «разработку», в «проверку». Со времени распутинских кутежей прошло более 10 лет — часть действующих лиц романа бежала за границу, часть отдала душу богу.

Но не все бежали за границу и не все умерли.

Нашелся, в частности, секретарь митрополита Питирима — Иван Зиновьевич Осипенко. Он и не думал уезжать ни из Петрограда, ни из Ленинграда. Но будучи человеком и остроумным, и опытным, Осипенко решил, что прятаться надо в большом городе, в бывшей столице — там, где его меньше всего будут искать. Осипенко не менял имени, не менял документов — он, по его словам, не чувствовал себя «столпом самодержавия». После революции он все время работал и без большой беды перенес гражданскую войну, «разруху». Он работал и выбрал роль, заботясь о личной безопасности, старшего делопроизводителя Управления милиции города Ленинграда — ни много ни мало.

Все следствия по делу царских чиновников, министров и монахов давно закончились, закончились и дела сотрудников Временного правительства. Осипенко все работал аккуратно и исполнительно в Ленинградской милиции.

Он уже задумывал обзаводиться новой семьей и присматривал себе невесту — с молодых лет, с монашеских келий Иван Зиновьевич предпочитал телеса пышные. Таковые на примете были, должность у Ивана Зиновьевича была хорошая, надежная — и вдруг этот роман.

Романов советских авторов тогда было еще мало — товарищ Никулина — Валентин Катаев еще писал белогвардейские стихи для сменовеховской «России» и «Новой России» и к роману «Растратчики» не приступал. «Адъютанты господа бога» читались если не нарасхват, то охотно.

Вскоре после выхода книги арестовали Ивана Зиновьевича, который давно уже не был розовым молодым человеком, а был поседевшим, серебряноволосым, только голос — высокий тенор, которым так славно когда-то выводил он на клиросе «Исайия, ликуй», Иван Зиновьевич сохранил в полной мере. Запевая теперь с не меньшим воодушевлением «Мы кузнецы, и труд наш молод» — Иван Зиновьевич смело «ковал грядущего ключи».

От прежнего сохранил Иван Зиновьевич привычку при разговоре с начальством держаться обеими руками за пряжку ремня, перебирать пальцами, кланяться весьма пристойно, и равнодушным, безразличным голосом твердить в случае каких-либо служебных неприят-

ностей: «Не губите, товарищ начальник» — и кланяться, и перебирать пальцами поясную пряжку, как четки: вместо больших бусин сигналом к поклонам «аминям» были углы матросской пряжки, четыре угла.

Верная служба митрополиту Питириму была приравнена к службе в царской охранке, и Иван Зиновьевич Осипенко получил срок. Пять лет концентрационных лагерей. Срок большой по тем временам — детству русских лагерей. Грамотность, покорность, исполнительность и каллиграфический почерк Ивана Зиновьевича обеспечили ему внимание начальства. Покорность, живость характера, уменье общаться с начальством любого масштаба — все это было в крови Ивана Зиновьевича. Ни о каких общих работах и разговору не было. Его прямо спросили — кем он хочет работать. Иван Зиновьевич намекнул о своем опыте по интендантской части, о способностях сервировать ужин или банкет. Иван Зиновьевич был проверен при проезде высокого лагерного начальника — и не ударил в грязь лицом. Его взяли на хозяйственную работу, и Иван Зиновьевич справился с этой работой и уже начал отращивать опавшее было брюшко и бриться каждый день. Однако его чрезмерное раболепство перед лагерным начальством и трусость привела к ряду печальных ошибок в работе Ивана Зиновьевича, и он исчез с хозяйственного горизонта. Впрочем, срок его уже кончался, здоровье в Иване Зиновьевиче было на десятерых, щеки блаженно розовели.

Иван Зиновьевич редко удостаивал соседей рассказами о Распутине и Питириме. Он застенчиво улыбался, шутил, переводил разговор на что-либо другое — следствие Иван Зиновьевич запомнил хорошо. Но на прямой вопрос:

— А как тебя, Иван Зиновьевич, поймали? — Поднял белесые брови — Иван Зиновьевич был «альбинос» — и высоким тенором ответил:

— Да все этот подлец Никулин. «Адъютанты господа бога». С этого романа все и началось...

Иван Зиновьевич Осипенко — действующее лицо исторического романа — действительное лицо. Страницы беллетристического произведения привели к возобновлению интереса к делам и людям давно минувших дней. Для Осипенко роман «Адъютанты господа бога» оказался книгой-доносчицей. Право писателя на использование фактов жизни решительно оспаривалось Иваном Зиновьевичем Осипенко.

* * *

Судьба Ивана Зиновьевича — трагические последствия «вторжения» исторического романиста в жизнь. Литература знает примеры, когда отнюдь не исторический психологический роман был использован подобным же образом. Дело идет о произведении достаточно известном — о «Дне втором» Ильи Эренбурга.

В 1932 году Эренбург собирал материал для «Дня второго». Он был в Сибири, останавливался на несколько дней в Томске, встречался с томской молодежью того времени. В тридцатых годах на встрече рабочих авторов завода «Шарикоподшипник», посвященной как раз «Дню второму», Эренбург делился своими замыслами, своими новыми планами. «В “Дне втором”, — сказал Эренбург, — я показал человека, который мыслит книжно. В следующем своем романе я покажу рабочего, который мыслит газетно»[6]. Роман с рабочим, «мыслящим газетно», так и не был написан — время оказалось «трудноватым для пера». На этой же встрече комсомольцы ГПЗ с пристрастием допрашивали Эренбурга — зачем он взял эпиграфом к своему роману фразу из Библии. Из Библии! Эренбург пытался объяснить, что Библия — неплохая книга, но это объяснение не удовлетворило комсомольцев. Такие сомнения бывают не так уж редко и возникают вовсе не в среде дилетантов, рабочих — авторов завода «Шарикоподшипник».

В 1959 году ленинградская критикесса начала разбор «Сентиментального романа» Пановой с фразы о том, что уже пушкинский эпиграф к роману «настораживает»...

Так, вот, Володя Сафонов, главный герой эренбурговского романа, не был выдуман автором целиком и полностью. Нет, у Володи Сафонова был прототип — ибо творческий метод Эренбурга тот же самый, что и у большинства русских прозаиков, тот же самый, что у всех без исключения русских классиков. Только писатель типа Грина мог обойтись без реальных фигур, воздвигая свои романтические замки.

У Володи Сафонова был прототип — молодой томский парень, горячий, увлекающийся, любитель художественной литературы, поклонник Эренбурга, мечтавший о встрече с ним. Эта мечта осуществилась, когда Эренбург приехал в Томск. Они виделись в гостинице, где жил Эренбург, много беседовали друг с другом.

В писательском ремесле есть одна любопытная особенность. Когда обдумывается роман, повесть или рассказ, то очень часто это обдумывание — примерка фраз, смысловая и звуковая — ведется вокруг фамилии реального героя-прототипа; автор для удобства своей работы сохраняет подлинную фамилию героя в своих набросках. Или эта фамилия меняется незначительно, чтоб сохранить ее звучание, ее весомость, — количество слогов в новой, измененной фамилии обычно остается прежним. Если с самого начала не пересилить себя, не заставить себя размышлять о поступках, сразу выдумав ему другое имя, то может оказаться поздно, и чужая, отличная по своему фонетическому каркасу фамилия помешает работе над рассказом, затормозит его.

Примеров этому — множество. Болконские-Волконские — лишь наиболее известный пример подобного рода.

Прототип Володи Сафонова жил в Томске и назывался по паспорту Владимир Сафронов. Эренбург сохранил имя, почти не изменил фамилии героя, когда писал и написал роман. В этом не было, разумеется, ничего необычного или предосудительного — ни один мудрец не мог бы предугадать изобретательность и моральные пределы слуг государства конца тридцатых годов. Володе Сафронову было в высшей степени лестно явиться миру в обличье Володи Сафонова.

В романе Эренбурга были и еще кое-какие детали реальной жизни Томска начала тридцатых годов. Кружок «Ша-Нуар» — остался и в романе «Ша-Нуаром».

Роман «День второй» вышел, имел шумный успех, широко обсуждался. И в Томске, конечно, и в Томске горячее, может быть, всего.

Сам Эренбург многократно выступал в защиту своего героя — он не считал Володю Сафонова (как и Володю Сафронова) отрицательным героем. Эренбург сделал Володю Сафронова рупором особенного рода характеров, типом людей-одиночек, вступающих в конфликт с обществом, одиночек талантливых, честных, но идущих по неверному пути.

Общественностью — всяческой — литературной, партийной и читательской — Володя Сафонов был осужден и осужден решительно.

Читающая публика, общественность Томска всегда считала Володю Сафонова — портретом Володи Сафронова, живого томича. Сам Володя Сафронов считал так же. Во всем этом не было ничего плохого. Беда была в

том, что этого же мнения держалось и Томское отделение НКВД.

После смерти Кирова Володя Сафронов был арестован, обвинен, осужден и сослан. Отбыв за него трехлетний (ведь это был 1935 год!) срок наказания, ошеломленный Володя вернулся в Томск. К этому времени «техника на грани фантастики» достигла больших высот — было проведено несколько громких «открытых» процессов, вынесены тысячи приговоров. Разбираться в литературных тонкостях типизации и законах искусства никто из следовательского аппарата и не думал. «Прототипа» забирали при каждой кампании, «дело» следовало за «делом», срок за сроком. Следствие, тюрьма и лагерь надломили здоровье сибиряка.

Невропатолог Перли[7], профессор Римской Академии наук, встречался с сестрой Володи Сафронова. Володя был инвалидом и не мог говорить об Эренбурге без злости.

В 1956 году Перли написал Эренбургу письмо, где рассказывал всю эту грустную историю. Перли упрекал писателя в трагической неосторожности, которая привела чуть не к гибели человека.

Эренбург ответил на это письмо. Он прекрасно помнил томского собеседника. Эренбург спрашивал — если верно то, что сообщил ему Перли — почему Володя не обратился к писателю сам. Пусть он это сделает.

Перли не отвечал Эренбургу. Объяснять, что Володя не может слышать имени Эренбурга без проклятий, самых тяжелых лагерных проклятий — Перли счел не нужным.

Таково было «вмешательство писателя в жизнь».

<*Начало 1960-х гг.*>

ВОРИСГОФЕР[8]

(из рассказов о детстве)

По вечерам за столом, под большой керосиновой лампой-«молнией» читали — каждый свое, а иногда кто-нибудь читал вслух. За этим же столом делал я и свои школьные уроки.

Отец говорил с нами мало, но иногда поворачивал к свету книгу, которую я читал.

— Мережковский. «Воскресшие боги». У нас ведь есть в шкафу — в другом издании, черная обложка.

— Это не «Воскресшие боги».
— А что же?
— Это — статьи.
— Что еще за статьи? — И отец взял у меня книгу из рук. — Не мир, но меч. Это тебе, пожалуй, рано.
Мне было десять лет.
В другой раз большая пестрая обложка привлекла внимание отца.
— А это?
— Один французский автор.
— А именно?
— Понсон дю Террайль.
— Название? — Отец уже сердился.
— «Похождения Рокамболя».
Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено приносить Рокамболя в квартиру, квартиру — где, подобно Рокамболю, изгонялся Пинкертон и Ник Картер и пользовался почетом Конан Дойль.
Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось дочитывать у кого-то из товарищей.
Но жизнь шла, и вот отца посетил наш учитель географии Владимир Константинович, мой классный наставник.
В нашей квартире, из-за большой семьи, тесноты, двери закрывались плохо, и я легко услышал разговор.
— Способности вашего сына очень большие, Тихон Николаевич. Надо не прозевать времени — открыть ему дорогу к книге.
— Резон, — сказал отец. Думал и решал он, как всегда, недолго, а признание, успех — были для отца аргументом веским, чуть не единственным.
Вскоре я был отведен к ... [Фамилия неизвестна. — *Ред.*], знаменитой вологодской ссыльной даме — седой старушке — хозяйке большой библиотеки.
Седая дама, наведя на меня пенсне, как лорнет, то приближая, то удаляя, внимательно меня оглядела...
— Это — кто же?
— Это сын Тихона Николаевича.
— Тихону Николаевичу, кажется, не везет с сыновьями.
— Это — младший.
— А-а... Слыхала, слыхала. Ну, покажись. — Рука дамы легла на мое плечо. — Сейчас я покажу тебе сокровища.

Дама встала с кресла бойко, прошла со мной в конец комнаты и откинула занавеску. Длинные ряды книжных полок уходили вглубь, в бесконечность. Я был взволнован, потрясен этим счастьем. Сейчас меня подведут к книгам и я буду перебирать, гладить, листать, узнавать. Я ждал, что хозяйка подведет меня к полкам, толкнет и я останусь тут надолго — на много часов, дней и лет.

Но случилось не так.

— Ты должен читать путешествия? Да?

— Да.

— Майна Рида?

— Я читал Майна Рида.

— Жюля Верна?

— Я не люблю Жюля Верна.

— Ливингстона?

— Я читал Ливингстона.

— Стенли?

— Я читал Стенли.

— А Элиза Реклю? «Человек и земля».

— Я читал Реклю.

— Хорошо, — сказала старушка. — Я знаю, что тебе дать. Я дам тебе Ворисгофера.

И кто-то незримый, скрытый в полках, сказал громко:

— Да! Да! Ворисгофер воспитывает характер.

Я осторожно взял Ворисгофера.

— А еще?

— Пока все. Через две недели прочтешь не спеша. Запишешь содержание и расскажешь мне — или вот Николаю Ивановичу — если меня дома не будет. — Перст седой дамы был устремлен в сторону незримого в книжных полках.

Надо ли говорить, что я не был больше в этой общественной библиотеке.

Мой классный наставник Ельцов, оставивший в то время школу и ставший директором Вологодской Центральной библиотеки, дал мне билет в читальный зал и абонемент, и я читал там запоем все свободное время.

БЕРДАНКА

(из рассказов о детстве)

Мне исполнилось десять лет. По семейной традиции мальчику в этот день дарилось ружье — не тулка, не венская централка или бескурковое немецкое, а первое ружье: русская берданка шестнадцатого калибра.

Но я, который на все охоты ездил с величайшим неудовольствием и, к позору всей семьи — и мужчин и женщин, не умел стрелять, — как я приму этот подарок.

— Отец хочет тебе на день рождения подарить берданку, собственное ружье, — сказала мама.

— Мне не надо ружья, — сказал я угрюмо. Все замолчали.

Отец, которого эта обидная неожиданность тревожила недолго, уже нашел официальный выход, вполне «паблисити».

— Хорошо. Мы будем совершать подвиги, а ты — их описывать. Договоримся.

— Договоримся, — сказал я. Самое главное, чтобы отстали насчет ружья, а подарка, может быть, и не надо никакого.

В раннем детстве мне дарили игрушки — мечи, кинжалы, пистолеты, которые мне не нравились, оловянные солдатики.

Лисичка, меховая лисичка с поющей пружинкой и плюшевый медведь — много лет хранил я их в своих вещах.

Но уже давно я хранил в своем волшебном ящике множество бумажек от конфет — портреты генералов — Рузский, Брусилов, Иванов, Алексеев, Козьма Крючков, повторенные тысячей конфетных зеркал, — все это не имело для меня никакого значения. Это мог быть и Толстой, и Тарас Бульба и Андрей Болконский, и Пьер Безухов, и Симурден из «Девяносто третьего года» Гюго. Я разыгрывал в лицах все пьесы, все романы, все повести, которые я прочел, все кинокартины, которые я просмотрел. И родители не могли бы мне сделать подарка лучше.

Я разыгрывал сцены из Библии, весь этот набор картинок, сложенных конвертиком конфетных обложек, — это и был мой волшебный мир, о котором не знали родители.

Любой прочитанный роман я должен был проиграть — один, шепотом.

Никто этого не знал и не узнал никогда.

Для этой Аргонды не нужно было даже одиночества.

А из игрушек — лисичка и медвежонок. А теперь берданка, чтобы перестрелять своих прежних друзей.

И «Детство Тёмы» Гарина я тоже проиграл своими конфетными бумажками и только тогда (а не в чтении) заплакал, жалея Жучку.

У меня не было Жучки. Собака была явно отцовской, братишки. На меня Орест или Скорый и смотреть не хотел, когда начинали собираться на охоту, а только выли, лаяли и по пятам ходили за братом.

Как вологодская кружевница шьет по узору не импровизируя, так я по узору романа, фильма переигрывал все дома.

И «Охотники за скальпами» и «Рокамболь», «Христос и Антихрист» и «Война и мир» — все проигрывалось так.

Это была моя тайна.

Передовых статей и вообще статей таким способом усваивать было нельзя — все это относилось только к художественной литературе.

Никто не мог мне подарить ничего более чудесного, чем мой волшебный ящик, который я тогда вовсе не называл волшебным ящиком, а просто недоумевал, как старшие — родители, родственники, братья, сестры и товарищи по школе — не могут понять простой механики этого превращения — этот театр, который надо было только шептать. Меня не подслушивали и не следили, что мне шепталось.

А шептался просто ход романа в моем пересказе — герои встречались друг с другом, спорили, сражались, искали правду, защищали животных.

Эта игра касалась только романов. Я не играл обертками конфет в нашу семью, в самого себя.

Зачем мне был такой подарок, как берданка?

Я не помню себя неграмотным. Я читаю и пишу печатными буквами с трех лет.

Отец не забыл разговора. 5 июня 1917 года отец мне вручил большую толстую тетрадь в золотом переплете с золотым тиснением — «Дневник Варлама Шаламова».

Подарок был вполне в стиле, в характере, в духе отца.

Немножко «паблисити», немножко уважения к собственному мнению десятилетнего сына (отказ от берданки) — оригинально, можно показать гостям обложку, конечно, самому прочесть запись и заглянуть в душу сыну. Это не какой-нибудь альбом для романсов и мелодекламаций, которыми увлекалась Вологда тех лет. Не мещанство — факты, цифры, сбор документов, умственная тренировка. Словом, отец был доволен своим подарком.

Я же в этом парадном дневнике записал, принуждая себя, пять-шесть страниц. Года за два до этого в общей тетради я уже вел такой дневник — вел и уничтожил,

сжег. Мои романы, мои исследования символизма и бессмертия, мои споры с Мережковским были записаны в других тетрадях, неизвестных отцу.

Конечно, несколько страниц я записал — для отца, вклеил несколько газетных вырезок, прокламаций. Написал стихотворение «Пишу дневник», которое было отцом просмотрено весьма неуверенно — он ничего не понимал в стихах.

Но подошел восемнадцатый год, и дневник был забыт, отложен в долгий ящик. Забыт и мной и отцом. Хранился у сестры, конечно, сожжен среди прочих бумаг после моего ареста.

Сколько моих следов в жизни уничтожено огнем — трусливыми руками родственников.

ШАХМАТЫ И СТИХИ

Жена Лимберга была страстной шахматисткой, а сам Лимберг был большим лагерным начальником, «обсосом», как говорилось на блатной фене в то блаженное время, когда блюли всякие законы — и гражданские, и блатные. Лимберг был заместителем Берзина, приехал на «перековку», хотя слово это появилось позднее, на Медвежьей горе. «Курилка» с Соловков был уже расстрелян[9], на смену «произволу» шла «перековка». Ее и привез в Вишерский лагерь Лимберг, латыш. Но в шахматы он не играл, а жена его была страстной шахматисткой. Среди лагерного начальства она не встречала достойных партнеров по шахматной своей силе. Она играла в клубе, лагерном клубе с заключенными.

Художник Новиков, растратчик, которому срок чуть не выдали «весом», но в последнюю минуту заменили на десять лет, был хорошим шахматистом и в Москве даже посетил Международный турнир с Капабланкой и Ласкером. Это был бесспорный вишерский чемпион.

Вторым по силе был калмык Шембеков, практик и хитрец.

Третье место занимал я — нарядчик одной из лагерных рот.

А супруга Лимберга играла почти как Вера Менчик[10] — она выигрывала на моих глазах у Новикова, у Шембекова...

Пришла и моя очередь сыграть с именитой шахматисткой.

Фигуры были расставлены, игра началась, и я увидел сразу, что мадам Лимберг — слабый игрок. Я выиграл партию.

— Сыграем еще, — сказала начальница.

Я расставил фигуры. Шембеков толкал меня локтем в бок дважды, но я выиграл и вторую партию.

Начальница заволновалась:

— Что-то я плохо сегодня играю. Завтра обязательно сыграем еще... — И она, грузно опираясь на стол, встала и вышла.

— Что ты делаешь? — зашептал Шембеков. — Ты понимаешь, что ты делаешь? Мальчишка!

Появился Новиков. «Обыграл, дурак. Обыграл».

— Начальство нельзя обыгрывать.

На следующий день начальница снова проиграла.

— Разрешите мне, — сказал Новиков.

— Зачем? Я ведь в шахматы играю. Шахматисты подхалимов не любят.

Новиков покраснел.

Все это было в двадцать девятом году, а в пятьдесят пятом было другое.

Я приехал в пятьдесят третьем с Колымы, и в паспорте у меня была записана 39-я статья — право жительства в поселках с населением не свыше 10 тысяч человек. Я было попытался устроиться в Конакове, в райздраве на должность фельдшера, но колымских моих документов хватило лишь на оклад медсестры с незаконченным образованием — 230 рублей в месяц. Пришлось мечты о фельдшерской работе оставить и искать что угодно.

В Калинине я встретился с директором местного торфотреста[11] — я когда-то знал его отца. Сам директор посидел в 1937 году года два в тюрьме, и хотя ему обошлось все благополучно — некоторое понятие о законности того времени он составил. Директор устроил меня не в Калинин, там жить мне было нельзя — город велик — и не в «своих» торфопредприятиях, а из осторожности — в строительное управление, где начальником был его хороший знакомый.

Я много раз ночевал у директора, познакомился с его женой, с сыновьями — один учился в университете, любимец мамаши, другой кончал среднюю школу. Мамаша, жена директора, ухаживала за мной, как за родным сыном, вручала ключи от квартиры, всячески заботилась. На строительстве товароведом я проработал недолго. Начальник строительства выдвинул меня на тысячный оклад в должность зам. зава отделом, и партийная органи-

зация строительного управления выразила официальный протест по этому поводу. Тут и начальника сменили.

Приехал из Москвы на «низовку» бывший начальник спецотдела некто Берлин. Строительство выполняло до прихода Берлина тридцать процентов плана. С приходом нового начальника стало выполняться пятнадцать, и Берлин был спешно снят. Но за это время он как бывший спецотделец с надлежащим знанием и умением уволил несколько человек по мотивам «бдительности». Я до сих пор храню копию приказа о моем увольнении: «в связи с невозможностью использовать в гор. Калинине». Директор перевел меня на свое торфопредприятие, и я там на вдвое меньшем, чем на строительстве, окладе работал с большой охотой до самой своей реабилитации.

И каждый раз, приезжая в Калинин, я мог остаться ночевать у директора и действительно этой любезностью пользовался несколько раз.

Но случилось вот что. Красавец студент, сын директора, вздумал писать стихи — того же качества, что пишут все в его возрасте. Матери это показалось признаком гениальности. Зная, что я, кажется, занимался раньше литературой или писал в газетах, что, по их общему мнению, было еще лучше, они преподнесли мне толстую пачку листков с лирическими стихами гениального сына. Я имел терпение все перечесть самым аккуратным образом и, перечтя, сказал, что «стихов тут еще нет» — то неуловимое, что называется поэзией, сюда еще не пришло.

Красавец студент вежливо поблагодарил меня за совет, и все вместе пообедали, как выяснилось, в последний раз.

Через несколько дней я вошел вечером в квартиру директора. Директор накачивал примус и не глядел мне в глаза. Я спросил о здоровье жены.

— Больна, больна.

— А мне можно переночевать?

— Нет, нет. Больше ночевать у нас нельзя.

Это была моя последняя встреча с директором у него дома.

ГЛУХИЕ

Я медленно глохну. Зрение заменяет мне слух. Глаза обладают силой ушей, помогают ушам, кидаются на помощь. А когда темно — руки помогают ушам. Но, конеч-

но, руки не глаза. Я еще слышу мир, еще могу беседовать с людьми, если вижу мир, движущиеся губы. И каким-то особым напряжением мозга, ранее мне неизвестным, угадываю слова и успеваю подобрать ответ и чувствую себя еще человеком. И никто не знает, сколько душевных и нервных сил стоит мне каждый разговор.

У меня есть тревожные, бередящие душу воспоминания.

Слуховой рожок, очки? Нет, при моей болезни рожок и очки не помогают. Больше того — сам отказ мой услышать с помощью очков — служит для различения моей болезни, или, как говорят медики, служит средством дифференциальной диагностики.

Очки, слуховой рожок мне не годятся. Но мир глухонемых — веселый, оживленный мир. Их азбука, их жесты кажутся живостью, весельем, а наверное, это совсем не веселье. Проклинаю свою глухоту, сигнализирует один. И я тоже, отвечает другой. Да! Да! Да! Проклинают.

В тридцать четвертом году приглашен был я на встречу деятелей науки и писателей. В том доме, в том зале — это было на Поварской, — где столько после было писательских собраний. Седьмая комната не вместила явившихся на встречу. Ученые были математик Гельфанд[12], молодой еще, мальчик совсем, Лисицын, братья Завадовские, которые скоро должны были погибнуть. Из писателей самым крупным, самым колоритным был Вересаев, сидел в первом ряду писательской группы в своем брезентовом плаще, да и другие не раздевались. Председательствовал Семашко, веселый, живой человек, написавший такую скучную автобиографию; лишенный всякого писательского дара, Семашко был общительным, культурным, разносторонне одаренным человеком. Но писать не умел.

На этой встрече сразу определились разные уровни общей культуры писателей и общей культуры ученых.

Ученые были даже в писательских вопросах, в вопросах психологии творчества пограмотнее любых писателей. Сидевший со мной рядом Даниил Крептюков, у которого ЗИФ издавал полное собрание сочинений, не нашел ничего лучшего, как рассказать о своем дежурстве в Зимнем дворце во время войны и о развлечениях великих князей из дома Романовых на манер калидонской охоты[13].

Другие писательские выступления были не лучше — и знаток Горация, переводчик Вергилия Вересаев укоризненно наводил свой слуховой рожок на очередного оратора и первый пожимал плечами после каждой речи.

Этот слуховой рожок Вересаев наводил и на рты ученых и удовлетворительно улыбался после речи Завадовского или Лисицына.

Вересаевский слуховой рожок и остался в моей памяти от этого странного собрания.

Главный хирург Советской армии Бурденко был глух вовсе. Но работу бросать не хотел. Глухота придавала особый колорит административной работе Бурденко. Громким деревянным голосом он быстро задавал вопросы, спешил, а для ответа совал блокнот с привязанным к нему карандашом.

Годы были тревожные, тридцать седьмой, и за спиной Бурденко говорили, что он аггравант, преувеличивает степень своего заболевания и, заставляя писать ответы, хочет оставить «следы», «обезопасить себя», и так далее. Но Бурденко был глух.

Томский[14] терял слух медленно. В тридцать втором году на партийных собраниях в Москве громили «правых», а Томский был ведь лидером. Промолчать — значило струсить, а Томский глох, не слушал, что говорил оратор от «ортодоксов». Полемик Томский был блестящий, но какая уж полемика для глухого! Томский понимал яснее и раньше других, куда все идет.

Страдание было на его лице, когда, оттопырив ухо, подходил, не стесняясь, к трибуне, где председательствовал какой-нибудь мальчишка, и напряженно слушал, слушал, слушал.

Томский понимал, что речь идет о жизни и смерти. Устав от напряжения бесполезного, Томский перестал слушать и сел за стол президиума на край стола и обхватил голову руками.

И когда очередной оратор кончил говорить — нагнулся к председателю и сказал, как-то заискивая, както беспомощно улыбаясь:

— Проработали Михаила Павловича, братцы?

— Проработали, — сухо ответил председатель.

И Томский встал и вышел на трибуну, отмахиваясь от вспышек фотокорреспондентов, треска киноаппарата и, забыв и презрев глухоту, говорил, говорил, говорил. К 1937 году Томский оглох вовсе. После одного собрания, где ему писали записки, а он «отвечал», Томский приехал на дачу, велел своей старушке жене поставить самовар — сказал, что будет пить чай в саду. Когда старушка жена прибежала на выстрел, Томский был уже мертв.

ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК

В Чистом переулке жил Николай Константинович Муравьёв. Что это за имя? Никто, кроме стариков, да еще стариков-интеллигентов не знает Николая Константиновича Муравьева. Есть Муравьев-вешатель, в честь которого Некрасов слагал оды, есть Муравьев-декабрист, есть Муравьев-Амурский. Тех знают. Имя Николая Константиновича Муравьева забыто потому, что свержение самодержавия, Февральскую революцию знают у нас плохо. У нас знают Щёголева — редактора издания «Падение царского режима», помнят, что Александр Блок участвовал в редактуре стенограмм допросов царских министров. Эти допросы чинила особая комиссия Временного правительства. Председателем этой комиссии был известный политический защитник начала столетия Николай Константинович Муравьёв. В политических процессах царского времени проблистало немало имен: Карабчевский, Плевако, Спасович, Андреевский.

Эти ораторы произносили речи, речи входили в золотой фонд русского права. Но политический процесс не состоит только из речей. Речам предшествует кропотливая, требующая огромного нервного напряжения, мобилизации духовных и физических сил работа защитника на следствии, допрос свидетелей, изучение дела, все юридические качества процесса. Так накопляется крупица за крупицей тот материал, который дает возможность юридической победы, триумфа Карабчевского и Плевако. Ведущий процесс адвокат — действительный организатор победы — остается в тени. Но среди защитников знают истинную цену, истинный вклад каждого из нескольких адвокатов, берущих на себя защиту в политических процессах. Это Гамбургский счет мира юристов. И по этому счету имя Муравьёва котировалось очень высоко. Никто лучше его, мастера перекрестных допросов, не умел запутать свидетеля обвинения, никто не умел лучше навести обвиняемого на спасительный ответ.

Много жизней спас Николай Константинович своим умением вести перекрестные допросы. В пятом году защищал рабочих, которые убили директора фабрики. Дело почти бесспорное, прокурор действовал энергично, умело отметая все доводы защиты. Был и свидетель обвинения, видевший убийство своими глазами. Был суд присяжных, и все дело висело на тонкой-тонкой ниточ-

ке. Этой ниточкой была секретная служба свидетеля в охранном отделении. Свидетель закончил свои обличающие показания.

Председатель суда. У обвинения есть вопросы к свидетелю?

Прокурор. Нет.

Председатель суда. У защиты?

Муравьёв. У меня есть вопрос. Скажите, свидетель, чем вы занимаетесь?

Свидетель молчит. Прокурор негодующе машет руками.

Председатель суда обращается к свидетелю.

— Свидетель, вы можете на этот вопрос не отвечать.

Свидетель. Позвольте мне на этот вопрос не отвечать.

Муравьёв. У меня есть еще вопрос к свидетелю. Скажите, свидетель, отчего вы не хотите отвечать на первый вопрос? Может быть, вам стыдно того, чем вы занимаетесь?

Движение, шум в зале. Председатель звонит в колокольчик и сердито говорит свидетелю:

— Можете на этот вопрос не отвечать.

Свидетель. Позвольте мне на этот вопрос не отвечать.

Муравьёв. Больше у меня вопросов нет.

Показания столь скомпрометированного свидетеля не принимаются присяжными в совещательной комнате и обвиняемых оправдывают единогласно!

Вот этот самый юрист, Муравьёв, и был назначен Временным правительством вести допросы царских министров. У Щёголева в опубликованных стенограммах («Падение царского режима») по тексту допросов называется только «Председатель» — это и есть Муравьёв...

...Политика — дело зыбкое в смысле бессмертия. Но Чистый переулок славен не одним Муравьёвым. В одном из домов, как идти по правую руку со стороны улицы Кропоткина, есть железная решетка, густая, с каким-то лиственным узором. Решетку эту красят попеременно то в темно-коричневый, то в темно-зеленый цвет. В решетке есть калитка, которая теперь не закрывается, но когда-то закрывалась. Среди железных листьев укреплен незвонящий электрический звонок, пуговка, не действующая уже много десятилетий, а близ пуговки надпись «Малявину». Здесь жил когда-то знаменитый русский художник, ничтожная часть работ

которого завоевала такую славу в Третьяковской галерее. «Бабы рязанские» — вихрь красок.

Малявин был простой крестьянин. Искусство подняло его, как Репина, как Сурикова, очень высоко.

После Октябрьской революции кому бы, как не Малявину, поддержать и приветствовать новую власть. Малявин поступил экстравагантно. Стал заявлять всюду, что он — незаконный сын какого-то графа или князя, но отнюдь не природный крестьянин. Такое поведение было малявинской формой протеста, выражением неприятия революции. Дочери, которой было пора уже поступать в вуз, эти отцовские фокусы обошлись дорого.

Я видел один из портретов работы Малявина — акварель, написанная по принципу — угадать и раскрыть душу объекта, «хотя бы в ущерб внешнему сходству». «Портрет — это мое мнение о человеке», — как бы говорил Малявин. Как все большие люди искусства Малявин чувствовал работу «смежников» хорошо, тонко.

Вовсе не знаток музыки, Малявин выслушал однажды подряд два траурных марша разных авторов. Задумался и сказал:

— Для первого автора смерть — это печаль, грусть. Для второго смерть — это ужас, гибель мира. Только вот эти, — Малявин сделал движения пальцами, — украшения, пожалуй, лишние. Краски должны быть строже. А уж в красках-то я понимаю!.. — Малявин чуть улыбнулся, но был серьезен, строг, даже напряжен. Автор первого траурного марша был Шопен, второго — Бетховен.

Напротив дома, где жил Малявин, был особняк с садом за высокой чугунной решеткой в несколько метров высоты. На ночь в сад спускали с цепей восемь датских догов, и огромные псы резвились целую ночь вокруг особняка, не лая, впрочем, на случайных прохожих. Да и лаять было не на кого — в Чистом переулке останавливаться было запрещено, как на Красной площади. За этим наблюдали два дежурных милиционера, неотлучно круглосуточно вращавшихся вдоль решетки особняка, и четыре человека в штатском — в четырех одинаковых зимних пальто с кроличьими воротниками и черными ушанками, униформа дополнялась белыми валенками. За углом стоял «виллис». В «виллисе» сидели еще два человека в таком же наряде. Как только из ворот особняка выезжал автомобиль с флажком на радиаторе, один из дежурных махал рукой <своему> автомобилю, шофер включал стартер, первые двое садились в маши-

ну, и «виллис» вылетал вслед большому «паккарду» или «оппель-адмиралу» с флажком на радиаторе.

Автомобиль возвращался, за ним подъезжал «виллис», и двое в белых валенках начинали свое кружение по переулку. Люди эти понимали свою заметность, но это их отнюдь не тревожило. Раз как-то я невольно подслушал их оживленный разговор.

— Вот завтра ты за меня отработай, а я выйду за тебя в пятницу.

Разговор почему-то запомнился. Зимой у агентов наружного наблюдения были вечные недоразумения с домовой столовой, которая была там в полуподвале. Агенты требовали обогрева в большие морозы, ссылались на кодекс об охране труда, лезли в столовую, сидели там в урочное и неурочное время. Управдом, которому была подчинена столовая, не любил этих визитеров и категорически отказался дать им приют и обогрев, «пока не представят бумажки».

Признаться, мы все с почтением глядели на бесстрашного управдома.

Каждый праздник старичок-дворник укреплял над чугунными воротами особняка флаг, не просто флаг, а штандарт небывалого размера. Полотнище флага перевешивалось через улицу, чуть не достигало тротуара на противоположной стороне переулка. Огромный флаг был красного цвета с белым кружком посредине, на белом кружке чернела фашистская свастика. В особняке жил гитлеровский посол граф фон Шуленбург, тот самый, который после, в 3 часа утра 22 июня 1941 года, вручил объявление войны. Граф фон Шуленбург был потомственным юнкером, потомственным военным. Отец посла был в Первую мировую войну фельдмаршалом на Западном фронте. Посол фон Шуленбург был высок, мордаст. Я видел его много раз — обычно в машине, но раза два встретил его и пешком. Посол шел по переулку, и впереди посла шагали, глядя в землю, на сворке попарно восемь датских догов. Охрана в белых валенках двигалась по противоположной стороне. Фон Шуленбург и его тень прошагали от Кропоткинской до Гагаринского несколько раз туда и обратно и удалились в особняк.

Фон Шуленбург участвовал в заговоре Штауффенберга и был казнен Гитлером в 1944 году. На наших экранах показывались пытки, которым подверг Гитлер мятежных генералов. Этот документальный фильм был в ходу у Гиммлера. На наши экраны фильм попал через

много лет, кусочками. Там есть кусочек с графом фон Шуленбургом.

После 1945 года, после войны и победы особняк в переулке не стали давать посольствам. Здесь нужно было поселить кого-то антивоенного, чтобы выветрить память о фон Шуленбурге и его визитерах. Особняк отдали Святейшему синоду, и в квартире Шуленбурга живет его святейшество Алексий[15], Патриарх всея Руси.

...А на углу Чистого переулка и Кропоткинской стоит здание Управления пожарной команды. В этом доме сто лет назад была полицейская часть, и в ней отбывал свой первый арест Александр Герцен.

В двадцатые годы была на этом здании мемориальная доска. Сейчас этой доски что-то не видно.

СТУДЕНТ МУСА ЗАЛИЛОВ

В студенческом общежитии на Черкасском освободилась койка. Записку коменданту на это место в нашей седьмой комнате принес не студент 1-го МГУ, а ученик консерватории по классу виолончели Синдеев. Огромный, серый, как слон, в сером брезентовом плаще необъятных размеров, в серой брезентовой «панаме», похожей на передвижной шалаш, на раковину слоновьего уха, с гигантским серым брезентовым футляром в огромных белых руках. Все — и панама, и плащ, и футляр инструмента — было сделано из одной и той же брезентовой ткани — гениальное изобретение Саратова, Симбирска, Самары, откуда явился Синдеев утверждать свою славу в Москве. В огромном сером футляре скрывался певучий зверь великанского роста, певучий таинственный зверь — виолончель.

После пробной ночи выяснилось, что казенная железная койка коротковата для виолончелиста. Даже подставка из футляра не помогала — ступни Синдеева висели в воздухе.

Утром футляр «был весь раскрыт и струны в нем дрожали». Мы и увидели и услышали зверя. Виолончель пискнула несколько раз весьма жалобно — жалобнее скрипки, скрипочки. Просилась в комнату. Но мы не поверили виолончели. Мы дождались трубных низких звуков. Сотряслись стекла нашей комнаты от трубного гласа вроде Страшного суда, и мы отказали виолончелисту в прописке.

Вместо слона Синдеева в наш Черкасский зоопарк пришел леопард Муса. Муса Залилов был маленького роста, хрупкого сложения. Муса был татарин и как всякий «нацмен» принимался в Москве более чем приветливо.

Достоинств у Мусы было много. Комсомолец — раз! Татарин — два! Студент русского университета — три! Литератор — четыре! Поэт — пять!

Муса был поэт-татарин, бормотал свои вирши на родном языке, и это еще больше подкупало московские студенческие сердца. Муса был очень опрятен: маленький, аккуратный, с тонкими, маленькими, женскими пальчиками, нервно листавшими книжку русских стихов. Вечерами, не то что часто, а каждый вечер, Муса читал вполголоса на татарском свое или чье-то чужое — тело входило в ритм чтения, тонкая ладошка Мусы отбивала чужие ритмы, а может быть, и свои. Мы все были тогда увлечены приближением ямба к жизни и восхищенно следили за упражнениями Мусы при восхождении на Олимп чужого языка, где так много неожиданных ям и колдобин. Муса смело углублялся в подземное царство чужого языка, подводных коряг и идиом.

Муса читал каждый вечер перед сном. Вместо молитвы Муса учил русские стихи, вызубрил все, что не возьмешь изнутри, со смысла и чувства. Способ старинный, надежный, а может быть, и единственный. Именно так зубрят названия латинских костей и мышц медики. Зубрежка там — необходимая и неизбежная основа познания. Муса зубрил по хрестоматии Галахова «Медного всадника», рядом первокурсник медик Боровский заучивал медицинскую латынь по учебнику Зернова. В 10 часов все выключалось — и скрип Боровского и шепот Мусы. Наступала студенческая ночь.

Ладошку Мусы никак нельзя было сравнить с огромной, прямо-таки тургеневской лапищей виолончелиста. И койка для Мусы была не прокрустово ложе, как для Синдеева, — он удобно умещался на казенном стандартном матрасе.

— Что ты читаешь, Муса? Что ты учишь, Залилов?

— Я учу...

Муса еще не был Джалилем (до войны еще было далеко), но внутренне готовился к этой роли. Поэты часто предсказывают свою судьбу, пытаются угадать будущее — русские, по крайней мере. И Пушкин, и Лермонтов рассказывали о своей смерти раньше, чем умерли.

Таким был и Муса. Русских стихов он перевел немало. Не только Пушкина, но и Маяковского. Но первая встреча с русской поэзией в творческом его выборе — первое стихотворение Пушкина, которое Муса выучил наизусть и даже прочел на литературном вечере в клубе 1-го МГУ, бывшей церкви. Прочел с большим успехом и большим волнением, выбрав стихотворение сам. Это не «Арион», не «Я вас любил», не «Послание декабристам», не «Для берегов отчизны дальной», не «Я помню чудное мгновенье», не «Памятник», наконец... Не ритмические осечки волновали Мусу в стремлении обязательно выучить по-русски это пушкинское стихотворение. В стихотворении было что-то такое, что привлекало, обещало решить что-то важное в судьбе, научить чему-то важному.

Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов перед тем, как стать Джалилем, был «Узник» Пушкина. Мы, его соседи по студенческой комнате, шлифовали татарскую речь, очищали пушкинские стихи от всех посторонних звуковых примесей, пока «Узник» не зазвучал по-русски, по-пушкински.

— Сижу за решэткой в темнице сы́рой.

— Сыро́й, Муса.

— Сижу за решэткой в темнице сыро́й.

— Учи! Зубри!

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном...

Орел — это ведь не птичка, которую выпускают на волю. Птичку Пушкин написал вскоре после «Узника». Орел не мог освободить узника. Человек зато выпустил птичку из тюрьмы на волю.

Из этих двух тесно связанных друг с другом стихов Муса выбрал первое. А тот человек, который слушал орла, не был выпущен на волю, а был казнен в Моабите в 1944 году.

В моем рассказе нет никаких телепатических домыслов. По структуре белков не вывести химической формулы героизма. Но воздух, шум времени — понятия вполне конкретные, доступные глазу, слуху и осязанию.

Муса Залилов прожил почти год в тогдашней Черкасске 1-го МГУ. Было, значит, в том воздухе что-то необходимое человеку.

ФЁДОР РАСКОЛЬНИКОВ

По складу своего характера я всегда эпос предпочитаю лирике

Ф. Раскольников.
Из письма Ларисе Рейснер
26 августа 1923 г.

Я лирик по складу своей души

Н Асеев

Я хочу стать специалистом не только по почерку Раскольникова, я хочу стать специалистом по его душе.

В. Шаламов. Палубы его жизни

Сначала я хотел сравнить три эстрады, три палубы его жизни. Эстраду Коммунистической аудитории 1-го МГУ осенью 1927 года, дымящиеся доски Народного дома, цирка «Модерн» в Петрограде летом 17-го года и верхнюю палубу дредноута «Свободная Россия» перед его затоплением 18 июня 1918 года — три даты, три эстрады.

Но потом я понял, что в жизни этого красноречивого солдата было слишком много таких палуб и эстрад. Разве палуба миноносца «Прыткий», на котором Раскольников, сняв красный флаг, вошел в белые тылы и вырвал из плена баржу смерти с четырьмястами тридцатью двумя пленными, или палуба флагмана «Карл Либкнехт», когда Раскольников брал Энзели, вырвал из рук белых суда Каспийского флота? Или палуба миноносца «Расторопный», на котором командующий Балтфлотом смело вступил в бой с превосходящими силами англичан, английской эскадрой и попал в плен к англичанам на целых пять месяцев.

Или это палубы кораблей Гельсингфорса, где мичман Ильин поднимался с трапа на трап и с судна на судно, с корабля на корабль и звал военных моряков к революции. Палубы и площади Кронштадта летом 1917 года, когда самый популярный оратор Кронштадта смело вступал в словесные поединки с Керенским и Корниловым, левыми эсерами и анархистами? И разве не Раскольников сказал фразу, что с Февраля до Октября — это ленинская прямая? Какую из палуб выбрать, я не знаю. Все одинаково вели в бессмертие.

Зал

Опытные гардеробщики николаевских времен, швейцары, знающие все секреты университетской вентиляции, открыли какой-то люк, выломали под потолком на хорах нужную форточку, и нам стало легче дышать.

Толпу возле меня качнуло раз и два, тряхнуло, плюхнуло о спины, и меня вынесло поближе к сцене, к эстраде Коммунистической аудитории. И я понял, что следующего оратора я прослушаю в этом зале. Тишина была такая, что доски университетской сцены поскрипывали под его ногами так же, как поскрипывала верхняя палуба «Свободной России» за час до ее потопления, как поскрипывали доски цирка «Модерн», где летом 1917 года он был самым популярным оратором. Лекция его и сейчас, как и тогда, была «О текущем моменте» — та самая тема, с которой он вошел в историю Октября, тревожит слушателей, они же зрители. Зал хорошо понимал, что перед ним стоит тот самый красноречивый солдат, увековеченный Джоном Ридом, тот самый депутат Учредительного собрания, который 5 января 1918 года — в день, который Владимир Ильич Ленин назвал потерянным днем — передал в руки Чернова предложения большевистской фракции о закрытии Учредительного собрания.

Перед нами стоял руководитель июльской демонстрации Кронштадта в Петербурге, после которой руководители демонстрации были посажены в тюрьму «Кресты» правительством Керенского. Во всех пятидесяти рядах стоят сверху до самого низа читатели, зрители, слушатели, да прибавить низ, море, волнующееся около самой эстрады. Да, сплюснутое море, подступающее послушать и сметаемое в сторону напором новой толпы, то тут и будет цифра около двух тысяч — норма для кронштадтского оратора 18 июня 1917 года, да в июне на палубе дредноута «Свободная Россия» за час до его потопления тоже стояли те же две тысячи человек. Глядя, как уверенно передвигается мичман Ильин по нашей шаткой эстраде, я понял, что он устоял в бурях и что устоит и в ближайших боях. Более того, оставив Наркоминдел в 1924 году, он взялся за литературу, чтобы этим оружием доказать самому себе, что он писатель. Дар этот стучит в груди, как пепел Клааса, но нуждается в проверке. Его смелость переключилась на литературную работу, и это кое о чем говорит.

Красноречивый солдат

А сейчас он лекцию начал так: вышел на сцену к ожидавшему его притихшему залу, вынес с собой на эстраду стул венский, поставил на середину, снял и повесил на спинку коричневый пиджак, расстегнул и засучил рукава белой шелковой рубахи без галстука, вышел на середину эстрады и протянул обе руки засмеявшемуся от волнения залу.

Я много слышал знаменитых ораторов Октября. У одних сначала следует вывод, а потом доказательство, у других доказательство предшествует выводу, является эффектным венцом их логических построений. Луначарский принадлежал к виду несколько краснобайскому, не мог удержаться от хорошей остроты, если даже она уводила в сторону от темы. Ораторская особенность Раскольникова была в том, что у него часто жест обгонял слово. Слова еще не сказаны, не вышли из гортани, а жест, выразительный жест уже волнует.

Кратчайшая линия — ленинская прямая

После февраля 1917 года в России было так много митингов, на каждой станции, на каждом заводе и фабрике, митинговали, митинговали, митинговали, какой-то речевой поток, где каждый почувствовал себя Цицероном, и говорили, говорили, говорили, с утра до ночи так много, что возникла и осталась в истории фольклора поговорка: «При Романовых мы триста лет молчали и работали, теперь будем триста лет говорить и ничего не делать».

Чуткое перо Джона Рида уловило в «Десяти днях, которые потрясли мир» символическую фигуру красноречивого солдата. После речи Ленина с броневика стало ясно, что пора митингов уходит и что кратчайшая линия от Февраля к Октябрю есть ленинская прямая. Этот знаменитый афоризм, эта формула времени, обошедшая все углы России, все заводы, фабрики, все полки, все казармы, окопы на передовых позициях всех фронтов, — формула эта принадлежала Раскольникову. Он был первым оратором Кронштадта и Гельсингфорса, сражавшимся в Кронштадте в словесных поединках со всеми вождями от монархистов до анархистов. В словесных боях в Кронштадте встречались Керенский и Корнилов. Спиридонова[16] и Блейхман[17], от большевиков там выступали

двое — Раскольников и Рошаль[18]. Слово вот-вот должно было перейти в дело, и Раскольников был первым из этих первых героев, входящих в трюмы кораблей Временного правительства и зовущих матросов Балтфлота к восстанию. С корабля на корабль в Гельсингфорсе движется мичман Ильин, поднимается по трапам, всходит на борт и опускается в трюмы, в день произносятся двадцать речей. 3 июля балтийцы выходят на улицы, руководит этой демонстрацией Раскольников. Его арестовывают и привлекают к суду по делу большевиков. Обо всем им самим оставлены написанные в Кабуле мемуары «В тюрьме Керенского». Освобожденный под залог до суда, он выходит из «Крестов» на волю и возвращается к своей работе лектора, пропагандиста, агитатора в тот редчайший час, когда сближение двух методов борьбы — пропаганды и агитации — объединяется, сближается и дает, как электрический заряд, взрыв.

Двадцатого октября 1917 года Раскольников простудился на очередном выступлении в цирке «Модерн», где он в очередь с Луначарским проводил митинги и читал лекции по самому модному предмету времени — текущему моменту. Но грипп есть грипп, пневмония есть пневмония, и она уложила красноречивого мичмана в постель за пять дней до переворота. 26 октября, поборов болезнь, отбросив лечение, мичман Ильин явился в Смольный и взял путевку в Пулково. Преодолев болезнь без помощи сульфидина и пенициллина, сделав лишь двойной укол собственной воли, мичман Ильин является в Смольный и берет путевку в Пулково, где и сражается до бегства Керенского и Краснова. Балтийцы готовы выполнить любое задание пролетарской революции. Вызов не заставил себя ждать. Это был вызов из Москвы, где еще шли затяжные бои. Пятьсот балтийских матросов грузятся в вагоны и прибывают в Москву, по пути разгромив белый бронепоезд. Раскольников впервые в Москве. Выясняется, что помощь матросов уже не нужна, и весь эшелон движется к югу на Восточный фронт в полном составе. Комиссаром поезда едет брат Раскольникова — Александр Фёдорович Ильин. Раскольников остается в Москве, принимает должность зам. наркома морских дел, и начинается строительство Красного флота. Жить в Москве пришлось Раскольникову недолго. Потребовалась его личная помощь Владимиру Ильичу, понадобилось выполнить важное секретное поручение — потопить Черноморский флот.

Родословная моего героя

Раскольников — коренной питерец. Он внебрачный сын протодиакона Сергиевского собора на Охте Фёдора Петрова и Антонины Васильевны Ильиной, поэтому фамилия у Раскольникова и у его брата Александра — по матери. Из-за нужды семейной детей удалось устроить в приют герцога Ольденбургского. Когда Раскольников кончил курс реального училища в приюте принца Ольденбургского, он поступил на экономический факультет Петербургского политехнического института. Эта учеба была прервана арестом, первым арестом в жизни Раскольникова. Он отсидел в ДПЗ три месяца и был приговорен к трем годам ссылки в Архангельскую губернию. Ссылка по ходатайству матери была заменена высылкой за границу, и Раскольников собрался в Париж на улицу Мари Роз, чтобы познакомиться с Лениным. Но Ленин уехал оттуда в Австрию, и Раскольников решил ехать все же в Париж. Он знал французский язык, готовился встретиться с большой эмиграцией. Но Раскольникова арестовали на границе. Его подвела молодость, а скорее по-современному собственные гены остросюжетного характера. У него нашли план Парижа с красными крестиками, эти крестики ему поставил К. С. Еремеев[20] в редакции «Правды». Это были адреса знакомых ссыльных в Париже, не больше. Разобрались, в чем дело, и Раскольников был освобожден. Но быстро не быстро, а пять дней на эти справки ушло. А там началась пока еще не война, а преддверье войны в удвоенной бдительности. Фёдора вернули в Вержболово, и он не повидал тогда Париж. Начиналась война, и Раскольников по призыву попал во флот. Всю войну он учился в гардемаринских классах, учебных плаваниях в Корею, Японию, Камчатку и в феврале 1917 года получил звание мичмана. Во время войны не требовалось свидетельства о политической благонадежности даже для флота. Раскольников был членом партии с 1910 года, и в марте 1917-го ему сказали в редакции «Правды»: «Не хотите ли поехать в Кронштадт?» — «Я ответил полным согласием».

Он принял самое активное участие в подготовке и осуществлении пролетарской революции. В партию Раскольников вошел, что называется, с улицы. Постучал в дверь редакции «Звезда», сказал, что разделяет ее программу и готов ей служить, и, начав с радикальных заметок, вскоре перешел на статьи. Выбрал и пар-

тийный псевдоним в честь героя Достоевского. 5 мая 1912 года начала работать «Правда» под руководством Ленина. Эту дату каждый может видеть ежедневно в заголовке «Правды». В этой редакции Раскольников занял штатную должность секретаря редакции. Во время разгрома «Правды» перед Октябрем сам Раскольников случайно уцелел.

В своей автобиографии он пишет: «В этот день я окончил свои дела раньше обычного и ушел домой».

Какое-то время до Октября «Голос правды» в Кронштадте был единственным легальным большевистским изданием. Лично с Лениным Раскольников встретился в апреле 1917 года после речи с броневика, и Ленин хорошо оценил личные качества старого своего сотрудника: умение оценить обстановку, героические действия в нужном направлении в нужный момент.

Отец Раскольникова покончил с собой <в 1907 г.>. Вырастила внебрачных детей мать — продавщица в винной лавке Антонина Васильевна Ильина. Внебрачные дети носили фамилию матери, а Фёдор позже взял партийный псевдоним Раскольников. А брат, Александр Фёдорович Ильин, — деятель юнкерских училищ, позднее сменил Крыленко на посту председателя Всесоюзной шахматной секции. Это мать довела обоих братьев и до высшего образования, и до того, что важнее высшего образования, — высшего места в жизни. Раскольников этого никогда не забыл. В одном из писем из Афганистана, будучи там послом, он пишет своей жене Ларисе Рейснер: «Какая ты, Лариса, бессердечная. Знай, что я отношусь к этому вопросу очень болезненно и никогда тебе не прощу, если ты...»[21]

Потопление флота

В чем там было дело? Что за спешка и срочность?

Каждое утро Новороссийскую бухту с русской черноморской эскадрой облетал на бреющем полете немецкий гидроплан, пересчитывал суда, которые вот-вот — по Брестскому миру — должны были перейти к Германии — как репарационные платежи. Этот немецкий гидроплан адмиралы, капитаны, мичманы, матросы не решались обстрелять, бросить в него хоть палку, пока не будет решено, куда же денутся суда: уйдут в Севастополь под немецкое командование или вступят в бой с те-

ми же немцами, или взорвутся и уйдут на морское дно. Срок немецкого ультиматума истекал 19 июня 1918 года, потому-то беспокоился и пересчитывал суда гидроплан.

Когда немцы заняли Крым, Советское правительство дало указание о переходе Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, хотя не было базы для флота. Эскадра там и стояла, когда шли переговоры в Бресте, и немцы настаивали на возвращении Черноморского флота в Севастополь, где суда должны были стать частью репарационных платежей. 28 мая 1918 года послали телеграмму Вахрамееву[22] и Глебову[23], комиссару Черноморского флота, с указанием потопить флот в Новороссийске. Выполнено это не было, и тогда послали Шляпникова[24], который также не добился успеха.

На дредноуте «Воля», флагманском судне Черноморского флота под флагом капитана Тихменёва, 16 июня 1918 года был проведен референдум по этому важному вопросу и дал вполне демократический следующий подсчет голосов: за уход в Севастополь — 500, за потопление — 450, безразлично — 1000. На основании этих, вполне демократических цифр референдума Тихменёв дал команду идти в Севастополь. Но ушел с ним только дредноут «Воля» под командой самого Тихменёва и семь эскадренных миноносцев. Остальные десять судов — дредноут «Свободная Россия» и девять миноносцев — остались из-за некомплектности команды, отчасти из-за твердого решения эскадренного миноносца «Керчь» погибнуть, но не сдаться немцам. В команде «Керчи» всего 134 человека. В лучшем случае она может взорваться сама, не отвечая за решения и желания всех остальных десяти судов эскадры.

18 июня в 5 часов утра в Новороссийский порт приехал Раскольников, оставив за собой две ночи курьерского скачка, курьерского поезда с особым вагоном, проскочившего черту фронта гражданской войны. Он вез с собой мандат с личной подписью Ленина оказать содействие в выполнении поручения с тем, чтобы изучить обстановку и на месте принять срочное и ответственное решение. Раскольников повидался в пути со всеми коммунистами, от кого зависело решение этого дела. В Царицыне Сталин сказал Раскольникову, что поручил изучение вопроса Шляпникову. Шляпников высказался против потопления, за революционную войну с оружием в руках. Глебов-Авилов, комиссар Черноморского флота, предупредил Раскольникова, что матросы выбросят его за борт, и

предложил топить по телеграфу. Раскольников ответил, что такой телеграф есть и в Москве. Все это были сведения и мнения, собранные до 5 часов утра 18 июня, до встречи с лейтенантом Кукелем, беспартийным спецом, командиром эскадренного миноносца «Керчь». Решения требует команда «Свободной России». По приезде Раскольникова было собрание, общее собрание матросов и офицеров «Свободной России». «Я выступил первым, — пишет Раскольников в своих замечательных мемуарах. — Я обратился к матросам с зажигательной речью». Хотя этот штамп газетный «зажигательная речь», здесь он имел буквальный смысл: через час в буквальном смысле слова предстояло зажечься и сгореть.

«Я объяснил, что губителен морской бой, бессмыслененен, ибо базы Новороссийск не имеет, и потому лучше отправиться на дно, чем в руки немцам». Успех референдума был стопроцентный, не было даже воздержавшихся, и даже сам капитан голосовал за потопление. Вопрос был решен, команда с кораблей снята. Кукель представил свой план потопления: поставить суда рядом, открыть кингстоны и рвать их один за другим. «Я помню, — пишет в своих воспоминаниях Кукель, — печальный пример Цусимы, когда японцы на другой же день подняли "Гордый Варяг", который не сдался врагу, перекрасили и превратили в свое боевое судно. Не должна быть забыта не только Цусима, но и уроки Цусимы». 25 минут по часам Раскольникова понадобилось для того, чтобы все девять миноносцев Черноморской эскадры <были> расстреляны в упор в пятистах саженях... Было 4 часа дня, когда «Керчь» произвел первый выстрел по дредноуту «Советская Россия», судну с водоизмещением в 23 тысячи тонн, стреляли двойным зарядом, но даже третий выстрел тем же двойным зарядом <был безрезультатен> и только при четвертом ударе дредноут взорвался и пошел ко дну. Была половина шестого вечера, когда операция, начатая Раскольниковым в пять часов утра, закончилась. Почти немедленно появился утренний гость — немецкий гидроплан, чтобы убедиться на бреющем полете, что суда Черноморской эскадры на дне. А где же «Керчь», почему она не затонула тут же после своей героической стрельбы? Дело в том, что у Кукеля была семья в Туапсе. На следующий день Кукель затопил «Керчь» в Туапсе. Черноморский флот затоплен в двух бухтах, если строго придерживаться истории. По таким героическим делам всегда выступают случайности. Так, для буксировки «Свободной

России» к месту затопления нужен был буксир. Буксир этот был заранее приготовлен гражданским флотом по той же ленинской бумажке, показанной Раскольниковым.

Библиотека революционных приключений

Раскольников, создатель жанра библиотеки революционных приключений[25], сам был автором первых тоненьких книжек. Там еще и «Погоня за белым бронепоездом» готовилась у него, и «Люди в рогожах» — не слишком удачное название попытки героического предприятия. Дело было в том, что комиссар волжской эскадры, находясь на миноносце «Прыткий», смело вошел ночью в чужую белую зону и, выдав себя за исполнителя планов адмирала Старка, сняв красные флаги, подошел к плавучей белой тюрьме, где ждали расстрела четыреста тридцать коммунистов, и вывел ее собственноручно ночью к Саратову, к красным войскам. Историки гражданской войны спорят, сколько там было — четыреста тридцать два или четыреста тридцать пять <человек>.

Раскольников докладывал об этом смелом рейде на пленуме Петросовета и назвал цифру 430 человек спасенных.

За эту баржу Раскольников получил свой первый орден Красного Знамени, второй орден он получил за штурм Энзели, за смелый рейд через границу к берегу Черного моря и успешную операцию по этому рейду. Штурм Энзели описан самим Раскольниковым неоднократно. Я привожу только некоторые цифры, которых у Раскольникова нет. Молодая Советская республика получила в результате этого смелого рейда 50 судов, 30 самолетов, пять тонн снаряжения.

Литературные вкусы

«28 апреля 1923 г. Кабул

Дорогая Ларисочка, Калбасьев, оказывается, привез с собой целую библиотеку, и я сейчас глотаю, как устрицы, тоненькие брошюрочки стихов.

Знаешь, сколько интересного вышло за последние два года!.. И не только в оригинальной литературе, но и в переводах. Чего стоят одни эти стихотворения Кип-

линга в переводе Оношкович-Яцыны[26]. Возьми, например, такую строфу:

Абдур Рахман, вождь Дурани,
о нем повествуем мы,
От милости его дрожат
Хайберские холмы,
Он с Юга и Севера дань собрал —
слава его, как пожар,
И знают о том, как он милосерд,
и Балх, и Кандагар.
У старых Пешаварских врат,
где все пути идут,
С утра на улице вершил Хаким
Кабула суд.
И суд был верен, как петля, и скор,
как острый нож.
И чем длиннее твой кошель,
тем дольше ты живешь.

Я прямо в восторге от этой баллады "О царской милости", из которой я привел только начало. Из посмертных стихотворений Н. Гумилёва мне больше понравилось "Приглашение в путешествие" и юмористическое стихотворение "Индюк". Но если бы я стал все цитировать, то все мое письмо было сплошь поэтическим. Но необходимо поговорить и о прозе. Прежде всего я прочел небездарные воспоминания Шкловского "Революция и фронт" и "Эпилог". Затем последние произведения Жюля Ромена, идеолога пресловутого "унанимизма" — "Доногоо-Тонка", очень рекомендую твоему вниманию, это так любопытно! <...> Вероятно, сегодня или завтра вернется из Кандагара автомобиль, в котором надеюсь найти твои следы, хотя бы в форме воздушно-поцелуйных писем. Крепко обнимаю тебя, моя родная! Твой Фёдор Фёдорович»[27].

Вот небольшие части из писем полпреда РСФСР в Афганистане. Здесь все хорошо, все удачно и сравнение тоненьких сборников стихов с устрицами очень верно, очень убедительно, и похвалы переводам из Киплинга Оношкович-Яцыны — это лучший переводчик Киплинга на русский за столетие, и то, что в прозе Раскольников выделяет именно Виктора Шкловского «Революция и фронт», говорит безусловно о верном глазе. Письмо это — частное письмо из Кабула, написанное 28 апреля 1923 года.

Стихи и Раскольников

Впрочем, возможно, что во всех случаях, когда Раскольникову выпадает возможность декламировать чужие стихи (или стихи вообще), он подчеркивает в них именно смысловую сторону, да и не только смысловую, а даже узко-злободневную. Возможно, что «Приглашение в путешествие» должно подтолкнуть адресата к решению устроить его собственный отъезд из Кабула. И гумилевские ритмы выполняют чисто смысловую, даже как бы злободневную задачу. Точно так же он хвалит юмористическое стихотворение того же сборника «Индюк» за необходимую ему, Раскольникову, мысль. И пропускает все художественное и ритмическое своеобразие «Индюка». Возможно также, что, расхваливая всю балладу Киплинга «Балладу о царской милости» в переводе Оношкович-Яцыны, он хочет лишний раз подчеркнуть и перед адресатом, и перед самим собой реальное значение своей собственной деятельности полпреда РСФСР на территории Афганистана. Это тот мир окраины Британской империи с его произволом и разрушением, который прошел сам Раскольников, посол при дворе афганского эмира, ибо в этом поистине великолепном, удачном сборнике переводов Оношкович-Яцыны из Киплинга Раскольникова не остановили какие-то другие стихи. В переводе Оношкович-Яцыны, и это главное их достоинство, удачно передан ритм этих великолепных баллад. Может быть, и так. Возможно, что в стихотворении Сергея Обрадовича[28] «Кронштадт» из сборника «Город», который также попал в список «устриц», как называл Раскольников тоненькие стихотворные сборнички, которые нужно глотать, не разжевывая, <внимание> остановила лишь одна из строф стихотворения с вполне модернистской рифмой:

Но призрачную тишь еще не раз
расколет
Зов Совнаркома, и в тревожный час
Еще не раз за подписью
Раскольникова
Получит военмор приказ.

Тут у пролетарского поэта, члена «Кузницы», видна погоня за чисто звуковым ударом, модернистским приемом.

Раскольников знал, что ему посвящают много стихов и не только неустановленные лица, как именуются в ар-

хивных справочниках подобные <авторы>. Вот эти написаны в 1919 году, тогда, когда Раскольников был в тюрьме. Во всех случаях Раскольников не мог быть покорен ритмом, тем тайным ударом в стихе, где стих порабощает волю читателя (и автора как квалифицированного читателя) и заставляет прислушиваться к мнению одушевленных и неодушевленных существ, до которых, казалось, читателю не было дела еще вчера. У стихов есть темная власть, с которой надо бороться самым энергичным образом или ей следовать. Третьего не дано.

Признавалось, что в литературе Раскольников чувствовал себя вполне уверенно, и чтобы взяться за перо, ему не нужна была помощь Рейснер. В копии единственной автобиографии, которую в своей жизни написал Раскольников, семь страниц на машинке, где на Черноморский флот, на Энзели отведено по странице машинописи, есть надпись — дарственный автограф: «Ларисе, подруге по части литературных оборотов»[29].

Это, конечно, шутка. Раскольников был абсолютно грамотный человек, весьма искушенный в литературных оборотах, опытный журналист, написавший сотни статей, до того и после того он произнес сотни речей. Именно в Кабуле он начал работу над мемуарами своими, тоже сразу ставшими историческими, литературными. Герои революции вели хронику пролетарской революции, создав журнал «Пролетарская революция». Литературные обороты были делом хорошо знакомым правдисту Раскольникову. Творческая дружба Рейснер и Раскольникова ничем не была полезна для пера мемуариста, журналиста, драматурга, литературного исследователя — все это было впереди с того дня, когда Раскольников двигался по трибуне, по эстраде, по палубе Коммунистической аудитории Московского университета. Я подумал тогда, что этот мичман устоит и в сердечных, и в гражданских бурях.

Семейная драма

Семейная драма Раскольникова развивалась по тем же канонам острого детектива, авантюрного сюжета, как и вся его жизнь. Жена бежала от него, посла в Афганистане, бежала под удобным предлогом — ускорить отъезд, бежала по горным рекам, через ущелья, скакала в

горной ледяной гератской воде. В Ташкенте жена пересела на скорый поезд «Ташкент — Москва», а в Москве послала Раскольникову требование развода, села в самолет и перелетела в Берлин, скрылась в подполье под чужой фамилией, чтоб на три месяца попасть в Гамбург на баррикады. Раскольников сходил с ума, метался в Кабуле. Совсем <забыв> условия дипломатического этикета, плакал в своем кабинете, писал бесконечные письма. За лето 1923 года их написал, вероятно, больше, чем за всю свою жизнь. Писем десятки, каждое по 60 страниц, написаны крупным, разборчивым, откровенным, прямым почерком. Эти письма — искусство в высшей степени положительное. Эти письма в высшей степени положительно характеризуют Раскольникова. Он, используя самые различные поводы, выворачивает свою душу, проверяет каждый свой день и не находит ответа, почему же жена бросила его. Он не угрожает и не оправдывается, он только исследует себя, боясь, что что-то упустил в этой потере, считая ее великой жизненной катастрофой. Он даже обращается к Фрейду, и видно, что он абсолютно грамотно толкует этот тонкий вопрос, применительно к близкому человеку. Есть большое письмо, где он подробно пишет о своей семейной идее: «Я однолюб. Мой пример — Владимир Ильич». Ему кажется, что, если он назовет главное, его счастье вернется. Он предлагает любые условия их совместной жизни. Раскольников пишет, что он враг разрушенной семьи. Не может найти ответа, как же они прожили пять лет и вдруг на шестом расходятся, разводятся. В одном из писем написал: «На седьмом году брака». Он готов винить себя, взять на себя публичное покаяние, ничего не помогает. Жена требует развода и притом развода формального. Она не хочет носить фамилию Раскольникова.

Хорошо образованный, много читавший и много думавший Раскольников обнаружил недостаточное знакомство с классической литературой, посвященной этой проблеме. А то он бы знал про третий закон любви из «Писем о любви» Стендаля, который состоит в имманентности любви, о том, что сегодня любовь, а завтра — нет. И человек с удивлением смотрит на себя, как он (или она) мог писать такие страстные письма человеку, к которому он вовсе не чувствует любви. Любовь погибла, и все. История из жизни победителя Керзона мичмана Ильина, героя революции и гражданской войны, а было ему всего 31 год от роду, а жене — 27.

Сначала ему кажется, что Лариса Михайловна ему с кем-то изменила. Но и этого нет. Он не хочет понять самого простого — что любовь кончилась. Тут дело не в том, что Лариса Рейснер хотела встать на самостоятельный литературный путь. Сам Раскольников писал не хуже Рейснер.

Цветистую прозу Рейснер категорически не принимал Степанов, редактор «Известий» в 1925 году, а с января 1925 года Рейснер — штатный работник «Известий». У Рейснер рукой редактора зарезано три фельетона. Степанов считал вообще ее стиль непригодным для газеты и уволил ее с работы. Она конфликтовала, настаивала на своем праве писать «художественный фельетон». В архиве ее заявление в парторганизацию «Известий» по поводу ее конфликта. Рейснер умерла в 1926 году от брюшного тифа, после развода они не встречались.

Раскольников, уже будучи редактором «Молодой гвардии», прислал ей любезное приглашение на бланке редакции принять активное участие в работе журнала. Раскольников не очень ладил с Чичериным после категорического отказа от предложенной ему должности посла в Норвегии. «Я не буду новой сменой Якова Зиновьевича (Сурица)[30], я не знаю рыбной торговли».

Раскольников уходил из Наркоминдела так же смело, как три года назад увольнялся из армии, и вступает на шаткую палубу литературы, погружаясь в литературу. Письма Раскольникова к Рейснер, как бы ни был односторонен их поток, как бы ни велик размер, каждое из этих писем (до 60 страниц с бесконечными P. P. — Раскольников в смятении просто не мог остановиться) отнюдь не многословно, там каждое слово выверено логически и этически. Это подробная исповедь большого человека, героя. В этих письмах Раскольников ничего не стыдится, он только гордится, что заставляет себя вывернуть душу. Но остались гордость, самолюбие, весьма (ценная) способность для познания мира. Эти письма должны быть опубликованы, они сами по себе составят важную страницу людей нашей истории, подобно заграничным письмам Ленина к Арманд. Это честная исповедь именно большого общественного интереса. Их польза будет побольше, важнее, чем история любви людей 10-х годов, переписка Шелгунова с Михайловым. Раскольников войдет в историю не только как герой Энзели, но и как автор писем из Кабула.

Бонч-Бруевич

Крестным партийным отцом Фёдора Ильина был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич[31]. Он же был и литературным отцом писателя Раскольникова. Это близкие лично друзья на протяжении трех десятилетий. Бонч-Бруевич очень высоко ставил именно литературный талант Раскольникова, и они обменивались мнениями по литературным и общественным вопросам. Бонч-Бруевич одобрял и литературоведческие труды «Убийца Лермонтова», «Из истории цензуры», в особенности отмечал драматургию Раскольникова: «Вы нашли себя в драматургии, обязательно добейтесь, чтобы Ваш "Робеспьер" увидел сцену. Это новая, единственная у нас революционная драма».

Раскольников пишет, что он инсценировал «Воскресение» для Художественного театра с большим успехом по всему Союзу. Есть план пьесы о Наполеоне времен Ста дней.

Бонч-Бруевич критикует <его> за бесславную попытку судить, лживо отрицать воистину великого человека, что только мешает истории, наводит тень на плетень. Нужна настоящая работа об этом гении.

В 1930 году Раскольников возвращается на дипломатическую работу и работает до 1933 года в Эстонии. Здесь он покупает для Бонч-Бруевича, ставшего тем временем директором Литературного музея, редкие издания, интересующие музей. В 1934 году Раскольников направляется в Данию, где он по поручению Бонч-Бруевича ищет архивы. В Копенгагене очень нравится и Раскольникову, и его второй жене Музе Васильевне, но дипломатическая судьба играет человеком, и в конце 1934 года Раскольников уже в Софии. Он посол в Болгарии. И здесь он делает заказы для музея и ищет архив Драгоманова и до 1937 года он поддерживает самую активную переписку с Бонч-Бруевичем.

Переписка с Бонч-Бруевичем велась Раскольниковым в течение многих лет. Они были близкими друзьями чуть не тридцатилетие. Бонч делал подробные, тщательные разборы новых произведений Раскольникова, и до всех издательств, до всей и всяческой аудитории и чтецов новая рукопись Раскольникова ложилась на стол Бонч-Бруевича. И Бонч-Бруевич отвечал подробнейше, в Раскольникове он видел не только героя Октября, но и одаренного писателя, прирожденного драматурга, призванного сказать новое слово именно в русской драматургии.

Раскольников упорно и много работал над созданием нового жанра художественной прозы — ленинской мемуаристики. «Потерянный день» и «Гибель Черноморского флота» были наиболее отделанными вариантами этого нового жанра. Как всякий писатель Раскольников стремился к литературному совершенству. План таких рассказов художественной прозы со всей ответственностью мемуара он вынашивал давно, еще в Кабуле обсуждал он в письмах к Бонч-Бруевичу, предполагая дать название такому сборнику, соответствующее его морской идее: «Кильватерная колонна». Но по совету Бонч-Бруевича изменил его на более традиционное: «Записки мичмана Ильина». Эти записки вышли к партсъезду, и, хотя из-за спешки было допущено много опечаток, Раскольников радовался этой книжке, положившей, по его мнению, начало ленинской мемуаристики.

За это время есть удивительно теплые письма, которыми обменивались Раскольников и Бонч-Бруевич. Раскольников сердечно поздравляет Бонч-Бруевича с его 60-летием и выражает надежду, что поздравит его и с 70-летием. В ответ Бонч-Бруевич пишет: «Я очень болею, мне 62 года, весь год я почти не работал, лежал и только сейчас начинаю мало-помалу что-то делать. Долго жить не собираюсь, в крови появился сахар, а это — грозный признак. Я не строю, Фёдор Фёдорович, никаких иллюзий». С этим грозным сахаром в крови Бонч-Бруевич дожил до 82 лет, пережив своего корреспондента на целых 16 лет.

Последний бой мичмана Ильина

Как человек, гражданин, патриот Раскольников был в величайшем смятении в 1937 году. Как посол он держал в руках <натяжение> самой последней конструкции. Раскольников хорошо понимал, какую пользу врагу принесет истребление командиров Красной Армии. Он не сомневался, что дело Тухачевского — прямой результат работы немецкой разведки. Расстрелы этим не ограничились. Исчез Дыбенко, старый товарищ по Центробалту, Кронштадту и Октябрю. Исчез Антонов-Овсеенко, исчез Александр Ильин, брат Раскольникова. Раскольников решает не ехать на вызов. Но как, что ему делать, смешаться с кучкой всяких тогдашних... лакать их похлебку с их ладони, жить на их подачки. Раскольников приезжа-

ет во Францию, в Париж, повидаться с Сурицем, старым своим сослуживцем. Уже то, что Раскольников приехал советоваться по такому вопросу, обличает великое смятение, в котором была душа Раскольникова. Во Франции в каких-то гостиничных номерах, в приемной советского посла Сурица палуба закачалась под ногами мичмана Ильина. В 45 лет судьба поставила тот же вопрос, что и в Кронштадте, что и на борту миноносца «Карл Либкнехт», штурмовавшего Энзели. Судьба требовала немедленного ответа в свойственном ей детективном жанре. Тут опять можно было рисковать покушением, как в Кабуле. Но как посоветоваться, как связаться с Бончем, единственным, кому Раскольников верил всю жизнь. Бонч в Москве, к тому же и сам Бонч в своих официальных письмах, приходящих через сто цензур, забормотал что-то насчет великой роли Иосифа Виссарионовича в ускорении строительства нового небывалого в мире культурного комплекса, нового здания Ленинской библиотеки, куда, по слову Бонч-Бруевича, уместятся все музеи мира. Что же может посоветовать посол, официальная фигура? Коллега Суриц советовал ехать и только ехать. Но Раскольников принял другое решение. Он сам переходит в атаку, исполняя свой долг коммуниста, делая то, чему учила его вся жизнь. Он пишет письмо Сталину и публикует его во французских газетах. В этом письме Сталин обвиняется в расстрелах военных, в обнажении фронта перед войной (война уже началась, только Советский Союз не был в нее вовлечен).

Он подвергает резкой критике только что предъявленный миру «Краткий курс» и обвиняет Сталина в намерении исказить историю. Мы знаем из переписки с Бонч-Бруевичем, какое огромное значение придавал Раскольников истории и притом марксистской истории, считая себя специалистом не только по Октябрю, но и по истории. Он создал исторический журнал «Пролетарская революция». И вдруг такой неожиданный сюрприз, как «Краткий курс» с искаженными событиями, самой грубой мазней. Он обвинил Сталина, что тот присвоил себе заслуги умерших.

Это — не действие какого-то «медленно действующего яда», как определил в Кабуле в 1923 году посольский врач отравление всего состава советского посольства. Это и не предупреждение чернокнижников, которое ползло, ползло слишком медленно по сравнению с космическим снарядом, реактивным лайнером, и все-таки достало, настигло,

укололо жену советского посла в Афганистане Ларису Рейснер, которая умерла от брюшного тифа в 1926 году. Это и не действие яда мгновенного, тайны человеческих сосудов, его нервов, еще плохо изученных. Политик, революционер постоянно подвержен внезапной атаке со стороны своей собственной сердечной системы. Смерть от шока, от внезапного сужения аорты чуть не настигла на пляжах, на купании. Но здесь дело не в вульгарном шоке. Коронарные сосуды Раскольникова были сжаты той тревогой, той болью, тем оскорблением, которое было ему нанесено. И Раскольников умер через несколько дней после того, как попал в больницу. Это был вторичный, смертельный инфаркт. Было это 13 октября 1939 года.

В ответ на это письмо Сталин лишает Раскольникова гражданства, объявляет его врагом народа. Тяжелое нервное потрясение приводит Раскольникова в больницу в Ницце всего через десять дней после опубликования своего письма Сталину. Раскольников умирает от острой сердечной недостаточности. Было ему всего 47 лет. Так кончился последний бой мичмана Ильина. От него осталось много документов, много воспоминаний, много стихов, посвященных его подвигам, всей его героической жизни. Остались его письма из Кабула, из Таллинна, Копенгагена, Софии. Послы пишут на хорошей бумаге, и письма всего этого времени выдержат длительное хранение, уверенно будут себя чувствовать в бессмертии. Но дороже всех документов останется удостоверение, выданное Реввоенсоветом на имя командующего Волжской флотилией. Это удостоверение настолько истерто от частого употребления и перегнуто по карману гимнастерки, что сразу можно понять, как часто приходилось предъявлять этот мандат в бессмертие. В 1964 году Особая комиссия не только возвратила доброе имя Фёдору Фёдоровичу Ильину-Раскольникову, но и признала его письмо Сталину образцом выполнения партийного долга в трудных условиях.

1973

ЖУК

Этого жука я увидел издалека и давно — по расчету пляжного времени — пожалуй, за целую минуту, пока он приблизился, дополз до моей ноги. Был яркий, даже ярчайший солнечный день, людей на пляже не было,

волны почти бесшумны. На всем пространстве от берега до моих ног было только два живых существа: я и ползущее ко мне через весь пляж, ползущее прямо на меня какое-то черное крошечное существо, ползущее по какой-то кратчайшей, прямейшей линии.

Это была не божья коровка, а вполне осмысленное создание, имеющее какую-то цель в жизни.

Быстрота движения была такой, что захотелось досмотреть до конца этот бег, которому позавидовал бы Ахиллес, попытаться без секундомера, по пульсу засечь скорость его движения в направлении ко мне.

Я хотел рассмотреть его получше, когда существо приблизится и пройдет, пробежит, проползет мимо меня.

Метров двадцать оставалось еще, когда я увидел, что существо имеет определенную цель движения, запрограммированную в мозгу насекомого, а что это — насекомое, у меня не было сомнений.

Целью его движения был я. Хотя я не двинулся с места, от меня, очевидно, исходили магнетические токи, телепатические токи — насекомое читало в моих мыслях, как в своих.

«Сквозь землю, — думал я, — существо не может провалиться — песок был слишком плотен, как дно клетки тигра».

Но существо и не стремилось уклониться от встречи со мной.

Жук — если это жук — полз прямо на меня, бежал, как марафонский боец, задыхаясь. Метров за пять на голом, пробитом всеми ветрами пляже жук отчетливо виден.

Движение его ко мне убыстрялось. Я понял, что жук хочет меня укусить, и быстро сосчитал в уме то количество яда, которое жук может нести в своем крепком, жестком теле. Разделил результат на кубатуру моего тела — я не отступил, не уклонился, а стал ждать, чем все это кончится, не убирая ноги.

Черный жук дополз до моей ступни и немедленно всадил свое жало-кинжал в верхнюю часть ступни, не выбирая места удара.

Это был крохотный жук, не более сантиметра ростом, но удар был очень болезненный, настолько, что я едва устоял на ногах. Прокол был нанесен каким-то широким пробойником, буравом.

Жук тут же выпустил всю свою жидкость — кровь, слюну, лимфу — мне под кожу и умер мгновенно, тут же отвалившись в сторону, все на том же блестящем солнце.

Я не выдавливал яда — думал, что организм жука не может справиться с человеческим телом.

За сутки нога моя распухла, болезненно чесалась кожа. Припухлость была твердой, горячей.

Я не следил за раной. Я понимал, что в человеческом теле никаких процессов ускорить нельзя. Я знал по литературе, что должен пройти какой-то срок, в течение которого тело само залечит свои раны. Через пять дней рана моя перестала чесаться.

Но память? Память? Что делать с памятью?

<1970-е годы>

ПРИМЕЧАНИЯ

У Флора и Лавра. Впервые: Литературная газета. 2011. № 24 (публ. и подготовка текста С. М. Соловьёва и В. В. Есипова). Рассказ включен в список произведений Шаламова, собственноручно составленный в конце 1960-х гг. (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 169) и, вероятно, предназначался для сборника «Воскрешение лиственницы». Датировка и содержание рассказа ясно указывают на то, что он был создан в тесной связи с рассказом «Золотая медаль» (1966), посвященном революционерке Н. С. Климовой — матери Н. И. Столяровой, с которой в середине 1960-х гг. подружился Шаламов. Героиня рассказа «У Флора и Лавра» — Н. И. Столярова (1912–1984), переводчик, секретарь И. Г. Эренбурга, в 1937–1946 гг. находилась в лагерях. Переписку Шаламова со Столяровой см. в т. 6, с. 375–395 наст. издания.

Слишком книжное. Впервые: Книжное обозрение. № 47. 25 ноября 1988 г. С. 8–10 (текст к публикации подготовлен И. П. Сиротинской).

Вторжение писателя в жизнь. Оригинал: РГАЛИ, ф. 2696, оп. 2, ед. хр. 89. Обнаружен и опубликован немецкой исследовательницей Ф. Тун-Хоэнштайн. Впервые: сайт Shalamov.ru

[1] «Левитан после “Попрыгуньи” много лет не разговаривал с Чеховым» — имеется в виду скандальная история после публикации рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья» (1892), когда многие прототипы (в том числе художник И. И. Левитан) узнали свои черты в героях рассказа.

[2] «Записки жандарма» А. И. Спиридовича (1873–1952) были изданы в Харькове в 1928 г.

[3] Роман-хроника Л. В. Никулина «Адъютанты господа бога» вышел тремя изданиями в издательстве «Молодая гвардия» в 1927 г.

[4] ЗИФ — популярное государственно-акционерное издательство «Земля и фабрика», существовавшее в 1922–1930 гг.

[5] *Осипенко И. З.* (1882–?) — реальное лицо, его история описана в «Вишерском антиромане» Шаламова (Т. 4. С. 22–25).

[6] Герой романа И. Эренбурга «День второй» (1934) Владимир Сафонов — молодой интеллигент, увлеченный Достоевским, в романе кончает жизнь самоубийством. Читателями 1930-х годов воспринимался как отрицательный персонаж. Реальная судьба В. Сафонова (Сафронова) не исследована. В дневнике Шаламова 1965 г. имеется запись с ссылкой на сведения, полученные от П.Д. Перли (о нем след. прим.):

«Эпилог к “Вторжению писателя в жизнь”.

Сафронов жив, помаленьку поправился, женился даже Живет в Томске.

Несколько лет назад умерла от рака жена Сафронова Рива, принимавшая огромное участие в освобождении Сафронова, в реабилитации. Рива ездила и к Эренбургу хлопотать.

Рива умерла, и Сафронов женился вторично. Дети от первого брака, уже взрослые, отказались от отца, считая, что отец не имел права жениться вторично — ибо вся жизнь Ривы, все бедствия, все хлопоты прошли на глазах детей» (Т. 5. С. 292).

[7] *Перли* Пётр Давидович (1911–1977) — врач-невропатолог, доктор медицинских наук, лечивший Шаламова. См. его письмо в т. 6, с. 437.

Ворисгофер. Впервые: Шаламов В. Воспоминания. М., 2001 (публ. И. П. Сиротинской).

[8] *Ворисгофер Софи* (1838–1890) — немецкая писательница, автор приключенческих романов, один из них — «Корабль натуралистов» — не раз издавался в России в начале XX в.

Берданка. Впервые: Шаламов В. Воспоминания. М.: Олимп — Астрель, 2001 (публ. И. П. Сиротинской).

Аргонда — возможно, писатель имеет в виду таинственную страну, куда отправились аргонавты.

Шахматы и стихи. Впервые: Шаламовский сб. Вып. 1. Вологда, 1994 (публ. И. П. Сиротинской).

Лимберг (судьба неизвестна) — один из заместителей Э. П. Берзина по строительству Вишерского ЦБК.

[9] «“Курилка” с Соловков был уже расстрелян» — имеется в виду начальник одного из лагпунктов Соловецкого лагеря по прозвищу «Курилка», упомянутый несколько раз Шаламовым в «Вишерском антиромане» в связи с его садистской ролью — привязыванием заключенных в лесу на съедение комарам. О «Курилке» (наст. фамилия Баженов), очевидно, идет речь в отчете Прокуратуры Верховного суда СССР от декабря 1932 г. о должностных преступлениях сотрудников ОГПУ, в результате чего — на временной волне борьбы с «произволом» и «вос-

становлением соц. законности» — было приговорено к расстрелу 42 человека: «...Применялись издевательства и насилия вплоть до привязывания людей в лесу или на съедение комарам (дело Баженова и др.)...» (История сталинского ГУЛАГа. Собр. документов в 7 т. М.: РОССПЭН, 2004. Т. 2. С. 98.).

[10] *Менчик Вера* — чемпионка мира среди женщин по шахматам с 1924 г.

[11] «Директор местного торфостроя» — Сергей Семёнович Апенченко (1904–1985), знакомый Шаламова по 1930-м гг., отец журналиста и поэта Ю. С. Апенченко (р. 1934 г.).

Глухие. Впервые: Шаламовский сб. Вып. 1. Вологда, 1994 (публ. И. П. Сиротинской).

[12] О Гельфанде, Крептюкове и др. участниках встречи ученых и писателей в 1934 г. см. прим. к переписке с Ю. А. Шрейдером (т. 6 наст. издания, с. 566).

[13] Калидонская охота — в греческой мифологии охота на чудовищного вепря, насланного на поля в Калидоне богиней Артемидой.

[14] *Томский М. П.* (1880–1936) — видный советский и профсоюзный деятель, неоднократно выступал против сталинской линии. В предвидении ареста застрелился у себя на даче 22 августа 1936 г.

Чистый переулок. Впервые: журнал «Воскресенье», 1993, № 1 (публ. И. П. Сиротинской). Очерк тесно связан с биографией Шаламова: в Чистом переулке (дом 8, кв. 7) он жил вместе с женой Г. И. Гудзь с 1934 г. до своего ареста 12 января 1937 г. Точной датировки очерка нет, но можно предполагать, что он написан в середине 1960-х гг. Об этом свидетельствует упоминание о судьбе бывшего германского посла Ф. фон Шуленбурга — о ней впервые подробно рассказывалось в известном Шаламову по самиздату «Открытом письме И. Г. Эренбургу» (1966 г.) публициста Э. Генри (см. комментарий к переписке Шаламова с Эренбургом в данном томе).

[15] *Алексий I (Симанский)* — патриарх Московский и всея Руси в 1945–1970 гг.

Студент Муса Залилов. Впервые: Юность. 1974. № 2.

Залилов (Джалилев) Муса Мустафович (1906–1944) — татарский советский поэт, с 1941 г. — боец Красной Армии. Находясь в немецком плену, организовал подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. Казнен в фашистской тюрьме Моабит. Герой Советского Союза (посмертно), лауреат Ленинской премии (1957, посмертно, за книгу стихов «Моабитская тетрадь). О проблемах с этой публикацией см. письмо Шаламова Б. Н. Полевому (наст. изд., т. 6, с. 58–87).

Фёдор Раскольников. Впервые: журнал «Диалог». М., 1991, № 10, с. 104–112 (публ. и примечания И. П. Сиротинской).

Во вступительной заметке к публикации И. П. Сиротинская отмечала: «“Федор Раскольников” — поздняя проза Шаламова, редкая для него по жанру вещь, попытка писать по собранным материалам, сделать что-то для публикации, а не в стол, как всегда. Но пока вещь писалась (а начата она была в 60-х годах), оттепель кончилась, имя Ф. Ф. Раскольникова (1892–1939) снова стало опальным, и рукопись Шаламова так и не увидела свет. Конечно, теперь мы обладаем большей полнотой информации о Раскольникове, чем Шаламов. Но, думается, его взгляд, его суждения о “красноречивом солдате революции” небезынтересны читателю».

Есть основания полагать, что очерк о Раскольникове (подобно «Студенту Мусе Залилову») предназначался Шаламовым для публикации в журнале «Юность» — именно этим объясняется непривычный для писателя плакатно-романтический стиль, рассчитанный, с очевидностью, на молодежное восприятие той поры. При этом очерк нельзя считать ни в коей мере «конъюнктурным» — он отразил искреннее восхищение Шаламова своим героем, его ролью в Октябрьской революции, а еще более — его открытыми выступлениями против Сталина в 1939 г.

Ф. Ф. Раскольников был реабилитирован в 1963 г. Шаламов использовал в очерке ряд фактов из его книги «На боевых постах» (М.: Воениздат, 1964), а также основывался на собственных разысканиях в фондах Л. М. Рейнсер и В. Д. Бонч-Бруевича, хранящихся в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека). С середины 1960-х годов в связи с новыми идеологическими и цензурными условиями имя Раскольникова исчезает со страниц советской печати. Лишь в 1987 г. в журнале «Огонек» (№ 26) было впервые опубликовано его «Открытое письмо Сталину» (Шаламов знал это письмо по самиздату).

[16] *Спиридонова* М. А. (1884–1941) — один из лидеров партии левых эсеров.

[17] *Блейхман* И. Ш. (1874–1921) — анархист-коммунист, член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

[18] *Рошаль* С. Г. (1896–1917) — председатель Кронштадтского горкома РСДРП(б).

[20] *Еремеев* К. С. (1874–1931) — сотрудник редакции газеты «Правда», один из руководителей Октябрьского восстания.

[21] Письмо Ф. Ф. Раскольникова от 19 августа 1923 г. «Пожалуйста, исправь свое жестокое отношение и приласкай мою бедную одинокую мамочку, если не ради нее, то меня. <...> Ты показала себя такой нечувствительной. Как тебе не стыдно? <...> Если теперь она умрет с голода в непосредственной близости от тебя, то я тебе этого никогда не прощу. Посылаю

тебе, моя милая, обожаемая малютка, кофе и мыло...» (ГБЛ (РГБ), ф. 245, карт. 7, ед. хр. 53)

[22] *Вахрамеев* И. И. (1885–1965) — заместитель наркома по морским делам в 1918 г.

[23] *Глебов-Авилов* Н. П. (1887–1942) — главный комиссар Черноморского флота в 1918 г.

[24] *Шляпников* А. Г. (1885–1937) — государственный деятель РСФСР и СССР, репрессирован.

[25] *Раскольников Ф. Ф.* На боевых постах. М., 1964.

[26] *Оношкович-Яцына* А. И. (1897–1935) — русская поэтесса, переводчица.

[27] ГБЛ (РГБ), ф. 245, карт. 7, ед. хр. 53.

[28] *Обрадович* С. Город. М.: Изд. «Кузница», 1923. С. 85.

[29] ГБЛ (РГБ), ф. 245, карт 12, ед. хр. 40. Подпись такова: «Ларуся, посылаю тебе написанную для ЦэКа автобиографию. Если заметишь нехорошие литературные обороты, то, по дружбе, поправь. Если сочтешь автобиографию интересной для печати, то снеси ее в Истпарт, а мне это не позволяет сделать глупая скромность, хотя "Пролетарская революция" настойчиво просила прислать ей подобный материал. Это копия, а подлинник я направил непосредственно в ЦэКа».

[29] *Суриц* Я. З. (1882–1952) — известный советский дипломат.

[30] *Бонч-Бруевич* В. Д. (1873–1955) — управделами Совнаркома в 1917–1920 гг., в 1930-е годы — директор Государственного литературного музея в Москве, близкий друг Ф. Ф. Раскольникова.

Жук. Впервые: Шаламовский сб. Вып. 1. Вологда, 1994 (публ. И. П. Сиротинской). Рассказ связан с посещениями Шаламовым пляжа в Серебряном бору в Москве.

Стихотворения,
не вошедшие
в третий том

1950–1970

* * *

Я думал, что будут о нас писать
Кантаты, плакаты, тома,
Что шапки будут в воздух бросать
И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернемся в город — мы,
Сломавшие цепи зимы и сумы,
Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,
Скороговоркой он встретил нас.

1961

БИБЛИОТЕКА

Вот моя библиотека —
Золотые корешки —
Боровая лесосека
На излучине реки.

Здесь зачинщики рассвета
Темноглазые щеглы
Прославляют наше лето,
Разгоняют хлопья мглы.

Это — записей вокальных
И псалмов, и тропарей —
Старый ящик музыкальный
Соловьев и снегирей

Будто здесь на сотне кросен
Ткут лесные небеса̀,
Заплетая в шелест сосен
Человечьи голоса.

Скоро книжки сложат в стопки,
Упакуют, увезут.
Молодой травою тропки
Непременно зарастут.

И в пустом читальном зале
На излучине реки
Упаду я со слезами
На сосновые пеньки...

1957

СБОРЩИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

Дед шагает по болотам
С ветхой сумкою в руке.
Золотятся капли пота
На морщинистой щеке

Он выходит спозаранку,
Собирая много лет
Горицвет и валерьянку
Зверобой и первоцвет,

Медуницу и щитовник
И боярышник литой,
Сушеницу и шиповник
И очиток золотой.

Ходит он по желтой тине,
По полянам и кустам,
По ромашке и полыни,
По раздавленным цветам.

Он, конечно, не барышник,
И не та теперь пора,
Но яснотка, и ятрышник,
И фиалка, и будра

Пригодятся для больничных
Чудодейственных работ,
Для целителей столичных,
Охраняющих народ.

Дед спасает эти травы
От прожорливых коров
И хранит для вящей славы
Вдохновенных докторов.

С многолетнею сноровкой,
Укрепив на лбу очки,
Вяжет лыковой веревкой
Драгоценные пучки.

И, исполнен ликованья,
Подбирает он в ночи
Для напевности названья
Музыкальные ключи.

1957

В ЛЕСУ

Лесная моя сторона,
Задетая черным пожаром,
Где пни точно бочки вина,
Зарытые в землю недаром.

Где хвойный крепчайший настой
В гранитной чудовищной бочке
Хмельной отдает кислотой
И валит на мшистые кочки.

Засохли лесные пруды,
Покрытые пеплом, как штыбом,
Последние капли воды
Достались трепещущим рыбам.

И вытянул окунь губу,
Глазами кося на окрестность,
Как будто бы дует в трубу
Трубач духового оркестра...

Но жирный багровый кипрей
Затянет пожарище скоро,
Приманит и птиц и зверей
В живые лесные просторы.

1958

СЛОВО К САДОВОДАМ

Поднимайтесь, садоводы,
Против снега, против льда,
Вы содействия природы
Не дождетесь никогда.

Все на север, все на север,
Пусть настойчивый компас
На Анадырь и на Невер
Поскорей приводит вас.

Там морозы сушат реки,
Убивая бедных рыб,
Там ручей застыл навеки
Посреди гранитных глыб...

Пусть ползет на горы зелень,
Вытесняя мох с камней,
Перерезав путь метелям
Бесконечных зимних дней!

Пусть встают гиганты кедры
Вместо крошки кедрача —
Кедрам тамошние ветры
Не достанут до плеча!

Пусть невзрачный куст рябины
Станет деревом в обхват
И садовую малину
Не пугает снегопад!

Пусть овес покроет густо
Берега большой реки,
Пусть листы свои капуста
Там сжимает в кулаки!

Пусть растет в земле картофель,
Презирающий буран,
Пусть покажет римский профиль
Деревенский наш баран.

Пусть земля покроет грязью
Раскрошившийся гранит
И цветов разнообразье
С нами юг соединит.

Пусть веселый рой пчелиный
В соты складывает мед,
И цветы у гнезд орлиных
Старый путник соберет!

Пусть лекарственные травы
Поправляются в тепле
И расти получат право
На полуночной земле!

Чтоб акцент араукарий
Шелестел в речах сосны,
Пусть изменится гербарий
Ледовитой стороны!

Пусть не хлопья снегопада —
Легкий яблоневый цвет
Рассыпает ветер сада
Соловьиной песне вслед!

Пусть глазеют ротозеи,
Как трудится садовод,
Оттесняющий в музеи
Флору северных широт!

1957

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Скалами разорванные тучи
Ветром изгоняются с небес,
Когти глухариные, как крючья,
Накрепко обхватывают сучья,
Ибо — засыпает лес...

В ночь уже распахнуты ворота.
Первой торопливою звездой
Сыплется лесная позолота
В медные холодные болота,
Кружится над черною водой.

Рыба вылетает словно птица,
На воду из ивовых кустов.
Рыбе в этот час еще не спится,
Рыбе еще хочется резвиться,
Биться средь затопленных цветов.

Ходит небосвод в рубахе алой,
Гнется над застывшею травой,
Чтобы постепенно засыпала,
Чтобы не ворчала, не шуршала,
Чтобы не качала головой.

1958

* * *

В рельефе хребтов, седловин,
Ущелий, распадков и падей,
В судьбе допотопных лавин,
Застывших в немом камнепаде,

Я вижу попытки земли
Возвыситься до поднебесья,
Взметнуться и рухнуть в пыли
И долго искать равновесье.

Коварная осыпь крута,
И ястреб боится садиться
На острые камни хребта
Обветренной горной границы.

1958

СКВОРЕЦ

В приготовленный дворец
Залетай проворно,
Залетай скорей, скворец
В пиджачишке черном!

Покажи-ка свой талант,
Твой талант — не шутка:
Алеманд, полукурант,
Червякова дудка...

Все леса и небеса,
Все звучит на диво,
Слушай птичьи голоса,
Изучай мотивы.

В приготовленный дворец
Залетай проворно,
Залетай скорей, скворец
В пиджачишке черном.

1959

* * *

Так ярок синий небосвод
С гранитною каемкой,
Как будто здесь с утра идет
Для телефильма съемка.

Здесь десять тысяч струн-стволов
Лесной виолончели
Гудели изо всех углов,
Кричали и звенели.

Здесь Моцарт — не магнитофон! —
Подслушать может мессу,
А месса — как сосновый звон,
Благодаренье леса.

* * *

Пролетели фары —
Взрыв морозной пыли!
Световым ударом
Сердце ослепили.

Пусть даже мгновенья
Этот взрыв короче —
Хуже станет зренье
Среди зимней ночи.

Сделать хоть полшага
Я боюсь при этом —
Как фотобумага,
Обожженный светом.

СИРЕНЬ

Пузырчатая пена
Течет через плетень.
Как вспышка автогена —
Лиловая сирень.

Звезды пятилепестной
Ребяческая цель —
Доселе неизвестной,
Не найденной досель.

Мне кажется, не спать я
И сызнова готов
От влажного пожатья
Разбуженных кустов.

Как факел поднимаю
Дымящийся букет,
Чтоб синей ночью мая
Горел веселый свет.

* * *

Хоть сделана гудроном
Московская весна —
Лирическим законам
Она подчинена.

В едином славословье
Горячей синевы —
Лощины Подмосковья
И площади Москвы.

Дыхание сезона
У леса на краю
И в парковом газоне —
В искусственном раю.

Зеленые сережки
У яблони в ушах,
Размокшие дорожки
Глушат неспешный шаг

И в пригородах пенье
Щеглов, скворцов, синиц —
Весеннее кипенье
Без меры и границ

Чудесная наука —
Озвучить все сады,
Вплести все эти звуки
В листву, в цветы, в плоды.

1962

* * *

Я доволен прогулками
По врачебным советам,
Переулками гулкими
И зимою, и летом.

По счастливой случайности
Полуночное время
Облегчает до крайности
Непосильное бремя.

Знаю мненье окрестностей,
Незамеченных Фетом.
Слышу гул неизвестностей,
Обойденных поэтом.

Голос самого лучшего,
Что вмещается в строки, —
Вроде тучи из Тютчева,
Вроде снега из Блока.

Ливня блеск металлический,
Дождевая кольчуга,
Или почерк эпический
Достопамятной вьюги.

Листьев звонкие ворохи,
Небо страшного веса,
Скрипы, шелесты, шорохи
Полуночного леса.

Даже дали заоблачной
Ощущаю давленье.
Давит голову обручем
Облаков появленье...

Это — вовсе не мистика,
Недоступная глазу.
Это — новой баллистики
Закругленная фраза.

Это — соль крупнозвездная,
Чем посыпано небо,
Точно ломоть морозного
Зачерствелого хлеба.

1957

ЛЕНИНГРАД

Все, что учил я так давно:
Событья, даты,
Что здесь прорублено окно
Куда-то.

России главные слова,
И залп Авроры,
И славой сильная Нева,
И море.

И монументы с той земли
Под гром орудий
В бомбоубежища ползли,
Как люди.

И на одном из пятисот
Мостов столицы
Сам командор мне руку жмет
Десницей.

Туман висит вдоль берегов,
Как клочья дыма.
На Невском шарканье шагов
Незаглушимо.

А утром улица тиха,
Как роща.
И строфы здания-стиха
Читает площадь.

* * *

Вырвалось из комнатного мира
Авторское чтенье — в облака!
Телешова тесная квартира
Нынче романисту не рука.

Вырвалось из комнатного плена,
Из среды земной,
Стало телевизорной антенной,
Радиоструной.

Устремилось авторское чтенье
В космосную высь,
В патефонном диске на мгновенье,
Жизнь, остановись!

Выбери в озвученном романе
Лучшую главу,
Засветись, как слава на экране,
Слово наяву!

МОРЕ

Взглянул и понял: море! море!
Как сила велика твоя,
Узнаю я не в разговоре
И не из книг узнаю я.

Ты — как Сикстинская мадонна,
С которой не свести мне глаз,
Ты пенью соловья подобно,
Услышанному в первый раз.

МОРСКОЕ

Луна потрясает моря,
Она потрясает и сушу,
И море в разгар сентября
Грохочет: «Разрушу! Разрушу!»

И волн поднимается ряд,
Как ряд вопросительных знаков.
На первый лишь кажется взгляд,
Что будет ответ одинаков.

Казалось, скала или риф
Задеты волною любою,
И станут подобием рифм
Ритмичные вздохи прибоя.

Но это, конечно, не так.
Любое здесь неповторимо —
И старый платан, и маяк,
И столб золотистого дыма

Над черным рыбацким костром
Вблизи от бетонных надгробий,
И где-то катается гром
В ведро пересыпанной дробью.

И будто бы лепят рукой
В талантливом быстром движенье
Причудливый берег морской,
Меняя камней положенья.

Мозаики этой игра
Промытые, круглые камни —
Водою разбита гора
В каком-то периоде давнем.

И даже я сам не таков,
Как был за минуту до чуда,
До этих внезапных стихов,
Явившихся тоже оттуда.

Оттуда — из той глубины,
Копившихся там постепенно,
Взлетевших на гребне волны,
Как пена, как светлая пена...

1958

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Взял высокую ноту с разгона,
Словно тенор, запел паровоз,
И на миг поездные вагоны
Выпрямляются во весь рост.

И дежурный в фуражке дежурной,
В красной шапке на старый покрой, —
Театральный, литературный,
Станционный знакомый герой.

Он стоит на подмостках, у рампы —
Пантомимы бывалый актер,
Освещенный единственной лампой,
И безмолвный ведет разговор

С чьей-то радостью или разлукой,
Человеческим горем чужим —
Всем, что в грохоте, лязге и стуке
Пролетело сейчас перед ним...

1961

* * *

Есть снег, называемый фирн:
Почти превратившийся в лед,
Опасный безжизненный мир
В расщелинах горных высот.

Луч солнца его доставал,
Но все ж растопить не сумел,
Лежит глубоко между скал,
Зернист, неподвижен и бел...

Есть снег, как цветы, молодой:
Что савана было белей,
Становится вешней водой,
Целебною влагой полей...

1962

У ТЕЛЕВИЗОРА

Лишь бы твое изображение
Не появилось раньше звука —
Вот весь секрет преображения,
Телеэкранная наука.

Чтоб ты возник, молвой наполненный
И подготовленный звучаньем,
И все же был подобьем молнии,
Неотвратимой и — случайной.

Чтоб шел вперед с расчетной скоростью —
С такой, чтоб вслух прочесть успели! —
Был нужен в радости и в горести —
И ты достиг желанной цели.

ОЛЬСКАЯ ГАВАНЬ

Там солнцу светить не хватает и дня
И ночь уступает, не споря.
Ступени, как волны, подводят меня
Все ближе к лиловому морю.

Та лестница к морю ведет, и она —
Причина морского волненья.
Ступени доходят до самого дна,
Открытого на мгновенье.

На волнах зубчатых качается кит —
Он сам, как волна штормовая,
Растущий прилив и бурлит, и кипит,
И ноги мои задевает.

У самого пирса в морскую игру
Играют две нерпы азартно,
И солнце влезает сквозь тучу в дыру,
Что прорвана ветром внезапно.

1957

* * *

Вижу кости горных хребтов,
Переломленных человеком,
Вижу странную яркость цветов —
Не гербарий, а фильмотеку.

Слышу тысячу птичьих ртов
В оглушительный час рассвета
Там, где каждый снегирь готов
Петь с ответственностью поэта.

Где волшебным своим фонарем
Озаряя распадки и пади,
Бродит в тучи закутанный гром,
Подражая во всем ледопаду.

СЕМЁН ДЕЖНЁВ

Могилу роет море-океан.
Мы потерпели кораблекрушенье.
У нас остался компас и секстан
И есть еще надежда на спасенье.

На звезды смотрим, слушаем эфир,
Укрывшиеся в леденелых скалах,
Но нас не ищет равнодушный мир,
И мы не слышим радиосигналов.

И утлый коч наш приплывет туда —
Пробьет тропу ледовых карт и лоций, —
Куда всегда Полярная звезда
Российского вела землепроходца.

1958

* * *

Таежное солнце со снегом весною
Расправится и без людей
И, помощью пренебрегая земною,
Не просит у неба дождей.

Без дворников, без снегочисток машинных,
Со снегом один на один,
Оно до полуночи роется в льдинах,
Ломает могущество льдин.

И, с солнцем вступающий в единоборство,
Вчерашний властительный снег
Открыто покажет свое непокорство,
Оставшись в ущельях навек.

И дно ледяное угрюмо блистает,
Но горный ручей по нему
Бежит и, сверкая, на воздух взлетает,
Забыв снеговую тюрьму.

ПОСЛЕ ВЬЮГИ

Снег — сыпучее тело.
Он колюч и летуч.
Ослепительно белым
Он просыпан из туч.

Ночью вьюга швыряла
Белый снег в небеса
И, должно быть, устала,
Сотрясая леса.

Задыхаясь от бега,
Затихает пурга
И серебряным снегом
Посыпает снега.

На ветвях — ни снежинки,
И на голой горе
В щелях светятся льдинки,
Как свеча в фонаре.

* * *

Подходят горы сзади,
Глядят из-за плеча,
Что я черчу в тетради
Близ горного ключа.

Отображу ли лучше
Художницы воды
Базальтовые кручи,
Фарфоровые льды.

В восторге оробелом
С испуганным лицом
Я мазал небо мелом
И скалы крыл свинцом.

И жарко звал на смену,
Меняя цвет на цвет, —
Индиго и сиену
Палитры детских лет.

Неточность изложенья,
Пробелы мастерства
Осудят и растенья,
И камни, и трава...

1958

* * *

Руинами зубчатых башен,
Развалинами крепостей
Был берег сыздавна украшен
И был приятен для гостей.

Но замок, славный красотою
Любой войны и старины,
Был нищ и беден пред простою
Неповторимостью волны.

И что творения Шекспира
В сравненье с сизою водой —
Ровесницей созданья мира
И все же вечно молодой!

* * *

В ущелье день идет на убыль,
Весь мир — пока хватает глаз —
Таков, как будто новый Врубель
На вечер пишет под заказ.

Кипрей на скалах темно-серых
Как киноварь на полотне,
Ручей рубиновый в пещере
С камнями черными на дне.

Брусника здесь — почти черешня,
Она крупна и велика.
Расти бы ей — бруснике здешней —
Там у подножья Машука...

1959

* * *

Море крыто теплой тучей,
Море мерзнет в сентябре,
Связки волн трещат, как сучья
На пылающем костре.

И в скафандре небосвода
Некий город-водолаз
Погрузится хочет в воду
В десяти шагах от нас.

Скалы, красные, как мясо,
Омываются волной,
Сто медуз из плексигласа
Проплывают предо мной...

РЫБИЙ БОР

Сосновый бор, зеленый бор,
Свисающий со склонов гор, —
Ты в голубой плывешь воде
Навстречу утренней звезде
Сосновой дружною семьей
С блестящей желтой чешуей.
Да, сосны вроде окуней
От кроны до кривых корней,
И ветки, будто плавники,
Трепещут на волне реки...

1959

УЩЕЛЬЕ

Когда в ущелье на мгновенье
В глазах любой речной волны
Мелькнет обрыва отраженье —
Реки движенья стеснены.

И, потемнев как бы от гнева,
Она ломает берега,
Крушит направо и налево
И в камне чувствует врага.

Река выходит из ущелья
Уже не прежнею рекой.
Она хрипит от возмущенья,
Не веря в счастье и покой.

И все забыто понемногу,
Кругом так зелены луга,
Так утешительно пологи
Ее родные берега.

Но о скале воспоминанье
Рекой навек сохранено —
В любую непогодь волнами
Со дна выносится оно.

ЕЛКИ И ВЕТЕР

Елки ходят в платьях длинных,
Заплетаются в снегу,
Елки ходят в кринолинах,
Украшающих тайгу.

Задрожат у елки плечи,
Елка прячет след пилы.
Зашивать ей рану нечем —
Нет ни нитки, ни иглы.

Правда, хвойные иголки,
Снеговые нити есть,
Только слишком мало толку
От иголок этих здесь...

Те царапины на теле
Ей оставила пила,
Что в метель по снегу ели
Походила и ушла.

Лесорубы еле-еле
Убрались из лесу в дом
В остром свисте той метели
В диком вое ветровом.

Ветер елку спас от смерти
И кричит из-за куста:
— Ветру верьте, ветру верьте,
Ветер дует неспроста.

Он повязку снеговую
Наложил на елку сам —
Елка кровь хранит живую,
Чудодейственный бальзам.

Елки лечат эти раны
Только собственной смолой.
В ожидании бурана
Ветер вертится юлой.

КУРЬЯ

Здесь курья — речная заводь,
Неподвижная вода.
Слишком мелко, чтобы плавать,
И река здесь, как слюда.

И, ступая осторожно
По сырому плитняку,
Босиком добраться можно
К обнаженному песку.

Это — раменье, оплечье
Пашен, пожен и долин,
Вбитый плотно в междуречье
Боровой зеленый клин.

Облака, как горы мела,
Тучи тяжче, чем свинец,
И орлы садятся смело
На малиновый орлец.

1959

ВЕЧЕРОМ

Мне небом нынче велено
Питаться зельем зелени,
Вдыхать цветочный яд.

Путями незнакомыми
Скитаться в птичьем гомоне,
Пока глаза глядят.

Уж вечером намечено,
Что будет засекречено
В сегодняшнюю ночь.

Исчезнет конь игреневый,
Исчезнет куст сиреневый,
Уйдут дороги прочь.

Мне лезут в уши оводы,
Насвистывая доводы
Слабеющего дня, —

Как будто небо ясное,
Как будто солнце красное
Уже не для меня.

* * *

Как ни хорош
Пейзаж в изображенье,
Он — не похож,
Он — тело без движенья.

Бессилен гнев
Художника в азарте —
Земли рельеф
Не выразить на карте.

Нельзя пером
Одушевить природу:
Негромкий гром,
Рокочущую воду...

Для жизни гор
И надписи некстати:
«Сдано в набор»,
«Подписано к печати»...

КУСТЫ

Ложатся тяжелые тени
Подсвечников белой сирени.

Кусты в одеянье зеленом
Живут у меня под балконом.

Им ночь навалилась на плечи,
Бессвязны их темные речи.

Я днем занимаюсь разгадкой
Того, что услышал украдкой,

Чтоб вынести мненье растенья
На суд человечьего мненья.

1957

МАРИЯ КЮРИ

Какое-то апреля,
Полсотни лет назад —
На выставке в Брюсселе
Бесценный экспонат.

Необычайно важный
Научный экспонат —
Простой листок бумажный
Приковывает взгляд.

Незримого свечения
Отравленный поток;
Хранящий излучение
Тетрадочный листок...

Лежит листок полвека,
Зловещий, как анчар,
Он — гордость человека,
Разоблаченье чар.

Природы чар незримых,
Где предвосхищены
Пожары Хиросимы
И ядерной войны.

И ты — открытья жертва,
Склодовская-Кюри,
Листок — твое бессмертье,
Добейся и сгори.

И счетчик излученья
Трепещет у листка —
Всеобщее волненье,
Волненье и тоска.

Не жизни разве ради
Открыла нам она
Вот этот самый радий,
Которым сражена?

1959

* * *

И в грязи, и в пыли
Средь рассветного дыма,
Ты чернее земли
И легко различима.

Возле каменных труб,
На земле омертвелой,
Где зарыт этот труп,
Это черное тело.

Но заботиться мне
о могиле не надо —
У меня в той стране
нет ни дома, ни сада.

В перекрестке дорог
это тело зарою,
И оградою строк
от забвенья укрою.

* * *

Мучительна бумаги белизна,
Луна блестит на кончике пера,
Акация кричит мне из окна:
Пора, мой друг, пора.

А мне и времени не стало жаль,
И это слишком грозная примета,
Молчит земля, молчит морская даль,
Да я и не ищу у них ответа.

Офелия заплакала навзрыд —
Покоя нет, покоя нет в могилах,
Напрасно Гамлет с морем говорит,
Прибой перекричать не в силах.

* * *

У мертвых лица напряженные —
Ни равнодушья, ни покоя,
Вчерашней болью раздраженные
Или вчерашнею тоскою.

И после маски гиппократовой
Закон предсмертного обличия —
Как будто каждый был обрадован
Похожестью, а не отличием.

Не управляя вовсе нервами,
Они не просто умирают —
В минуты после смерти первые
Они особые бывают.

Как будто только в их присутствии,
Как бы казалось ни жестоко,
Как стихотворное напутствие
Читать четверостишье Блока.

Так умирали раньше римляне,
Под музыку вскрывая вены,
Привычки прошлого незыблемы —
Мы их забыли постепенно.

И победитель боли раковой
От нас отходит понемногу,
И нам показывает знаками
Свою последнюю дорогу.

* * *

У облака высокопарный вид,
Оно о многом нынче говорит.
Еще с утра ею предупрежден
Что в травах, пересыпанных дождем,

Поднимут голову сегодня над землей
И ландыши, кукушкин лен,
А в черных ямах, где была руда,
Взойдут опять бурьян и лебеда.

В САДУ

Известен способ исстари,
Надежный и нередкий,
Снимать с деревьев изморозь,
Чтоб не сломались ветки.

Чтоб не сломались косточки
Лубками ледяными,
Отростки, ветки, тросточки,
Попавшие под иней.

Садовники, цирюльники,
Земные костоправы,
Для них кусты багульника
Не травы для отравы.

Садовник возле яблони —
Как в операционной,
Изменит ветки дряблые
В тугие и зеленые.

И плод любви неистовой —
Отнюдь не инвалиды —
Лежат в кроватке гипсовой
Разумные гибриды.

ВОРОБЕЙ

Чирикай, веселая птица,
Пред этой затянутой льдом,
Пустой, одинокой страницей —
Заснеженным белым листом.

Обманутый ли на мякине,
Доверчивый ли навсегда,
Ты, как подобает мужчине,
Не бойся проклятого льда.

Не сдерживай жажду ночную,
Взъерошенный мой воробей,
И корочку ту ледяную
В чернильнице клювом разбей.

* * *

Излишество науки
В повадке демиурга —
Художниковы руки
Пригодны для хирурга.

Штангист или философ,
Искатель скользких истин,
Решатель всех вопросов
Прикосновеньем кисти.

ПАСТОРАЛЬ

Большое стадо серых коз,
Еще ловя лучи заката,
Переместилось на откос,
Покрытый глиной синеватой.

И красногрудая овца,
Потея, точно балерина,
Все пляшет, пляшет без конца
Вокруг открытого овина.

Вот бык — египетский святой,
Чья шея точно у лягушки.
Любуясь бычьей красотой,
Ждут на опушке две подружки.

Вода пруда покой хранит,
Давно свои разгладив складки:
Она похожа на гранит
Как бы палеозойской кладки.

А солнце шарит по углам
И нежно, с грацией природной,
Вдруг закрывает веки нам
Своим лучом, почти холодным.

1966

ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Мне кажется, я не один
Иду в дымящемся морозе,
Что кто-то дышит впереди,
Туманом застилая звезды.

И воздух шелестит, как шелк,
Дыханью эха отвечает,
И чей-то призрак подошел,
Меня порывисто встречая.

Хрустит под тяжестью земля,
Шуршит одежда великана,
Она, как платье короля,
В морозной выкроена ткани.

Она сверкает при луне,
Кроша алмазные осколки,
И колют тело в тишине
Портным забытые иголки.

Портной нам в сказке не солгал:
Крутя невидимые нити,
Он прял морозы и снега,
Он вьюгой думал объявить их.

Он приготовил их к зиме,
Он их выбрасывал на ветер,
Имея, впрочем, на уме,
Что надо все держать в секрете.

И вот почти в одном белье
В дорогах с сентября до мая
Кого-то водят в ателье,
Морозным блеском одевая.

И прав портной, что только тот,
Кто прям и чист и верит клятвам,
В восторг неписанный придет
От этой выкройки стеклянной.

И в накрахмаленный наряд,
Морозом стеганное платье,
Оденут нищих и нерях
И будут королями звать их.

* * *

Вот сосновый квадрат, драгоценный подлесок,
Чудеса человеческих рук.
Он растет без ольховых густых занавесок,
Он растет без певучих пичуг.

Каждый стволик сосновый и гибок, и строен —
До мужчины ему далеко,
Хоть в зеленое выкрашен будущий воин,
Еще дышит привольно, легко.

Все ряды аккуратны и четки границы,
И солдатская стать хороша.
Даже места здесь нет для случайной синицы,
А по ней стосковалась душа.

* * *

Дожди порой смывают горы
И разрушают города,
Но режет на камнях узоры,
Предупреждая нас, вода.

Напишет не спеша, не сразу
О том, что подступает зло,
Вода, подобная алмазу,
Прорежет камень, как стекло.

И неба замыслы раскрыты,
И сам хранитель городов
С водой небес вступает в битву
И победить ее готов.

НЕИЗВЕСТНАЯ ГОРА

Земля, рожденная из пламени,
Из вулканических пород,
Нам не казалась мертвой, каменной,
Мы видели — она живет.

Так безымянная, незваная,
Она стояла у стола,
Пока давали ей название,
Чтобы взорвать ее — дотла.

* * *

Высоки, текучи, глубоки
Голубые дальние пески.

Облака — подобия холстин,
Небеса — подобия пустынь.

Море — будто небо, а земля —
Место для движенья корабля.

Всю-то ночь плетется караван
Через тот песчаный океан.

Звезды, как копытные следы,
Нас ведут через пески и льды.

* * *

Зелень пьет лучи все лето,
Но лишь к августу она
Этим желтым солнца светом
Досыта напоена.

Отнимая солнца силу,
Зелень будет пламенеть,
Заставляя побледнеть
Утомленное светило.

ОТВЕС

Капели, вешние капели,
Сосульки, рухнувшие вдруг,
Как будто в тигеле апреля
Расплавлены остатки вьюг.

Прообраз вертикальных линий,
Природы спущенный с небес,
С той высоты безмерно синей, —
Простой строительный отвес.

* * *

Загостившаяся совесть
Возвращается домой,
Вот ее простая повесть,
Повесть о себе самой.

Где она пила и ела,
Где любила и спала?
От чего все мышцы тела
Ноют около тепла?

Все поступки, все уступки
Равнодушны и легки,
И метель свивает в трубки
Старые черновики.

Жить бы мне с холодной кровью,
Рыбой прыгать над волной,
Охраняющей здоровье
Золотой водой речной.

Впрочем, быть не стоит рыбой,
Слишком блещет чешуя,
Лучше уж гранитной глыбой,
Минералом буду я.

Лучше буду камнем гулким
На торцовой мостовой,
На прогулке в переулке
По Москве и под Москвой.

1957

АЛХИМИК

Припоминая путь голгофский,
Очарованье крестных мук,
Он прячет камень философский
В облезлый бабушкин сундук.

В сундук с таким хрустальным звоном,
С такой мелодией замка,
Что сходна с человечьим стоном,
Когда безвыходна тоска.

А может, камень тот чудесный —
Простой булыжник иль гранит,
И ни одной звенящей песни
В себе он вовсе не хранит.

Нет, камень — ангельская книга,
Пускай печати изо льда, —
Мы не видали на булыге
Семи печатей никогда.

1957

НА ОГОРОДЕ

Исполинской каплей крови
Набухает помидор,
Лисьи мордочки моркови
Свесились через забор.

И подтягивает стропы
Парашютный батальон —
Боевой десант уропа,
Что на грядах приземлен.

Брошен ворох листьев свеклы,
Точно бычьих языков,
На давно немытых стеклах
Приоткрытых парников.

Подорожник бьет в ладоши,
Мак ударил в бубенцы,
Ходят в крокодильей коже
Молодые огурцы.

Веет день медовым духом,
Вьется тополиный пух,
И своим слоновьим ухом
Землю слушает лопух...

Только для чертополоха
Нет дороги в огород,
Говорят: не та эпоха —
И выводят из ворот.

1957

* * *

Я сделаю чучело птицы
Такое, чтоб рвалось вперед,
Умело бы жить и стремиться
В высокий небесный полет.

Чтоб проволока стальная
Крепила надежно крыло.
Не старясь и не линяя,
Крыло бы себя берегло.

И, кости железом расправя,
Без возраста и судьбы,
Волшебная птица вправе
Летящей, бегущей быть.

Причесанное оперенье
С кусочком резины в хвосте
Пригодно вполне для паренья
На ангельской высоте.

Мешок этой сморщенной кожи
Пришлось поплотнее набить,
Чтоб было на птицу похоже,
Что птицей готовилось быть.

Останутся пух и перья
От тех, от взаправдашних дней,
Затем, чтобы вызвать доверье
И даже сочувствие к ней.

Останется чуточку мозга
Для памяти и ума,
Затем чтобы рано иль поздно
Во всем разобралась сама.

Но крови не будет ни капли
В бечевочных жилах ее,
И мускулы птичьи — пакля,
Набитое в шкуру тряпье.

Подвел только зрения орган:
Крученная в шарик смола
От солнца иль от восторга
Вдруг черной слезой потекла.

И вытекли птицы глазницы,
Но даже слепая — она
Хотела б в полет устремиться
С распахнутого окна.

Ей ветер поддерживал крылья,
Подняться она не могла.
И были напрасны усилья
Ее оторвать от стола.

Своим ироническим клювом
Она обернулась ко мне,
Надеясь, что скептики-люди
Ее понимают вполне...

Печальную эту игрушку —
Подобие жизни моей —
Тебе подарю я, подружка,
Но только смеяться не смей.

* * *

Еще в детстве, спозаранку,
В придорожном ивняке
Нам кукушка, как цыганка,
Погадала по руке.

Нынче эхо — не кукушка —
В ледяном лесу живет
И пророчит на опушке
Для прохожих круглый год.

И вокруг — оцепененье
Напряженной тишины,
Ненавидящей движенье,
Нарушающее сны.

Каждый звук предельно точен
И как детский мяч упруг,
В хрустале лесных обочин
Вырывается из рук.

Каждый звук предельно звонок
И опасен для людских
Барабанных перепонок,
Ненадежных, городских.

* * *

Листок дубовый — как гитара,
И сотни тысяч тех гитар
Трясут изорванный и старый
Незасыпающий бульвар.

Притихший город дышит зноем
И жадно дышит тишиной.
А тишина — она иное,
Чем все земное, даже в зной.

Как мне минор шумящих листьев
По нотной лестнице вести,
Каких держаться скользких истин
В таком запутанном пути?

Как звать пейзаж в литературу
И душу дуба оживить,
Как драть с живого дуба шкуру
И сердце с ним соединить?

Быть может, проще слушать пенье
Без кисти, без карандаша,
И как награда за терпенье
Его откроется душа.

1958

* * *

Поблескивает озеро,
Качается вода,
И ветер ходит козырем
Перед приходом льда.

На миг тот лед появится
И скроется опять —
Капризнице-красавице
Повадками подстать.

Ползет каймой хрустальною
По заберегам лед,
Пройдя дорогу дальнюю,
Лед очень устает.

Он был ледник медлительный,
Сползающий с горы,
Кидавший в трепет жителей
Далекой той поры.

Хребты и плоскогория
Географам лепил,
И меряли историю
Движеньем этих сил.

Он жил, как князь владетельный,
Хозяин тех времен,
О них живых свидетелей
Не оставляет он.

* * *

Наступающим маем
Истончились снега.
И олени снимают
Свои ветви-рога.

Но деревья не станут
Подражать им ни в чем,
Раздвигая туманы
Деревянным плечом.

Они вытянут ветки,
Разожмут кулаки,
И потомки, и предки
Все гибки и крепки.

Хвою, словно перчатки,
Надевают леса,
Клейки листьев зачатки,
И шумят небеса.

* * *

Ты — учитель красноречья,
Полноводная река.
Я бреду тебе навстречу,
Вязну в осыпях песка.

Ты гремишь на перекатах,
Возвышаешь голос свой,
Ты купаешься в закатах,
Отливаешь синевой.

<1960-е>

* * *

Весь гербарий моей страны
На ладонях лежит тишины.

Все лишайники, корни, мхи,
Не записанные в стихи.

Из раскрытых чашек цветов
Я напиться воды готов.

Здесь не властны ничьи снега.
Здесь рассыпаны жемчуга.

Рассыпает моя роса
Незатейливые чудеса.

У ОКНА

Я слушаю вблизи окна,
Как просыпается Москва,
Снимает плащ дождя она,
Надетый ночью в рукава.

Вот дальний поезда гудок,
И шорох дворника метлы,
И небо, небо, как цветок,
Растущий из свинцовой мглы.

Следы тысячелетних слез
На липких, серых листьях лип,
И шум машин, как скрип колес,
Стариннейший тележный скрип.

Нарушить все, идти на риск,
Открыть гремящее окно,
Чтоб лучше слышать птичий писк,
Меня тревожащий давно.

<1960-е>

* * *

Оглушителен капель стук,
Оглушителен капель звук —
Время, выпавшее из рук.
Капли времени. Зимний час.
Равнодушье холодных фраз.
Слезы, вытекшие из глаз.
Заоконной весны капель,
Ледяная звонкая трель,
Ты — растаявшая метель.
Это все не только апрель.
Это время стреляет в цель.

<1960-е>

* * *

Орудье кружевницы,
Известное давно, —
Коклюшки, а не спицы
И не веретено.

Трещат, как кастаньеты,
И мне уж не до сна,
Трещат коклюшки эти —
Седая старина.

Полна, полна азарта,
Учета всех опор,
Разведочная карта —
Задуманный узор.

И трезвого расчета,
И вымысла полна
Кустарная работа,
Кустарная война.

Крученой белой нитью
В булавочных лесах
Записаны событья —
Рассказ о чудесах.

Походкой величавой
Вдогонку старине
За павой ходит пава
По нитяной стране.

А на другой подушке
Усильем кастаньет —
Ракета на коклюшке
Прелестней всех ракет.

И павы и ракеты
Идут за рядом ряд,
Коклюшки-кастаньеты
Прищелкивают в лад.

Сплетите, кружевницы,
Такие кружева,
Чтоб жителей столицы
Кружилась голова.

1959

* * *

Клен, на забор облокотясь,
Внимая ветру, свисту,
Бесшумно сбрасывает в грязь
Изношенные листья.

И если чудом в тот четверг
Весна бы возвратилась,
Клен безусловно бы отверг
Мучительную милость.

* * *

Озерная вода прозрачней, чем глаза,
И заглянуть на дно не страшно и не горько,
И если щеки мне щекочет здесь слеза,
То только потому, что горек дым махорки.

И ивовых кустов, сплетенных крепче кос,
Касаться я могу своей рукой усталой,
Лекарством пахнет лес, лекарством — сенокос,
И лесу грусть моя и вовсе не пристала.

ЛУНОХОД

Катится луноход,
Шагает по вселенной.
По кратеру ползет
Измеренной Селены.

Безвестен, кто создал
Колесное движенье,
Кто мир завоевал
В круженьи и вращеньи.

В раскопках ранних лет
Любых цивилизаций
Колесный виден след
Любых племен и наций.

Не Рим и Ренессанс —
Неандертальский практик
Имеет верный шанс
Попасть в музей Галактик.

Эмблема всех эмблем,
Стариннейшая тема,
Поэма всех поэм —
Колесная поэма.

Здесь символ и обряд
Всех мировых вопросов,
Надежный аппарат,
Что послан нами в космос.

Гончарный идеал —
Орудье работяги,
Эмблемой мира стал,
На лунный кратер встал,
Как свет людской отваги.

* * *

Коварна карта марта,
Коварен месяц март:
Пурга грохочет в марте,
И мягок снегопад.
Апрельские капели,
Январские снега,
Стремятся к высшей цели
Поляны и луга.
Надежна карта марта.
Затем, что каждый год

Весна стоит на старте
И ждет пути вперед.
Наследница Декарта,
Логичная весна,
Ведет по карте Спарты,
Меня лишая сна.
И нет зиме возврата,
Возврата нет зиме,
И только гроз раскаты
У марта на уме.

* * *

Стоял я тихо возле скал,
И трепетали скалы,
На фоне шумов выделял
Полезные сигналы.
Сигналы вкладывал в стихи
С завидным постоянством.
И, осторожны и глухи,
Стихи ползли в пространство.
Математический расчет,
Неточный и непрочный,
Меня по-прежнему влечет
Своим путем порочным.
В тот самый край, где возле скал
Я подменял Атланта,
Где утром солнце я поймал
В глазок секстанта.

* * *

Читать стихи, сбиваться с шага
При громе гроз,
Чтоб ярче вспыхнула бумага
От жгучих слез.
От слез, какими плакать можно
В высокий час,
Где исповедуют неложно
И малых нас.

АСУАН

Беречь Борободур,
Хранить в веках неплохо
Величие скульптур
Загадочной эпохи.

Роландов рог звучит
Пронзительно и веско,
Надежный найден щит —
Вмешательство ЮНЕСКО.

Конечно, сохранить,
Сберечь там каждый камень —
Крепить искусства нить,
Укрытую веками.

Но, честно говоря,
Искусства не ругая,
Мне видится заря
Рассветная другая.

Пускай зарыт Коран
В подножье Асуана —
Для мира Асуан
Важнее сур Корана.

Важнее пирамид,
Важнее Тадж-Махала
Его бетон, гранит
И свет его накала.

Я вовсе не дикарь —
Аларих перед Римом,
Безвестный готский царь
Судьбы неудержимой.

Возникший среди скал
Тот конус усеченный
Внезапно заблистал
Поэзией ученых.

Могучее, чем был
Фиванский храм в Луксоре,
Перегородит Нил
И превращает в море.

И храм Абу-Симбел —
Спасение выше чести —
От смерти уцелел,
Заняв повыше место.

Распилен на куски
И вновь стоит святыней.
Подобные грехи
Не в счет идут в пустыне.

На новый путь вступил
Сей параллелепипед —
Дорогу уступил
Плотине сам Египет.

Да что Египет — мир
Повергнут в изумленье,
Шекспир пришел в Каир,
Готовя прославленье.

Сместить Абу-Симбел —
Отнюдь не святотатство
Средь миллионов дел
Египетского братства.

Старинная мечеть
Арабского халифа
Сумела уцелеть,
Надев одежду мифа.

Но новый Асуан —
Совсем другое дело:
Подъемный мощный кран,
Чьей силе нет предела.

Здесь будущего свет,
Эмблема дружбы наций,
Здесь Нил и сам — поэт,
Поэт мелиораций.

Не шейх, не фараон —
Ведущая фигура, —
Здесь правит свой закон
Народная культура.

Намечен путь побед
Не только для Каира —
Важнее стройки нет,
Наверно, в целом мире.

Диктуют сами тут
Законы гидросферы,
Сливают вместе труд
Двух наций инженеры.

Здесь гений двух культур —
Советской и арабской, —
Здесь сила двух натур
В их напряженьи братском.

ПОВОРОТ СИБИРСКИХ РЕК

Славно озеро Байкал —
Заповедник с баргузином,
Что музеем мира стал
С гидрографией единой.

Но еще важней канал,
Что пройдет в Сибири вскоре,
Что разрежет минерал,
Орошая плоскогорье.

Вечный водный дефицит
У засушливых районов
Пополняет водный щит —
Сток по горному уклону.

Обь, Иртыш и Енисей —
Каждый пущен в неизвестность —
Вниз плывут, как Одиссей,
В небывалую окрестность.

И ложатся на ночлег
В отведенном регионе.
Замедляют быстрый бег
В обозначенном районе.

Клинья: Обь, Иртыш, Тобол —
Закрепляются недаром:
Плоскогорье — это стол
Будущего хлебодара.

Точно вычислен уклон —
Угол водного паденья,
Весь сибирский регион
Взят давно под наблюденье.

Вероятно, Геркулес,
Если веру дать поэмам,
Проявил бы интерес
К нашим нынешним проблемам.

Землеройный наш снаряд —
Не лопата штыковая,
С Геркулесом станет в ряд
Гидротехника живая.

Колоссален поворот
Мифологии вселенной.
Видя водный оборот,
Фауст встал бы на колени.

«Фауста» вторую часть
Мы допишем в Казахстане,
Чья ухватка, сила, власть
Для веков примером станет.

Мощный дальний водопад —
Ждать его уже недолго —
Увеличит во сто крат
Силу мышц рабочей Волги.

Силу трех сибирских рек —
Иртыша, Оби, Тобола —
Сводит вместе человек —
Фаустическая школа!

Современность — суть и свет,
Нерв проблем любой поэмы,
И в твоих руках, поэт,
Эхо современной темы.

Ты минутней всех газет,
Всяких радио и теле,
Отражен вселенной свет
Навсегда в душе и теле.

Не пророчества поток,
А тончайшая отдача,
Мозга каждый завиток
Напряжен такой задачей.

1972

* * *

Топограф, знающий тайгу,
Перебираясь через кочки,
Вдруг цепенеет на бегу,
Увидев свежий след в снегу,
След, растянувшийся цепочкой.

Уже ослабевает свет,
И наст, подернутый поземкой,
Способен скрыть легчайший след
На кромке льда, на самой кромке.

И, выходя на рысий след,
Бредет звериною походкой
Добытчик, а не дармоед,
А может быть — в душе поэт,
Взволнованный своей находкой.

* * *

Иду, дышу сосновым лесом,
Целебен воздух,
Гляжу на небо с интересом:
Красивы звезды.

Мне нынче только бор потребен,
И к бору руки
Я простираю — лес целебен,
Лес гасит звуки.

Он — враг открытого пространства,
И резкость света
Смягчает с вечным постоянством
Зимой и летом.

Загадки мировой вселенной
Понять мне проще,
Когда я стану на колени
В сосновой роще.

<до 1972>

ЛОДКА

Да... Как все это было?
Ее вела река
Через заносы ила
И донного песка.

И вырублена грубо
Из цельного ствола
Огромнейшего дуба
Та лодочка была.

И берег был пологий,
А лодке — не пройти.
Трудны ее дороги,
Запутаны пути.

И лодка затонула,
Завязла глубоко,
На самом дне уснула,
От жизни далеко.

И камень лег на плечи,
И — с головы до ног —
От взглядов человечьих
Ее закрыл песок.

И через пять столетий
Той лодочки скелет
При звездном найден свете
И вытащен на свет.

Над ней пришел стараться,
Находчив, бодр и смел,
Профессор реставраций,
Знаток музейных дел.

И собрана без клея,
При синтезе наук,
Усилий не жалея,
Не покладая рук...

И видит археолог
Весы добра и зла:
Что лодка — не осколок,
И вся она — цела.

Ту лодочку не надо
В архивный брать учет,
Реакцией распада
И проб на углерод.

В своей судьбе короткой
И днем, а не на дне,
Еще способна лодка
Служить речной волне.

* * *

Ну, вот вам мой отчет:
По желтой корке льда,
По наледи течет
Багровая вода.

Бесшумные ручьи
Шныряют там и тут;
Они еще ничьи —
Причала не найдут.

И снег серей свинца
Валяется в лесу
Он вроде леденца,
Я сам его сосу.

И лозы так красны,
Как будто бы во сне
Безмолвие весны
Понравилось весне.

ГИРОСКОП

Поверхность мира расстели
По всей длине стола,
По необъятности земли
Скачи, моя юла.

Магический полярный круг
Иглою очерти,
Чтоб по следам ревущих вьюг
Прошли твои пути.

Сердечный выбросил толчок
Тебя на край стола,
И закружился мой волчок,
Усталая юла.

Юла трудилась, как могла,
Не вытирая пот,
Звенела в мире, как пчела,
Сбирающая мед.

Так бейся в голубой бетон,
Плясунья, — до конца,
Покамест пульс и такт и тон
Еще стучат в сердца.

* * *

Снег прибегает в сад,
Как будто по ошибке,
Настроить снежный лад
Сосновой зимней скрипке.

Все та же, та же цель,
И нет судьбы важнее.
Метель гудит, как шмель,
Но только пострашнее.

* * *

Зимы никому не жалко —
Ни кошкам, ни тучам, ни галкам,
Ни розам и ни фиалкам.
Весь мир ненавидит мороз.

Весна — это вовсе не жалость,
Зимой овладела усталость,
Зимой у природы осталось
Одна только горечь слез.

Как выплакать эти слезы?
Без всякой надуманной позы
Сплошные весенние грозы
Рыдать проливным дождем,

Чтоб вместо свечного огарка
К нам солнце и жарко и ярко
Нежданным небесным подарком
Обрушилось в каждый дом.

* * *

Избушка крыта финской стружкой,
Блестит, как рыбья чешуя,
В избушке той — моя подружка,
Моя подружка — жизнь моя.

Она по физики законам
На смерть давно обречена,
Затем и в мире заоконном
Не появляется она.

Она полна того пристрастья,
Какое силу ей дает
Несчастье ощутить как счастье
В ненастье, когда дождик льет.

ЧЕ ГЕВАРА

Короткие дороги
И длинные мосты.
Их было слишком много
Для пленника мечты.
Дорожки, переходы
Подземных галерей,
Где даже и свобода
Сырой земли сырей.
Я видел в самом деле
Посланца звездных мест,
По радио и теле

Следил его приезд.
С ним рядом шел Гагарин,
Солдат земли,
Узбек, грузин, татарин
С ним рядом шли
Бескровной белой кожи
И черной бороды
Нездешний свет, похожий
На свет звезды...
Он был совсем не странен,
Товарищ Че.
Совсем не марсианин —
В другом ключе.
Он мировую славу
Сумел преодолеть,
По собственному праву
Ушел на смерть.
Пример единства дела
И высших слов
Он был душой и телом
Явить готов...

1972

* * *

Тишина — это лозунг мира,
Вот в чем суть любой тишины,
Задевающей честь мундира
Делегатов любой войны.
Тишина — это лозунг века
И закон для любых планет,
Чтоб могла работать аптека
И трудиться любой поэт.
Это самая суть прогресса —
Современная тишина.
Тишины боится агрессор.
Тишины боится война.

* * *

Как сердечный больной,
Для словесности,
Я живу тишиной
Неизвестности.

Круг вращают земной
Поколения.
Мое время — со мной!
Без сомнения.

* * *

Иногда в одиноком походе
Рукавичка — и то тяжела!
Или даже при зимней погоде
Рукавичка не держит тепла.

И таит непомерную тяжесть
Принесенный с земли карандаш,
Карандаш, поднимаемый даже
На плечах на десятый этаж.

БЛОК

Позвякивая монистом,
Целуя цыганок персты,
Дорогой знакомой, тернистой
Блок шел сквозь мираж суеты.
Все зори его, все закаты,
Они одноцветны — желты.
«Двенадцати» резки плакаты,
Матросы, как фрески, чисты.
Менялись на женщинах лица,
И в вечность летящий рысак
В глухих переулках столицы
Замедлил свой бег и свой шаг.
Рысак был конем Фальконета
И Пушкина родствен перу...
Достойно вмешаться поэту
В такую большую игру.

* * *

Измерены звездные Леты
И карты миграции птиц,
Разгаданы неба секреты
И лоции дальних границ.

Известны пути возвращенья
К родимому дому, гнезду,
Земля по закону вращенья
Приводит на ту же звезду.
А мне не пришлось возвратиться,
Родную пощупать траву,
Я не перелетная птица.
Я около дома живу.

* * *

Выкиньте все гипотезы
О викингах с моря,
Не на Петровом ботике
Плыли мы в сером просторе.
Дежневскими карбасами
Мы устремились к цели,
Мощными контрабасами
Русской виолончели.
Их молодой мелодии
Силы инструментальной
Там, на окраине Родины,
Там, на Севере Дальнем.

* * *

Мой день расписан по минутам,
А также — ночь.
Но лишь к душе подступит утро —
Заботы прочь!

Прочь этот ворох старых писем.
Их шорох — гром,
Где ряд необходимых истин
Добыт с трудом.

Прочь эти детские забавы —
Род шелухи,
Отвергнуть их имею право,
Но не стихи.

* * *

Московская толчея —
Природа особого рода —
Она и моя и ничья,
Особого рода свобода.

Она — это вид тишины:
Как будто лечебной рукою
В жилы мои введены
Микроэлементы покоя.

Московская толчея
Морскому прибою подобна.
Она и моя, и ничья,
И очень для жизни удобна.

* * *

Дождь редкий,
точно вертикальный,
Как будто в небе есть отвес
И старый мастер
в час прощальный
Сливает капельки с небес.

Земле он
перпендикулярен
И растекается не вдруг,
Описывая
на бульваре
Почти что совершенный круг.

И в каждом
крошечном листочке
Дождем хранится чистота:
Геометрическая
точность
Или Эвклида простота.

* * *

В зимней шапке не случайно
Я приехал в этот край,
Постигая Ялты тайны,
Ненадежный этот рай.

Я надел тулуп нагольный
И с тулупом на плечах
Чувствовал себя привольно
В белых ялтинских лучах.

Опыт лиственниц повыше,
Чем высокий кипарис;
Когда лиственница дышит,
Ветви ходят вверх и вниз.

* * *

На земле полуострова Крыма —
Птичьих стай перелетный пункт.
Все крылатое — мимо, мимо!
Бесконечен воздушный путь.

Это трасса для всех пернатых,
Всех пернатых со всей земли,
Путешественников крылатых,
Что коснулись земной пыли.

Я улавливаю опереньем
Направление ста ветров,
Предназначенных для паренья,
Обеспечивающих кров.

* * *

Он покинул дом-комод,
Злое царство медальонов,
Пусть корабль его плывет
На простор чужих широт
С океанским громким звоном.

Где могучая волна
Сахалинской темной силы
Чехова лишила сна,
Обнажила жизнь до дна,
Обнажила, обнажила...

ЯЛТА

Бывали горы и повыше,
Была покруче крутизна.
Когда сползал с Небесной Крыши —
Сползал без отдыха и сна.

Бывали горы и покруче,
Но — опытнейший скалолаз —
Я не спускал с нависшей тучи
Усталых, воспаленных глаз.

* * *

В Ялте пишется отлично —
Что скрывать?
Музу здесь вполне прилично
И воистину логично
Энергично и таксично,
В поединке очень личном,
Уложить с собой в кровать.
И вести с ней до света
Важный разговор,
До внезапного рассвета
Затхлых крымских гор.

ТИЦИАН И КАРЛ ПЯТЫЙ

Прославленный солдат был гибче Тициана,
Карл быстро подскочил, нагнулся, подал кисть,
Дарующую жизнь и смерду, и тирану
Прикосновением магической руки.
Придворный шум застыл при этой странной сцене,
Не виданной от века никогда.
Но Карл сказал: «Я только цезарь,
И Тициану рад служить всегда.
Я закажу ему и тем избегну тлена,
И разрешу бессмертия вопрос,
Портретов будет два: один герой военный,
Второй — старик, иссохший весь от слез».
И сохранилось два прижизненных портрета.
Противоречий истина полна.
Здесь два характера, два мира, два сюжета,
Две философии, а кисть была одна.

155-Й СОНЕТ ШЕКСПИРА

Когда на грани глухоты опасной
Мы тщимся бедной мыслью обуздать
Незавершенность музыки прекрасной
И образ Совершенства ей придать —

Так и ваятель, высекая искры,
Стремится в камне душу разбудить,
Так любящий безумствует, неистов
В своем желанье страсть опередить.
Так воин рвется смерть принять в сраженье...
Когда ж нас озарит разгадки свет?
Ведь счастье не в конце, а в продолженье
Мгновенья... Но кончается сонет.
Как отраженье вечности нетленной
Песнь вырывается у времени из плена.

* * *

Миллионы прослушал я месс,
Литургий, панихид и обеден.
Миллионы талантливых пьес.
Так что опыт мой вовсе не беден.

Говорят, драматург — демиург!
Я таким сообщеньям не верю.
Не искал и не звал среди пург,
Среди бешенства белого зверя.

Совершив многолетний пробег
В леденящем дыханье движенье,
Не прибег к покровительству Мекк
И подобных сему учреждений.

Я сражался один на один
С этим белым, клокочущим зверем,
И таким я дожил до седин,
До подсчета последним потерям.

* * *

Я вспомнил бранные слова,
Какие слышал с неба,
Когда болела голова
И не хватало хлеба.
Я повторял всю эту брань,
Все эти ада бредни,
Когда с Юпитером на брань
Я вышел в час последний.

Сердясь, Юпитер отступил
К какой-то южной трассе.
Я поумерил его пыл,
Утихомирил страсти!

* * *

Нас водило перо Пастернака,
Но — в какой-то решительный миг
Обошлось без дорожного знака
Пастернаковских ранних книг.

Остановленное поминутно,
Закрепляя любой миллиметр,
Ощутило, хотя бы и смутно,
Но настойчивый блоковский ветр.

Укрепясь на позициях этих,
Мы опять зашагали вперед,
Подчиненные Блокову ветру,
Слову Блока: «Поэт и народ».

* * *

Нет, он сегодня не учитель,
Нет, он сегодня не поэт, —
Он скопидом и расточитель
Того, чего уж в мире нет.
Что называют откровеньем,
Что мы утратили давно,
То, что нам в детстве на мгновенье
Когда-то было вручено.
Что потеряли по дороге,
Едва вступив на крестный путь,
И что мы так просили бога
Нам обязательно вернуть.
И открываются шкатулки,
Грохочут крышки сундуков,
На площади и в переулки
Бросают вороха стихов.
Пока добычей святотатства
Не стало это колдовство,
Но меры нет его богатству
И не успеть раздать всего.

И на пол падают напрасно,
И вовсе некому поднять
Признаний исповедей страстных,
Его прозрений благодать.
И в слов бушующем потоке
Признанье искреннее есть.
Как мало жизнь вместила в строки,
Как много — не успело влезть.
В том, что бросают мимоходом,
Бывают лучшие слова,
И оттого-то с каждым годом
Густей седеет голова...

МОСКВА

Торопливой толпы теснота
В новом городе, снова просторном,
Где блестящая зелень щита
Для дыханья его благотворна.
Мой рабочий ночной кабинет,
Это мир его — бренный и тленный,
Окончанья которому нет
В галактической дали Вселенной.
Раздвигающаяся твердь
Повтореньем ракетных аккордов,
Побеждающий самую твердь
Вездесущий, всезнающий город.
Мой рабочий ночной кабинет —
Плавка руд с содержанием грома,
Даже письменный стол, как макет,
Как макет твоего космодрома.

* * *

Ведь в этом беспокойном лете
Естественности нет.
Хотел бы верить я примете,
Но — нет примет.
Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен,
Дрожит рука.

1960-е

* * *

Кто мы? Служители созвучья,
Бродячей рифмы пастухи?
Для нас и жизнь лишь только случай
Покрепче выстроить стихи.

Чтоб облако — овечье стадо —
Паслось покорно на глазах,
Чтоб не могло сломать ограду
И скрыться где-нибудь в лесах.

И что мне ветер? Что погода?
И то, что буря так близка,
Когда спустились с небосвода
Почти ручные облака.

* * *

Сгибающая стебель тяжесть,
Сгибающая шею тяжесть,
Клонящая цветок к земле.

Свинцовые крупинки снега,
Разгоряченные от бега,
Мечтающие о тепле.

* * *

Где юности твоей дороги,
Пути мечты,
Что лодку кинула в пороги,
Сожгла мосты?
И юности твоей обличья,
Где стон любой
В слова звериные и птичьи
Одет тобой?
Где юности твоей условья,
Те города,
Где пьют подряд твое здоровье
Всегда, всегда...
Где юности твоей границы,
Когда ж, когда
Заплещут крылья синей птицы
Над толщей льда?

* * *

Я поклонюсь на все четыре,
На все четыре стороны,
Не в первый раз в подлунном мире
Прощенья просят без вины.
Прощенье нужно для прощанья.
От века так заведено,
Чтобы сбывались обещанья
И превращалась кровь в вино.
И все решу я сам с собою
Навеки — в несколько минут.
Не рифма — сердца перебои
Мои признанья оборвут.

* * *

Твой дед и прадед — плугари.
И по своей природе
Ты пахарь, что ни говори,
В своем, конечно, роде.
И тихо ходит по листу
Твой плуг — перо из стали,
Чтоб люди старую мечту
Для почестей достали.

К ДРУГУ

Как мы выросли здесь! Рвем орехи со старого кедра,
Наклоняясь, срываем зеленые листья берез,
Топчем гроздья рябины — кустов, опрокинутых ветром, —
И так близко до звезд...
Обещай мне, мой друг, что на этих полярных широтах,
Что бы там ни случилось с деревьями и людьми,
Ты останешься мальчиком, даже птенцом желторотым,
И да здравствует день, когда снова мы будем детьми!

* * *

Мне трудно, мне душно в часы листопада,
Колеса покрывшего до ступиц.
Не выбраться мне из шуршащего ада
Разметанных жарких страниц.

И нету проезда из желтого царства,
Из странного шороха листьев — туда,
Где все еще правит судьба и знахарство,
Колдуя над прорубью синего льда.

* * *

Хрустальные, холодные
Урочища бесплодные,
Безвыходные льды,
Где людям среди лиственниц
Не нужен поиск истины,
А поиски еды.
Где мимо голых лиственниц
Молиться Богу истово
Безбожники идут,
Больные, бестолковые
С лопатами совковыми
Шеренгами встают,
Рядясь в плащи немаркие,
С немецкими овчарками
Гуляют пастухи,
Кружится заметь вьюжная,
И кажутся ненужными
Стихи.

* * *

Затерянный в зеленом море,
Обняв сосновый ствол стою,
Как мачту корабля, который
Причалит, может быть, в раю.
И хвои шум, как шум прибоя,
И штормы прячутся в лесу,
И я земли моей с собою
На небеса не унесу...

* * *

Мы родине служим — по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди снега и льда.

1955

* * *

Я четко усвоил, где «А» и «Б»,
И русской грамматикой скован.
Мне часто бывало не по себе
От робкой улыбки Рубцова.

За тот поразительный тотемский рай,
Отпущенный роком поэту,
За тот не вполне поэтический край,
В каком расположена Лета.

Поэты, купаясь в горниле столиц,
Испытываются без меры.
И нету предела — глубин и границ,
И нету химерней химеры.

* * *

Косноязычие богов —
Неясность таинства для смертных.
И ты, поэт, и ты — таков:
Открытое тебе — несметно.
И не вмещается в тюрьму,
Где снова жесткая решетка,
И ты отыскиваешь тщетно
Равновеликое ему.

* * *

Отощавшая скотина,
Блудословя и резвясь,
Опускается в долину,
Переплескивая грязь.
Небеса вгоняя в краску,
Обнажается земля,
Воскрешенные на Пасху,
Поднимаются поля.
Полусонная телега
Заскрипела, наконец.
Недососанного снега
На опушке леденец.

* * *

Как мало струн! И как невелика
Земная часть рояля или скрипки,
Но это то, что нас ведет века,
Что учит нас и гневу и улыбке.

Ведь сердце бесконечно, как клавир,
Тот самый строй, куда сумел вместиться
И прошлого и будущего мир,
Трепещущий, как пойманная птица.

И связь искусства с миром так тонка,
Тонка, и все же так неоспорима.
Прикосновенье легче мотылька,
И удаленье торопливей дыма.

ЛЕЧЕБНЫЙ МЕТОД

Мой метод подсказан тайгою,
Написан тайгою глухою
Фармакологический свод.

Земная лесная малина
Заменит кусок аспирина
И тело мое разожжет.

Над раной колдую любою,
Колдую с пучком зверобоя
В умелых, надежных руках.

Как лучшее средство от страха —
С медведя сдираю рубаху,
И тем изгоняется страх.

А если особенно жарко,
Хлебая брусничной заварки,
Отлично сбивающей жар.

Гоню ревматизма ломоты,
Тружусь до целебного пота
И банный приветствую пар.

Я знаю попытки Галена
Бежать из таежного плена
В науку больших городов,

Я этим попыткам не верю,
Храню свои тайные двери
И тайны звериных следов,

Земных и зеленых растений
Их зимние темные тени
Храню, берегу без труда.

Учил синантропа приемы,
Как надо лечить переломы,
Как каплет живая вода.

Обучен глухою тайгою,
Шагаю московской тропою.
Кошу на московском лугу.

Последний стакан допиваю
Таежного горького чаю,
Таежную честь берегу.

ЗАМЕТКИ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Я читаю газеты —
Образованный лось.
Вести с целого света
Мне свести привелось.

Чуть не каждое утро
Изучаю прогноз:
Как дела лесотундры
Биогеоциноз?

Почерк странного края
Изучил я легко,
Где от ада до рая
Уж не так далеко.

Там холодного пресса
Невысоких небес
Возле карлика леса
Навесает компресс.

Слишком коротко лето,
Бесконечна зима,
Всех дороже на свете
Там лесная кайма.

Ибо тундра — ранима!
Тонок жизненный слой.
Раны — непоправимы,
Резки холод и зной.

Там прогнозом эрозий
Угрожает весна.
И опасном прогнозе
Там весна — не одна.

Там бывает, что трактор,
Заготовщиком дров, —
Неожиданный автор
Буревых катастроф.

Обнаженные жилы
Вековечного льда
Рвутся солнечной силой —
И приходит беда.

Не беда — катастрофа.
Эрозийный процесс,
И библейские строфы
Учит заново лес.

Миллионы оленей,
Ибо тундра — щедра!
И в утиных селеньях
Тучи пуха, пера.

Драгоценность реликта —
Легендарный глухарь
Скачет прямо на пихту
И токует как царь.

В вымирающей птице,
Обходящей людей,
Много тайны таится
Темных тундровых дней.

. . . .

Сбережем этот нежный,
Этот жизненный слой,
Скрытый корочкой снежной
Над застывшей землей.

* * *

Дым — это юрта!
Дым — это дом!
Ясное утро
В крае седом.

Падает иней,
Кончен полет.
Призрачно сини
Небо и лед.

Речка и ветер.
Стынет река.
Резче на свете
Нет языка.

ИНДИГИРКА

Круговым пылало солнце светом
Индигирским, Оймяконским летом.

Все, что пряталось, таилось и молчало, —
Полной жизнью вдруг затрепетало.

Показались в том ущелье узком
Незадолго до Николы трясогузки.

Гусь-пескун и белолобая казарка
Прилегли под каменную арку.

И бекас в манере вертолета
Вверх взмывал в небесные высоты.

Клекотали, клекотали куропатки
В Барагонском лиственном распадке.

Дятла, дятла слышалось жужжанье,
Лошадей заливистое ржанье.

В поединки там вступали турухтаны
И ныряли черные турпаны,

В отмелях на солнце грелись щуки,
Ставя тело вдоль речной излуки.

Проплыла рыжеголовая гагара,
Прячась в воду близ деревьев старых,

И над царством птичьим и звериным
Звон и визг держался комариный.

И над этим торжищем бессонным
Я в кустах стоял с магнитофоном.

Записал все звуки для науки,
Даже те, что издавали щуки.

* * *

Стулья — ненужная мебель,
Даже под ангельский гул
Ни на земле, ни на небе
Я не потребую стул.

Вовсе ненужный для тела
Мебельный агрегат
Пущен не может быть в дело,
Рай перед ним или ад.

Не подсказали ни строчки
Стулья натуре моей.
Даже Сизифовы бочки
Были мне краше, важней.

Жизнь свою выслушав стоя,
Я не присел ни на час,
Чтоб отдохнуть после боя,
Чтоб рассчитаться с судьбою
Без аллегорий и фраз.

* * *

Я вызываю сон любой.
С любой сражаюсь тенью,
С любой судьбой вступаю в бой,
В моем ночном сраженье.

О будущем своем молчу,
Далек от предсказаний,
Я дятлам в памяти стучу,
Чту дятла показанья.

Небрежный почерк на коре —
Зарубки и засечки —
Подстать моей ночной игре,
Танцующей от печки,

От печки детства моего —
Печурочки железной,
Где все — и грусть и торжество, —
Все для меня полезно.

1973

* * *

Он многословен, как Гомер,
Тот ледоход,
Ни в чем, ни в чем не знает мер
Бегущий лед.

И солнце чувствует врага —
Разбитый лед.
И с хриплым стоном в берега
Он бьет.

И льдины, как стада свиней,
Бегут на юг,
Несут цвета полярных дней,
Заметы вьюг.

Их размывает дождь — не снег,
Знакомый им,
И этот снег они навек
Сочли своим.

Но льдинкам к морю не дойти,
Как ни ворчи, —
Их всех растопят на пути
Лучей лучи.

АПРЕЛЬ

Распускаются почки с треском:
Чуть прислушайся — и замри,
Лужи с солнцем поспорят с блеском,
Бестревожны цвета зари.

По асфальту метут метлою
Всю защитную кожуру,
Что мешает во время зноя
На июльском сухом ветру.

Будто осень, цветут апрели,
Ошалевшие от дождей,
Все томительней птичьи трели,
Утешающие людей.

* * *

Береза черными ветвями
Стремится окна распахнуть,
Стучит в стекло, качает раму,
Пытаясь в спальню заглянуть.

Береза лезет в разговоры
Мои — с самим собой впотьмах,
Подслушанные эти споры
Запутались в ее ветвях.

Все заглушает шелест, лепет
Той разговорчивой листвы,
Которая приводит в трепет
Меня в преддверии Москвы.

* * *

Летний город спозаранку
Проступает сквозь туман,
Как чудовищная гранка,
Свеженабранный роман.

Город пахнет той же краской,
Что газетные листы,
Неожиданной оглаской,
Суеверьем суеты.
И чугунные заборы
Знаменитого литья —
Образцы шрифтов набора
И узоров для шитья.
Утро все — в привычном чтенье
Зданий тех архитектур,
Что знакомы поколеньям
Лучше всех литератур.

1962

* * *

Не измерена часами
Служба важная моя,
И лесными голосами
Приглашен к бумаге я.

Отвергаю все приметы
В подготовке новых строк,
Поэтической диеты
Ограниченный паек.

Прославляю не расчеты,
Все расчеты — пустяки!
Неожиданность работы.
Озаренье — и стихи!

ГЕФЕСТ

В ущелье пышут горны,
Я раздуваю мех,
Ворочаюсь проворно
И слышу грома смех.

Любая спецзакалка
Доступна кузнецу,
Слюны ему не жалко,
Лесному мудрецу.

Все качества азота
Он знает там без книг,
Кипит его работа,
Заполнен каждый миг.

Добавит в воду масло
И выпьет молоко,
Чтоб пламя не погасло
И сталь ковать легко.

Молотобойца место
Я в кузнице достал,
Кувалдой у Гефеста
Машу, мягчу металл.

Волшебным молоточком
Стучит хромой кузнец,
Оттяжка и отточка
Подков, Гвоздей, Сердец.

Звенит, дымит поковка,
Стучит кузнец-мудрец.
Железо свито ловко
И стынет наконец.

* * *

Поэзия — не дело вкуса! —
Квалифицированнейший труд
В наисегодняшнем искусстве,
Представленный на строгий суд.

Сегодняшних, а не грядущих
Искателей живой воды,
Что ловят впереди идущих
Меняющиеся следы,

И — не имеющая тайны,
Открытая себе самой,
Приподнятая мощной дланью
С постели бога огневой

И сунутая в повседневность,
В заботы мелкой суеты,
Где ищут мертвую царевну
И клена падают листы.

Ее тавро и иероглиф
(Частотный попросту словарь) —
Случайно пущенный в дороге
Простой садовый инвентарь.

Возделывающая те же нивы,
Что и Вергилий и Назон,
Выращивающая те же сливы
По многу раз в один сезон!

* * *

Планёрская — мое название,
А не «Долина синих скал», —
Я не платил татарской дани
За звук арабских придыханий,
Когда мечту свою искал.

Все Коктебели, Коксагызы
Отступят пред тобой, планер,
Что ищет путь воздушной визы
В волне феодосийских бризов,
Воздушных ям, воздушных нор.

Важней завета Магомета
Природы новое лицо
И притяжения планеты,
Что душит нас с начала света,
Разорванное кольцо.

Не «королева» — *Королёва*
Назвать хотелось бы утес:
Топонимической основой,
Топонимической обновой
Поправки век двадцатый внес.

* * *

Своими, своими руками
По Питеру в пятом году
Блок нес это красное знамя,
Что после воспето стихами
В поэмы метельном чаду.

Он сам — тот Христос с красным флагом,
Двенадцать матросов за ним
Патрульным размеренным шагом,
Стихию смиряющим шагом,
Прошли через вьюгу и дым.

ПАМЯТИ АНТРОПОЛОГА ГЕРАСИМОВА

* * *

Для поэта — нет запрета!
Эскимосская рука
В гранях этого предмета
Из моржового клыка.

Эту подлинность натуры
Засвидетельствовать мог,
Первобытную культуру
Просевая сквозь песок,

Только ты, наш антрополог,
Археолог, скульптор тож, —
Приберег для книжных полок
Века древнего чертеж.

* * *

Извлекаются грудами
Вещи палеолита:
Производства орудия
И орудия быта.

Неожиданно крошечны
Те скребки и рубила,
Их кремневые ложечки,
Высекавшие были.

Статуэточки малые
Твердо держатся в пальцах,
Мастерство небывалое
В пальцах неандертальца.

Раньше века железного,
В веке кости и камня
Они дышат поэзией
Глубины самой давней.

* * *

Палочка мягче кости,
Палочка — не металл,
Как бы тогда с погоста
Прошлое ты достал?

Крошечной лопаткой
Трогает век-человек —
Тот, древнекаменной кладки,
Палеолитовый век.

Твердым и легким усильем
Вскрыта веков душа.
В палочке скрыта сила,
Сила карандаша.

МАДОННА ПАЛЕОЛИТА

Наша судьба-надежда
Перед судьбой-пургой
Женщина в меховой одежде
Вместо богини нагой.

Выползла из пещеры
Прямо на звездный свет,
Как меховая Венера,
Сея искусства свет.

В капоре, в грубой шубе
Счастья земного ждет,
Только открыты губы,
Дышит один лишь рот.

То не мадонна Литта,
Славимая в стихах, —
Мадонна палеолита,
Женщина в мехах.

* * *

Мальта, крестоносный остров,
Средиземноморский Крит, —
Не на них в открытьях острых
Путь в историю открыт.

Наша Мальта — под Иркутском,
Приангарская вода
Первобытное искусство
Промывает без труда.

* * *

Эти сколы древней школы
Делал австралопитек,
Делал сколы в час веселый,
Чтоб учился человек.

Это вы — кремень и яшма,
Безотказный инструмент —
Разрубили мир тогдашний
На период, век, момент...

* * *

Рассвет выходит на работу,
Чтоб, никого не разбудя,
Тереть железные ворота
Сырыми щетками дождя.

И дождь ползет, как мокрый бредень,
По улице, как по реке,
А утро двигается следом
С зажженой лампою в руке.

И, укрепив ее повыше,
Пока туманно и темно,
Обсушит солнце нашу крышу
И заблестевшее окно.

И я присутствую при этом,
Забыв несмятую кровать,
В дверях столкнулся я с рассветом
И помогаю солнцу встать.

1954–1955

* * *

В ладоши вязы бьют тревогу
И воду пьют.
И тополь в зимнюю дорогу
Пьет, как верблюд.

И, перейдя пески пустыни,
Снегов пески,
Он улыбнется снова синей
Воде реки.

ГРАД

Я включу моторы грома —
Искры в воздухе блеснут,
И на облаке до дома
Мы доедем в пять минут.

Покружим чуть-чуть повыше
Голубиных областей
И замрем над нашей крышей,
Крышей бури и страстей.

И по этой ближней цели
Без прицела бьет и бьет
Наподобие шрапнели
Разлетающийся лед.

* * *

Не лес — прямой музей.
И лиственницы шорох
Для всех моих друзей —
Предмет научных споров.

Достаточно ль стара
Музейная фигура,
Ровесница Петра —
Железная натура.

Ей зрелость — триста лет,
Даурская порода,
Я знаю здешний свет
Не хуже лесовода.

В стране пурги и льда
Рублю ее я смело:
Она ведь молода,
Годна еще на дело.

НАЧАЛО МЕТЕЛИ

Вот опять нагибаются тучи
И — пройдет, может быть, полчаса —
Будут биться в припадке падучей,
Поднимая леса в небеса.

И похож на растянутый парус
Этот ветром оглаженный наст,
Штормовая знакомая ярость
Разгорается около нас.

Я уйду по разломанной кромке,
Зазвенит позолоченный снег,
И негромко засвищет поземка,
Убыстряя свой радужный бег.

ИЗ СТРОФ О ФЕТЕ

Я вышел в свет дорогой Фета,
И ветер Фета в спину дул,
И Фет испытывал поэта,
И Фета раздавался гул.

В сопровождении поэта
Я прошагал свой малый путь,
Меня хранила Фета мета
И ветром наполняла грудь.

На пушке моего лафета
Не только Пушкина клеймо,
На нем тавро, отмета Фета,
Заметно Фетово письмо.

Нет мелочей в пере поэта,
В оснастке этого пера:
Для профессионала Фета
Советы эти — не игра.

Микроудача микромира
Могла в движенье привести,
Остановить перо Шекспира
И изменить его пути.

...Хочу заимствовать у Фета
Не только свет, не только след,
Но и дыханье, бег поэта,
Рассчитанный на много лет.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Классик мелодекламаций,
Мастер тонкого письма,
Бледным рыцарем скитался.
Тяжела судьбы сума.

Слишком был тогда не к месту
Умирающий романс,
Жанру, жанру нету места,
Если вышел в путь роман.

Слишком был тогда не моден
Голенищева пиджак,
Обращение к природе
Осуждал любой и всяк.

Не найдя сочувствья Блока
По романсовым делам,
Он ошибся так жестоко,
Как жесток в романсе сам.

Не был пухлым, как Апухтин,
Он, отшельник и аскет,
В петербургской где-то бухте
Принял тихо смерти свет.

Он не проявил беспечность,
Крепко вывязал строку,
Подстерег он все же вечность,
Вечность на своем веку.

* * *

Мир разглядывал он зорко,
Но имел грехи:
Далевские поговорки
Портили стихи.

Мы не очень дружим с Далем,
Ибо Даль
Унесет от ближней дали
Вдаль.

Вдаль от жизни, вдаль от темы,
От живой борьбы.
Как же нам писать поэмы
Полные судьбы?

* * *

Я ненавижу слово «исподволь»,
В моих стихах ему — нет места.
Движенье мысли словом не неволь —
В словах ползучих тесно.

1980–1981

* * *

Я современник Пастернака
И не забыл:
В сем теле рок боролся с раком,
Рак победил.

Но уступив дорогу раку,
И смерти вслед
Он в миллион печатных знаков
Свой врезал след.

1980–1981

* * *

Отдавал предпочтенье Асееву,
Я входил в его порт звуковой.
Это пальцы Асеева сеяли
Драгоценную зернь предо мной.

В кухне Черного принца накормленный,
Захлебнувшись на слове «гурман»,
Я копировал горло у горлинок,
Сыпал зерна в дырявый карман.

И сейчас, в предпоследнем движении,
Поднимая прощальный сигнал,
Я назвал бы Асеева гением,
Если б бог на меня не ворчал.

1980–1981

* * *

Мало секунд у меня на веку,
Их сберегая,
Бью и кую за строкою строку —
Жизнь продолжаю.

1980–1981

* * *

Как таежник-эскимос,
Наедаюсь впрок,
Как велит мой тощий мозг
И мой нищий рок.

Самый первый мой глоток —
То, что повкусней,
Чтобы не отнял никто
Корочки моей.

Корку спрячу под матрас,
Если захочу
Подкрепиться до утра —
Ночью размочу.

1981

* * *

Наверх выносят плащаницу,
Напоминающую стелу,
Гусей осенних вереница
Плывет над тем Христовым телом.

Я занят службою пасхальной,
Стихи читаю в стихаре,
Порядок мира идеальный
По той мальчишеской поре.

1980–1981

* * *

После ужина — кейф,
Наше лучшее время,
Бог открыл свой сейф
Перед всеми.

Головой — в одеяло:
Кабинет мой рабочий,
И стихи все сначала
Повторяю я ночью.

Мозг гудит до утра,
Как и раньше — мгновенно
Выдавая стихи на-гора
Неизменно.

1980–1981

* * *

Грибоедову

Поэт — не дипломат,
Поэтому — убит.
Смертелен этот яд.
Смертелен этот быт.

1980–1981

* * *

Чтоб не быть самосожженцем,
Или Аввакумом,
Я усилием последним
Прогоняю думы.

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
И тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.

1981

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1970-Х ГОДОВ

Я прожил жизнь неплохо,
В итоге трудных дней,
Как ни трудна эпоха,
Я был ее сильней.
Я не просил пощады
У высших сил.
У рая или ада
Пощады не просил.

* * *

Я был неизвестным солдатом
Подводной подземной войны,
Всей нашей истории даты
С моею судьбой сплетены.

ИЗ ШУТЛИВЫХ ПОСВЯЩЕНИЙ ДРУЗЬЯМ-КОЛЫМЧАНАМ

Е. А. Мамучашвили

Я забыл, какие свечи
Зажигают в Новый год,
Чем какое горе лечат
В новогодней звонкой встрече
По законам старых мод.

Но всегда лечивший шуткой
Горе, голод и мороз,
И веселой прибауткой
Осушивший много слез,
Я в привете новогоднем,
По привычке давней той,
За здоровье Ваше поднял
Новогодний тост, за то,
Чтоб всегда, ходя на лыжах,
В рифмах Колыма — зима
Вы держались к дому ближе
И старались не хромать.
Всем ветрам и всем морозам
Не желая потакать,
Не высовывали носа
Из пухового платка.
Я хочу, чтоб Вы на пире
Над картошкою в мундире,
Сказкой кулинарных грез,
Над засахаренной пшенкой
И над банкою тушенки
Призадумались всерьез,
И рискнув опять на вольность,
Смело вилку занеся,
Не кричали б снова «больно»,
Не молили небеса,
Чтобы были чудеса.
Я хочу, чтоб с Новым годом
Вас поздравил капитан
Парохода, парохода,
Что везет Ваш чемодан,
Чтобы в легком белом платье,
В белом платье легче вьюг,
Тост поднять Вам, как заклятье
Возвращения на юг.
Чтобы жили Вы сердечно
И любили бы стихи,
Настоящие, конечно,
А не эти пустяки.

НОВОГОДНЯЯ ПОЭМА

Н. В. Савоевой

От Чекая до Таскана
Магаданские стаканы
В этот миг везде звучат.

Принимайте ж поздравленье
Пожеланье, развлеченье
В новогодний этот час.

Чтоб к обеду сбор омлетов
Запеканок и рулетов
Был бы вкусен, как сейчас,

Чтоб надзор за кухней, печью
Был всегда нам обеспечен
Наблюденьем главврача,

Чтоб больные сотню порций
Гулливеровых пропорций
Получали бы per os,

Обратился бы в преданье
И исчез из мирозданья
Полиавитаминоз.

Чтобы тропик Козерога
К нам подвинулся немного
И тогда среди зимы

Зацвели б везде пионы,
Апельсины и лимоны
И цинги не знали б мы,

Чтобы были нам не чудо,
А текли для нас повсюду
Дело кулинарных чар,

Диэтические реки,
(Берег-манные чуреки,
Во́ды — рисовый отвар)

Не найти б тогда поноса
От Мылчи до Сенокосной,
«Шига» сведена к нулю

И больные только б знали
Отрицательный анализ,
Только минус, а не плюс.

Чтобы теплый южный воздух
С пневмонией той крупозной
Поборолся средь зимы

А раздутые аорты
Отвозились на курорты
Самой южной Колымы,

Про кордиты и колиты
Про остеомиэлиты
Позабыли б все врачи

И ушли б из жизни драмы
А различнейшие травмы
Даже Траут не лечил,

Расцвела б кулинария
И сошла б дизентерия
Вон со всех больничных сцен

Я писал бы здесь поэмы
О кончине эпитемы
О последнем тбц.

Чтоб в больнице с новым годом
Для летального исхода
Равен был нулю процент

И итогам нашим чтобы
Позавидовали оба
Гиппократ и Парацельс.

Адъютанты Эскулапа
Всем трудам врачей Севлага
Годовой дадут подсчет

Койко-дней, деко до трупов
Калоражу каш и супов,
С кухни выданных за год

В абсолютных единицах,
Сколько выдала больница
Производству работяг

И каких еще новинок —
Сульфидина, никотина —
(Может быть абрикотина,
Аллаша, бенедиктина)
Здесь больные захотят.

И, прослушав все итоги,
Эскулап, накинув тогу,
К нам сойдет с Олимпа вниз,

Скажет: вы в соревнованье
Всех медпунктов мирозданья
Заслужили первый приз.

Но (чтоб не тянуть резины)
По исторьи медицины
Отвечайте мне сейчас,

Ведь незнание событий
Очень важных, но забытых
Неуместно для врача.

Сколько было препаратов
В завещаньи Гиппократа?
Почему гомеопаты
Нынче только повара?

И каким медикаментом
Врачевали импотентов
Древнегреческих студентов
Из каких он элементов
Состоял эт цетера....

И с каким стоял вопросом
За столом с ланцетом острым
Знаменитый Калиостро,
Поднимая важно бровь?

И, скривя в улыбке рожу,
Ловко — герцогу иль дожу —
Выпускал дурную кровь?

Как работала больница
На полях Аустерлица?
Почему Наполеон

(Отвечай логично, просто)
Заболел колитом острым
В самый день Ватерлоо?

Где венок врачебной славы
Подцепил Иосиф Флавий
Робкой трепетной рукой?

Почему лечили нервы
Так удачно у Месмера
И в приемной у Шарко?

Почему Бильрот и Листер
Весь успех хирурга истин
Полагали в чистоте?

Почему Василий Боткин
Для больных сухой чахоткой
Не жалел бутылки водки,
Сбереженной для гостей?

И в скольких стаканах морса
Врач Людовика Каторза
Растворил большой брильянт,

Чтоб Людовик жил, как прежде
На бессмертие в надежде,
Ежедневно сыт и пьян?

И когда алхимик старый
Продал редкие товары
Вечной жизни эликсир

Это были ль — Боже! Боже!
Просто пекарские дрожжи
Сей источник дивных сил!

Не сгорела папироса —
Эскулап на все вопросы
Получил от нас ответ.

Он шепнул тотчас на ухо
Адъютанту мигом с кухни
Принеси богам обед:

Рыбий жир по целой кружке
Полновесные ватрушки
«Пайки» хлеба — все «горбушки»
Отчего такая честь?

Чай богам — весьма горячий,
Что у нас больным ходячим
Можно, только приобресть

Борщ, заправленный свининой,
Точно мы на именинах
Эскулаповых сидим.

По полмиски каши гречки
А на дне — кусок овечки.
В арьергарде ж сей еды

По три порции компота
Золоченых яблок (то-то,
Урожаем нынче горды
Гесперидовы сады)

И пожавши нежно лапу
На прощанье Эскулапу,
В путь пошли обратный мы

Вновь колоть, вливать и резать
В мир абсцессов и парезов
К диатезам, диурезам —
В боевой больничный мир.

А палатные беседы
Про семейные обеды
Продолжались бы и впредь

Вспоминали б маринады,
Сомневались в весе лярда
И хвалили вкус котлет.

Поверяли бы друг другу
Тайны щуки и севрюги
На Лукулловых пирах

Выясняли роль редиса
И нечищеного риса
Для скорбутов и пеллагр.

И в мечтах о реализмах,
О могучих мыльных клизмах
И о прочих пустяках

Засыпали б мало-мало
Под заморским одеялом
У Морфея на руках.

ПРИМЕЧАНИЯ

В данном разделе публикуются стихотворения В. Т. Шаламова, не вошедшие по разным причинам в 3-й том шеститомника, а также некоторые произведения, ранее не издававшиеся и сохранившиеся в архивах писателя, его друзей и знакомых. Подготовка раздела: В. В. Есипов, С. М. Соловьёв, А. П. Гаврилова, С. Ю.Агишев.

Датировка целого ряда стихотворений, к сожалению, затруднена. И в изданных при жизни В. Т. Шаламова сборниках «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), «Московские облака»(1972), «Точка кипения» (1977), и в журнальных подборках нередко печатались стихи, написанные значительно ранее.

«Я думал, что будут о нас писать...» Впервые: Шаламовский сборник / Сост. В. В. Есипов, С. М. Соловьёв. Вып. 4. М., 2011.

Библиотека. Впервые: сб. «Огниво». М., 1961. Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1957 году в Москве. В сборнике “Огниво” печаталось без последних двух строф».

Сборщик лекарственных трав. Впервые: сб. «Огниво». Комментарий автора: «Написано в 1957 г. в Туле, в Тульской гостинице как шуточное стихотворение после посещения Тульского краевого музея, где была выставка “целебных” трав Тульской области».

В лесу. Впервые: сб. «Огниво». Комментарий автора: «Написано в 1958 г. в Москве. К северу отношения не имеет. Написано из-за умирающего окуня, похожего на трубача оркестра. Это наблюдение у меня — давнее, и я рад был вставить его в стихи».

Слово к садоводам. Впервые: сб. «Огниво». Комментарий автора: «Лучшая строфа — последняя. Стихотворение написано в 1957 г. в Москве. Принадлежит к “постколымским”. Пафос стихотворения связан, вероятно, с впечатляющими успехами,

достигнутыми в условиях Северного Урала и Колымы агрономом и садоводом А. А. Тамариным-Мирецким, которого лично знал Шаламов.

Осенний вечер. Впервые: сб. «Огниво». Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1958 году в Москве. Написано ради небольшой находки: “Рыба вылетает словно птица”».

«В рельефе хребтов, седловин...» Комментарий автора: «Написано в 1958 году в Москве. Входит в “постколымские” стихотворения. Одно из очень важных для меня наблюдений природы. Продолжает мой поэтический дневник. Впервые опубликовано журналом “Сельская молодежь”, № 12, 1963 г.».

Скворец. Впервые: сб. «Шелест листьев». М., 1964. Это и последующие 28 стихотворений, включая «Кусты», публикуются по тому же сборнику. Комментарий автора: «Шуточное стихотворение, написанное в 1959 году в Москве. Непосредственный толчок — чтение словаря Даля на слово “скворец”, где перечислены скворцовые вокальные “колена”».

«Хоть сделана гудроном...» В сборнике «Шелест листьев» первая строка: «Хоть сдавлена гудроном...» Комментарий автора: «Написано в 1962 г. в Москве».

«Я доволен прогулками...» Комментарий автора: «Написано в 1957 году после выписки из больницы».

Морское («Луна потрясает моря...») Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1958 году в Сухуми. Начало или попытка преодоления северной тематики. Впервые опубликовано в сборнике “День поэзии 1962”».

Станционный смотритель. Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1961 году в Москве. Это — попытка воскресить в памяти станцию Решетниково Калининской области, откуда я часто ездил в 1954–1956 годах — то в Москву, то в Калинин.

Задача, которую я ставил сначала — это описать в стихах эффект Допплера, который именно на этой станции я наблюдал так часто. Эффект Допплера заключается в том, что гудящий паровоз приближается к станции с гудком высокого тона, а уходит от станции с гудком низкого тона. Это — изученное еще в прошлом веке поразительное явление, незаменимая вещь в изучении звездного мира в расчетах планет Универсума.

С таким намерением я взялся за перо, но со второй строфы свернул на более традиционную фигуру, классическую фигуру нашей литературы — станционного смотрителя, получив не традиционный результат».

«Есть снег, называемый фирн...» Комментарий автора: «Написано в 1962 году в Москве. Отмечает незамеченную мной ранее особенность Колымской природы».

Фирн — не тающий крупнозернистый снег, образующийся в полярных областях, в ледниках.

Ольская гавань Комментарий автора: «Я провел несколько дней на Оле в 1952 году, пытаясь устроиться на работу фельдшером.

Думал этим стихотворением обессмертить Ольский пирс, Ольскую лестницу, которые хоть и деревянные, ничем не уступают по своим воспоминаниям знаменитой Одесской лестнице, которую снимали Эйзенштейн и Тиссэ в “Броненосце Потемкине”. Стихотворение написано в Москве в 1957 году».

Семён Дежнёв. Комментарий автора: «Написано в 1961 году в Москве».

«Подходят горы сзади...» Комментарий автора: «Написано в Москве в 1958 году. Одно из “постколымских” необходимых мне стихотворений».

Рыбий бор. Написано в 1959 г. Авторское название: «Рыбий бор», в сборнике «Шелест листьев» публиковалось без названия с измененной первой строчкой: «Сосновый лес, зеленый бор...»

Кусты. Комментарий автора: «Стихотворение написано в Москве в 1957 году».

Мария Кюри. Впервые: сб. «День поэзии — 1968», название в сборнике — «Какое-то апреля...» Текст исправлен в соответствии с авторским чтением и списком в архиве. Комментарий автора: «Написано в 1959 г. в Москве».

«И в грязи, и в пыли...» Основную часть приводимых далее десяти стихотворений (включая «Вот сосновый квадрат...», «Мучительна бумаги белизна...», «У облака высокопарный вид...», «Воробей», «Излишество науки», «Платье короля») можно датировать примерно серединой 1960-х гг., т. к. они воспроизведены по единой магнитофонной записи, сделанной в это время. (См. сайт Shalamov.ru, раздел «Аудиозаписи».) Отдельные публикации в сборниках указаны. — *Ред.*

«У мертвых лица напряженные...» Посвящено памяти филолога В. Н. Клюевой (1894–1964), которая, умирая, просила читать ей стихи А. Блока. Об этом в эссе Шаламова «О книжности и прочем» (наст. изд., т. 5, с. 89).

В саду. Впервые: сб. «Московские облака». М., 1972.

Пастораль. Впервые: сб. «Точка кипения». М., 1977. Комментарий автора: «Написано в 1966 году в Москве».

«Дожди порой смывают горы...» Впервые: Юность. 1965. № 10.

Неизвестная гора. Впервые: сб. «Дорога и судьба». М.: Советский писатель, 1967. Последующие восемь стихотворений также были впервые напечатаны в этом сборнике.

«Листок дубовый, как гитара...» Впервые: Юность. 1969. № 3. Комментарий автора: «Написано в 1958 г. в Москве. Напечатано в журнале “Юность”».

«Поблескивает озеро...» Впервые: сб. «День поэзии — 1969». М.: Советский писатель, 1969.

«Наступающим маем...» Впервые: сб. «День поэзии — 1970».

«Ты — учитель красноречья...» Впервые: там же.

«Весь гербарий моей страны...» Впервые: Юность. 1970. № 7.

У окна. Впервые: там же.

«Оглушителен капель стук...» Впервые: там же.

«Орудье кружевницы...» Впервые: там же. Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1959 году в Москве. Очень внимательно написано».

«Клен, на забор облокотясь...» Впервые: там же.

«Озерная вода прозрачней, чем глаза...» Впервые: там же.

Луноход. Впервые: Юность. 1971. № 11. Стихотворение посвящено первому советскому луноходу — восьмиколесному автоматическому аппарату, совершившему посадку на Луне в ноябре 1970 г. и функционировавшему в течение трех месяцев.

«Коварна карта марта...» Впервые: там же.

«Стоял я тихо возле скал...» Впервые: там же.

«Читать стихи, сбиваться с шага...» Впервые: там же.

Асуан. Впервые: Юность. 1972. № 4. Стихотворение посвящено постройке в 1971 г. Асуанской ГЭС в Египте, осуществлявшейся при поддержке СССР. Произведение воплотило не только гражданские, но и натурфилософские взгляды В. Т. Шаламова, его веру в возможность покорения природы человеком. Как он подчеркнул сам, «суть стихотворения — в критике церковщины» (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 41, л. 43).

Борободур — выдающийся памятник буддийского искусства на острове Ява.

Аларих — король вестготов, в 410 г. захватил и разграбил Рим.

Абу-Симбел — храм фараона Рамзеса II; в связи с созданием водохранилища Асуанской ГЭС, благодаря усилиям стран, входящих в ЮНЕСКО, был перенесен на более высокое место.

Тадж Махал — знаменитый мавзолей-мечеть в Индии, один из памятников мирового значения.

Поворот сибирских рек. Впервые: Знамя. 1972. № 11. Подобно «Асуану», это стихотворение отразило горячую веру В. Т. Шаламова в силу человеческого разума, подчиняющего себе силы природы Стихотворение является откликом на большой гидротехнический проект по использованию части стока сибирских рек для орошения засушливых площадей южных районов СССР. Этот проект изначально подвергался

широкой общественной критике (по экологическим и другим факторам) и в 1986 г. был аннулирован. Очевидно, что источником натурфилософского оптимизма Шаламова являлся «Фауст» Гёте с его апологией созидательного труда, пронизывающей финал поэмы. *«Фауста вторую часть/ Мы допишем в Казахстане»* — имеется в виду последняя мечта Фауста — построить плотину, «чтобы любой ценою у пучины кусок земли отвоевать». «Фауст» Гёте в переводе Б. Л. Пастернака с дарственной надписью переводчика имелся в личной библиотеке Шаламова.

«Топограф, знающий тайгу...» Впервые: сб. «Московские облака». М., 1972. Семь последующих стихотворений (включая «Избушка крыта финской стружкой...») впервые напечатаны там же. Комментарий автора: «Стихотворение написано в 1958 году в Москве».

«Иду, дышу сосновым лесом...» Написано до 1972 г.

«Лодка». Название в сборнике: «Да... Как все это было?..», исправлено по авторскому списку. Комментарий автора: «Написано в 1958 году в Москве».

«Снег прибегает в сад...» Комментарий автора: «Написано в 1958 г. в Москве. Напечатано в журнале “Знамя”, № 12, 1968 г.».

«Зимы никому не жалко...» Комментарий автора: «Написано в Москве в 1957 году. Впервые опубликовано в “Литературной газете” 24 июня 1968 г.».

Че Гевара. Впервые: Шаламовский сборник. Сост. В. В. Есипов, С. М. Соловьев. Вып. 4. М., 2011. Датировка — по «ялтинской» тетради 1972 г. (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 47, л. 35). В.Т. Шаламов с романтическим восхищением относился к личности латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары (1928–1967), видя в нем редкий пример «единства дела и высших слов». Ср. запись в дневнике писателя 1972 г.: «Как ни хорош роман “Сто лет одиночества”, он просто ничто, ничто по сравнению с биографией Че Гевары, по сравнению с его последним письмом..» (*Шаламов В. Т.* Новая книга: Воспоминания. Записные книжки Переписка. Следственные дела / Подготовка текста и публикация И. П. Сиротинской. М., 2004. С. 345). В последнем письме к родителям Э. Че Гевара писал: «Я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту». В архиве стихотворение сопровождает вырезка из газеты «Правда» от 11 октября 1972 года с заметкой: «Куба широко отметила День героического партизана в память Че Гевары, погибшего 5 лет назад в Боливии».

«Тишина — это лозунг мира...» Впервые: Юность. 1973. № 8.

«Как сердечный больной...» Впервые: там же.

«Иногда в одиноком походе...» Впервые: там же.

Блок. Впервые: Юность. 1974. № 11.

«Измерены звездные Леты...» Впервые: там же.

«Выкиньте все гипотезы...» Впервые: там же.

«Мой день расписан по минутам...» Впервые: Юность. 1976. № 10. Всю подборку в этом номере журнала В.Т. Шаламов называл «ялтинским циклом». В связи с этим он писал Г.А. Воронской: «Для ялтинского цикла, который и составил публикацию в № 10 “Юности”, наиболее характерными для автора — является первое и последнее. <...> Первое стихотворение “Мой день расписан по минутам...” продолжает знаменитую лермонтовскую “Русалку”. У Лермонтова было пять “о” подряд: “Русалка плыла по реке голубой / Озаряема полной луной”.

Пастернак пробовал: “О, вольноотпущенница. Если вспомнится...” Я тоже выступил: четыре “о” подряд: “Прочь этот ворох старых писем / Их шорох — гром”. Здесь на две строки целых пять “о”. Стихотворение родилось тогда, когда была найдена новинка “шорох — гром” с тремя “о”. Стихи пишут по законам звуковых повторов — что я и показываю во всем ялтинском цикле.

Стихотворение о Чехове — давнее мое желание рассчитаться с родственниками Чехова за этот музей, за этот дом-комод, где М. П. Чехова жгла чеховские письма и вымарала все, что казалось ей опасным для семьи. “Дом-комод” — это музей родственников Чехова, а не его самого. К сожалению, меня не было в Москве (я был в больнице и не настоял на том, чтобы оставить последнюю строку)» (наст. изд., т. 6, с. 265).

«Московская толчея...» Впервые: там же. Из письма Г. А. Воронской: «...Миниатюра “Московская толчея” сразу же привлечет внимание очередного Чайковского своей новой сверхэкономичностью и так далее» (наст. изд., т. 6, с. 265).

«Дождь редкий, точно вертикальный...» Впервые: там же.

«В зимней шапке не случайно...» Впервые: там же.

«На земле полуострова Крыма...» Впервые: там же.

«Он покинул дом-комод...» Впервые: там же.

Ялта. Впервые: там же.

«В Ялте пишется отлично...» Из письма Ю. А. Шрейдеру от 12 октября 1976 г. Впервые: *Шрейдер Ю. А.* В. Шаламов о литературе. Письма и стихи // Возвращение. М., 1991. Вып. 1.

Тициан и Карл Пятый. Впервые: *Шрейдер Ю. А.* В. Шаламов о литературе. Письма и стихи // Возвращение. М., 1991. Вып. 1. Стихотворение можно отнести к своеобразному циклу поэтических произведений В.Т. Шаламова, навеянных искусством живописи, к которому поэт питал большой интерес. Об этом свидетельствуют написанные в разное время стихи «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Персей и муза», «Рублёв», «Живопись», «Как на выставке Матисса...» В дан-

ном случае поэтически осмысливаются известные эпизоды из взаимоотношений великого итальянского художника Тициана с императором Священной Римской империи Карлом V.

155-й сонет Шекспира. Впервые: там же. См. комментарий Ю. А. Шрейдера: «Как известно, у Шекспира 154 сонета. Свое сочинение я включил в текст статьи под видом цитаты, и она благополучно увидела свет (“Вопросы философии”, 1975, № 2). Шаламов, узнав о шутке, тут же сочинил собственный вариант, в котором вновь ярко сверкнуло его дарование» (*Шрейдер Ю. А.* Варлам Шаламов — возвращаемые строки // Химия и жизнь. 1991. № 2).

«Миллионы прослушал я месс...» Впервые: там же.

«Я вспомнил бранные слова...» Впервые: сб. «День поэзии — 1978». М., 1978.

«Нас водило перо Пастернака...» Впервые: там же.

«Нет, он сегодня не учитель...» Впервые: сб. «День поэзии — 1981». М., 1981.

Москва. Впервые: там же.

«Кто мы? Служители созвучья...» Впервые: там же.

«Сгибающая стебель тяжесть...» Впервые: там же.

«Где юности твоей дороги». Впервые: Юность. 1987. № 3 (публикация И. П. Сиротинской).

«Я поклонюсь на все четыре...» Впервые: там же.

«Твой дед и прадед — плугари...» Впервые: сб. «День поэзии — 1968». М., 1968, с. 130.

К другу. Впервые: там же. Посвящено, вероятнее всего, Я. Д. Гродзенскому.

«Мне трудно, мне душно в часы листопада...» Впервые: там же.

«Хрустальные, холодные...» Впервые: Шаламов В. Т. Из литературного наследия. Стихи 1950–1980-х гг. Публикация И. П. Сиротинской // Знамя. 1990. № 7.

«Затерянный в зеленом море...» Впервые: там же.

«Мы родине служим — по-своему каждый...» Впервые: там же.

«Я четко усвоил, где “А” и “Б”...» — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 94, л. 17. Посвящено поэту Н. Рубцову (1936–1971).

«Косноязычие богов...» Впервые: Знамя. 1990. № 7.

«Отощавшая скотина...» Впервые: там же.

«Как мало струн! И как невелика...» Впервые: сб. «Точка кипения». М., 1977. Это и последующие двадцать девять стихотворений публикуются также по этому сборнику.

Лечебный метод.

Гален Клавдий — прославленный древнеримский ученый и врач.

Апрель. Название в сборнике: «Распускаются почки с треском...», восстановлено по авторскому варианту.

Голенищев-Кутузов. См. письмо с разбором лирики поэта литературоведу В. В. Кожинову (наст. изд., т. 6, с. 58–92): «Голенищев-Кутузов — огромный кусок поэтической русской классики».

«Я ненавижу слово "исподволь"...» Впервые: «Поднимая прощальный сигнал...» Публикация И. П. Сиротинской // Советская библиография. 1990. № 6. Это и четыре последующих стихотворения были записаны И. П. Сиротинской в Доме инвалидов и престарелых Литфонда.

«Я современник Пастернака...» Впервые: там же.

«Отдавал предпочтенье Асееву...» Впервые: там же.

«Мало секунд у меня на веку...» Впервые: там же.

«Как таежник-эскимос...» Впервые: там же.

«Наверх выносят плащаницу...» Публикуется впервые. Это и три последующих стихотворения публикуются по записи И. П. Сиротинской в Доме инвалидов и престарелых Литфонда (ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 116, л. 39–40, 41, 45).

«После ужина — кейф...» Публикуется впервые.

«Поэт — не дипломат...» Публикуется впервые.

«Чтоб не быть самосожженцем...» Публикуется впервые.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1970-х ГОДОВ

«Я прожил жизнь неплохо...» Впервые: Шаламов В. Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела / Подготовка текста и публикация И. П. Сиротинской. М., 2004. С. 356–357.

«Я был неизвестным солдатом...» Впервые: там же. В публикации А. А. Морозова «Неизвестный солдат» («Вестник русского христианского движения». Париж, 1981. № 1) это стихотворение отнесено к последним, написанным В. Т. Шаламовым в Доме инвалидов в 1980 г., в то время как, очевидно, что оно создано раньше. Тексты большинства стихотворений, включенных в подборку А. А. Морозова, трудно признать адекватными, поскольку они записывались на слух со слов больного Шаламова, которые автор подборки разбирал далеко не всегда.

ИЗ ШУТЛИВЫХ ПОСВЯЩЕНИЙ ДРУЗЬЯМ-КОЛЫМЧАНАМ

«Я забыл, какие свечи...» Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 80–81.

Врач Елена Александровна Мамучашвили (1922–2003), работавшая вместе с Шаламовым на Колыме, в Центральной больнице для заключенных, вспоминала: «У меня хранится как дорогая реликвия пожелтевший листок с шутливым стихотворением, которое написал для меня В. Т. в качестве поздравления с новым 1948-м годом. В нем упоминается и картошка-деликатес, и другие житейские мелочи...» (*Мамучашвили Е. А.* В больнице для заключенных // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 80–81.).

Новогодняя поэма. Впервые опубликовано: Shalamov.ru, 31 декабря 2012 г. (Режим доступа: http://shalamov.ru/library/8/21.html) Предисловие и примечания С. Ю. Агишева.

Эта шуточная поэма была написана Шаламовым на Колыме, в лагерной больнице «Беличья» в самом конце 1944 года. Она включена в рукописный сборник поздравлений с Новым 1945-м годом, преподнесенный сотрудниками больницы в дар главному врачу Нине Владимировне Савоевой. Н. В. Савоева, в 1990-е годы, живя в Москве, разрешила снять фотокопию «Новогодней поэмы» магаданскому краеведу И. А. Паникарову, с любезного разрешения которого опубликовано это ранее практически не известное произведение. Поэма, сочиненная экспромтом в краткий период относительного благополучия Шаламова в его скитаниях «от больницы к забою», не только шуточная — за ее деталями невозможно не заметить повседневных ужасов Колымы и суровых условий работы лагерной медицины.

Чекай — ручей, приток Колымы. Название в переводе с украинского означает «Погоди». Народное название ручья — Свистопляс. Название «Чекай» ручью было дано в 1931 г. геологами-украинцами. Долину ручья, где располагался ОЛП «Нижний Штурмовой», можно считать предшественницей печально знаменитой «Серпантинки»: там в 1938 г. проводились массовые расстрелы заключенных, тела которых затем сбрасывались в шурфы.

Таскан — река, приток Колымы.

Per os (лат. «через рот») — медицинский термин.

Мылча и Сенокосная — названия лагерей в Ягоднинском районе.

Шига — разговорное название дизентерии от имени японского микробиолога Сига (Шига) Киеси (1871–1957).

Траут Валентин Николаевич — заключенный-хирург больницы «Беличья», затем — Центральной больницы для заключенных в п. Дебин. В некоторых произведениях В. Т. Шаламова фигурирует под фамилией Брауде.

Тбц — имеется в виду латинская аббревиатура tbc, обозначающая туберкулез.

Севлаг (Северный исправительно-трудовой лагерь) — административное подразделение в составе Дальстроя, в которое входила больница «Беличья»; управление Севлага находилось в п. Ягодный.

Калораж — синоним понятия «общая калорийность».

Абрикотин, аллаш, бенедиктин — названия десертных алкогольных напитков.

Месмер Фридрих Антон (1734–1815) — австрийский врач, создатель учения о «животном магнетизме» («месмеризм»).

Шарко Жан-Мартен (1825–1893) — французский врач-психиатр, специалист в области неврологии.

Бильрот Христиан Альберт Теодор (1829–1894) — выдающийся немецкий (австрийский) хирург.

Листер Джозеф (1827–1912) — английский хирург, основатель хирургической антисептики.

Василий Боткин. Очевидно, В. Т. Шаламов имел в виду знаменитого русского терапевта Сергея Петровича Боткина (1832–1889). Его старший брат Василий Петрович Боткин (1812–1869) был по профессии литературным критиком.

Людовик Каторз. Имеется в виду Людовик XIV, король Франции; «каторз» (от франц. «quatorze») — четырнадцатый.

Лярд — жир, вытопленный из сала.

Скорбут — другое название цинги.

Пеллагра — вид авитаминоза, возникающий вследствие длительного неполноценного питания.

Статьи, эссе,
публицистика

МАСТЕРСТВО ХЭМИНГУЭЯ КАК НОВЕЛЛИСТА

Чтобы лучше понять, в чем мастерство Хемингуэя как новеллиста, можно сравнить его рассказы с рассказами классических новеллистов мировой литературы, а также проследить, как на протяжении творческого пути самого Хемингуэя менялся его собственный рассказ.

Литературоведение не имеет до сих пор разработанной теории рассказа. Мы знаем, как зародился рассказ — из фаблье, из анекдота, то есть для рассказа был необходим случай. Мы знаем, как из нанизывания случаев складывался роман — испанские плутовские романы. Как позднее, у Чехова, например, рассказ принимал порой ярко лирический субъективный оттенок, мог быть сюжетно незакончен. Таким образом, мы представляем себе эволюцию рассказа, но что же такое рассказ — на это нет определенного ответа.

Известно, что Хемингуэй как новеллист учился у Стендаля и Чехова. Мы называем рассказы Стендаля новеллами, подчеркивая сюжетную законченность их. В рассказах Стендаля налицо все драматические элементы действия — завязка, кульминация, развязка. Дается и предыстория, биография героев. Они строго социально определены. Рассказы Стендаля поэтому, например, легко драматизировать. «Ванина Ванини» идет у нас в Малом театре. О героях стендалевских новелл мы знаем все. Мы знаем, где они родились, как протекала их жизнь до рокового события, составляющего сюжет рассказа, знаем, как они кончили или кончат свою жизнь. То есть, если перефразировать слова И. Кашкина[1] о Хемингуэе: «Мы знаем, откуда они пришли и куда они уходят».

Форма рассказов Чехова — самая разнообразная. От объективного, бытового, анекдотического сюжета до

исповеди, до субъективного импрессионистического изображения. Есть у Чехова рассказы по сюжетной законченности близкие Стендалю. Своего рода маленькие романы. Например, «Невеста». Но это реалистический роман XIX века, толстовский роман. Как и у Толстого, герой Чехова интересен как представитель определенной взрастившей его среды, герой Чехова социален, индивидуален в классическом смысле слова. Поэтому творческий метод Чехова — не только изображение, но и описание. Либо это предыстория героя, но чаще всего это описание характеризующих героя деталей — типической внешности, образа жизни, профессии, описание жизненного уклада. В «Ионыче», например, это описание четвергов у Туркиных — со всей пошлостью самодовольного мещанства.

В отличие от Стендаля основой рассказа для Чехова все чаще служит *эпизод*. Когда социальная принадлежность героя дается одной какой-нибудь блестящей деталью, когда из его жизни как бы выхватывается лучом прожектора один какой-то миг. Рассказ «Устрицы», например. Если сравнить этот рассказ с «Попрыгуньей», «Душечкой», «Невестой», «Скучной историей» и многими другими, то можно сказать, что Чехов — переходная ступень от классической формы рассказа XIX века к XX. Кроме эпизода, требующего все-таки какого-то драматического действия, у Чехова есть просто сценки — «Детвора», например, когда ничего, собственно, не происходит. Можно сравнить «Детвору» с «Трехдневной непогодой» Хемингуэя.

Но и в сценках, и в эпизодах мы всегда представляем себе, *откуда* пришли в рассказ герои Чехова.

Всегда герой Чехова — представитель определенной русской среды XIX века.

Герои Хемингуэя, как справедливо замечает И. Кашкин, приходят ниоткуда и уходят в никуда.

Творческая биография Хемингуэя тоже имеет нечто общее с биографией Стендаля и Чехова. Как и последние, Хемингуэй начал сначала учиться жить, а потом — писать. Известно, как много дал Хемингуэю опыт газетной работы. Как и Чехова, его характеризует интерес к маленьким фактам жизни, в которых, как в капельке воды, отражается трагедия века.

У Хемингуэя есть всякие рассказы. Мы находим среди них и сюжетно законченные, стендалевские по целостности, маленькие романы — когда на нескольких

страничках проходит перед нами целая человеческая жизнь — «Мистер и миссис Элиот», «Очень короткий рассказ» и многие другие, в которых наряду с изображением писатель пользуется и описанием. Но более существенно проследить *тенденцию* его творчества. Пусть рассказы Хемингуэя различны. Но в целом его путь как новеллиста отличает определенная последовательность, определенная тенденция.

Возьмем ранние рассказы Хемингуэя. Например, «У нас в Мичигане».

Рассказ начинается словами: «Джим Гилмор приехал в Хортенс-Бей из Канады». «Он купил кузницу у старика Хортона... Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах... Поселок Хортенс-Бей на большой дороге между Бейн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов».

Каким лаконичным и стилизованным ни кажется нам это вступление, все равно можно сказать, что тут дается и известная предыстория, и биография героев, дается (описывается) социальный фон для происходящего. Есть тут и описание жизни, не только изображение ее — «По вечерам он (Джим) читал в гостиной “Толедский клинок” и газету из Грэнд-Рэпидс, или он и Д. Дж. Смит ездили ночью на озеро ловить рыбу».

По времени этот рассказ охватывает несколько недель. И хотя главным эмоциональным моментом рассказа является *эпизод* — возвращение Джима с охоты и прогулка их с Лиз, — нельзя сказать, что основой рассказа послужил эпизод. Мы можем считать этот рассказ по форме классическим — это маленький роман, новелла. У героев имена, фамилии, биографии. Мы имеем представление об образе их жизни вообще. Нельзя сказать, что Лиз и Джим пришли в рассказ «ниоткуда».

Возьмем сборник рассказов Хемингуэя «В наше время». Это уже следующий этап развития хемингуэевского рассказа. Вот рассказ «Что-то кончилось». Герои его имеют имена, но уже не имеют фамилий. У них уже нет биографии. Мы знаем Ника — героя — по другим рассказам, но читая этот, даже не вспоминаем о его биографии, потому что она в данном случае несущественна.

Из общего темного фона «нашего времени» выхвачен эпизод. Здесь почти только изображение. Пейзаж в начале нужен не как конкретный фон, но как исключительно эмоциональное сопровождение, мотив к «вечной» теме — разрыву.

Переживания Ника и Марджори не описываются. Подробно, со щемящей тщательностью Хемингуэй изображает их действия, даже не действия, а просто движения. «...Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочки, покуда не размоталась вся катушка...»

Действия, то есть движения героев, изображены с таким напряжением и подтекстом, что, казалось бы, не относящийся к делу вопрос Марджори: «Что с тобой?» — звучит как давно уже наболевший, он как бы, наконец, прорывается.

В этом рассказе Хемингуэй пользуется своим излюбленным методом — изображением. «Если вместо того чтобы описывать, — говорил он, — ты изобразишь виденное, ты можешь сделать это объемно и целостно, добротно и живо. Плохо ли, хорошо, но тогда ты создаешь. Это тобой не описано, но изображено».

Марджори и Ник пришли в рассказ ниоткуда и ушли в никуда. Из следующего рассказа — «Трехдневная непогода» мы узнаем, что Марджори из «простой семьи», но это попутно, и мы понимаем, что для взаимоотношений Ника и Марджори это не играло никакой роли. Освобождение от частных, конкретных мотивов конфликта ведет Хемингуэя к обобщению, к символу. Если в «У нас в Мичигане» неблагополучность человеческих взаимоотношений можно в какой-то степени объяснить себе «низким уровнем» жизни героев, то в «Что-то кончилось» все частные причины убраны, мы ясно чувствуем, что неблагополучность — в самом времени, в самой сути западного мира. Характер этого неблагополучия — всеобщ.

Возьмем рассказ еще одного периода Хемингуэя — «Там, где чисто, светло».

У героев уже даже нет имен. Действующие лица рассказа — Старик, Бармен, Посетитель. Берется даже уже не эпизод. Действия нет совсем. В «У нас в Мичигане» — целая история: сначала описание жизни, городка, уклад дома Смитов. Потом мужчины едут на охоту, проходит, может быть, целая неделя. В «Что-то кончилось» действие разворачивается в течение одного вечера — до восхода луны, — Марджори и Ник ставят удочки, потом — объяснение, Марджори уходит.

В «Там, где чисто, светло» действия нет совсем. Это уже не эпизод. Это кадр. Старик пьет виски. И перед ним растет стопка блюдечек. Разговор, который ведут о старике посетители, как бы специально подчеркивает

эту самую всеобщность человеческого страдания в XX веке. Старик — богат, его отчаянье не от бедности. Можно сравнить старика Смита с началом «Униженных и оскорбленных» Достоевского. Оно, таким образом, не от социального неустройства. Оно не от возраста — Ник и Марджори молоды и имеют друзей. Оно не от уровня культуры и степени сознания — среди героев Хемингуэя люмпены и процветающие писатели, владельцы яхт и безработные. «Там, где чисто, светло» — один из наиболее ярких и замечательных рассказов Хемингуэя. Там все доведено до символа. Недаром в этом рассказе молитва — символ веры, единства человека с богом превращен в символ одиночества, заброшенности и опустошенности, «Отче Ничто, да святится Ничто твое, да придет Ничто твое».

Путь от ранних рассказов до «Чисто, светло» — это путь освобождения от бытовых, несколько натуралистических деталей («У нас в Мичигане»), путь освобождения от характерного, индивидуального в классическом смысле слова. Это путь от бытописания к мифу. Он ведет к «Старику и морю», где решаются основные, библейские вопросы — Старик и Море — Человек и Жизнь.

Если герой Чехова интересен как представитель определенного круга русского общества XIX века, герой Стендаля — как образец героизма и романтизма в затхлый буржуазный век, как реликт революционной эпохи, герой Хемингуэя — представитель всего западного современного мира. Говоря о всеобщности чувства опустошенности в период кризиса капитализма, Маркс пишет: [...][2].

Стиль рассказов Хемингуэя мало отличен от стиля романов. Конечно, есть особые приемы, применяемые им только в рассказах.

Сначала можно поговорить о языке. Известны стилистические принципы Хемингуэя, оказавшие столь сильное влияние на прозу XX века. Это принципы подтекста, лаконизма. «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды». Языковые приемы — тропы, метафоры, сравнения, пейзаж как функцию стиля Хемингуэй сводит к минимуму.

Как пишет Кашкин, Хемингуэй считает, что образ должен складываться из простых и прямых восприятий. Эти восприятия отобраны так тщательно, используются так экономно и точно, что нас не покидает чувство восхищения перед мастерством писателя.

Как стилист Хемингуэй многим обязан Чехову. И не только Чехову-новеллисту, но и Чехову-драматургу. Нас поражает в пьесах Чехова удивительно современная черта — черта современного искусства — несовпадение мыслей и слов героев. От этого богатство и драматизм подтекста. Конечно, Чехов блестяще использует характерные, индивидуализирующие детали. Когда мы говорим о Чехове: «Блестящий стилист» — мы имеем в виду, прежде всего, то же, что и у Хемингуэя, — поразительно выдержанный принцип отбора. Точность, экономность, яркость.

Но одновременно с использованием деталей Чехов использует и подтекст, и в этом он выступает как родоначальник современной прозы.

Вернемся к пьесам Чехова. Когда в «Дяде Ване», например, в обстановке всеобщего неблагополучия, когда запутанные отношения действующих лиц, трагическая напряженность достигает предела. Астров, страдающий человек, которому есть о чем поговорить, произносит ничего не значащие фразы: «А какая в Африке теперь жара» и тому прочее. Или Гаев в «Вишневом саду» со своей болтовней о шкафе.

В «Скучной истории» в ответ на трагические вопросы героини, что же ей делать, жизнь так ужасна и пошла, профессор говорит свою знаменитую фразу: «Давай-ка, Катя, завтракать».

Правда, в «Скучной истории» Чехов выводит все-таки подтекст наружу: «“Значит, и на похоронах у меня не будешь?” — хотел спросить я».

В пьесах же, благодаря особенностям драматургии, писатель лишен возможности одновременно изобразить слово и мысль. Чехов, как писатель XX века, остро чувствует трагическую невозможность их совпадения. Чехов предчувствует наступление литературы, когда лучшим средством выражения будет умолчание или отшучивание, или прятание за незначительными репликами.

Разговоры Марджори и Ника о том, как ставить удочки, разговоры Ника и Билла о бейсболе и Честертоне, гениальный диалог в «Белых слонах», да и диалоги

любого рассказа Хемингуэя — это та самая восьмая часть айсберга, которая видна на поверхности.

Конечно, это умолчание о самом главном требует от читателя особой культуры, внимательного чтения, внутреннего созвучия с чувствами хемингуэевских героев. Авторское отношение самого Хемингуэя, однако, всегда можно почувствовать в его рассказах.

Он далек от релятивизма многих современных западных писателей, в этом он настоящий наследник классической литературы.

Мы знаем, каких людей он любит, каков его человеческий идеал, какова, по Хемингуэю, норма человеческого поведения. Он никогда не стоял «над схваткой». Вся его жизнь — это образец участия, участвования, а не созерцания.

Авторское отношение к происходящему Хемингуэй выражает в рассказах различными стилистическими средствами. Прежде всего тем, какие именно прямые впечатления отбирает он, отбором фактов. Например, в рассказе «Мистер и миссис Эллиот» свою неприязнь к мещанской псевдочистоте героев, к их ничтожеству, он подчеркивает несколько раз повторяющейся деталью: «Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка». «Хьюберт писал очень длинные стихотворения и очень-очень быстро». По этой детали мы видим, что Хемингуэй относится к Эллиоту с презрением, презирает он и их «творческое содружество» с женой, когда естественные взаимоотношения между мужчиной и женщиной подменяются слюнявым культом «чистоты». Нелюбовь к настоящей жизни, ханжеская брезгливость и пошлая сентиментальность Эллиота как мужчины не могут позволить ему быть поэтом. «Хьюберт писал очень длинные стихи очень быстро».

Сравнения или метафоры, которыми Хемингуэй пользуется очень редко, не всегда несут в себе эмоциональную оценочную нагрузку. Есть и такие, конечно. Например, известное сравнение войны с чикагскими бойнями, умирающего писателя Генри со змеей, у которой перебили хребет, и так далее.

Но едва ли мы чувствуем авторское отношение в сравнении Брет с гоночной яхтой. И таких нейтральных

сравнений, как и прочих стилистических средств — большинство.

Пейзаж у Хемингуэя так же сравнительно нейтрален. Обычно пейзаж Хемингуэй дает в начале рассказа. Принцип драматического построения — как в пьесе — перед началом действия автор указывает в ремарках фон, декорацию. Если пейзаж повторяется еще раз в течение рассказа, то, по большей части, тот же самый, что и в начале.

Вот, например, знаменитые «Белые слоны». Рассказ начинается пейзажем. «Холмы по ту сторону долины Эбро были длинные и белые, по эту сторону ни деревьев, ни тени, и станция между двумя путями вся на солнце».

Краткостью и подчеркнутой бедностью пейзажа Хемингуэй как бы сосредотачивает все внимание читателя на предстоящем диалоге, он убирает все лишнее, что могло бы отвлечь внимание. От этого усиливается напряженность действия, повышается ценность каждого последующего слова.

Или, например, начало рассказа «Канарейку в подарок»: «Поезд промчался мимо длинного кирпичного дома с садом и четырьмя толстыми пальмами, в тени которых стояли столики. По другую сторону полотна было море. Потом пошли откосы песчаника и глины, и море мелькало лишь изредка далеко внизу под скалами».

Этот пейзаж хотя и длиннее, но выполняет ту же функцию, что и в «Белых слонах», — декорации для действия.

Возьмем пейзаж Чехова. Например, из «Палаты № 6». Рассказ также начинается пейзажем. Но этот пейзаж уже эмоционально окрашен. Он более тенденциозен, чем у Хемингуэя. «В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. (Сразу возникает впечатление запущенности, затхлости жизни, текущей в городке.) ...Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый вид, какой бывает только у больничных и тюремных построек».

Эпитет «унылый» уже прямо говорит о необходимом впечатлении. Читатель Чехова не привык еще к нейтральному фону. Воспитанный в традициях классического реализма, когда пейзаж является участником действия, он нуждается еще в руководстве автора.

Далее в «Палате № 6» пейзаж сопровождает действие, меняясь и становясь драматичнее по мере драматизации действия. Конечно, его участие уже не так явно и синхронно, как в классической литературе — например, у Островского, где драма Катерины сопровождается грозой в природе, или у Гончарова, где сонный застой жизни Обломовки подчеркивается мертвенным летним зноем, и так далее.

Но Чехов ближе к ним, нежели к Хемингуэю.

Начало «душевного обновления» доктора Андрея Ефимовича, когда он выходит из привычного темпа жизни, с регулярным пивом и пошлыми разговорами коллег, когда происходит в нем душевная встряска от встречи с Иваном Дмитриевичем, совпадает с ранней весной.

«В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера».

А когда Андрея Ефимовича обманом приводят в сумасшедший дом и оставляют там, когда он чувствует, что все, выхода нет, конец, его ужас подчеркивается видом из больничного окна:

«...Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма... Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе...»

И наконец, перед смертью Андрея Ефимовича:

«Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть».

Хемингуэй никогда не употребляет таких эпитетов — «унылый», «страшный». Верный своему принципу изображения, он путем отбора прямых впечатлений вызывает у читателя определенное чувство. Оно не так строго ограничено, как чувства, вызываемые описаниями Чехова, но, с другой стороны — оно не может быть любым. Хемингуэй, в отличие от некоторых современных писателей Запада, не релятивист, он не считает, что все относительно, что одно и то же явление может быть воспринято с миллиона точек зрения, где каждая права.

У Хемингуэя есть собственные, изобретенные им самим, стилистические приемы. Например, в сборнике рассказов «В наше время» это своего рода реминисценции, предпосланные к рассказу. Это и знаменитые клю-

чевые фразы, в которых сосредотачивается эмоциональный пафос рассказа. «Уеду я из этого города». «Ничто уже не будет нашим». «Если нельзя, чтоб было весело, то хоть кошку-то можно?» «Да святится Ничто твое». И множество других.

Трудно сразу сказать, какова задача реминисценций. Это зависит и от рассказа, и от содержания самих реминисценций.

В рассказе «На Биг-ривер» — это противопоставление ужасам войны неповторимости и прелести спокойной жизни на природе, с ее красотой и умиротворением.

Или — противопоставление реальным ужасам войны мелочных забот обычной жизни — «Доктор и его жена».

Отношение к Богу: Бог как необходимость, физическая потребность в минуты опасности, и ханжеское отношение к нему в обычной мещанской жизни — «Дома».

Может быть, эти впечатления не точны. Но с уверенностью можно сказать, что реминисценции Хемингуэя нужны в этом сборнике. Ибо они — тот исторический фон, война, те реальные ужасы жизни, которые породили трагическое неблагополучие личной жизни маленького человека.

Весь мир пережил войну, две войны, для каждого современного человека, как и для героев Хемингуэя, переставали вдруг существовать обычные нормы морали, ему приходилось решать для себя вопрос, как жить, словно не существовало выработанных человечеством устоев.

Трагическое неблагополучие хемингуэевских героев — исторично, их поиски путей — имеют интерес для всякого современного человека.

Творчество Хемингуэя — его темы, герои, его мастерство как стилиста — одна из важнейших страниц литературы XX века.

1956

ЧАЙКОВСКИЙ-ПОЭТ

Нет, речь пойдет не о Модесте Ильиче Чайковском, драматурге, переводчике, либреттисте. Речь пойдет о Чайковском Петре Ильиче — великом русском композиторе. Гений музыки как бы приглушил другие сторо-

ны художественного дарования человека, разностороннее наследство которого и сейчас, через 64 года после его смерти, кажется нам неисчерпаемым.

Петр Ильич Чайковский поэтом себя не считал. «Я не поэт, а только стихоплет», — писал он брату Модесту.

Так ли это?

Стихи занимали большое место в жизни П. И. Чайковского. Стихотворное наследство его значительно. В жизни его не было ни одного года, когда рядом с музыкой не создавались бы стихи. По-видимому, это был единый творческий процесс.

П. И. Чайковский написал либретто шести своих опер: «Воевода» (вместе с А. Н. Островским), «Опричник» (по Лажечникову), «Евгений Онегин» (при участии К. С. Шиловского), «Орлеанская дева» (по Шиллеру и другим источникам), «Мазепа» (переработка либретто Буренина) и «Пиковая дама» (вместе с М. И. Чайковским).

В Клинском музее хранятся автографы текстов двух арий из «Пиковой дамы». Это широко известные «Я вас люблю, люблю безмерно» (ария Елецкого) и «Ах, истомилась, устала я» (ария Лизы). Любой лирический поэт гордился бы этими стихами.

И даже если снять музыку арии Елецкого, нам останется интересное лирическое стихотворение:

Сострадую вам я всей душой,
Печалюсь вашею печалью
И плачу вашею слезой...

П. И. Чайковскому принадлежат тексты собственных вокальных сочинений: «Тихо луна взойдет» (дуэт из оперы «Воевода»), «Темная ночка» (квартет из оперы «Воевода»), «Природа и любовь» (трио), «Так что же» (романс), «Страшная минута» (романс), «Молитва» (текст квартета Глинки), «Вечер» (хор), «Обнимись со мной» (гимн), «Правды светлый чистый пламень» (хор), «Простые слова» (романс), «Соловушко» (хор), «Ну-ка, светик Машенька» (песня из оперы «Пиковая дама»), «Блистает солнце красное» (хор из «Пиковой дамы») и написанный незадолго до смерти текст «Ночи» (квартет).

В 1878 году Петр Ильич написал большое стихотворение (64 строки) «Ландыши». В письме к брату Модесту Петр Ильич пишет, шутливо: «Оттого ли, что погода стоит отвратительная, оттого ли, что я вообще вчера был грустно настроен, — но вдруг мне захотелось вос-

петь ландыши в стихотворной форме. Целый день и все сегодняшнее утро я провозился над стихами, и в результате получилась пиэса, которую при сем тебе посылаю отдельно. Я ужасно горжусь этим стихотворением. В первый раз в жизни мне удалось написать в самом деле недурные стихи, к тому же глубоко прочувствованные. Уверяю тебя, что хотя они мне достались с большим трудом, но я работал над ними с таким же удовольствием, как и над музыкой. Пожалуйста, дай сему моему творению самую широкую публичность. Хочу, чтобы все удивлялись и восхищались» (Флоренция, 15 декабря 1878 г.).

Любопытно, что на эти стихи была написана музыка, но не самим Чайковским, а другим русским композитором — А. Аренским: романс для голоса, виолончели и фортепьяно в 1894 году, через год после смерти Петра Ильича. «Ландыши» — единственное стихотворение Чайковского, изданное отдельно от музыки.

Вот несколько строк этого стихотворения о весне и зиме, о жизни и смерти, о лесном ландыше:

...меня твое благоуханье,
Как винная струя, и греет и пьянит,
Как музыка, оно стесняет мне дыханье
И, как огонь любви, питает жар ланит.
. . . .
Но ты отцвел. Опять грядой однообразной
Дни тихо потекут, и прежнего сильней
Томиться буду я тоскою неотвязной,
Мучительной мечтой о счастье майских дней.

П. И. Чайковскому принадлежит также много так называемых шуточных стихотворений. Друзья Петра Ильича (Н. Д. Кашкин, И. А. Клименко) сообщали о чрезвычайной легкости, с какой Пётр Ильич Чайковский писал эти шуточные стихи.

Сохранилось 18 детских стихотворений Петра Ильича, написанных им в возрасте 7–8 лет. Известно, что Чайковский писал мальчиком стихи для журнала «Училищный вестник». Существует его статья 1854 года «История литературы нашего класса». В то же время он замышлял оперу. Ей и название было придумано вполне мальчишеское: «Гипербола»...

Есть еще одна область, в которой поэтические способности П. И. Чайковского нашли применение — это область

стихотворного перевода текстов вокальных произведений. В 1868 году Чайковский перевел арию пажа из оперы Мейербера «Гугеноты». А в 1875 году полностью перевел с немецкого либретто оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

Мы знаем Чайковского и как музыкального критика — издавался сборник его музыкально-критических статей. Он написал в течение своей жизни более пяти тысяч всевозможных писем.

Когда читаешь стихи Чайковского, приходят на ум рисунки Пушкина, Лермонтова, картины Шевченко, сонеты Микельанджело. Мы понимаем поэта недостаточно полно, если не знаем его прозы или его работ в какой-либо смежной области искусства. Литературное наследство великого русского композитора Петра Ильича Чайковского — пример того же рода.

1957

ПЕРВЫЙ НОМЕР «КРАСНОЙ НОВИ»

Журнал «Красная новь» был первым советским литературно-художественным журналом. Он вышел в июне 1921 года. Только что отгремела гражданская война. В стране царила разруха. Голод охватил Поволжье. Трудное было время! Немудрено, что молодому в ту пору автору, начинающему писателю Всеволоду Иванову, услышавшему от А. М. Горького о выходе толстого литературно-художественного журнала, это показалось невероятным.

«Однако мне не хотелось огорчать Горького, и я молчал», — вспоминает Вс. Иванов.

Двадцатилетний юбилей журнала выпал на памятный июнь 1941 года. И в этом номере «Красной нови» Вс. Иванов опубликовал мемуары под заголовком «Начало», в которых приводит разговор с А. М. Горьким, состоявшейся в апреле 1921 года в Петрограде. Алексей Максимович сообщил, что Владимир Ильич говорил о всех молодых писателях, которые, как выразился Горький, «ходят зря и которым надо писать большие вещи».

— Большие! И печатать их в больших журналах.

Одним словом, решили в ближайшие месяцы начать издание большого толстого журнала. Владимир Ильич обещал дать статью в первый номер. Глаза его лукаво сощурились:

— На весьма любопытную тему. На актуальную тему, как говорится сейчас.

— А вы, Алексей Максимович?

— Мне предложили заведовать литературным отделом. Я не прочь.

У колыбели «Красной нови» стояли Ленин и Горький. Первое организационное, если так можно выразиться, заседание по поводу журнала происходило на квартире В.И. Ленина в Кремле в начале 1921 года. Владимир Ильич пришел в промежуток между двумя другими заседаниями. Его ждали Н.К. Крупская, А.М. Горький и А.К. Воронский. А.К. Воронский сделал краткое сообщение о необходимости издания литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Ленин согласился с этим предложением. Было решено, что издавать журнал будет Главполитпросвет, ответственным редактором станет Воронский, а Горький возьмет на себя редактирование литературно-художественного отдела.

Статья Ленина «на актуальную тему», о которой Горький в Петрограде рассказывал Вс. Иванову, вскоре поступила в редакцию. Она называлась «О продовольственном налоге». Владимир Ильич ее написал для первого номера «Красной нови», и еще до выхода журнала редакция издала отдельным оттиском этот очень важный для партии и народа политический документ.

Однако участие Ленина не ограничивалось этим. Воронский рассказывает, что Владимир Ильич постоянно помогал журналу ценными советами и указаниями. Однажды он, например, переслал в редакцию книгу Гобсона[3] об империализме, рекомендуя перевести и напечатать одну из глав, что и было сделано.

Для первого номера «Красной нови» А.М. Горький рекомендовал первую повесть Вс. Иванова «Партизаны».

«А я, знаете, назло вам, за неверие, попрошу “Партизан” напечатать на первой странице», — говорил Алексей Максимович молодому автору. Рекомендация Горького была принята редакцией, и первая работа молодого писателя напечатана.

— Через несколько дней, — рассказывает Всеволод Иванов, — в густой толпе среди Невского меня остановил низенький, большеголовый человек.

Это был В. Шкловский.

— Вы Всеволод Иванов? — спросил быстрый человек. И, не ожидая ответа, он передал мне связку, прикрытую газетной бумагой.

— Горький велел передать вам гонорар за «Партизан». Впервые гонорар получаете? Ничего, привыкнете. Вы знаете, что такое талант? Нет? Это — Горький. Он описал мне вас так, что я узнал вас на Невском по первому взгляду...

Он жал мне руку и куда-то спешил.

— Рекомендую на первый гонорар купить хлеба. На весь! Впоследствии это будет приятно написать в воспоминаниях. Кроме того, самый приятный запах в революции — запах пороха и хлеба. До свидания!

— Не для будущих воспоминаний, а потому, что мне хотелось есть, я купил на рынке на весь гонорар хлеба, — вспоминает Вс. Иванов. — Моя повесть весила две булки хлеба. Я был счастлив.

Первый номер «Красной нови» печатался в 16-й типографии ВСНХ (ныне 5-я типография Главиздата) и вышел тиражом 15 000 экземпляров (со второго номера — 25 000). На первой странице было напечатано: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Главполитпросвет. «Красная новь». Литературно-художественный и научно-публицистический журнал. Выходит один раз в два месяца».

Каким же было содержание первого номера?

В «Политико-экономическом отделе» редакция опубликовала статью В. И. Ленина «О продовольственном налоге. Значение новой политики и ее условия». Здесь же редакция напечатала статью Н. Крупской «Система Тэйлора и организация работы советских учреждений», а также работы других авторов. «Политико-экономический отдел» занял пять листов.

В «Литературно-художественном отделе» первого номера, кроме «Партизан» Вс. Иванова, опубликованы очерки С. Подъячева «Голодающие», стихи М. Пожаровой, Н. Колоколова, «Современные частушки» Д. Семеновского.

В отделе «Искусство и жизнь» печаталась статья А. Луначарского «Наши задачи в области художественной жизни» и В. Фриче — статья «Ромен Роллан». Затем расположились материалы отделов — «Научно-популярный», «Внутри советской России», «Иностранное обозрение», «Из прошлого», «В порядке дискуссии», «Из зарубежной прессы» и «Критика и библиография».

Таким был первый номер издававшейся до 1942 года «Красной нови» — журнала, который, как известно, сыграл немалую роль в истории советской литературы.

1958

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ К ВОСПОМИНАНИЯМ ЭРЕНБУРГА О ПАСТЕРНАКЕ

Воспоминания И. Г. Эренбурга о Б. Л. Пастернаке («Новый мир», № 2, 1961 г.) можно оценить положительно, если все время держать в голове: «что-то опубликовано, что-то сказано — и это уже хорошо». Эренбург не один попытался дать портрет Пастернака. В № 12 журнала «Юность» за 1960 год напечатаны стихи Евтушенко «Ограда». Евтушенко положил первый камень того монумента, того памятника, который еще предстоит воздвигнуть нашей литературе. Кирпичи для этого памятника принес и Илья Эренбург. И это очень хорошо и очень важно.

Если же прочесть воспоминания Эренбурга построже, то можно только удивляться, как умный и тонкий человек дает вовсе неудовлетворительные объяснения, строит странные, явно неудачные догадки, простое делает сложным, а сложное пытается представить простым.

Удивительным выглядит утверждение Эренбурга о том, что ему, Эренбургу, «не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак — большой поэт» (кроме Рильке). «Слава пришла к нему с другого хода». Надо ли понимать здесь славу среди «ценителей поэзии» или речь идет о газетной славе?

Двумя страницами раньше Эренбург пишет, что на Конгрессе защиты культуры в Париже в 1935 году Пастернака встретили всеобщей овацией. Это Эренбург объясняет «обликом Пастернака».

Позвольте напомнить эту, уже забытую, историю, этот «забавный эпизод».

На конгрессе выступали Шолохов, Виктор Финк. Шолохов произнес пространную речь о достижениях Паши Ангелиной, приводил цифры удоя, сбора свеклы. Братья Манны — они тогда были живы и вместе с Мальро принимали теснейшее участив в организации Конгресса — бросились к Эренбургу как к «офицеру

связи» с советской литературой: «Что вы делаете? Ведь тут речь идет о “душе Запада” и о “душе Востока”. Мы просим вызвать Пастернака». Эренбург поспешил в посольство — Пастернак и Бабель выехали спешно в Париж. Когда Пастернак вошел в зал и поднялся на трибуну, чтобы приветствовать Конгресс, ему 15 минут аплодисменты не давали говорить. Весь Конгресс аплодировал ему стоя. Вот после этой-то овации и была произнесена речь о том, что поэзия — на земле, в траве, надо только потрудиться ее поднять[4].

Рильке в это время уже не было в живых, но и без Рильке Пастернака знали очень хорошо. В колледжах Америки и Англии читались доклады о его творчестве. Статья Цветаевой о Пастернаке «Эпос и лирика современной России», написанная в начале тридцатых годов, говорит о Пастернаке как поэте, хорошо известном западному миру.

В течение многих лет, задолго до Нобелевской премии, Пастернаку писали из всех стран мира. Какая-то аргентинская почитательница его прислала ему старинные четки. Каждому Пастернак отвечал на языке автора письма.

Пастернак был единственным нашим поэтом мирового значения, и не надо было Эренбургу кривить душой.

О Пастернаке написано множество статей. Ни в одной, насколько мне известно, не упомянуто его кровное родство с Иннокентием Анненским, русским поэтом, чья поэтическая работа имела очень большое значение для русской поэзии XX века.

Поэтические принципы Анненского, его работа над деталью, будничность его метафор — были развиты в высшей степени именно Пастернаком.

Блок и Анненский — вот два поэта, наиболее близкие Пастернаку, кроме Рильке.

«Рассказывали, что он отмахивался, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, уверяя, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал — к роману “Доктор Живаго”» (Н. М., стр. 96).

В этих сведениях надо разобраться. Тут вместе с долей правды — много неверного, ложного, воображаемого.

Когда Паустовский в 1956 году вернулся из Праги, он привез Пастернаку письмо от чехословацких издателей, где они просили разрешения и авторского благословения на издание поэмы «Лейтенант Шмидт» и сборни-

ка «1905 год». Существует ответное письмо Пастернака. В решительной форме он возражает против переиздания этих сборников [подчеркнуто автором. — *Ред.*] и пишет, что он крайне заинтересован в публикации «Доктора Живаго», где отражены все его нынешние взгляды.

Речь шла здесь о двух сборниках, занимающих особое место в творчестве Пастернака — настолько особое, что Цветаева много лет назад, восхищаясь Пастернаком, преклоняясь перед его гением, указала, что она не может понять поэтической слабости именно этих сборников. Читая их, ей кажется, что первый ученик не приготовил урока и второпях «списывает у соседа». Кто мог быть этим соседом? Асеев? Маяковский? В сборниках много слабых стихов, но есть и вечные, вроде моря в «Морском мятеже». «Лаокоон» — тот самый Лаокоон, о котором написала Ахматова чудесное стихотворение — «за то, что дым сравнил с Лаокооном» — из 1905 г. Как бы то ни было, нетвердость, искусственность этих сборников Пастернак чувствовал и сам. Формулу: «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд» — он считал очень важной.

Это из «Февраля» («Февраль. Достать чернил и плакать». «Сестра моя жизнь») — раннего стихотворения, которое Пастернак предполагал вместе с «Был утренник. Сводило челюсти» числить, так сказать, за собой во все времена.

Работа Пастернака с редактором Банниковым по подготовке однотомника известна. И хотя Пастернак (это и Банников, наверное, может рассказать), исправляя свои ранние стихи, нарушал «канонические» тексты, но эти исправления относятся к заведомо запутанным, нарочито усложненным метафорам первых его сборников.

Не представляю, что нужно менять в стихотворении «Волны». «О знал бы я, что так бывает», «Мне по душе строптивый норов» и многое, многое другое.

Неправда, что Пастернак отказывался от стихов. Он писал их до последнего дня.

Сравнительная оценка поэзии и прозы дана Пастернаком в «Спекторском»:

За что же пьют? За четырех хозяек,
За цвет их глаз, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

Эренбург в своих мемуарах настойчиво убеждает читателей, что он, Эренбург, — поэт. «Цитату» из Спекторского он, конечно, помнит. Но это — между прочим. Эренбург и есть поэт. В сборниках его несколько превосходных стихотворений.

Пастернак считал, что не все можно выразить стихами, не весь мир поэта может быть выражен стихами, что нельзя понять полностью Пушкина без его прозы, понять Лермонтова без «Героя нашего времени». Чтобы полностью почувствовать французских поэтов, у которых нет прозы, надо звать на помощь современную французскую живопись, и это обогащает понимание, ощущение поэзии.

Работа над прозой всегда была желанным, даже необходимым делом.

В 1932 году Пастернак читал «Второе рождение» в клубе 1-го МГУ, бывшей церкви[5]. В конце вечера, отвечая на одну из записок, он говорил решительно, что хочет и будет заниматься прозой, что это необходимо.

Мы знаем замечательную насыщенную прозу «Детства Люверс», емкость и тревожность «Охранной грамоты» и, наконец, удивительные страницы «Доктора Живаго». Оценка «Доктора Живаго», данная Эренбургом, кажется мне неверной, досадно неверной.

Это — роман проблемный. Многочисленные высказывания героев и самого автора столь свежи и глубоки, что именно эта часть привлекает больше внимания, чем замечательно написанные пейзажи и разговоры о любви — принадлежащие к лучшим страницам русской прозы, «поразительные», по выражению Эренбурга. Композиция романа несколько рыхла — но это рыхлость «Войны и мира». В «Докторе Живаго» много суждений об искусстве, о жизни, о времени, суждений глубоких, оригинальных, интересных и важных.

Здесь размышления о мировой истории, о религии, мысли о Пушкине, Чехове, Достоевском. Разве все это «душевная неточность»? Поразительных страниц в романе очень много [подчеркнуто автором. — *Ред.*].

Конечно, «Доктор Живаго» есть огромный монолог, а не искусная сюжетная вышивка. Но это та самая форма, в которой автор сильнее всего; начало ей было положено «Детством Люверс» и «Охранной грамотой».

Роман имеет свою историю. В конце 1953 года в одной из бесед Пастернак сказал: «В 1935 году в Париже меня много спрашивали о том, о сем. Я сказал: Я вернусь и

отвечу на все ваши вопросы. Этот долг пора платить. Я не хочу оказаться Хлестаковым. В стихах всего не скажешь. Я пишу роман. Это будет роман о человеке, который погибает во время "ежовщины". В этом романе я на все отвечаю. Наконец, отвечаю».

Первая часть «Доктора Живаго» была закончена в 1954 году, вторая — в 1955. Роман не доведен до «ежовщины». Главный герой умирает в 1929 году.

Роман писался в большой спешке.

В 1954 году Нобелевский комитет известил Советское правительство, что предполагает «наградить премией Б. Л. Пастернака — за его стихи». Ответ был такого рода, что Пастернак не считается достойным условий присуждения Нобелевской премии. Есть другой кандидат — Михаил Шолохов. От Шолохова Нобелевский комитет отказался, и Нобелевским лауреатом стал Эрнест Хэмингуэй (за «Старик и море»). Именно об этой истории и вспоминает Пастернак в своем ПЕРВОМ письме в «Правду» в 1958 году[6].

Ему хотелось попробовать себя и в драматургии. Перед самой смертью он говорил: «Хочу, чтобы в моей жизни ничего больше не случалось ни хорошего, ни плохого, хочу только дописать свою пьесу о крепостном актере» («Спящую красавицу»).

Написать пьесу мечтает каждый писатель. Первую пробу Пастернак сделал в 70 лет.

Работа над «Доктором Живаго» шла в большой спешке. Существует письмо Пастернака к своему знакомому, где он выражает беспокойство за крепость художественной ткани романа, хотя и чувствует, что это лучше прежнего — «Детства Люверс», «Охранной грамоты». Радуется, что вторая часть не уступает первой.

Из всего сказанного нельзя сделать вывода о том, что стихи «зачеркнуты». Это совсем не так. Дело в том, что стих Пастернака изменялся в сторону большей простоты, становясь более «каноничным», отвергая неточную рифму, «свободный» стих.

Исследователи будущего напишут работы о развитии рифмы Пастернака, и они увидят, что Пастернак уходил именно от той рифмы, за которую он был превознесен до небес Н. Н. Асеевым в известной статье (конца двадцатых годов?) «Наша рифма».

Вот что пишет Пастернак в одном письме 1952 года.

«Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сей-

час таким образом рифмованные стихи НЕ КАЖУТСЯ МНЕ СТИХАМИ. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы».

Почему Пастернак пришел к такому глубокому разочарованию в эстетических принципах лефовцев, что порвал все личные связи с ними и публично изменил свою оценку жизни и творчества Маяковского, данную им в «Охранной грамоте»?

Ни один из бывших лефовцев не был на похоронах Пастернака. Пастернак не уставал твердить: «Вот Асеев — мой бывший товарищ. Как далеко разошлись наши дороги».

Вот выписка из письма 1952 года:

«Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги “Поверх барьеров” (1917).

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги “Сестра моя жизнь”. Но уже “Темы и Вариации” были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из “Сестры моей жизни”, отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении. Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противоположное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога, именно в те годы сложилась та чудовищная “советская” поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардов-

ский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами.

Из своего я признаю только лучшее из раннего ("Февраль, достать чернил и плакать...", "Был утренник, сводило челюсти") и самое позднее, начиная со стихотворения "На ранних поездах". Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительней и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что, даже обладая даром Блока или Гёте, нельзя остановиться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки). Но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющею мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо ПОСЛЕ этих стихов, как после немыслимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них»[7].

Здесь речь идет не о какой-то определенной вещи, вроде романа «Доктор Живаго» («Повесть о жизни»), но о необходимости высказать себя наиболее полно, всю свою прошлую работу оценивая лишь как ступень, как подготовку к высшему. Необходимость повседневной творческой собранности, готовности... Эта «Повесть о жизни» может быть не стихами и не романом, не скульптурой и не симфонией, а любой формой деятельности, любой формой служения правде. Я прошу прощения, что позволяю себе уточнить и без того точный смысл слов поэта.

Ко времени этого разговора «Доктор Живаго» еще не был написан. А после романа новой, высшей целью стала пьеса о крепостном актере.

С какого времени Пастернак признает себя «настоящим»? Со стихотворения «На ранних поездах». Чем это и последующие стихотворения отличаются от ранних? Большой простотой, «выводом», «моралью», чего раньше Пастернак не делал, считая лишним, ненужным.

«Я стараюсь сказать многое для немногих». В этих стихах последних лет Пастернак жертвует необычайной емкостью своего стиха, знает это и боится, сохранили ли стихи силу.

В 1954 году Пастернак читал стихотворение «Свадьба» дважды.

Жизнь на свете — только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон,
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

Мне кажется, Пастернаку не было нужды «отрекаться» от более ранних стихов. Дело тут вовсе не в субъективизме, от которого, по мнению Эренбурга, в «Стихах из романа в прозе» избавился Пастернак. Дело в большей простоте, большей каноничности стиха, в попытке обрести более широкого читателя.

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но мир в моей красе
Не слушал моего нытья
И быть хотел, как я.

Чем же эти стихи, написанные в тридцатых годах, сложнее «Гамлета» или «Дурных дней», «Гефсиманского сада»?

Переоценка была вызвана глубокими причинами. Прежде всего Пастернак чувствовал в себе все больше творческих сил, развертывая плечи все шире. Он, как Рильке, чувствовал себя способным бороться с ангелом Ветхого Завета.

Смерть Маяковского просветила очень многое на творческом пути Пастернака. Он увидел, что лучшие свои силы он потратил на пустяки, что дело тут гораздо серьезнее, чем тогда, когда он «пускался на дебют».

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость это — Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Пастернак чувствовал себя в силах поговорить по-большому, по-взрослому, как Лермонтов, как Толстой. Он чувствовал себя их преемником, чувствовал себя ответственным за судьбы русской литературы.

В жизни человека искусства приходит какое-то время, когда требуется привести свое личное поведение в соответствие со своими стихами, а также с тем местом в мире, которое он — вольно или невольно — занял. Эта роль, это значение становится с каждым годом больше — без всякой примеси газетной сенсации, без «политики».

Решения здесь очень трудны.

Его собственная поэтическая речь вдруг оказалась, по его мнению, не вполне ясной.

Выяснилось также, что анапесты, хореи и ямбы русского стиха могут обновляться практически бесконечно. Это было им исследовано и в многочисленных переводах. Пастернаковские ямбы из «Фауста» не спутаешь ни с чьим другим поэтическим языком.

Второй причиной, которая способствовала переоценке и увела на разные дороги Пастернака и его бывших друзей, была «шигалевщина тридцать седьмого года». Пастернак осудил все это бесповоротно и навсегда.

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Эту важнейшую причину Эренбург вовсе не называет, хотя главная тема всей второй книги его мемуаров — физическое истребление русской художественной ин-

теллигенции в тридцатых годах, совершенное многочисленными шайками пресловутого Берия.

Говорят, Сталину докладывали когда-то о желательности репрессировать Пастернака, но он ответил: «Оставьте этого юродивого в покое».

Кто знает правду?

Эренбург пишет, что в Борисе Леонидовиче было «нечто детское», а Евтушенко эту же мысль выразил так:

Он был, как детская улыбка,
У мученика-века на лице.

(«Ограда»)

Все эти разговоры о «детскости», очень распространенные, не стоят ломаного гроша. «Нечто детское» — это требовательная совесть, искренность, непосредственность, неуменье и нежелание хитрить. Так это следует понимать в отличие от «взрослых» качеств.

Пастернак был наследником лучших традиций русской интеллигенции. Это был человек, считавший, что плохими средствами нельзя достичь хорошей цели. В сущности, это — подтекст доброй половины его творчества.

Пастернак был не юродивый и не ребенок. Это был боец, который вел свою войну и выиграл ее. Он стал для нас живым примером — какой огромной нравственной силой может стать в наше время поэт, если он не кривит душой, если он почитает собственную совесть главным своим судьей — а Пастернак много и неустанно говорил об этических началах искусства.

Эту особенную в наше время роль Пастернака чувствовал очень хорошо М. Пришвин. Незадолго до своей смерти он попросил Пастернака приехать. Пастернак приехал. Они не были знакомы раньше. «Я хотел перед смертью пожать вам руку, Борис Леонидович. Я боялся, что умру и не успею попрощаться с вами».

Говорить, что «слава пришла к нему с другого хода» — значит просто грешить против памяти Пастернака.

Беседы с Пастернаком не выглядели монологами, и упрекать Пастернака в эгоцентризме не надо. Это не эгоцентризм, но душевная крепость, душевная сила. Конечно, во всех своих суждениях о важном, о большом Пастернак полагался только на собственную совесть, на собственное мнение.

Есть доброта от ума, от расчета. Такой была доброта Толстого. А есть доброта, порядочность, идущая от сердца, от чувства. Слушать собственное сердце — здесь Пастернак. Доверие к себе, к своему собственному таланту было у Пастернака очень большим, особенно в молодые годы — целый ряд стихотворений написан при свободной отдаче поэтической стихии, без вожжей, доверясь первому варианту, «чем случайней, тем вернее». Много творческих озарений, гениальных находок получено именно в результате свободного хода поисков нужного слова.

* * *

Пастернак никогда не писал авторучкой. Обыкновенная школьная «вставочка» — вот «орудие производства» поэта. Черновики писались мягким черным карандашом, отнюдь не химическим, Пастернак никогда ничего не диктовал ни стенографистке, ни на машинку. Конечно, не пользовался ни машинкой, ни магнитофоном. Первая его встреча с магнитофоном — над его гробом записывались прощальные речи.

Никогда ничего не писал ни для радио, ни для кинематографа. Часто плакал — в кино, при чтении стихов и шутя говорил, что не может видеть на экране никакого крупного плана — даже голова лошади вызывает неудержимые слезы.

Все это мелочи, пустяки. Но все они связаны с его личностью. Его торопящийся, глуховатый голос, его власть над словами, вызывающая неожиданные ассоциации и казавшаяся диковинным чем-то, все это удивительно цельно.

Профессор Петров, посетивший Пастернака перед смертью, был возмущен страстностью его тона, «позерством», как выразился бедный профессор Петров, никогда не видавший близко больших людей искусства.

Привычка говорить: да-да-да, множество этих «да» заменяло Пастернаку те «вводные слова», которые нужны, покамест «сработает» мозг настоящий ответ.

Он любил жизнь, но не считал, что она — предмет для шуток. Пастернак не любил иронию. Все стихи его — серьезны, предельно искренни.

Вспомните — он никогда не переводил Гейне. Не было поэта, более чуждого Пастернаку. В компании лефовских остряков он чувствовал себя всегда чужим. Ему и в те дальние годы было ясно, что истинная поэзия не с ни-

ми, с этими остряками. В обществе Пушкина, Гёте и Рильке он чувствовал себя свободней, чем в Гендриковом переулке. Когда это стало болезненно ясно — Пастернак ушел из этой компании, осудив и ее и себя двадцатых годов.

Асеев будто бы заявил, что стихи из романа в прозе — это «Сестра моя жизнь», освобожденная от всего ненужного. Вряд ли такой разговор мог быть — отношения были давно разорваны, демонстративно разорваны.

«Сестра моя жизнь», конечно, превосходит подлинностью своей поэтической речи стихи из «Доктора Живаго».

Цельность этой книги, емкость ее строф — необычайны, неповторимы.

«Сестра моя жизнь» — недаром о ней говорят все, кто вспоминает о Пастернаке, — осталась наиболее значительной книгой поэта. Это косвенным образом признавал и сам Пастернак, «зачеркнувший» ранние свои сборники.

Для многих людей Пастернак давно перестал быть просто поэтом. В его стихах люди искали ответы на коренные вопросы бытия, на вопросы о смысле жизни.

«Эх, если бы я занимался только музыкой. Я показал бы им — жест в сторону Нейгауза — такие тут сокровища, скрытые сокровища, мимо которых проходят».

Сын крупнейшего художника России, знаток музыки, композитор, получивший философское образование у Когена в Марбурге[8] — и Коген считал Пастернака любимым своим учеником — Борис Леонидович самой судьбой своей удивительным образом был приготовлен к тому, чтобы говорить от имени большого искусства.

Он заговорил языком большого искусства и заговорил о том самом важном, самом сокровенном, что волнует душу каждого человека.

Эренбург пишет, что сердце Пастернака не слышало «хода истории». Мне кажется, что он слышал его лучше, чем Маяковский, и был хорошо подготовлен к тому, чтобы не покончить с собой.

Конечно, Пастернак был с жизнью в ладу. Полный творческих сил, он был всегда оживлен, общителен, весел, приподнят. «Неудачи» его не смущали.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Пастернаку было давно ясно, что печатать его ни один журнал не решится. Ничтожное количество стихов, напечатанное в «Знамени» в 1956 году, разумеется, не говорило о возможностях печатания.

Иногда случалось напечатать «Актрису» в журнале «Театр», «Хлеб» в «Новом мире», дать несколько стихотворений для Дня Поэзии.

Эренбург прав, что Пастернак был счастливым. Это потому, что он сумел жить в мире с самим собой.

Сказать на последнем году жизни: «Все сбылось» — дается немногим счастливцам.

1961

РАБОТА БУНИНА НАД ПЕРЕВОДОМ «ПЕСНИ О ГАЙАВАТЕ»

В предисловии к сборнику рассказов Бунина (1956) А. Тарасенков пишет, что перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло — талантливая работа «*молодого* Бунина».

Н. Телешов в «Записках писателя» говорит, что бунинский перевод «Гайаваты» сделан «рукой *опытного мастера*», «в *зрелом* возрасте».

Где же истина?

В 1903 году Иван Бунин представил на соискание Пушкинской премии Академии наук сборник стихов «Листопад», вышедший в 1901 году, и стихотворный перевод «Гайаваты» Лонгфелло, изданный товариществом «Знание» в 1903 году. Эти две работы были отмечены половинной Пушкинской премией.

К переводу «Гайаваты» автор сделал предисловие, в последующих изданиях (1904, 1905 годов) датированное 1898 годом, как бы подчеркивая, что поэма переведена в 1898 году. От издания к изданию передается предисловие с этой датой, вплоть до издания 1959 года, и все читатели относят знаменитый перевод «Гайаваты» к 1898 году. Во всех энциклопедиях, справочниках и литературоведческих работах перевод поэмы Лонгфелло датируется именно этим годом.

Это неверно.

1898 год не является годом первой публикации поэмы. Впервые перевод Бунина издан в Орле в конце 1896 года, а еще ранее поэма напечатана в газете «Орловский вестник».

Бунин работал в «Орловском вестнике». Еще в 1891 году газета издала первый сборник стихов двадцатилетнего поэта, включавший 49 стихотворений.

За время с 2 мая по 24 сентября 1896 года в двадцати пяти номерах «Орловский вестник» напечатал полный текст перевода «Песни о Гайавате». Этот перевод в точности повторен (даже тем же самым шрифтом) в орловском издании. Главы поэмы Лонгфелло, за исключением последней, печатались на первой полосе газеты.

Этот орловский вариант поэмы очень интересен. Обладая достаточной полнотой и точностью, первый печатный вариант перевода не отличается той высокой художественностью, какой достиг Бунин в последующих изданиях поэмы Лонгфелло (1898, 1899, 1903 годы).

Обложка поэмы серо-зеленого грязного цвета, в книжке в 207 страниц нет ни одной иллюстрации. Поэма цензурована в Киеве 30 октября 1896 года. Стало быть, первой публикацией «Песни о Гайавате» можно считать газетный ее текст с 2 мая по 24 сентября 1896 года.

Через год с лишним после издания «Гайаваты» в Орле появляется — в январе 1898 года — в издании детского журнала «Всходы» в Петербурге новый перевод «Гайаваты», рекомендованный Министерством народного просвещения для школ, бесплатных библиотек. Это вариант, отличающийся и от орловского издания, и от издания 1903 года! Из текста вовсе исключены две главы.

В 1899 году «Песнь о Гайавате» выходит в Москве в издательстве «Книжное дело» с немногими иллюстрациями художника Ремингтона. Этот вариант, в свою очередь, отличается от варианта «Всходов», иногда возвращаясь к орловскому тексту, а большей частью уходя от него еще дальше.

Проходит почти четыре года, и в издательстве «Знание» Горький издает «Гайавату» в окончательном виде. Бунин получает Пушкинскую премию. С этого момента Бунин перестает работать над улучшением перевода. Многочисленные переиздания «Гайаваты» в последующие годы никаких изменений в тексте не имеют.

Как же работал Бунин над своим знаменитым переводом? Какие элементы перевода признавались им наиболее важными, каковы его принципы работы над улучшением языка поэмы? Максимальная ли точность, наибольшее соответствие с подлинником или что-нибудь иное?

Мы можем проследить несколько изданий «Гайаваты» и увидеть достаточно наглядно, каков характер тех изменений, которые вносил Бунин в орловский вариант.

Если взять издание 1896 года и сравнить его с переводом 1903 года, в первой половине поэмы мы не найдем почти ни одной строфы, не подвергшейся правке Бунина. Много строф переписано заново. Размер «Гайаваты», ее свободный ритм дал Бунину возможность то увеличивать, то уменьшать количество строк в строфе.

Переделки многочисленны. Подчас от строфы не остается, что называется, «камня на камне». Возводится новое, поэтически более совершенное здание.

Переводчик не стремится к буквализму. Нет почти ни одного примера, когда Бунин делал бы изменение, добиваясь большей схожести с оригиналом. Задача улучшения перевода совсем в другом. Это — улучшение русской поэтической речи, большее поэтическое совершенство языка. Отрабатывается стих, усиливается образность речи. Это первая, самая главная задача переделки.

Второй задачей было освобождение от неясностей, от досадных обмолвок первого варианта. Работа этого характера также значительна и весьма заметна.

Наконец, третья сторона — очищение текста от английской транскрипции индейских слов. В орловском варианте много английских слов встречается в тексте — они переводятся в сносках, на каждой странице. Это опять-таки затрудняет поэтическую речь, лишает ее плавности. И притом: если можно без ущерба дать

Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги...
и т. д.

без немедленного перевода, то можно включить в текст и другие индейские слова также без перевода. Эту трудность Бунин преодолел особым способом. Он отработал новый вариант поэмы таким образом, чтобы перевод слова входил в текст строки. Сохранялся индейский колорит, звуковая выразительность слова и рядом же давалось пояснение «окунь, Сава; Омими, голубь» и т. п. Этот принцип был найден Буниным еще в орловском варианте, но к 1899 году он отработал всю поэму в соответствии с ним.

В орловском варианте вовсе не было списка индейских слов в конце поэмы. Такой список появился лишь в издании 1898 года и (с изменениями) вошел в последующие издания.

Еще одно наблюдение: первая половина поэмы подверглась значительно большей переработке, чем вторая. Текст большинства глав второй половины поэмы изменен меньше. По-видимому, Бунин остался удовлетворен качеством перевода этих глав. Если он начинал с первой главы, то с каждой последующей страницей накапливался опыт переводчика, росло его мастерство.

Орловский вариант поэмы вряд ли бы заслужил Пушкинскую премию, там много «огрехов», а наиболее поэтичные строки еще не были найдены переводчиком. Так, в орловском варианте (газетный текст тождествен тексту отдельного издания) поэма начинается с «Пролога», а кончается XXII главой «Отъезд Гайаваты». В позднейших изданиях «Пролог» заменен «Вступлением», а «Отъезд Гайаваты» — «Эпилогом».

Глава «Жалобы Гайаваты» в позднейших изданиях называется «Плач Гайаваты».

Вот начало поэмы в издании 1896 года:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды,
От которых пахнет лесом,
Веет свежестью долины
И дымком лесных вигвамов...

В издании 1898 года:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Голубым дымком вигвамов...

В издании 1899 года и позже:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов...

Голубой дымок вигвамов и влажная свежесть долины были поэтическими находками и закрепились в переводе навсегда.

Еще пример. Конец главы I «Трубка мира» в орловском издании выглядит так:

И в дверях отверстых рая
В белоснежных волнах дыма
От Покваны, Трубки Мира,
Потонул Владыка Жизни
Гитчи-Манито могучий.

Несовершенство строфы ясно.

Уже к следующему изданию (1898 год) переводчик меняет текст строфы:

И в дверях отверстых неба
Гитчи-Манито сокрылся,
Окруженный белым дымом,
Белым дымом Трубки Мира.

Этот вариант повторяется и в 1899 году.

В издании 1903 года Бунин дает новый, последний вариант:

И в дверях отверстых неба
Гитчи-Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

Вот текст 1896 года (гл. IV):

А веселый, юный голос
То звучал беспечным смехом,
То капризно и сердито,
И ее он Миннегагой
Звал — Смеющеюся Струйкой.

1899 год:

А капризный, нежный голос
То звучал беспечным смехом,
То задорным юным гневом.
И отец в честь водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

1903 год:

Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал, как песня,
Как поток, струились косы,
И Смеющейся Водою
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Это один из бесчисленных примеров повышения «поэтического уровня» перевода. Как и в других случаях, автор перевода ищет наилучшую образность, совершенную музыкальность — и добивается успеха!

А вот пример изменений другого рода (2-я строфа гл. IV). Издание 1896 года:

Легки ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрела ложилась сзади.
Сильны руки Гайаваты!..
и т. д.

Последний вариант этой строфы таков:

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
и т. д.

Еще пример того же рода (конец гл. VIII). Издание 1896 года:

Так сменяясь, трое суток
Стаи чаек и Накомис
Отрывали мясо Намы.
Наконец уж перестали
Прилетать они (?) на берег,
А в песке морском остались
Только кости Мише-Намы.

В 1898 году (кстати, сама глава здесь означена VII) меняется 5-я строка на «Прилетать на берег чайки», и грамотность строфы восстанавливается.

В 1899 году:

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец, меж голых ребер
Волны начали плескаться.
Чайки скрылись, улетели,
И остались на прибрежье
Только кости Мише-Намы.

Издание 1903 года повторяет текст «Книжного дела».

За бунинской строфой видна поэтическая картина. Образность развита и усложнена в духе Лонгфелло. И в духе русской поэзии.

Интересно, что с каждым изданием менялся текст «предисловия переводчика», которое, как известно, обязательно сопровождает каждое издание поэмы Лонгфелло в переводе Бунина. (Последнее такое предисловие датировано 1898 годом.)

Однако тем же 1898 годом датируется предисловие другого текста (в издании 1899 года). Конец его отличается от предисловия позднейших изданий:

«...Слабой данью моей глубокой благодарности великому поэту, доставившему мне столько чистой и высокой радости в труде, с которым я расстаюсь теперь с такою грустью!

12 июля 1898 г. Люстдорф».

В дальнейшем подчеркнутые слова исключены.

«Предисловие переводчика» к орловскому изданию (а также и к газетному тексту) гораздо короче, но подробнее касается перевода «Гайаваты» Д. Л. Михаловским в «Отечественных записках».

О самом Лонгфелло говорится очень коротко. В последнем абзаце указывается на возможность совпадения с переводом Михаловского.

К изданию «Гайаваты» детским журналом «Всходы» в 1898 году «предисловие переводчика» иное. О переводе Михаловского не говорится вовсе. Это рассказ о Лонгфелло, о его жизни, его интересах, его поэзии и о «Песне о Гайавате».

Предисловие к изданию 1899 года — самое подробное из бунинских предисловий к «Гайавате».

Здесь указывается на существование еще одного перевода «Гайаваты» (кроме Д. Л. Михаловского), сделанного в 1878 году и имевшего название: «Гайавата. Индейская сказка».

Итак, текст 1898 года не является ни первоначальным, ни окончательным текстом. Поправки встречаются до издания 1903 года. Окончательным вариантом можно считать только текст 1903 года. Основная работа по улучшению орловского, первоначального варианта перевода «Песни о Гайавате» (1896) приходится на 1897 и 1898 годы. Это значит, что Бунин приступил к перера-

ботке своего труда сразу после орловского издания поэмы. Правильной датировкой перевода поэмы Лонгфелло И. А. Буниным надо считать 1896–1903 годы — семь лет, в течение которых создавался этот перевод.

<Начало 1960-х>

ОТВЕТ НА АНКЕТУ О С. ЕСЕНИНЕ

Я был на похоронах Есенина, когда коричневый гроб трижды пронесли вокруг памятника Пушкину на Тверском бульваре. Посмертная судьба поэта была предсказана в том прощании. Стихи Есенина были его судьбой — в этом главное, самое важное. Именно потому, что на строках Есенина выступает живая кровь, отходят на второй план художественные просчеты, шероховатость отдельных строк и строф. У Есенина мало безупречных стихотворений. Впрочем, у какого поэта нет плохих стихов. Но у Есенина есть и такие чудеса, как «Несказанное, синее, нежное», «Отговорила роща золотая». Их достаточно, чтобы дать Есенину бессмертие в русской лирике.

Стихи Есенина были его судьбой. Все его стихи пронизаны огромной любовью к России, к родине.

Если крикнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю! —
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою!

И еще:

Я буду воспевать всем существом в поэте
Шестую часть земли с названьем кратким — Русь.

В двадцатые годы это страстное утверждение было немодным, но в высшей степени принципиальным, искренним, мужественным и — как показало время — глубоко верным.

У Есенина было необычайно чистое поэтическое горло, лирический голос удивительной чистоты. Трудно сказать, кого из русских поэтов можно поставить рядом по непосредственности, безыскусственности, искренности, правдивости лирического тона. Песенность была даром Есенина. Его стихотворные строфы всегда делятся

на отдельные строки по смыслу, как в песне, — то самое качество, от которого уходила Цветаева.

У Есенина были два учителя — Блок и Клюев. Все остальные влияния были легко преодолены. Даже к имажинизму Есенин был подготовлен именно Клюевым, и когда-нибудь литературоведы разберутся в этом.

Не будь «Пантократора» и «Кобыльих кораблей», Есенин мог бы быть тем русским поэтом, с которого любой человек может начать приобщение к поэзии, начать учиться любить, чувствовать и понимать стихи.

Стихи Есенина были его судьбой. Есенинский пейзаж не аллегория, не олицетворение. Пейзажные образы Есенина — это не очеловеченная природа, а просто поэтические сравнения без символики.

Есенин поэтизировал животных. Стихи об ощенившейся суке, о застреленной лисице написаны с величайшей теплотой. Стихи о животных написаны без всякого подтекста. Животные просто включены Есениным в мир людей и так же интересны ему, как люди. Выдающийся поэт, для которого стихи были судьбой, Есенин вводит нас в великую лирику XX века.

1965

ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ АКАДЕМИИ НАУК

В 1861 году бывшие царскосельские лицеисты, отмечая пятидесятилетие Лицея, где учился Пушкин, организовали Комитет по сбору средств на памятник поэту. Добровольные пожертвования, в которых принимала участие вся Россия, значительно превысили требуемую для постройки памятника сумму в сто тысяч рублей. В 1880 году опекушинский памятник был поставлен на Тверском бульваре в Москве. По выражению академика Я. Грота, средств было достаточно «на прославление поэта двояким памятником: вещественным в Москве и литературным в Петербурге, в Академии наук». Оставшиеся деньги, двадцать тысяч рублей, были переданы Академии наук с тем, чтобы на проценты от этих денег была учреждена Пушкинская премия. Правила были утверждены 17 августа 1881 года (изменены с 1895 года). Сначала раз в два года, потом ежегодно, а с 1895 года по нечетным годам Академия наук присуждала одну тысячу рублей. Эта тысяча рублей была полной премией или делилась на половинные, по пятьсот рублей.

Отделение русского языка и словесности Академии наук имело право выдавать поощрительные премии в триста рублей (отменены с 1895 года). Труды автора могли отмечаться почетным отзывом.

Неприсужденные премии не присоединялись к основному капиталу — они могли быть присуждены в конкурсах будущих лет. В 1895 году этот пункт правил был изменен — не выданные вовремя деньги включались в основной капитал и в дальнейшие годы не присуждались.

Каждый автор сам представлял свои работы на конкурс.

Отделение русского языка и словесности Академии наук составляло (каждый раз особо) Комитет для присуждения премий. Помимо академиков почетных и ординарных в него входили приглашенные «со стороны» литераторы. Члены Комитета и были рецензентами представленных сочинений. На каждое сочинение представлялся подробный разбор-отзыв, иногда весьма значительный по объему — более печатного листа.

Премия присуждалась за литературные произведения трех родов:

а) ученые сочинения по истории народной словесности, истории русской, а также и по иностранной литературе, «насколько таковая имела влияние на отечественную в означенном пространстве времени»;

б) произведения изящной словесности в прозе или стихах, отличающиеся внешними художественными достоинствами;

в) обстоятельные критические разборы.

Переводы оценивались наравне с оригинальными сочинениями.

Первый конкурс был объявлен в 1881 году. 19 октября 1882 года академик Грот прочел первый отчет. В качестве «посторонних лиц» в Комитет Академии наук вошли Н. Д. Ахшарумов, Ф. Ф. Миллер (описка или опечатка — правильно О. Ф. Миллер. — *Ред.*), И. А. Гончаров и Н. Н. Страхов. Из представленных на конкурс четырех сочинений удовлетворяющими правилам и достойными полной Пушкинской премии признаны два — поэма Аполлона Майкова «Два мира» и сборник стихов Якова Полонского «На закате». О последнем рецензент (О. Ф. Миллер) выразился так: «Думается, что тень Пушкина благосклонно взглянула бы на увенчание премией поэтического “Заката” Полонского, купно с его поэтическим днем».

Обоим лауреатам были присуждены половинные премии.

В дальнейшем Комитет по Пушкинским премиям часто практиковал награждение половинными премиями вместо одной полной.

Так, в 1903 году Иван Бунин представил на конкурс свой «Листопад» и знаменитый впоследствии перевод «Гайаваты» Лонгфелло. Бунин получил половинную премию, так же как и П. А. Вейнберг — известный переводчик Гейне. В 1909 году Бунин разделил премию с Куприным.

В 1888 году половинной Пушкинской премией был награжден Чехов, представивший сборник «В сумерках» (рецензент академик А. Ф. Быков). В своем отзыве рецензент писал: «Рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют, однако же, выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе».

Мнение и аргументы рецензента не всегда одобрялись членами Комитета. Баллотировка была закрытой. В 1909 году «августейший» рецензент К. Р. дал разносный отзыв о сборниках стихов и рассказов Бунина (тома 3 и 4 полного собрания сочинений), указывая на «туманность образов», «отсутствие логики», уверяя, что ряд стихов Бунина недоступен пониманию читателя. Возмущение рецензента вызвало выражение поэта «жестокий» по адресу бога[9].

Рецензия была обширной, и автор ее заключал, что Бунин недостоин Пушкинской премии. Следует помнить, что великий князь Константин Романов (К. Р.) был председателем отделения русского языка Академии наук. Закрытой баллотировкой Комитет присудил премию именно Бунину (пополам с автором «Поединка» Куприным). Кстати, в этом же заседании К. Р. усиленно рекомендовал стихи некоего Рудича, которые, по мнению К. Р., «безусловно достойны увенчания Пушкинской премией».

Последнее присуждение — 23-е — состоялось в 1919 году. На нем полная Пушкинская премия была присуждена В. В. Вересаеву за перевод Гезиода: 1) «Работы и дни», 2) «О происхождении богов». Текст работы Вересаева был представлен на пишущей машинке. Рецензировал эту работу профессор Ф. Ф. Зелинский. Так Пушкинская премия была присуждена в последний раз 6 декабря 1919 года.

На XI заседании Общего собрания Российской академии наук «непременный секретарь» (академик С. Ф. Оль-

денбург) читал: «Опыт последних двух лет показал, что, со времени национализации капиталов Российской академии наук, выдача премий стала совершенно невозможной, притом и работы на соискание премий почти не представляются авторами. Ввиду сего казалось бы правильным отменить на 1920 год конкурсы по соисканию премий». Положено «отменить все конкурсы на соискание академических премий в 1920 году с тем, чтобы в конце 1920 года Непременный Секретарь вновь запросил указаний Общего собрания по этому предмету, в связи с состоянием к тому времени капиталов по премиям».

ПОЛНЫМИ Пушкинскими премиями за 37 лет (с 1882 по 1919 год) были награждены: А. А. Фет (за перевод Горация), Л. Н. Майков (за издание сочинений Батюшкова), А. А. Голенищев-Кутузов (за собрание стихотворений), Де ла Барт (за перевод «Песни о Роланде»), А. А. Соколовский (за перевод всех сочинений Шекспира), Д. Мин (за перевод «Божественной комедии» Данте), Н. А. Холодковский (за перевод 1-й и 2-й частей «Фауста» Гёте) и В. В. Вересаев (за перевод Гезиода — «Работы и дни» и «О происхождении богов»).

Половинные Пушкинские премии были выданы: Ап. Майкову (за поэму «Два мира»), Я. Полонскому (за сборник стихов «Закат»), С. Юрьеву (за перевод «Макбета» Шекспира), Н. П. Семёнову (за перевод из Мицкевича), С. Я. Надсону (за собрание стихотворений), А. П. Чехову (за сборник «В сумерках» в 1888 году), М. И. Кудряшову (за перевод «Песни о Нибелунгах»), Д. Л. Михаловскому (за перевод двух трагедий Шекспира), Я. П. Полонскому (за сборник стихов «Вечерний звон»), Д. П. Аверкиеву (за сочинение «О драме»), П. А. Вейнбергу (за перевод «Марии Стюарт» Шиллера), Головину (за исследование «Русский роман»), К. Станюковичу (за «Морские рассказы»), О. Чюминой (за перевод Мильтона), И. Бунину (за «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»), П. Вейнбергу (за переводы Шиллера и Гейне и редактирование сочинений Гейне), Мирре Лохвицкой (за 5-й том ее стихотворений), О. Чюминой (за перевод Данте), А. Куприну (за рассказы и повесть «Поединок»), И. Бунину (за 3-й и 4-й тома сочинений), И. Пороховщикову (за книгу «Искусство речи на суде»), П. Щёголеву (за очерки о Пушкине), Свириденко (за перевод «Песни о Сигурде»).

Поощрительные премии (300 рублей) присуждались: В. И. Саитову (за работу по подготовке к изданию сочинений Батюшкова), Л. П. Вельскому (за перевод «Кале-

валы»), В.С. Лихачёву (за переводы из Мольера), И.Н. Потапенко (за «Повести и рассказы»), Л.И. Поливанову (за перевод Расина).

Почетными отзывами были награждены: переводчик В. С. Лихачёв (перевод «Тартюфа»), П. А. Козлов (перевод «Дон-Жуана» Байрона), Шляпкин (издание сочинений Грибоедова), А.Д. Львова («Поэмы и песни»), А.М. Жемчужников (стихотворения), Д.Н. Цертелев (стихотворения), Л.И. Поливанов (перевод «Мизантропа» Мольера), К. Баранцевич (за роман «Две силы?»), Луговой («Рассказы»), К. Случевский, Л. Поливанов (перевод «Федры»), М. Лохвицкая («Стихи»), П. Якубович (стихотворения), Стешенко (работа «Котляревский»), В. Льдов (сборник стихов «Отзвуки»), Гальковский («Сербский эпос»), Ф. Зарин (стихотворения), А. Навроцкий (драмы), В. Лихачев (перевод двух трагедий Шекспира), Милицына (рассказы), А. и П. Ганзен (перевод Ибсена), Б. Лазаревский (рассказы), Н. Тхоржевский, Хвостов (сборник стихотворений «Под осень»), М.П. Чехов (брат А.П. Чехова, получил почетный отзыв за книгу «Очерки и рассказы»), О. Чюмина (перевод «Королевской идиллии» Теннисона), В. Рудич (за сборник «Новые стихи»), Ю. Айхенвальд (за «Силуэты русских писателей»), Волкович (за «Стихи и повести»), Северцев-Полилов (книга «Наши деды-купцы»), О. Чюмина (переводы из Леконта де Лилля), В. Шуф (сонеты «В край иной»), Л. Фёдоров («Стихи и проза»), Т. Щепкина-Куперник («Сказание о любви»), А.М. Фёдоров (книги «Жатва», «Утро»), С. Дрожжин («Песня старого пахаря»), В.А. Мазуркевич (стихотворения и поэмы), Н.А. Крашенинников («Амеля»).

Дважды отмечались Пушкинскими премиями поэты И.А. Бунин, Я.П. Полонский, переводчики П.А. Вейнберг и О. Чюмина.

Большинство Пушкинских премий выдано за стихотворения. Удельный вес прозаиков меньше. Значительно место переводов: из восьми полных Пушкинских премий шесть присуждено за переводы и ни одной полной премии не выдано за прозу.

Странным сейчас выглядит награждение полной Пушкинской премией поэта А. А. Голенищева-Кутузова. Всего одно поколение понадобилось, чтобы этот лауреат был вовсе забыт — он даже для литературоведов не представляет интереса[10].

Большинство имен поэтов, награжденных почетными отзывами Академии наук, широкому читателю вовсе неизвестны: Д. Цертелев, В. Льдов, Ф. Зарин, Хвостов, В. Рудич, Волкович, В. Шуф, А. Фёдоров.

В половинных Пушкинских премиях удельный вес прозы больше, но тоже уступает стихам и стихотворным переводам.

Исследовательские работы награждены лишь три (Аверкиева, Щёголева и Головина).

<Конец 1950 — начало 1960-х>

ЗВУКОВОЙ ПОВТОР — ПОИСК СМЫСЛА

(заметки о стиховой гармонии)

1. Первая строфа — ее звуковой каркас

Те миллиарды нервных клеток, из которых состоит человеческий мозг, увы, не могут помочь кибернетикам предвидеть появление определенной комбинации этих нервных клеток, не могут наблюдение за художественными способностями мозга превратить в научный эксперимент и дать нам возможность точного предсказания. Вероятность предсказания тут равна нулю. Это свидетельствует, что в данном случае речь идет об эстетических категориях — они-то и одерживают победу на наших глазах.

Творческий процесс есть процесс торможения, отбрасывания лишнего, а не поиск, не накопление. Накопление — в любом виде и форме произошло давно, гораздо раньше, чем поэт берется за перо. Для первой строфы используется весь личный опыт всех клеток тела поэта, нервов, мышц, напрягаются мускулы памяти. Весь опыт человечества здесь пытается вырваться и закрепиться на бумаге. Тысячи различных побуждений находят свою равнодействующую в записи первой строфы — в создании звукового каркаса будущего стихотворения. Эта пришедшая первой строфа в окончательно отделанном стихотворении может быть и не первой — в русском лирическом стихотворении, оптимальный размер которого — от восьми до двенадцати строк. (Восемь строк Пастернак считал идеалом для русской лирики. Я считаю — двенадцать! — ближе к историческому рубежу классического сонета в четырнадцать строк — формы, несомненно связанной с физиологическим, биологическим

ритмом стихотворного размера. Во всяком случае, в русских стихах двенадцать строк — это тот оптимальный размер, в котором может быть выражено все, что хотел сказать лирический поэт на русском языке.)

Уже эта первая строфа определяет любимую интонацию поэта. Ее первые слова уже подобраны, уже возникли непроизвольно в мозгу, чтобы гласные и согласные буквы представляли собой подобие кристалла геометрической правильности — повторяемый звуковой узор. И фонетические отклонения, вроде возникающих при замене «б» на «п» и т. п., обнаруживаются почти всегда тут же. Непосредственно поисковым инструментом тут служит рифма, значение которой в русском стихе очень велико и не в мнемоническом смысле — как у Маяковского, — и не в «музыкальном» — как у Бальмонта, — а именно как поискового инструмента, инструмента разведки в море слов, событий, идей, где чисто звуковой поиск производит новые смысловые явления, которые либо тут же отвергаются, либо принимаются к записи на бумагу, либо цепляются за перо и встают в запись как первый вариант. Это — процесс мгновенный, часто полусознательный. Начиная стихотворение, нельзя сказать, чем оно кончится, но каким будет его фонетический, интонационный облик — это предсказать можно. Тут-то и открывается простор и для эпигона, и для пародиста.

Итак, речь идет о применении, о создании более правильного термина, чем «создание» для первой строфы классического русского стихотворения, имеющего канонические оптимальные размеры от восьми до двенадцати строк.

«Возникновение» — более правильное выражение процесса чуда, который присутствует во всяком стихотворении.

«Создание» — термин более выспренний, чем «возникновение», несмотря на кажущуюся претенциозность последнего. Правильней всего было бы сказать «работа», «дело» и уж, во всяком случае, надо избегать крайне неудачного термина — «творчество». «Создание» же дискредитировано спортивными журналистами и поэтому должно быть вычеркнуто из лексикона поэтической работы.

Озарение, чудо, вдохновение, возникновение — все это весьма реальные состояния в работе поэта — точные, почти научные формулировки движения его души.

Но создание? Можно создать голевую ситуацию, создать гол, но создать стих? Это — не из той оперы.

Первая строфа всегда возникает на определенном звуковом каркасе:

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр...

Это и есть элементарный, но истинный и надежный прием при работе над стихотворением. Он был хорошо известен Пушкину:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил Ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Рифма небеса и глаза не очень хороша, но Пушкину было важно не нарушать единообразия звуковых повторов. Другой пример:

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

«Сонет»

Еще большим энтузиастом звукового повтора был Лермонтов:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи.

«Пророк»

Или:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной.

«Русалка»

У Пушкина и Лермонтова просто нет стихов без доступной любому слуху грубой звуковой фактуры. Великим мастером звуковой магии был Блок. Несравненным звуковым организатором своих стихов была Цветаева.

Так делают и современные поэты. Конечно, это — магия неандертальца, ибо никакой апелляции к разуму в этих «Ижорах» нет. Полемическое замечание Пушки-

на о том, что поэзия «должна быть глуповата» (письмо П. А. Вяземскому, май 1826 г.), подчеркивает ту главную мысль, важную мысль, что звуковой каркас — главное для поэта.

Все это, конечно, самые-самые азы стихотворной грамоты. Так пишут все — от Державина до Игоря Северянина: звуковая магия есть основа русского стихосложения.

За «созданием» первой строфы следует вторая.

Вторая — в какой-то части есть реализация приобретенного во время работы над первой и в то же время она все еще — в общем запасе, запасе слов, сравнений, аргументов, которые собраны в мозгу поэта до стихотворения.

Этот запас толкает поэта на следующие строфы — их может быть больше или меньше — в зависимости от ситуации.

Возникает несколько вариантов этих вторых, третьих строф, которые выступают неудержимо одна за другой, тут уже — едва успеваешь записать на бумагу, остановить, фиксировать этот поток. Запись приносит величайшее облегчение. Записываются и лишние строфы — просто все, что вышло на перо в этом одноразовом потоке. Только через день (а то и через год) — если возникает такое же настроение — возвращаешься к стихотворению. Запас уже исчерпан, но не настолько, чтобы суть стихотворения (тема или ощущение — экзерсис, подобно разыгрываемой гамме) перестала интересовать поэта. Напротив, наступает вторая стадия — где мысль, разум, воля играют более важную роль, чем при первой записи. Тут-то отвергается (не холодным, а жарким отвержением) кое-что. Кое-что подтверждается, кое-что дополняется. Устанавливается композиция — окончательный порядок строф.

Тут-то и определяется холодным взглядом — не подражает ли написанное кому-либо, в чем-либо, хоть в тоне, в слове, в словаре, в интонации, в художественной системе. Не напоминают ли мне собственные, только что написанные стихи чье-то чужое стихотворение или отдельный образ, символ, метафору. Все подражательное изгоняется самым жестоким образом, ибо эта вторая правка — последняя. Если это перепев собственных вещей — оставляется в тетради.

Теоретически любое стихотворение можно улучшить. Добавить кое-что и, вероятно, улучшать можно бесконечно. Я так не делаю. Переработка второй записи представляет для меня невероятное, чисто физическое муче-

ние; дальнейшее улучшение и добавление стоят таких нервов, что лучше от него отказаться. Трудность здесь заключается в том, что очень трудно вернуться в уникальное состояние определенного напряжения нервов, таланта, ума, которое ранее вытолкнуло на бумагу стихи.

Все мои стихи в сборниках, хотя я отнюдь не враг всяких переделок, напечатаны в том виде, в каком я их написал (единственное стихотворение, которого коснулась — хотя и деликатнейшая — рука редактора, никогда не вспоминаю)*. Даже читать старые стихи не то, чтобы переделывать их, — очень трудно.

Для меня было в высшей степени удивительным и слышать и видеть, как Маяковский в 1928 году по просьбе слушателей читал свой «Левый марш». У меня бы губы не повернулись прочесть что-то старое. Очевидно, сами губы Маяковского как бы непроизвольно сложились в какие-то важные ему складки, и поэтому повторение доставляло ему чисто физическое удовольствие. Но о своих стихах поэт может судить только сам. Он — единственный судья своего собственного дела. Кроме собственного приговора, имеют значение суждения лишь высоко квалифицированных знатоков предмета, далеких от всяких «болельщицких» симпатий. Они не обязательно должны быть поэтами. Но они должны знать, какую цену платит поэт за свои стихи.

Поэмы и эпические вещи пишутся, наверное, иначе, не могу сказать. Но процесс работы над лирическим стихотворением от восьми до двадцати строк именно таков, как рассказано. Таков был он у Пушкина, Лермонтова, Фета, Баратынского, Тютчева, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского, Северянина, Хлебникова и Есенина.

В мозгу поэта — да и не только в мозгу, но и в сердце и всей нервной ткани — копится некий звуковой гул. Стихотворение возникает как звуковой каркас — идут поиски ритма, тона, размера, который должен дать выход накопленному в мозгу. Там же нарастает ощущение какой-то принудительности, обязательности, необходимости высказывания. Человеческий мозг хранит в себе кроме сформулированных мыслей — еще и запас ощущений, чувств, эмоций, желаний, подтекстов, обломков, ищущих выхода вне мысли, стремящихся победить пря-

---

* Имеется в виду стихотворение «Вверх по реке». Комментарий Шаламова: «Единственное мое стихотворение, которое по просьбе редактора было расширено» (наст. изд., т. 3, с. 474) — *Прим. сост.*

мую мысль, обойти ее в подтексте, в намеке, наполнив этот разумный текст неразумным чувством. В таком виде текст вырывается на бумагу под контролем мысли. Конечно, запись — это процесс вторичный, когда уже мысль вмешалась, ставит преграды и дает форму.

Поиски формы звукового потока составляют значительную трудность поэтического процесса, большую его часть и неотъемлемое свойство. Поэтому-то поэзия — непереводима. (Даже художественная проза — непереводима. Гоголь, Зощенко — каковы они в переводе?..)

Но сейчас речь идет не об этом. Если считать, что поиски звукового каркаса стихотворения уже есть вид содержания, то до осознанности, проясненности в сознании этому содержанию еще очень далеко. Разумом пользуется баснописец, но не поэт-лирик.

Стихи — это особый мир, где эмоции, мысль и словесное выражение чувства возникают одновременно и движутся к бумаге, перегоняя друг друга, пока не закончат каким-то компромиссом, потому что некогда ждать, пора ставить точку.

Для русского стиха таким коренным, главным путем движения рождающегося стихотворения, его улучшения является сочетание согласных в стихотворной строке. Совершенство — и совершенствование — русского стиха определяется сочетанием согласных.

Истинная поэзия — самоочевидна (стихи — не стихи), но это отнюдь не значит, что она — чудо и потому не может быть объяснена. Стихи не пишутся по модели «Смысл <=> Текст»: терялось бы существо искусства — процесс искания — с помощью звукового каркаса добраться до философии Гёте и обратно — из философии Гёте почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение. Но звуковой каркас будущего стихотворения, его очень приблизительная идея — при полной силе эмоционального напора — существует. Стихи всегда — эмоциональная разрядка и в этом их важнейшая особенность и повелительность.

2. Трезвучия согласных — основа гармонии стиха

Стихотворная речь является на бумагу, всегда одетая в военную форму особого образца — в «опорных

трезвучиях», как их называет Ю. А. Шрейдер*, в звуковых повторах особого рода, в особенных сочетаниях согласных: без них стихотворение считается предприятием штатским.

В русском языке нет ничего (никаких явлений, мыслей, чувств, наблюдений, событий, жизненных фактов и прочая и прочая), чего нельзя было бы выразить стихами.

Стихи — всеобщий язык, но только не искусственное и условное создание, как эсперанто, а выросший в родном языке и обладающий всеми его особенностями, правилами и болезнями. Повторяемость определенного рода согласных букв и дает ощущение стихотворения. Однако роль этих звуковых повторов (опорных трезвучий) не ограничивается звуковым совершенством данной строфы. Поиск этих опорных трезвучий и составляет сам процесс художественного творчества применительно к русским стихам, подлежащий разумному учету и разумному отчету. Для поэта — это граница ненужного, лишнего. Этим экономится время работы, ибо все, что вне этих трезвучий, просто отбрасывается, не попадает на перо. А то, что попадает, подвергается контролю, правке. Лучший вариант — это тот, который благоволит слуху, уху (опять же не в музыкальном значении слуха и уха). В торможении звукового потока мысль еще не играет главной роли.

---

* Ниже приводится дополнение В Т Шаламова, изложенное в приложении к его публикации, которую подготовил Ю А. Шрейдер «Музыкальный — по происхождению — термин приходится употреблять из-за недостаточной разработанности теории стихосложения, учения о поэтической интонации Вообще же я избегаю пользоваться музыкальной терминологией — ибо это одна из причин смешения понятий Музыка — абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело Не случайно Блок, как и Маяковский, не имел музыкального слуха В его термине "музыка революции" при всей его конкретной ощутимости и философской значительности меньше всего собственно музыки. Маяковский в детские лефовские времена вполне серьезно уверял, что музыка — буржуазное искусство

Пастернак, в отличие от Блока и Маяковского, был музыкантом и в "Охранной грамоте" — лучшей своей прозе — оставил нам волнующую историю выбора одного из двух искусств. Но сама необходимость выбора говорила, что стихи и музыка — чуждые друг другу миры. Гениальные стихи: "*Я клавишей стаю кормил с руки*" — все же не музыка, а стихи. Для того чтобы написать "*Казалось, скорей умертвят, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле*", не надо учиться контрапункту Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств — танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка»

Главная роль отдается мысли при правке уже остановленного, зафиксированного звукового потока, но и то — большой вопрос, что тут главнее. Разум должен оставаться в разумных пределах — таков главный вывод из этого отрезка бегущей ленты стихотворения.

Все человеческие желания, мысли, чувства, надежды мы можем передать при помощи речи — тех самых тридцати трех букв русского алфавита, пересчитывание которых никогда никому не мешало. Этот алфавит передает и поэтическую речь, имеющую свои законы, в отличие, скажем, от художественной прозы, хотя, казалось бы, разница невелика. Русский алфавит состоит из тридцати трех букв — двадцати согласных и скольких-то гласных, используемых в канонических размерах русского стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Для русского стихосложения важны только согласные буквы, их сочетания и группировки, так называемые «фонетические классы». Возможность взаимной замены звуков человеческой речи должна быть ясна поэту, быть «на языке», «на кончике пера».

Приведем список фонетических классов русских согласных и их условные обозначения, которые понадобятся при разборе дальнейших примеров.

КЛАСС	ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССА
Д-Дь-Т-Ть	Т
В-Вь-Ф-Фь	Ф
М-Мь-Н-Нь	Н
Л-Ль-Р-Рь	Р
З-Зь-С-Сь	С
З-Ж	З
Ш-Щ-Ч	Ч
С-Ш	Ш
Х-Г-К	К
Б-Бь-П-Пь	П
Ж-Ш	Ж
Ц	Ц

Один звук может, вообще говоря, входить в разные классы системы, но в конкретном стихотворении (строфе) он — представитель ровно одного класса. По частоте появления этих классов можно выделить опорные трезвучия стиха (трезвучия классов и их модуляции). Гласные звуки также имеют свою парность, особенно в московском произношении:

«А—О—О—У» «И—Ы» «И—Е» «Е—Э» «Ё—О».

Все это должен знать не только каждый школьник, но всякий берущийся за поэтическое перо должен знать лучше таблицы умножения, ибо, не зная этой особенности звукового построения речи, нельзя понять творчество Пушкина, Лермонтова, Блока, Пастернака.

Конечно, истинные звуковые повторы «неназойливы». Неназойливы, но и необходимы, единственны, совершенны. Такова звуковая ткань «Медного всадника», как и «Полтавы», «Сонета». «Неназойливость» очень велика у Блока.

Не будем разбирать совершенство художественной ткани «Медного всадника»:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит
и т. д.

Звуковые повторы «Медного всадника» — высшее мастерство зрелого Пушкина, но уже в «Сонете» были подчеркнуты те же самые законы. («Сонет» написан в 1830 г., а «Медный всадник» остался в бумагах поэта). Первая строка — *Суровый Дант не презирал сонета* — находка настолько исчерпывающая по своим согласным, что исключает всякую возможность импровизации:

Суровый Дант не презирал сонета;
С—Р—Ф—Т—Н—Т—Н—П—Р—С—Р—С—Н—Т
В нем жар души Петрарка изливал;
Ф—Н—М—Ж—Р—Т—Ж—П—Т—Р—Р—К—С—Р—Ф—Р
Игру его любил творец «Макбета»;
К—Р—К—Р—П—Р—Т—Ф—Р—Ц—Н—К—П—Т
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.
Н—С—К—Р—П—Н—М—С—Р—К—М—Н—С—П—Р—К—Р
И в наши дни пленяет он поэта:
Ф—Н—Ш—Д—Н—П—Л—Н—Т—Н—П—Т
Вордсворт его орудием избрал,
Ф—Р—Т—С—Ф—Р—Т—К—Р—Т—Н—С—П—Р—Р
Когда вдали от суетного света
К—К—Т—Ф—Т—Р—Т—С—Т—Н—К—С—Ф—Т
Природы он рисует идеал.
П—Р—Т—Н—Р—С—Т—Т—Л

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.
У нас его еще не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.

Переход к «смежным тональностям» очень привлекателен для поэта в его звуковом поиске, если даже тут и нет особых удач, то всегда — это новая земля для закрепления в несвоем городе своих собственных заявочных столбов.

Вот на ту же тему примеры из Лермонтова.

Лермонтов стремится укрепить необходимый ему звуковой повтор в первой же строке стихотворения, подчеркнуть важную звуковую характеристику с самого начала (так же часто поступал и Пастернак, вспомним «*После погромной областью почтовый поезд в Ромны»*; и т. д. и «*Он спал, постлав постель на сплетне»* и многое другое).

Вот «Русалка»:

Русалка плыла по реке голубой,
Р—С—Р—К—П—Р—Р—П—Р—К—К—Р—П
Озаряема полной луной...
С—Р—Н—П—Р—Н—Л—Н

Вот конец стихотворения «Ангел», начатого четким звуковым повтором: *По небу полуночи ангел летел:*

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Это Лермонтов-юноша. А вот Лермонтов-взрослый:

Посыпал пеплом я главу (ПСПЛППЛКЛФ)
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы — даром божьей пищи...

Лермонтов мог написать: «*Посыпал грязью я главу*». Или: «*Посыпал прахом я главу*», что сохраняло и размер, и смысл, и тон. Терялась только выразительнейшая тонкость звукового повтора. Я не говорю уже о соответствии пустыни, птицы и пищи. «Пророк» — стихотворение последнего года жизни Лермонтова. Лермонтовский пророк говорил с богом на языке звуковых повторов.

А вот стихотворение «<Из альбома С. Н. Карамзиной>» (здесь удобнее повторы описывать не классами букв, а непосредственно самими буквами):

Любил и я в былые годы,
Л—Б—Л—В—Б—Л—Г—Д
В невинности души моей,
В—Н—В—Н—Н—С—Т—Т/Д/—Ш—М
И бури шумные природы
Б—Р—Ш—М—Н—П—Р—Д
И бури тайные страстей.
Б—Р—Т—Н—С—Т—Р—С—Т
Но красоты их безобразной
Н—К—Р—С—Т—Х/К/Б—З—Б—Р—З—Н
Я скоро таинство постиг,
С—К—Р—Т—Н—С—Т—В—П—С—Т—Г/К/
И мне наскучил их несвязный
М—Н—Н—С—К—Ч—Л—Н—С—В—З—Н
И оглушающий язык.
Г—Л—Ш—Щ—З—К/Г/
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.

И наконец последняя, лирико-сатирическая, типично альбомная строфа:

Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи*,
Смирновой штучку, фарсу Саши
С—М—Р—Н—В—Ш—Т—Ч/Ш/К—Ф—Р—С—С—Ш
И Ишки Мятлева стихи
Ш—К—М—Т—Л—В—С—Т—Х

Все это замечательное стихотворение добыто с помощью звуковых повторов. Звуковой каркас — это и есть та самая художественная ткань, на которой вышиваются самые сложные философские узоры. Самостоятельная область познания мира...

Но вернемся к «Русалке». Вся она насквозь экспериментальна и подчеркнуто антимузыкальна. Слово «*серебристая*», названное в четвертой строке, скрыто в предыдущей («*И старалась она доплеснуть до луны...*») и полностью этой строкой предсказано. Кроме того, вместе с многократными «Л—Н» «Русалка» содержит еще и упражнения на ГЛАСНЫЕ. Так, первая и вторая строки

---

* Наличие повторов в этой междометной строке не требует доказательств. — *Прим. В. Т. Шаламова.*

первой строфы содержат три «о», а вторая — целых четыре «о»: «Озаряема полной луной...»

Позднее этот эксперимент повторил Пастернак: «*О, вольноотпущенница, если вспомнится...*» Но эксперимент с гласными себя не оправдал, равно как и державинские стихи без буквы «р» и многочисленные аналогичные опыта других авторов. Природа русского стиха — в управлении согласными. От того, что ты два раза в строке применил букву «о», ничего в стихе не меняется, применение же повтора согласных «ЛН» или «СТ» делает стихи стихом. Вспомним еще раз «Русалку»:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.
И шумя и крутясь колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

Плыла, колебала, пела, долетал — это и есть стихи! Количество примеров легко умножить:

Отворите мне темницу,
Дайте ж мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.

Я, матерь божия, ныне с молитвою...

Люблю тебя, булатный мой кинжал...

И все, все остальное! Все хрестоматийное лермонтовское имеет надежную фонетическую основу. Поэтому-то Пастернак и посвятил Лермонтову «Сестру мою жизнь», что именно Лермонтов открыл, дал ему ключ к этим бесконечно богатым звуковым кладовым русского стихосложения.

Вот Пастернак, открытый наугад, как в новогоднем гаданьи, глава «Морской мятеж» из «Девятьсот пятого года»:

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагуря,
И как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.

Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!
Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.
Все расходится врозь
И по-своему воет и гибнет
И, свинея от тины,
По сваям по-своему бьет.

Не продолжаю. Если бы Пастернак написал только эти две замечательных строфы — он навсегда остался бы в нашей памяти как учитель самого важного в русском стихосложении — науки звуковых повторов.

И совсем уж неважно, что эти стихи разонравились поэту в старости.

Что сказать о Цветаевой?

Цветаева вся — звуковой повтор. Все поэтические истины добыты Цветаевой с помощью звукового повтора. Гораздо раньше «Ремесла», в «Стихах о Москве» пушкинские заветы были уже найдены и продемонстрированы:

Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.
Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной, отвергнутой тобой.

В дневнике Цветаевой есть запись относительно этого стихотворения: «*Никто ее не отвергал! — А ведь как — обиженно и заносчиво — и убедительно! — звучит!*»

Звучит убедительно потому, что это — убедительный звуковой повтор: «Над городом, отвергнутым Петром» Цветаева могла написать (сохраняя полностью смысл) — «Над городом отброшенным Петром» или «Над городом, отринутым Петром». Не только смысл, но и размер бы сохранился, исчез бы только звуковой повтор, и стихотворение звучало бы неубедительно.

У Есенина таких примеров тьма. Что, как не звуковой повтор:

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.<...>

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой из цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

(«Эта улица мне знакома»)

Насколько забыты нашей поэтической практикой все эти важные проблемы, показывают два недавних примера.

Пример первый. В московском сборнике «День поэзии, 1974 г.» на странице 27 К. Симонов подробнейшим образом излагает творческую историю стихотворения «Жди меня». Главным препятствием для публикации были «*Желтые дожди*» в строках

Жди, пока наводят грусть
Желтые дожди.

Поэт вспоминает, что ему было трудно логически объяснить редактору, почему дожди желтые. На помощь пришел Е. Ярославский — «художник-любитель», который заверил, что дожди бывают всех цветов радуги и желтые тоже могут быть — от глины. После этого стихотворение пошло в набор. Между тем во всем этом рассказе К. Симонов ни разу не обмолвился о том, что желтые дожди — это звуковой повтор: Ж—Л—Т/Д/—Д—Ж—Д/Т/, самым естественным образом входящий в стихотворную строку, образующий ее и связывающий со всем стихотворением.

Второй пример. В «Литературной газете» к 500-летию со дня рождения Микельанджело опубликованы новые переводы А. Вознесенского из Микельанджело. Работа ненужная, ибо Тютчева не улучшишь. В классическом роде работа А. Вознесенского уступает известным образцам. Но в данном случае я имею в виду другое. Говоря о своем подходе к проблемам перевода, А. Вознесенский сослался на опыт Пастернака и не только сослался, а процитировал целое стихотворение Пастернака, где дается формула, под которой А. Вознесенский подписывается обеими руками как под выражением сути своих переводческих воззрений:

Поэзия — не поступайся ширью,
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай.

Искусное перо Пастернака прямо-таки провоцирует сосчитать эти зерна подлинной поэзии, которые искал когда-то крыловский петух, и наглядно вскрыть, что же скрывается за *точностью тайн. Точность тайн* — это звуковой повтор.

Поэзия, не поступайся ширью.
П—З—Н—П—С/З/—Т—П—С—Ш—Р
Храни живую точность: точность тайн
Х—Р—Н—Ж—В—Т—Ч—Н—С—Т—Т—Ч—Н—С—Т—Т—Н
Не занимайся точками в пунктире
Н—З—Н—М—С—Т—Ч—К—М—В—П—Н—К—Т—Р
И зерен в мере хлеба не считай.
З—Р—Н—В—М—Р—Х—Л—Б—Н—С—Ч—Т

Это не более чем шутка искусного пера поэта, который уже не мог обойтись без привычных и послушных перу повторов.

Стихотворная гармония не имеет никакого отношения к звукописи, к звукоподражанию, и примером Пушкина обеднять эту проблему не надо.

Вот Лермонтов:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

«Тамара»

Эти два лезущих в уши звуковых повтора приведены поэтом не затем, чтобы передать рычанье Терека, а для того, чтобы получить определенную звуковую опору. В следующей строфе будут новые, другие повторы.

Это — значительно более важный закон русского стихосложения, чем звукопись. Когда Блок пишет: «*Зашуршали тревожно шелка*» — он делает это не затем, чтобы до наших ушей донести шелест шелкового платья, а затем, чтобы укрепить трезвучия, на которых держится стихотворение. И разве «*Посыпал пеплом я главу*» «Пророка» — звукоподражание и мы должны ощутить шелест пепла, который пророк сыплет себе на голову?

А как поступить с таким повтором, в котором нет ни шелеста дамского платья, ни вьюги, ни «*шипенья пенистых бокалов*», например, со второй строфой разобранного выше лермонтовского «Из альбома С.Н. Карамзиной»?

Этот закон опорных трезвучий и есть главный закон русского стихосложения, который часто называют «му-

зыкальностью», что вовсе явно неправильно, ибо стихи — это не музыка. Стихи — это стихи. Закон звуковых повторов в словарях толкают в отдел «эвфонии», т. е. «благозвучия», хотя никакого благозвучия нет ни в результате, ни в самом поиске.

Однако законы этих поисков есть и отнюдь не являются «чудом». Творческий процесс начинается с рождения в неком заданном ритме — «размере» (ямб, хорей), где слова уже вооружены звуковыми повторами, с помощью которых и пишется стихотворение. Пользование этими звуковыми повторами, этими «трезвучиями» не только необычайно расширяет видимый и невидимый мир поэта, но и ограничивает его, ставя какие-то преграды, рамки русской грамматике, делая необходимый отбор на первой же части работы. Это делается для экономии времени. Звуковые (и смысловые) варианты должны быть быстро пойманы и переведены на бумагу. Иначе они исчезнут бесследно.

Пишется определенный текст.

Стихотворение — это смысловое торможение звукового потока, отливка в смысловые формы звуковой расплавленной лавы.

Эвфония, благозвучие в стихах — это скорее грань благозвучия, тот необходимый грамматический уровень, при котором стихи остаются стихами. Это как бы грань улицы и благовоспитанной человеческой речи — в стихотворной строке.

Испытания и поиск идут именно на грани звукового «шума времени» — по Мандельштаму — или «музыки революции» — по Блоку.

Стихи — это особый мир, где чувство и мысль, форма и содержание рождаются одновременно под напором чего-то третьего и вовсе не названного ни в словаре политики, ни в катехизисе нравственности. Все начала вместе рождаются и вместе растут, обгоняя друг друга, уступая друг другу дорогу, и создают необыкновенно важную для поэта художественную ткань.

Эта художественная ткань — не чудо. В ней есть свои законы, которые строго действуют в мире тридцати трех букв русского алфавита, способных передать не только частушку Арины Родионовны, но и трагедию Мазепы и драму Петра. Возможности, указанные Пушкиным в «Сонете», — безграничны. Следует также обратить внимание, что сонет — это стихи о стихах. Напрасное уклонение от таких «формальных» (даже формальных в двойных ка-

вычках, сугубых кавычках) произведений только обедняет нашу поэзию.

Это и есть стихи о труде, о поэтическом труде. Стихи о стихах — это и есть стихи о труде. Не только потому, что дело поэта — это его стихи — по Пушкину* и Полежаеву.

Именно стихи о стихах дали бы возможность сравнить ряд поэтических концепций, показали бы «кто есть кто». Но, конечно, стихи о стихах не столь важный вопрос, сколь вопрос о стихотворной гармонии. Стихотворная гармония зависит от сочетания согласных в стихотворной строке. Этот звуковой поток и рождает русские стихи.

<Середина 1970-х гг.>

ПРИМЕЧАНИЯ

Мастерство Хэмингуэя как новеллиста. Публикуется по: *Емельянова И. И.* Неизвестные страницы Варлама Шаламова или История одного «поступления» // Тарусские страницы. Revue «GRANI». Avec le soutien de l'Association “One for all Artists”. Paris, 2011. С. 13–35.

Емельянова Ирина Ивановна (р. 1938) — дочь О. В. Ивинской. Шаламов был знаком с Ивинской еще в 1930-е годы и после возвращения с Колымы, в 1956 г., не зная характера ее отношений с Б. Л. Пастернаком, сблизился с нею, перенося свои чувства и на ее дочь. (Подробнее об этом: *Емельянова И.* Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 309–338. См. также: *Есипов В.* Шаламов. Серия ЖЗЛ. М., 2012. С. 217–230). Данное эссе — блестящее по глубине и форме — написано Шаламовым в качестве подарка юной И. Емельяновой для облегчения ее поступления в Литературный институт им. Горького в 1956 г. Для поступления требовалось срочно написать «критический разбор» какого-либо произведения И. И. Емельянова вспоминает: «...И он написал для меня эссе о Хемингуэе как мастере новеллы. Быть может, он и приспосабливался к менталитету вчерашней ученицы, “писал по-школьному”, как можно популярней, упрощал свои мысли, но тем не менее даже здесь содержится набросок того, чего он касался и в своих письмах, и в статьях, о чем постоянно думал как писатель — в чем искусство новеллы, секрет ее построения. Ведь это была

---

* Высказывание А С Пушкина, которое имеет в виду автор («.Слова поэта суть уже его дела») известно нам только в передаче Гоголя — См. Н В Гоголь. О том, что такое слово — Собр. соч Т. 6. М· «Худ. лит.», 1967, с. 216 — Прим. ред сборника «Семиотика и информатика».

его тема — тайна рассказа, его нарративного механизма... Теперь, когда опубликована не только вся его замечательная проза, но и статьи, письма, записные книжки, видно, насколько он был одержим этой идеей — подобрать отмычки, развинтить конструкцию, докопаться до приемов, благодаря которым короткий текст "работает"...». В Литинститут И. И. Емельянова поступила благодаря эссе, написанному для нее Шаламовым.

Следует заметить, что, внимательно следя за творчеством Э. Хэмингуэя, Шаламов со временем стал гораздо более критично и пристрастно относиться к нему, называя его — с позиций собственного тяжкого опыта — «писателем-туристом». См. эссе «О прозе» (наст. изд., т. 5, с. 151).

[1] *Кашкин* И. А. (1899–1963) — переводчик и пропагандист творчества Э. Хэмингуэя в СССР. Шаламов был знаком с его переводами и статьями о Хэмингуэе еще с 1930-х годов.

[2] Цитата из *К. Маркса*, на которую хотел сослаться Шаламов для облегчения участи И. Емельяновой-абитуриентки, неизвестна.

Чайковский-поэт. Впервые: «Москва». 1957. № 9. С. 220–221.

Эта журналистская работа Шаламова связана с посещением писателем в 1956 г. дома-музея П. И. Чайковского в Клину, неподалеку от п. Туркмен, где он тогда жил и работал после Колымы. Дополнительные сведения о поэтическом творчестве великого композитора Шаламов мог почерпнуть в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека), которую постоянно посещал после возвращения в Москву.

Первый номер «Красной нови». Впервые: «Москва». 1958. № 5. С. 217–218.

Шаламов с огромным уважением относился к А.К. Воронскому — видному большевику, соратнику Ленина, писателю и литературному критику, редактору первого советского «толстого» журнала «Красная новь» (об этом свидетельствует очерк Шаламова о Воронском, написанный в начале 1970-х гг. (наст. изд., т. 4, с. 577–587). Особое значение для Шаламова имело участие А.К. Воронского в антисталинской оппозиции, что привело к его расстрелу как «троцкиста» в 1937 г. Весьма показательны слова Шаламова в письме А.З. Добровольскому 30 марта 1956 г.: «Меня тут пробовали сводить с литераторами, но, услышав суждения такого рода, как то, что "Воронский — есенинский критик", а "Литература и революция" написана болтуном, я замолчал вовсе и беседу не продолжал. Людям не делают чести презрительные тирады в адрес людей, убитых за их жизнь и убеждения» (наст. изд., т. 6, с. 139). В 1957 г. А. К. Воронский был реабилитирован, но имя его еще не употреблялось в печати. При редактировании статья задерживалась, сильно сокращалась. Шаламову сделали замечание, что

имя Воронского упомянуто 11 раз Был сокращен даже важный фрагмент, связанный с Лениным:

«А. К. Воронский, вспоминая это первое организационное собрание, рассказывает о примечательном разговоре Ленина с Горьким. Горький принес пачку книг, изданных в Берлине Горьким и Гржебиным, и показал Владимиру Ильичу. Ленин взял в руки сборник древнейших индийских сказок, полистал.

— По-моему, — сказал он, — это преждевременно.

Горький ответил:

— Это очень хорошие сказки.

Владимир Ильич заметил:

— На это тратятся деньги.

Горький:

— Это же очень дешево.

Ленин:

— Да, но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.

Мне показалось тогда, что столкнулись две правды; один как бы говорил: "Не о хлебе едином будет жив человек"; другой отвечал: "А если нет хлеба...". И мне всегда казалось, что вторая правда Владимира Ильича сильнее первой правды» (цит. по машинописи оригинала статьи «Первый номер "Красной нови"» РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 122, л. 3).

При всех трудностях прохождения в печать статья Шаламова стала первым упоминанием об А. К. Воронском в эпоху «оттепели».

[3] *Гобсон* Джон (1858–1940) — английский экономист, автор книги «Империализм» (1902).

Несколько замечаний к воспоминаниям И. Эренбурга о Б. Пастернаке. Впервые: Литературная Россия. 1990. № 6. 9 февраля. Публикация И. П. Сиротинской. Оригинал, машинописная копия — в архиве Шаламова в РГАЛИ (ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 200). Датировка текста (авторская) указывает на то, что он был написан Шаламовым как полемический отклик, предназначенный для журнала «Новый мир», где незадолго перед этим была напечатана глава из книги И. Г. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» с воспоминаниями о Б. Л. Пастернаке. Но статья Шаламова тогда не дошла до читателя — очевидно, из-за цензурных причин, связанных с прямотой суждений писателя о Б. Пастернаке и его романе «Доктор Живаго» (кроме того, редакция «Нового мира» не могла не учитывать, что книга Эренбурга и без того подвергалась критике с разных сторон).

Статья Шаламова, написанная вскоре после смерти Пастернака, хранит неостывшее огромное чувство любви и уважения к поэту, с которым писатель тесно общался и переписывался. Именно личное глубокое понимание поэтической и жизненной судьбы Пастернака дало Шаламову основание ре-

шительно оспаривать некоторые довольно поверхностные суждения автора книги «Люди. Годы. Жизнь», к которому он также относился с большим уважением. (См. переписку Шаламова с Эренбургом в данном томе.)

[4] Имеются в виду слова Пастернака о поэзии, которая «останется превыше всяких Альп прославленной высотой» и которая «валяется в траве под ногами». Подробнее о выступлении поэта на Парижском международном конгрессе писателей в защиту культуры см: *Пастернак Е. Б.* Борис Пастернак. Биография. М.: Цитадель, 1997. С. 501–504.

[5] На этом вечере в клубе 1-го МГУ присутствовал Шаламов. (См. его переписку с Пастернаком в наст. изд., т. 6, с. 15.)

[6] Шаламов неточен. Имеется в виду не первое письмо Пастернака в «Правду» (датировано 31 октября 1958 г.), а второе (5 ноября), в котором говорилось: «Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу. Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например, пять лет назад, когда моего романа еще не существовало».

[7] Приводятся фрагменты письма Пастернака Шаламову от 9 июля 1952 г. (Наст. изд., т. 6, м. 8–9.)

[8] *Коген* Герман (1842–1918) — философ, глава школы неокантианства в Марбургском университете, где в 1912 г. учился Пастернак.

Работа Бунина над переводом «Песни о Гайавате». Впервые: «Вопросы литературы». 1963. № 1. С. 153–158.

Статья свидетельствует о большом и постоянном интересе Шаламова к творчеству И. А. Бунина. Известно, что упоминание на Колыме о Бунине как «великом русском писателе» сыграло роковую роль в судьбе Шаламова — это стало одним из поводов для назначения нового, десятилетнего срока (подробнее: *Есипов В.* Иван Бунин в судьбе и творчестве Варлама Шаламова // Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007). Статья о знаменитом переводе «Песни о Гайавате» — дань Шаламова таланту Бунина — поэта и переводчика. Некоторые общие сведения об этапах и вариантах перевода он мог почерпнуть из примечаний П. Вячеславова к пятитомному изданию произведений Бунина (см: *Бунин И. А.* Соч.: в 5 т. М., 1956. Т. 5. С. 290–295), однако целый ряд деталей статьи показывает, что Шаламов самостоятельно и скрупулезно изучал первоисточники для своего литературоведческого исследования (работая, очевидно, в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина).

Ответ на анкету о С. Есенине. Впервые: Сельская молодежь. 1965. № 9. С. 8. Анкета, в которой наряду с Шаламовым

участвовали поэты Е Винокуров, К. Ваншенкин, П. Вегин, Л. Васильева, была посвящена 70-летию со дня рождения С. Есенина. (См. размышления Шаламова о творчестве Есенина в наст. изд., т. 5, а также очерк «Сергей Есенин и воровской мир», т. 2.)

Пушкинская премия Академии наук. Впервые: сб. «День поэзии — 68». М., 1968. С. 232–235. «Пушкинская премия» упоминается среди заготовок статей для журнала «Москва», где Шаламов был внештатным сотрудником в 1957–1958 гг. Большая фактологическая насыщенность статьи указывает на то, что Шаламов пользовался не только общими сведениями об истории Пушкинской премии (например, в словаре Брокгауза и Ефрона), но и первоисточниками о присуждении премии из ежегодных отчетов в «Сборниках отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук». Данные Шаламова о лауреатах премии подтверждаются современными исследованиями. (См: *Дубин Б., Рейтблат А.* Литературные премии как социальный институт // Критическая масса. 2006. № 2.)

[9] Имеются в виду строки из стихотворения Бунина «Сатурн»: «...Воистину зловещи и жестоки / Твои дела, творец!»

[10] Сразу по выходу статьи «Пушкинская премия Академии наук» Шаламов писал литературоведу В. В. Кожинову:

«Дорогой Вадим Валерьянович.

Голенищев-Кутузов — огромный кусок поэтической русской классики бесспорно, и кроме стыда за свое опрометчивое суждение в «Дне поэзии — 1968»я ничего не испытываю. Я свой ляпсус увидел давно, но до Вашего письма не представлял истинных размеров — и ляпсуса, и поэта». Далее следует подробный разбор достоинств лирики А. А. Голенищева-Кутузова. (наст. изд., т. 6, с. 588–592). Данный факт указывает на то, что статья была написана задолго до публикации.

Звуковой повтор — поиск смысла. Впервые: Семиотика и информатика. Сборник. М., 1976. Вып. 7. С. 12–44. В приложении к статье были опубликованы статьи Ю. А. Шрейдера и С. И. Гиндина, высоко оценивавших вклад В. Т. Шаламова в теорию стихотворного языка (статьи опубликованы на сайте Shalamov.ru). Публикация статьи состоялась по инициативе Ю. А. Шрейдера.

Теоретические положения статьи Шаламова восходят к 1920 годам, к стиховедческим работам участников т. н. «формальной школы» (ОПОЯЗ), в которую входили Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, О. М. Брик, Р. О. Якобсон и другие. Ср: «Если хотите понять, что такое стихи, то надо читать работы ОПОЯЗа. Здесь не узнаешь секрета поэзии, чуда поэзии, возникновения, рождения. Но это — наилучшее, чуть не единственное на русском языке описание условий, в которых возникают стихи» (Из письма Шаламова к Н. Я. Мандельштам (наст. изд., т. 6,

с. 431–432). Можно предполагать, что название статьи Шаламова и ее основные идеи непосредственно связаны с работой О. М. Брика «Звуковые повторы (Анализ звуковой структуры стиха)» (Сборники по теории поэтического языка. II. Пг., 1917. С. 24–62). С О. М. Бриком Шаламов был лично знаком, посещая кружок «Нового ЛЕФа». (См. воспоминания «Двадцатые годы». Т. 4, с. 34–42). Академик Вяч. Вс. Иванов усматривает общность идей Шаламова с идеями репрессированного лингвиста 1920-х гг., члена ОПОЯЗа Е. Д. Поливанова, высказанными в статье «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники» (Републикация: Вопросы языкознания. 1963. № 12. № 1, 9–12.). Полный текст статьи Вяч. Вс. Иванова «Поэзия Шаламова» см. на сайте Shalamov.ru

Для данной публикации в тексте В. Т. Шаламова исправлен ряд ошибок и опечаток. Сверка производилась по фрагментам машинописи с правкой автора (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 143).

ПИСЬМО СТАРОМУ ДРУГУ

Ты просишь меня написать о своем мнении касательно процесса Синявского и Даниэля. «Касательно» — я редко употребляю этот словесный оборот и применил его только для того, чтобы подразнить академика Виноградова, председателя комиссии экспертов на этом удивительном процессе.

Но шутки в сторону! Тема процесса, ход судопроизводства, результат суда — все, о чем ты знаешь из газет сам, не дает права шутить.

Ты удивляешься, что в зарубежных радиопередачах так мягок тон в отношении этого процесса, хотя, разумеется, процесс всколыхнул весь мир гораздо глубже, шире, больнее, ответственнее, чем во время пресловутого дела Пастернака. Это и понятно: нелепый случай с Нобелевским лауреатом не затрагивал, в сущности, принципов советского общества. Тот элемент духовного террора, который был в истории с Пастернаком (чуть было не сказал: в процессе Пастернака), здесь перерос в террор физический. Расправа с писателями была самой что ни на есть реальной, отнюдь не аллегорной, а риторической фигурой. Прошу прощения, что я пользуюсь литературоведческими словами, но это в духе, в тоне процесса.

Процесс Синявского — первый открытый политический процесс при советской власти, когда обвиняемые

от начала до конца — от предварительного следствия до последнего слова подсудимых — не признавали себя виновными и приняли приговор как настоящие люди. Обвиняемым по сорок лет — оптимальный вариант возраста подсудимого на политическом процессе. Первый процесс за четыре с лишним десятилетия. Не мудрено, что к нему приковано внимание всего мира.

Со времени дела правых эсеров — легендарных уже героев революционной России — это первый политический (такой) процесс. Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения...

У нас с тобой в памяти бесконечно омерзительные «раскаяния», «показания», «исповеди» героев процессов тридцатых годов, таинственных процессов, сама организация которых скрыта от нашего общества. А ведь это не гротеск, не научная фантастика. Тайна, которую все знают и которую государство не хочет раскрыть в очередном покаянном заявлении. Ибо покаянные заявления бывают не только у частных лиц, но и у государств. XX и XXII съезды партии были такими покаянными заявлениями, вынужденными, правда, но все же покаянными.

Пресловутых «признаний» в этом процессе нет. Это первый процесс без этой преступной «специфики», которой дышало сталинское время — не только каждый суд, но каждое учреждение, каждая коммунальная квартира.

Случись это двадцать лет назад — Синявского и Даниэля застрелили бы в каком-нибудь подвале МГБ или пустили на следственный «конвейер», когда следователи меняются, а обвиняемый стоит на месте много часов, много суток, пока воля подследственного не будет сломлена, психика подавлена. А то вводят сыворотку, подавляющую волю, по страшному примеру открытых процессов 30-х годов. Или если не готовят к открытым процессам, то убивают прямо в коридоре... И букет следственных статей был бы совсем другой: 58-я статья — измена родине, вредительство, террор, саботаж.

Почему именно этих статей не «шьют» в этом новом процессе? Нет, сдвиг есть, время идет. Но нужно помнить, что Синявский и Даниэль написали первые вещи в 1956 году, сразу после XX съезда партии. Синявский и Даниэль поверили правде, которая была только что сказана. Поверили и стали ее укреплять, ибо с трибуны XX и XXII съездов партии повести Синявского и Даниэля не могут быть осуждены даже с точки зрения «соци-

алистического реализма» (что и понял отлично Арагон[1] и ряд западных коммунистов).

Нужно помнить, что Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен.

Синявский и Даниэль нарушили омерзительную традицию «раскаяния» и «признаний». Как это им удалось сделать? Как, не зная о поддержке Западом их дела, их судьбы, Синявский и Даниэль сумели провести процесс наилучшим образом?

Я напомню тебе начало процесса. После объявления состава суда и всех прочих формальностей, включая огласку фамилий экспертов, которые почему-то нигде не печатали, как будто эксперты сделали что-то позорное, стыдное, дурное, согласившись участвовать в подобном судилище, и просят сохранить их имена в тайне, как хранится тайна фамилий доносчиков и стукачей — юридические прецеденты такого рода бывали безусловно, — защита внесла предложение приобщить к делу специальные заявления литературоведа В. В. Иванова, писателя К. Г. Паустовского и Л. З. Копелева. И Иванов, и Паустовский, и Копелев давали литературный анализ повестей Терца-Синявского и Аржака-Даниэля. Заметим здесь же, что Иванов — лингвист с мировым именем — тот самый человек, который просил суд дать ему возможность участвовать в процессе в качестве защитника. Ведь есть же общественные обвинители — даже два (З. Кедрина и А. Васильев — солиднее фигур в писательском мире не нашлось). По закону защитником может быть любой. Как мы видим на процессах блатарей, хулиганов, воров — там могут действовать общественные защитники.

Суд отказал в просьбе В. В. Иванова.

Суд отказал в приобщении к делу заявлений В. В. Иванова, К. Г. Паустовского и Л. З. Копелева.

Атмосфера сгущалась.

Защита обратилась к суду с просьбой начать судебное разбирательство с допросов Синявского, надеясь, что Синявский сумеет дать тон процессу.

Суд отказал в просьбе защиты.

Процесс начался.

Суд ошибся. В лице Даниэля суд встретил вполне грамотного и уверенного в своей правоте человека.

Даниэль начал с отказа от одного из своих показаний, данных во время предварительного следствия: Да-

ниэль показывал тогда, что передал свой роман Синявскому, а сейчас он уточнил, что он вспомнил — дело было много лет тому назад, в квартире Синявского он передавал, но не в его присутствии.

Виват юстиция! И процесс начался!

Синявский и Даниэль сумели удержать процесс на литературоведческой грани, в лесах гротеска и научной фантастики, не признаваясь и не признавшись в антисоветской деятельности, требуя уважения к свободе творчества, к свободе совести. В этом великая принципиальность этого процесса. Синявский и Даниэль держались смело, твердо и в то же время очень осторожно, говоря каждую фразу очень обдуманно и не позволяя заманить себя в сети, которые раскидывал не столько прокурор, сколько председатель суда.

Ничего не было бы проще — заготовить и произнести политическую речь, что, дескать, с детства ненавидел, выступаю как борец, разоблаченный, обличенный, умираю (вариант: прошу прощения у родной власти!).

Ничего не было бы проще и ничего не было бы вреднее. Такая позиция была бы победой прокурора и суда, вернула бы страну в невыносимое положение, когда автору известной «птички божией» полагался бы концентрационный лагерь, как вреднейшему тунеядцу. И за «птичку божию» начали бы судить, усматривая в ней намек на государственный строй и считаясь с текстом «птички божией» только как с риторической, гражданской поэзией.

Синявский и Даниэль в эту ловушку не попались.

Да и в самом деле, почему антисоветчики Синявский и Даниэль, а не прокурор, который, отвечая на вопрос Синявского, заявил, что не напечатал бы его повестей на родине? Кто тут приносит больше вреда России?

Синявский и Даниэль отрицали свою вину в антисоветской деятельности. Еще бы! Любые произведения такого плана могут принести только пользу.

Подумай, старый товарищ! В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей.

Ибо что такое клевета? И ты, и я, мы знаем оба сталинское время — лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаявшись, до сих пор не

хочет сказать правду хотя бы о деле Кирова. До каких пор! Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались.

Лучше уж суду держаться в рамках чисто литературной дискуссии, как и предложил Синявский. Суду будет спокойнее вести разговор о прямой речи, об авторской речи, о гротеске, о научной фантастике. Просто спокойней, и все!

Лично я не сторонник сатирического жанра, не сторонник сатирического направления в литературе, хотя и признаю все его равноправие, допустимость, возможность. Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском и фантастикой.

Повесть Аржака-Даниэля «Говорит Москва», с его исключительно удачным гоголевским сюжетом «дня открытых убийств», вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не «день открытых убийств», а «двадцать лет открытых убийств».

Нет, лучше держаться в рамках чисто литературной дискуссии. Однако председатель суда Л. Смирнов, самый крупный судебный работник Советского Союза (по одному этому можно судить о той круговой обороне, которую заняли власти к началу процесса), предпочел выбрать второй вариант — осудить за контрреволюционную агитацию и пропаганду и «закатать на всю катушку», сколько позволяет предъявленная статья. Синявский — 7 лет, Даниэль — 5 лет.

Для чего же этот процесс был осчастливлен участием председателя Верховного суда?

Прежде всего — для симуляции демократии. Второе — Смирнов должен был показать пример подхода к такого рода делам в будущем, дать «эталон» с тем, чтобы не было ошибок, которые наделала Савельева, судившая Бродского в Ленинграде. Если в деле Синявского и Даниэля была бы Савельева, она бы задергала подсудимых, не дала бы им слова сказать. Л. Смирнов

был послан, чтобы симулировать демократию — жест такого же плана, что и неожиданный курбет Тарсиса, переплывшего перед самым процессом Ламанш[2].

Расчет на живое свидетельство Тарсиса не оправдался — дескать, он осудит Синявского, а к тому же параноик, бездарен.

Кстати, аргументация с помощью выписки из истории болезни психоневрологического диспансера, касающаяся Тарсиса, Есенина-Вольпина, — неубедительна, если вспомнить Чаадаева.

Тарсиса пришлось лишить гражданства по тому же самому закону 1938 года, который ввел смертную казнь для родственников лиц, к которым применялась статья «измена родине». Закон был принят, когда с военного корабля (кажется, «Советская Украина») в Клайпеде сошел на берег матрос. Реки крови были пролиты после принятия этого закона в 1938 году[3].

Но прости мне это отступление в сторону Тарсиса. Возвращаюсь к Синявскому. Процесс этот, проведенный, как уверяет печать, «с полным соблюдением всех процессуальных норм», на деле представляет грубейшее нарушение этих норм. Если для обоснования жестокости приговора «Правде» (22 февраля) приходится вернуться к ленинским высказываниям начала революции, то это само по себе фальсификация. Меняется весь мир, не меняются только догмы советского права, рассчитанные на кратковременность действия.

Смирнов вел этот процесс не только для Запада в качестве симуляции демократии. Для всех его многочисленных помощников на всей обширной территории Советского Союза процесс был учебным занятием, учебным семинаром, практическим занятием для сдачи экзамена младшим судебным работникам. Сдача экзамена на тему, как симулировать демократию. Но и необходимость симуляции тоже о многом говорит. Вынужденность ее.

Синявский и Даниэль осуждены именно за то, что они писатели, ни за что другое. Нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию.

Не менее классически выглядело обвинение Синявского (настойчиво произнесенное Кедриной и перенесенное с газетной статьи в залу суда) в антисемитизме. Не более, не менее! Но запах этого обвинения столь неприятен, что в судебный протокол Л. Смирнов дал указание его не включать. Мотив хорошо знакомый. В то

время, когда усиленно цитировалась сталинская цитата 30-х годов об антисемитизме как о худшем виде национализма, подручные Сталина убивали Михоэлса. И еще: следствие по этому процессу вызвало не только протест глухой, но и явный — в виде небывалого с 1927 года события — демонстрации у памятника Пушкину 5 декабря 1965 года, в которой участвовали студенты и преподаватели университета.

Словом, суд не дал ответа о виновности Синявского и Даниэля. Признание подсудимых — слишком важный элемент советского правосудия. Без него как-то не вьются победные венки ни для членов суда, ни для прокурора, ни для общественных обвинителей.

Напротив, это Синявский и Даниэль вписали свои имена золотыми буквами в дело борьбы за свободу совести, за свободу творчества, за свободу личности. Вписали на вечные времена.

Кстати, насчет золотых букв. Общественный обвинитель Васильев патетически взывал к памяти 73-х писателей, погибших на войне, на фронте, чьи имена высечены на мраморной доске в ЦДЛ. От имени погибших он обвинял Синявского и Даниэля.

Если бы на этом процессе дали выступить общественному защитнику, тот защитил бы Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения.

Это — Пильняк, Гумилёв, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили — сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу литературы любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля!

По решению XXII съезда партии всем жертвам сталинского произвола обещана посмертная реабилитация и надписи на обелиске. Где этот обелиск? Где мраморная доска в Союзе писателей, где были бы золотыми буквами высечены имена погибших в сталинское время? Этих имен втрое, вчетверо больше, чем на мраморной доске, о которой упомянул общественный обвинитель.

Вывод. Дело Синявского и Даниэля — первый советский открытый процесс, политический, когда обвиняемые по 58-й статье не признавались в своей вине. Синявский и Даниэль держались хорошо, и, по-видимому, та пресловутая фармакология, с помощью которой готовились процес-

сы в 30-х годах, а также знаменитый конвейер и выстойка, занимавшие столь прочное место в юридической практике 30-х годов, здесь не применялись. Синявский и Даниэль не скрывали своего авторства, они только отметали и разбивали обвинения неписательской сути дела.

Ни «сыворотка правды», ни «конвейер» не применялись в этом процессе.

И сразу стало видно, что в Советском Союзе есть люди, которые могут защищать свою правду и принимать несправедливый приговор твердо. Воля и психика этих людей не подавлены.

Здесь судили писателей, а свое писательское звание Синявский и Даниэль защищали с честью.

И еще одну важную подробность вскрывает этот процесс: Синявский и Даниэль никого не стремились «взять по делу», не тянули своих знакомых в водоворот следствия. Отсутствие нечеловеческих средств подавления человеческой психики сделало их волю способной к борьбе, и они победили.

Еще несколько замечаний.

Первоприсутствующий (так эта должность называлась в классической литературе) Л. Смирнов мужественно пробирался через литературоведческие дебри. Ему довелось пополнить свое образование рядом специальных терминов, обогатить свой багаж понятием прямой речи, речи героя, законов гротеска, сатиры. Казалось, Л. Смирнов должен был понять, что литература — дело не простое, что даже литературоведение — дело не простое, и теория романтизма значительно отличается от теории судебных доказательств. Почему же для расчета копки канавы вызывают инженера, а в деле литературы не нужны никакие специальные знания, никакая квалифицированная экспертиза? Почему о романе может судить, и не только судить, но и осудить в самом буквальном физическом смысле любой человек, а для копки канавы этого суждения мало? Почему? Литературные эксперты вместе с академиком Виноградовым понадобились Смирнову только для того, чтобы установить соответствие Синявский-Терц и Даниэль-Аржак. Формально подтвердить то, в чем никто из обвиняемых не запирался. Кстати, что это за безымянность такая? Состав суда известен, фамилии общественных обвинителей известны, только фамилии экспертов скрыты от публики. Что за скромность девичья такая, явно неуместная? Может быть, экспертам стыдно было участвовать в этом судилище и они выговорили себе право

тайны? Тайны вкладов. На всякий случай вот фамилии экспертов: академик Виноградов (председатель), Прохоров, Дымшиц, Костомаров и др.

В деле погромные отзывы: С. Антонова, А. Барто, Б. Сучкова, академика Юдина.

Л. Смирнов упустил одну блестящую возможность — взвалить все на плечи экспертов и сохранить свое доброе имя в глазах Международной ассоциации юристов, которая теперь клянет на все лады своего вице-председателя за судебный произвол. Стоило только суду поставить перед экспертами следующие вопросы:

Может ли жанр гротеска содержать в себе клевету на государство (примеры открытых судебных процессов)?

Может ли жанр научной фантастики содержать в себе клевету на государственный строй (примеры открытых судебных процессов)?

Получив от экспертов ответы на эти вопросы, суд снял бы с себя моральную ответственность, а академику Виноградову с помощниками пришлось бы или раболепно принять на себя все возмущение общественности в случае положительного ответа, или дать отрицательный ответ и подтвердить победу Синявского и Даниэля.

Л. Смирнов счел, что оба ответа хуже. Само обращение к литературной экспертизе будет победой Синявского, и он не поставил этих вопросов перед анонимными экспертами. А может быть, председателю суда и в голову не пришло использовать экспертизу таким образом.

«Правда» с возмущением пишет, что западная пресса сравнивает Синявского и Даниэля с Достоевским и Гоголем. Не западная пресса, а советский литературовед Зоя Кедрина в статье, опубликованной в «Литературной газете» перед процессом, излагая «Любимов» Синявского и «Говорит Москва» Даниэля, рассуждает пространно, что вот жанр общий, но все-таки Синявский и Даниэль, пожалуй, не дотянули до Кафки, Достоевского и Гоголя. Таков откровенный смысл ее статьи. Здесь же с блеском излагается ослепительный сюжет повести «Говорит Москва», и читатель невольно думает, что если до Гоголя Даниэль и не дотянул, то очень и очень немного.

Расцвет жанра фантастики во всем мире особенно привлекает внимание к работам Синявского и Даниэля. Оказывается, и фантастика не годится. Что было бы, если бы Рей Брэдбери жил в Советском Союзе, сколько бы он получил лет — 7? 5? Со ссылкой или без нее?

Всякий писатель хочет печататься. Неужели суд не может понять, что возможность напечататься нужна писателю как воздух.

Сколько умерло тех, кому не дали печататься? Где «Доктор Живаго» Пастернака? Где Платонов? Где Булгаков? У Булгакова опубликована половина, у Платонова — четверть всего написанного. А ведь это лучшие писатели России. Обычно, достаточно было умереть, чтобы кое-что напечатали, но вот Мандельштам лишен и этой судьбы.

Как можно обвинять писателя в том, что он хочет печататься?

И если для этого нужны псевдонимы, пусть будет псевдоним, в этом нет ничего зазорного. Какой же путь к печатанию?

Нет, Даниэль и Синявский не двурушники, а борцы за свободу творчества, за свободу слова. Обвинение их в двурушничестве есть двурушничество самой чистой воды, худший вид двурушничества. Никто не имеет права называть двурушником человека, который сидит в тюрьме.

В этом процессе, при всей его предрешенности, есть одно любопытное обстоятельство: Синявскому и Даниэлю была предъявлена только одна статья Уголовного кодекса, т. е. «Хранение, изготовление, распространение» — то, что раньше называлось «контрреволюционная агитация» или ст. 58, пункт 10. Синявскому и Даниэлю не предъявлено пункта 11 (организация), хотя, казалось бы, что удерживало распустить этот цветок поярче?

Безымянность обращает на себя внимание не только в составе экспертной комиссии. Секретариат Союза писателей СССР подписал свое письмо в «Литературную газету», развязное по тону, оскорбительное по выражениям — без перечисления фамилий секретарей Союза писателей СССР. Что это за камуфляж? Письмо написано недостойным, оскорбительным тоном. Хотелось бы знать, кому персонально сей тон принадлежит. На всякий случай сообщаю состав секретарей Союза писателей СССР: Федин, Тихонов, Симонов, Воронков, Смирнов В., Соболев, Михалков, Сурков.

Редакционная статья «Правды» возвращает нас к худшим временам сталинизма. Весь тон статьи, вся аргументация, оперирующая ленинскими цитатами, затрепанными от частого употребления, именно в сталинские годы — о Каутском, о демократии капиталистической, демократии пролетарской диктатуры, словом, вся эта со-

фистика за сорок лет усвоена нами отлично, и практические примеры достаточно ярки в нашей памяти.

От суда не ждали «либерального подхода», а чтобы суд отошел от кровавых дел, от практики террора.

Цитата из Горького, подкрепляющая рассуждения, как нельзя более к месту. Горький оставил позорный след в истории России 30-х годов своим людоедским лозунгом: «Если враг не сдается — его уничтожают». Море человеческой крови было пролито на советской земле, а Горький освятил массовые убийства.

Советское общество приговором по делу Синявского и Даниэля повергается снова в обстановку террора, преследований.

Советское правительство сделало очень мало для сближения Востока и Запада. Такого рода акции, как процесс Синявского и Даниэля, могут только разрушить эту связь.

Мне кажется, мы больны одной старинной болезнью, о которой писал Пётр Долгоруков свыше ста лет назад:

«Многие из соотечественников наших говорят: “Не нужно рассказывать иностранцу истину о России, следует скрывать от них язвы отечества”. Эти слова, по нашему мнению, совершенно противны и здравой логике, и личному достоинству, и отчизнолюбию, истинно просвещенному. Не говоря уже о глубоком отвращении, внушаемом всякой ложью каждому человеку честному и благородному, надо быть ему наделену необъятной порцией самонадеянности, чтобы вообразить себе возможность всех обмануть. Люди, желающие скрывать и утаивать язвы, похожи на опасных больных, которые предпочли бы страдать и умирать скорее, чем призвать на помощь искусного врача, который бы их исцелил и возвратил бы им обновленные свежие силы. Для России этот врач — гласность!»

ПРИМЕЧАНИЯ

Оригинал отсутствует. Впервые «Письмо старому другу» опубликовано анонимно в самиздатской «Белой книге по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составленной А. И. Гинзбургом в 1966 г. и перепечатанной издательством «Посев» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) в 1967 г. На «процессе четырех» (А. И. Гинзбург, Ю. Т. Галансков, А. З. Добровольский, В. И. Лашкова) в январе 1968 г. текст был признан судом «антисоветским», что категорически отрицал А. И. Гинзбург, отказавшись назвать и

имя автора «Письма старому другу». В. Т. Шаламов как автор впервые был назван А. И. Гинзбургом при публикации письма в газете «Русская мысль» (Париж), 1986, 14 февраля; в СССР как принадлежащее Шаламову напечатано в журнале «Огонек», 1989, № 19 и в кн.: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1989. С. 514–522.

Принадлежность основного текста письма Шаламову по целому ряду признаков — стилистических, содержательных (например, упоминание о процессе над правыми эсерами в 1922 г. — его симпатии к этой партии известны), а главное — по его антисталинистскому пафосу — не может вызывать сомнений. Однако обстоятельства написания письма в изложении А.И. Гинзбурга в его предисловии к публикации в «Русской мысли» в 1986 г. (Шаламов якобы, молча прослушав горячие обсуждения процесса Синявского-Даниэля «в табачном дыму» в квартире профессора-филолога Л.Е. Пинского, «через три дня принес письмо» — подразумевается, готовое), очевидно, не совсем точны. Спонтанность столь острого публицистического выступления со стороны Шаламова малоправдоподобна, т. к. он никогда в 1960-е годы не имел склонности к общественно-публицистическим демаршам и, скорее всего, следовал настойчивому предложению о написании подобного письма в самиздат с выражением точки зрения на процесс Синявского-Даниэля со стороны тех, кто прошел сталинские лагеря. Такое предложение могло исходить либо от Л.Е. Пинского, либо от близкой ему Н.Я. Мандельштам. Как можно полагать, название «Письмо старому другу», имевшее аналоги в русской культурной традиции, было результатом коллективного обсуждения.

Кроме того, письмо, несомненно, редактировалось — об этом свидетельствует то, что в нем с документальной точностью воспроизводятся все подробности процесса Синявского-Даниэля, о которых вряд ли знал Шаламов, не присутствовавший на процессе; сомнительно, что он сам читал выступление Л. Арагона, а также знал подоплеку бегства на Запад В. Тарсиса; не свойственна ему была и апелляция к «гласности» как «главному врачу России» с прямым цитированием сотрудника «Вольной русской печати» XIX века П.В. Долгорукова — эта цитата выражала скорее идеи А.И. Гинзбурга.

Есть основания полагать, что авторство Шаламова (или его причастность к этому письму) были — ввиду несоблюдения оговоренных условий анономности — вскоре раскрыты КГБ, о чем свидетельствует запись писателя в дневнике о возникновении «ада шпионства» вокруг его квартиры после этого события, а также начавшиеся с той поры его презрительные отзывы о «прогрессивном человечестве» — советском диссидентстве, где, по его словам, «стукачей больше, чем дураков». (См. воспоминания И.П. Сиротинской в данном томе.) Совер-

шенно неприемлемой для Шаламова была передача его письма в составе «Белой книги» в издательство «Посев». Не высказывая никогда отказа от идей, выраженных в «Письме старому другу», Шаламов позднее сделал в своем дневнике записи: «Знакомство с Н. Я. (Мандельштам. — *Ред.*) и Пинским было только рабством, шантажом почти классического образца» (наст изд., т. 5. с. 335); «Самиздат, этот призрак, опаснейший среди призраков, отравленное оружие борьбы двух разведок...» (наст. изд. т. 5, с. 329).

[1] Имеется в виду отклик Луи Арагона, французского коммуниста, поэта и прозаика, озаглавленный «По поводу одного процесса» // Юманите. 1966. 16 февраля. Русскоязычный перевод этого текста был включен А. Гинзбургом в «Белую книгу по делу Синявского и Даниэля».

[2] *Тарсис* Валерий Яковлевич (1906–1983) — советский литератор, с начала 60-х публиковал свои произведения на Западе, в 1962 г. был помещен в психиатрическую лечебницу. 7 февраля 1966 года, за три дня до процесса Синявского и Даниэля, получил разрешение на выезд в Англию, затем был лишен советского гражданства. Очевидно, что о В. Я. Тарсисе Шаламов получал сведения из чужих уст.

[3] Закон, о котором пишет В. Шаламов, был принят не в 1938 г., а четырьмя годами раньше. Согласно Постановлению ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «О дополнительном Положении о преступлениях государственных <...> статьями об измене родине», в частности, члены семей военнослужащих, бежавших за границу, карались лишением свободы до 10 лет. Одними из первых, к кому было применено это постановление, стали родственники краснофлотца С. В. Воронкова, оставшегося на берегу во время стоянки линкора «Марат» в польском порту Гдыня. В ноябре 1934 г. Военная коллегия Верховного суда заочно приговорила Воронкова к расстрелу и одновременно постановила арестовать и предать суду его родственников. Об этом случае широко сообщала советская печать.

Комментарий и примечания В. В. Есипова.

Письма

1950—1970

ПЕРЕПИСКА С О. В. ИВИНСКОЙ[1]

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Туркмен, 20 марта 1956 г.

Дорогая Ольга Всеволодовна. Если Вы помните меня и если Вы сохранили интерес к стихам — то прошу Вас мне написать. Я мог бы показать Вам кое-что, заслуживающее, как мне кажется, внимание. В Вас же я всегда видел человека, чувствующего правду поэзии.

Много, более 20 лет, мы не виделись. Я не бросил стихов — и вот хотел бы показать, что пишется сейчас. Но — и без стихов и без рассказов — я хотел бы видеть Вас.

Я не живу в Москве, но бываю там 2 раза в месяц по воскресеньям. Если Вы хотите меня видеть — напишите, и я приеду в один из субботних вечеров или в одно из воскресных утр. Все сейчас приобретает свою подлинную, естественную окраску, и хотелось бы верить, что это уже навсегда.

Если же (по любой причине) Вы сочтете нашу встречу ненужной — не отвечайте вовсе без всяких угрызений совести.

Ув<ажающий> Вас *В. Шаламов.*

Шаламов Варлам Тихонович, ст. Решетниково Окт. ж. д., Калининск. обл., п/о «Туркмен», до востребования

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Туркмен, 30 марта 1956 г.

Дорогая Люся. Бесконечно счастлив был получить Ваше милое сердечное письмо. Я бы давно написал Вам, но не решался, чувствуя, какую скрытую тревогу год-

полтора назад вызывали мои посещения Москвы даже у моих родных и знакомых.

Боязнь доставить огорчение именно тем людям, которым отведено значительное место в моей душе (и Вы — из них), удерживала меня до последнего времени. Справедливо ли было такое суждение или оно было ложно и излишне щепетильно — об этом было трудно судить, не видя Вас двадцать лет. Ну, подробно при личной встрече. С легким и просветленным сердцем прошу прощения за оговорку в конце первого письма — я считал ее морально обязательной.

Письма к нам в «Туркмен» (это торфяные разработки) идут 3–4 дня. Ваше письмо от 26 марта получил я только сегодня. Этот срок следует Вам иметь в виду на будущее.

Я приеду в Москву в субботу 7 апреля и буду в Потаповском[2] в 9 часов вечера. Если, паче чаяния, я задержусь и попаду в Москву позднее, чем намечено сейчас, то буду у Вас в 10 часов утра в воскресенье, 8 апреля.

Привет Вашей дочери.

Взволнован я вовсе необычно, прошу простить за путаное письмо.

Сердечно Вас приветствую.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской[3]

Туркмен, 31 марта 1956 г.

Дорогая Люся.

Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.

Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два)[4].

Желаю Вам счастья, бодрости, удач. Сберегите для меня какую-то часть Вашего времени и на будущее. Мне о многом хотелось Вам рассказать и еще больше — услышать. Я написал это короткое письмо потому, как Вы понимаете, что мне хочется говорить с Вами раньше, чем пройдет эта последняя неделя.

Ваш *В. Шаламов.*

<Без даты>

<ТЕЛЕГРАММА> БУДУ ВЕЧЕРОМ ВОСЬМОГО

ВАРЛАМ

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской[5]

Туркмен, 23 апреля 1956 г.

Дорогая Люся.

Вот я и съездил в субботу в Москву и вернулся, и очень сиротливо мне там показалось в этот раз. Как всегда в таких случаях, замечаешь погоду, и апрель становится только апрелем, не больше.

Все это, конечно, пустяки, на это не надо обращать внимания.

Это — просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье, показывает в поистине необычайном, фантастическом сплетении обстоятельств, которых никакому прославленному фабулисту не выдумать и которые тем не менее ежедневно, повсечасно выдумывает и создает жизнь. Дело ведь вовсе не в том, что «мир мал», и не только в сюжетных талантах жизни.

Дело в том (и это главное), что существует, реально существует некий идеал, вяжущийся с душой, творчеством и жизнью поэта.

Он может проявляться в идеях, вкусах, склонностях, в персонификации любви и ненависти и т. п. И каждый своей, своеобразной дорогой движется к этому идеалу. Он может подойти к нему из обобщенного опыта человеческой жизни — из гордого и опасного мира книг, выбирая (и этот процесс интуитивен) то, что отвечает этому идеалу, с которым он рожден на свет.

Он может подойти и в личном опыте, вся житейская незавидность которого оказывается в этом случае освещенной блеском драгоценных камней, и понимаешь до перехвата дыхания, как все это жизненно нужно, как все единственно. И этот идеал реально существует, воплощается в реально существующей женщине. Это чрезвычайно важно. Эта женщина принадлежит к той редчайшей породе, которая и делает из поэта — поэта, из художника — художника. Она — закваска тех пяти хлебов, которыми кормят пять тысяч человек. Эта живая женщина и есть свидетельство верности пути.

Я, по понятным причинам, отказываюсь от попытки даже частичной характеристики этого реально существующего идеала, хотя и могу это сделать.

Именно это олицетворение, именно это воплощение и есть доказательство правоты. Это лишний раз убеждающая проба подлинности поэтического металла, всей совершенности его при строжайшей требовательности чувств. (Это — о стихах и идеале Б. Л.)[6]

Я по-новому перечел ряд стихов Б. Л. и с новой силой почувствовал то, что он говорил мне когда-то о честности поэтического чувства. За этот фантастический узор, который жизнь вышила на моей судьбе 14 апреля, я бесконечно ей благодарен. Бесконечно. Я рад также и тому, что она подняла на новую высоту человека, жизнь, идеи и творчество которого столько лет мне дороги.

Вот это и есть, вероятно, мой ответ на то, что Б. Л. просил тебя мне передать при нашей с тобой встрече, этот ответ о моем отношении к нему, больше чем уважение, больше чем симпатия. Это — утверждение жизни, формула ее.

29-го я приеду и доскажу недописанное

В.

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Шатура, 12 июня 1956 г.

Люся, хорошая, дорогая моя, — ни черта у меня не выходит — машины нет до сих пор, я вторые сутки торчу в какой-то дурацкой гостинице и, конечно, завтра не уеду и не смогу тебя повидать в среду в Москве.

То, что чуть не заставило меня разреветься на асфальтовой дорожке в Переделкине, становится с каждым часом все неотложней и острей. И Шатура мне не в Шатуру, и Туркмен не в Туркмен.

Для Ирининой[7] библиотеки купил я сегодня однотомник Багрицкого (есть, кажется, все, кроме пресловутых троцкистских стихов «о поэте и романтике»). Привезу в субботу (или в воскресенье). Стихов Мартынова и «Контики» здесь нет. Диалог при покупке Багрицкого в книжном магазине:

Я: Снимите, пожалуйста, с полки вот эту книжку серенькую. Да-да, Багрицкого... Сколько она стоит?

Продавщица: Семь шестьдесят.

Я: Деньги платить вам или в кассу?

Продавщица (*деликатно*): Только, товарищ, это ведь стихи...

Я: Ну, ничего, пусть стихи.

В номере со мной живут два молоденьких студента-электрика (на практике) — оба маленькие, худенькие, оба в очках, оба привязывают к кровати гимнастические пружины, оба жмут в карманах резиновые мячи — копят силу, подражая юности Теодора Рузвельта, кто, как известно, сделал из себя, щупленького, подслеповатого юноши — знаменитого охотника на львов. О Рузвельте я еще с ними побеседую. Четвертая койка была свободна с вечера, но в середине ночи на нее рухнуло какое-то тяжелое тело, зазвенели пружины, и «номерная» девушка, увидев, что я открыл глаза, попросила прочесть ей вслух (она — неграмотная) документы нового соседа: главный инженер котлонадзора по Московской области. Утром он исчез, и я так и не мог рассмотреть эту пьяную рожу при дневном свете.

Люся, милая, думай обо мне побольше. Крепко тебя целую, желаю счастья, здоровья, покоя.

В.

Передай сердечный мой привет, особенно добрый и теплый Ольге Сергеевне[8]. Пусть она поймет меня хорошо и увидит мою глубочайшую привязанность, уважение и доверие, которые прочно утвердились во мне, несмотря на краткое наше знакомство. Евгении Николаевне[9], которая очень, очень, очень мне понравилась, лучшие приветы. Ее любезной запиской я, конечно, не могу воспользоваться — я просто не читал тогда текста, да и не об этом просил. Ну, объясню при личной встрече. К тому же и в четверг, по-видимому, я не смогу быть в Москве.

Нине не забудь передать мои приветы, особым образом для меня важные.

Всем твоим — всегдашние лучшие пожелания. Я приеду в Измалково[10] или в субботу вечером или в воскресенье утром (при любой погоде).

Еще раз — целую.

В.

На поезд я успел попасть — минут за 10 приехал. С заездом в Потаповский.

Самое главное: Если Б. Л. захочет меня видеть, то все перестроить применительно к времени, назначенно-

му им. Если 22-го он видеть меня не сможет, то расширить время моей работы (если Женя не возражает, я хотел бы именно у нее). Пора уже всем этим начать заниматься, «откинув незабудки, здесь помещенные для шутки».

Всем привет.

В.

Видала ли Алигер?[11] Ей можно просто выбрать десятка два из более «нейтральных».

В.

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Туркмен, 3 июля 1956 г.

Дорогая Люся.

Счел я за благо в Измалково больше не ездить...<...>[12]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Часть переписки В. Т. Шаламова с О. В. Ивинской см. в т. 6 наст. издания. Здесь приводятся письма, сохранившиеся в личном архиве О. В. Ивинской и опубликованные в книге ее дочери И. И. Емельяновой «Легенды Потаповского переулка» (М., 1997. С. 311–336), кроме двух писем, практически полностью совпадающих с публикацией в т. 6. В. Т. Шаламов и О. В. Ивинская были близко знакомы еще в 1930-е годы, работая вместе в журнале «За овладение техникой» («ЗОТ»). После возвращения с Колымы, до реабилитации, у Шаламова вспыхнуло новое чувство к О. В. Ивинской. Поначалу он не знал, что ее судьба тесно связана с судьбой Б. Л. Пастернака. Публикуемые письма воссоздают драматический эпизод увлечения и разочарования Шаламова.

[2] В Потаповском переулке в Москве жила с дочерью О. В. Ивинская.

[3] Черновик письма см. наст. изд., т. 6, с. 211.

[4] Шаламов в тот момент полагал, что О. В. Ивинская связана чувствами не с Б. Л. Пастернаком, а с другими, о которых он высказывал догадки. Ср.: «...Выяснилось, что его предположения неверны, а есть третий, единственный вариант, и этот вариант — его любимый поэт» (*Емельянова И.* Легенды Потаповского переулка. С. 318).

[5] Черновик письма см. наст. изд., т. 6, с. 211–215.

[6] Б. Л. — здесь и далее имеется в виду Борис Леонидович Пастернак.

[7] Речь идет об Ирине — дочери О. В. Ивинской. Шаламов проявлял особую заботу о судьбе Ирины, о чем свидетельствует написанное им для нее эссе «Мастерство Хэмингуэя как новеллиста» (наст. том, с. 211–220).

[8] Имеется в виду писательница Ольга Сергеевна Неклюдова. Она была подругой О. В. Ивинской.

[9] *Анучина* Евгения Николаевна — писательница, родственница расстрелянного в 1937 г. поэта Павла Васильева.

[10] Измалково — деревня рядом с писательским поселком Переделкино, где проводили лето многие из знакомых Шаламова.

[11] *Алигер* Маргарита Иосифовна (1915–1992) — советская поэтесса.

[12] Дальнейшее содержание письма в книге И. И. Емельяновой не приведено. В последующие годы Шаламов называл эту историю «одной из больных моих нравственных травм» (см. его письмо Н. Я. Мандельштам в сентябре 1965 г. в наст. изд. т. 6, с. 424–425).

ПЕРЕПИСКА С О. С. НЕКЛЮДОВОЙ[1]

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

Туркмен, 24 июля 1956 г.

Оля, милая, доехал я хорошо и жалею только, что ты так бездарно просидела последние часы пред моим отъездом. Только дома увидел, как я устал — спал полдня и вечер понедельника, ночь и сейчас во вторничное утро безбожно дремлю. Записку эту пишу я напрасно — почтовое ведомство доставит ее, наверное, после моего приезда.

Приеду я в субботу вечером, по всей вероятности.

Целую.

<В. Ш.>

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

2/VIII <1956>

От тебя не было ни одного письма, и я написала тебе два. Мне почему-то кажется, что ты ко мне переменил-

ся. Что тому причиной — не знаю. Мне кажется все случившееся невероятным, и невероятен благополучный конец. Люди встанут между нами, женщины, которые все, не исключая и Люськи[2], обозлены. Они мелочны и сварливы, любопытны и подлы, суетны и завистливы. Они разлучат нас вот теперь же, в этот твой приезд — я в этом почти уверена. Женя[3] со своей стороны очень об этом постарается — она не потеряла надежду на то, что ты ею увлечешься, и все будет делать для того, чтобы посеять меж нами вражду. <...> У меня скверные предчувствия — мы непременно из-за баб поссоримся. Сейчас я не чувствую, что ты около меня, что ты любишь. Да ведь ты и говорил мне, что ты еще не любишь. Сейчас ты от меня так далеко, что я почти не верю, что ты был. И, действительно, был ли ты? Или это все-таки мое воображение.

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

7/VIII <1956>

Дорогой мой!

Очень скучаю и все время мысленно с тобой разговариваю. О всякой мелочи хочется рассказать тебе.

Вспомнила, что как-то весной, незадолго до встречи с тобой, а может быть, и после первого знакомства видела странный сон: будто бы в моей комнате за столом, напротив меня, сидит князь Мышкин («Идиот»). Нас разделяет только стол. Я удивилась и спросила его, как это могло случиться, что мы встретились, ведь мы не современники. Он сказал что-то невнятное о времени, которого уже не существует, и добавил: «Нас роднит трагическое несоответствие с действительностью». Что-то в этом роде, обо мне (т. е. об Аде), ты сказал очень хорошо в письме по поводу «Ветра»[4].

Теперь мне кажется, что сон этот был пророческим. Он меня тогда очень удивил: я «Идиота» давно не перечитывала. И о князе Мышкине не думала, хотя вообще люблю его более всех героев Достоевского и всегда думала, что он мне сродни.

Снова сегодня совершила я необдуманный поступок сгоряча, под влиянием вчерашнего охватившего меня чувства любви ко всем почти, кто меня окружает. Я тебе сегодня только отправила письмо, в котором пишу, что с Женей был хороший разговор и что, кажется, мы оконча-

тельно помирились. Утром я проснулась с радостью, что так случилось, с большим к ней расположением и написала ей об этом со свойственной мне в иные минуты и смешной, должно быть, экзальтацией. <...> Она меня поблагодарила очень сердечными словами, но тон и взгляд были все те же. Как мне было неприятно, тяжело и досадно. Нет, я теперь убедилась, она мне тебя никогда не простит. Собственно, с этого она и начала вчерашний разговор — я бы не подняла его сама, — а потом внезапно он принял другой оборот. Вначале она мне даже сказала, что это лето многое решило, изменило многие судьбы и отношения, что я потеряла не только ее, но и Люську. <....>

Явно хочет она отнять у меня Люську, настроить ее против меня. Она сказала: «Теперь тебе Люська и я не нужны. У тебя есть Варлам». Как глупо!

Надоело мне все это вранье и притворство, все эти шепоты и науськивания за моей спиной и благодушные мины, которые она делает неизвестно зачем: не можешь примириться, так порви всякие отношения. Я бы сделала так.

О. С. Неклюдова — В.Т. Шаламову

13/VIII <1956>

Дорогой Варлам!

Сейчас уже около 3-х часов, а я только кончила возиться с обедом, работать не начинала. В воздухе висит какая-то мгла, и от этого тревожно. Должно быть, будет гроза. Воздух будто расслоился: то теплый и душный, то откуда-то явственно потянет холодом. Тревожат меня и мешают сосредоточиться на своей книге периодические появления моих приятельниц. Вникнуть в их настроение я не могу, но чувствую то враждебную отчужденность, то как будто искреннее расположение. Люська явно встревожена историей с романом Б. Л.[5], боится последствий, но мне не говорит ничего. Я тоже боюсь этих последствий. Тревожит меня и наше с тобой будущее, хотя сейчас меньше, чем прежде. Действительно, в случае если твое переселение в Москву произойдет не так скоро, как нам бы хотелось, я могу на неделе ездить к тебе. Ваш разговор с Женей оставил неприятный осадок (ей я ничего не говорила и держусь, как прежде. Мне не хочется доказывать ей, что ты меня любишь. Пусть думает, что хочет. Доказывать — значит

принимать всерьез ее болтовню, верить, что она продиктована заботой обо мне — а ведь это не так). <...> Мне обидно, что они — кажется, и Люся, под влиянием Жени — не верят твоему чувству, хотя это против всякой логики: ни ты, ни я не ищем благополучия в том смысле, как они это понимают. А если бы ты искал благополучия внешнего, зачем тебе было расходиться с женой? И наконец, как показала жизнь, ты женщинам нравишься и у тебя был выбор. Можно было найти и более «удобную» жену, чем я. И богаче меня, и с квартирой. Кажется, я не та женщина, на которой выгодно жениться — это всякому ясно. Даже Д. С.[6] не того во мне искал. Я стою на шатком мостике, который рухнуть может в любую минуту под напором любого бедствия. Какой все это мерзкий вздор, и, наверное, глупо, что я тебе об этом пишу. Ведь я же верю в твою любовь, и нет у меня оснований сомневаться в ней.

<Приписка по краю письма:> Не сердись на мое письмо, целую тебя, приезжай скорее. *Оля.*

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<адрес на конверте:>
Белорусская ж.д. Ст. Баковка, дер. Измалково, д. 10.
Волковой для Ольги Сергеевны Неклюдовой

Туркмен, 14 августа 1956

Оля, дорогая, — это письмо зряшнее — я увижу тебя раньше, чем ты его получишь, но мне все же приятно думать, что ты его прочтешь, хотя ничего нового из него не узнаешь. Я получил все три письма твоих вчера сразу — и нет меры радости моей, милая моя, хорошая. Все понемногу встает на свои места. Получил я письмо от сестры с приглашением нас в Сухум — так что начинай помаленьку собираться, — отпуск я возьму, по-видимому, в половине сентября — раньше, чем «отгуляет» мой начальник. Подумай, что туда нужно тебе брать из вещей и т. п.

Я привезу с собой (завтра я еду в Воскресенск снова) все свои документы, о которых мы говорили. Посмотришь.

Опять не имел времени заняться перепиской стихов для Севера — хотя и письмо и примерный перечень стихотворений мной подготовлен, — в понедельник целый день спал, а вторник (т. е. сегодня) пришлось вертеться в конторе, заполняя всякие документы для поездок.

Завидую тебе, что ты столь энергично продвигаешь вперед «Ветер». Я больше думаю сейчас о тебе, чем о моих стихах или о начатой прозе. Причем и думаю-то как-то тупо: просто тянет к тебе, хочется, чтобы ты была рядом, хочется тебя слушать, что-то тебе говорить.

Письма эти твои были большим облегчением для моих нынешних туркменских дней.

Ну, до завтрашнего вечера я как-нибудь доживу — с ними, с этими письмами, а вечером я тебя увижу.

Крепко целую,

В.

Привет Серёже[7].

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<адрес на конверте:>
Белорусская ж.д. Ст. Баковка, дер. Измалково, д. 10.
Волковой для Ольги Сергеевны Неклюдовой

Туркмен, 29 августа 1956 г.

Дорогая Оля.

25–26 августа для меня как-то больше, свежее и глубже Измалковских встреч. Может быть потому, что здесь уже не было этих подземных фонтанов, взрывавшихся с завидной регулярностью возле нас. Дай бог, чтобы их не было вовсе и в будущем.

Все с большей и большей неохотой надеваю я на себя свое туркменское ярмо — поистине терпение есть высшее достоинство человека.

1/52 — вот коэффициент нашего теперешнего года[8]. Невысок, невысок.

Начала ли работать над «Ветром»?

При всех наших планах нужно будет танцевать от этой печки — 4-х стодневных «ветряных» часов. В очередной мой приезд потолкуем об этом подробнее.

Написал письмо <жене> и отправил.

Мой начальник еще не приезжал и приедет, говорят, не раньше 1-го числа, что очень огорчительно, конечно, что тем самым оттягивается отпуск.

Ботинок в Калинине не нашел — (нет 45 р<азмера> нигде). Достал только гвозди.

Целую, *В.*

Привет Серёже.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<на почтовой карточке; адрес:> Ялта, ул. Кирова, 9.
Дом творчества писателей им. Чехова «Ялта».
Неклюдовой Ольге Сергеевне.
В. Т. Шаламов. Москва, Хорошевское шоссе, д. 10, к. 2

29-X-<19>58. Москва.

Дорогая, родная моя. Все еще я домой не попал, иду с Курского вокзала пешком.

Сейчас — на почтамте.

Желаю тебе хорошо, хорошо отдохнуть, успокоиться — все будет хорошо, все образуется.

Крепко тебя целую, приветствую в Ялте.

В.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<адрес на конверте:> Ялта, ул. Кирова, 9.
Дом творчества писателей им. Чехова «Ялта».
Неклюдовой Ольге Сергеевне

1 ноября 1958 г. Москва.

Милая моя, крошечка, больнушечка. Как-то ты отдыхаешь там, родная моя? Дни без тебя какие-то чужие. Сережа послезавтра едет на Игореву работу для окончательных переговоров — он решил остановиться на этом варианте и, когда все будет выяснено, тебе подробно напишет. Панова в «Новом мире» закончила свой «Сентиментальный роман» (получен № 11) — пустячок, конечно, но написан с теплотой. Заходил вчера в «Москву», и если буду чувствовать себя лучше, то возьму заметочку и буду делать. Думаю, что в первую очередь следует постараться для Кондратовича?[9] В том же номере «Н<ового> м<ира>» — весьма странный критический опус Дементьева о «Братьях Ершовых»[10]. Дескать, это очернительный роман, оставляющий гнетущее впечатление своим черным фоном и т. д. (?)

Ну чорт с ними обоими, и с критиком, и с автором. Писем твоих еще нет. Как ты устроилась? Как погода? Здесь холодные дожди. Купалась ли? Читаешь ли что? Все описывай подробно и помни: как бы мы ни ссорились, но друг в друга мы вложили оба свое самое хорошее, самое лучшее, что у нас было.

Крепко тебя целую. Желаю покоя, душевного мира.

Твой *В.*

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<записка>

Москва, 25 мая 1962 г.

Дорогая Олечка.

Ничего нового нет, кроме того, что отдали котенка одного и Серёжа уехал на дачу: жду тебя с нетерпением. Крепко целую.

Галина Александровна так и не зашла, принесла только письма.

В.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<надпись на конверте:> О. С. Неклюдовой
<далее другими чернилами:> от В. Т. Шаламова.
<На обороте листа с письмом надпись:> О. С.

Олечка, так хочется тебя видеть, так я соскучился, что не могу даже сосредоточиться, чтобы рассказать тебе хоть самое важное, самое нужное. Солженицын еще не приезжал, Варпаховский[11] также о себе не дает знать.

Послал письма к знакомым о справках для стажа. Рындича[12] нашел и видел.

Ремонт вступает в самую грозную фазу — штукатурку.

Но, слава богу, эта работа (она продлится неделю) уже началась. Я бы приехал (пока Сережа будет здесь), но ведь холод такой страшенный. Уж когда потеплеет.

Крепко тебя целую.

Приписка: Очень скучаю по тебе. Великолепная твоя книжка[13] имеет большой читательский успех — в магазине <№> 100 ее уже нет в продаже. Никто — ни из поэтов, ни из прозаиков не дает о себе знать. Целую. *В.*

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

(без даты)

<На обороте листа надпись:> О. С. Неклюдовой

Оля, милая, пусть Серёжа поправляется скорей, приезжай.

Ремонт еще идет, и я, к сожалению, ошибся в подсчете кусков обоев, и мою комнату пришлось оклеивать казенными.

Идет вроде ничего дело, но до конца еще далеко, не меньше недели-двух (без линолеума).

Поля мне очень понравилась, вот пусть она и приезжает на той неделе — постараемся ее известить, если в понедельник кто-нибудь будет (Серёжа или ты).

Крепко целую.

Никаких новостей нет, простыня моя не нашлась.

В.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<записка>

6 IV <19>64

Дорогая Оля.

Что ты совсем забыла меня. Хоть бы строчку прислала с Серёжей.

Очень огорчен твоей болезнью.

Может быть, лучше переехать в Москву и в тепле вылечиться.

В.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

Москва, 8 апреля 1964 г.

Дорогая Оля.

Варпаховский был, приехал поездом (?! Говорит, что ты ему так посоветовала добираться). Меня он помнит лучше даже, чем я его. Помнит даже место в Магадане, где я сидел во время этапа. Помнит и разговор через два года в комнате старика-художника — словом, все помнит отлично. Взял он ту книжку рассказов, которая лежит в «Советском писателе»[14], обещал через месяц дать ответ.

Я предупредил его, что вряд ли что пойдет так для театра.

Проводил его до метро.

Жизнь моя здесь — как всегда: масштабные удачи перемежаются с небольшими неудачами и т. д.

Получил письмо из Ташкента от Солженицына — отклик на книжку мою и мнение его по поводу «Шелеста листьев». Савашкевич[15] приехал из Вологды (пишет)

и говорит, что 10 экземпляров «Шелеста» продали за 1 час. Но что за заказ — 10 экз. для магазина на моей родине? Магазин № 100 на Тверской торговал «Шелестом» до обеда в день продажи. От Льва [подчеркнуто Шаламовым. — *Сост.*] Озерова получил письмо с комментарием по поводу моего «искусного пера». Вот и все книжные новости.

Я никак не могу попасть в «Советский писатель», хотя Серёжа мне предложил несколько раз посидеть дома с Мухой. Котенок (один из трех) умер — опять завалился ночью к той самой проклятой ледяной стене, и на том же самом месте, что и прошлогодний, — застыл. Я уж положил подушки к стене сегодня. Но о холодной стене думал вчера — и отложил — до завтра, так всегда и бывает.

Плотники наши люди очень хорошие, вежливые такие, тихие, и очень хорошие мастера.

Крепко тебя целую, очень горько, что пришлось тебе там жить и болеть в такую сырую холодную погоду. Почтальоншу я видел, деньги выдать она обещала, насчет антресоли Серёжа ошибся, освобождена именно та, которую мы хотели и о которой шла речь.

Будь здорова.

Крепко целую.

В.

В.Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<записка>

Олечка, крепко тебя целую, желаю здоровья, покоя.

В. 17. VI. <19>64

В.Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

<адрес на конверте:> Одесса, Б. Фонтан Ул. Амундсена, д. 73. Дом творчества писателей. Неклюдовой Ольге Сергеевне.

23 сентября 1965 г.

Дорогая, милая Олечка.

Сколько бы неладов и размолвок между нами не было — ты должна помнить, что ни к кому на свете не относился я с такой сердечностью и теплотой, как к тебе. И не могу ничего забыть. В размолвках наших есть

и твоя, и моя вина. Не сердись на меня, приезжай с миром и будем склеивать нашу жизнь.

С любовью, *В.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Основная часть переписки В. Т. Шаламова с О. С. Неклюдовой напечатана в т. 6 наст. издания. В этом томе приводится ранее не публиковавшаяся переписка из архива О. С. Неклюдовой в РГАЛИ (ф. 2509, ед. хр. 30, 56).

[2] «Люська» — О. В. Ивинская.

3. Имеется в виду Е. Н. Анучина. (См. прим. 6 к переписке с О. В. Ивинской.)

[4] «Ветер срывает вывески» — неопубликованный роман О. С. Неклюдовой. Ада — автобиографическая героиня романа.

[5] Речь идет о романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

[6] *Д. С.* — Дмитрий Сергеевич Ласточкин, знакомый О. В. Ивинской.

[7] Сын О. С. Неклюдовой, ныне известный филолог-фольклорист, профессор Сергей Юрьевич Неклюдов (р. 1941).

[8] Возможно, имеется в виду «коэффициент публикаций» — одна публикация Шаламова (стихи в журнале «Знамя») за 52 недели 1956 года.

[9] *Кондратович* Алексей Иванович (1920–1984) — литературный критик, в то время сотрудник журнала «Москва», с 1958 г. — зам. главного редактора журнала «Новый мир». Автор «Новомирского дневника», впервые изданного в 1991 г. Помог Шаламову устроиться на работу внештатным рецензентом при «Новом мире» (1959–1964).

[10] Роман Вс. Кочетова «Братья Ершовы» и рецензия на него критика А. Г. Дементьева в «Новом мире».

[11] *Варпаховский* Леонид Викторович (1908–1976) — театральный режиссер, в 1940 г. был репрессирован и находился на Колыме, где встречался с Шаламовым. Упоминается в рассказах «Город на горе», «Курсы», «Иван Фёдорович».

[12] Возможно, речь идет об историке А. Ф. Рындиче, сокамернике Шаламова в Бутырской тюрьме в 1937 г. А. Ф. Рындич упоминается в рассказе «Лучшая похвала», эссе «Поэт изнутри».

[13] Очевидно, имеется в виду книга О. С. Неклюдовой «Мой родной дом. Повесть в четырех страницах» (М.: Советский писатель, 1961).

[14] Речь идет о машинописи первого сборника «Колымских рассказов», представленного Шаламовым в 1963 г. в издательство «Советский писатель».

[15] *Совашкевич* Виктор — один из школьных друзей Шаламова.

ПЕРЕПИСКА С Г. А. ВОРОНСКОЙ

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 18 октября 1957 г.

Дорогая Галина Александровна!

Мой адрес изменился — теперь надо писать так: Москва, Хорошовское шоссе, д. 10, кв. 3. Переехали мы три дня назад. Здесь две комнаты соединенные. Прошу писать.

Новостей хороших Вам сообщить не могу — Дементьев[1] (с которым говорил Кондратович[2]) высказался против публикации этих Горьковских писем — с аргументацией, напоминающей худшие времена). Моя заметочка (хотя уже была в верстке)[3] снята с номера (в числе многих других); быть может, удастся ее определить в 12-й номер.

Я не теряю надежды.

Привет Ивану Степановичу, Вале и Тане[4].

Ваш *Шаламов.*

На всякий случай вот и телефон новый мой: Д-3-00-80, доб. 4-35.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 28 мая 1958 г.

Дорогие Галина Александровна и Иван Степанович.

После ряда самых энергичных моих демаршей, статья-заметка о «Красной Нови» была напечатана (в майском № 5 «Москвы») и, если это хоть в какой-то мере — не то, что поможет, а просто подбодрит Галину Александровну — я буду очень рад.

Я длительное время был в больнице (более 3-х месяцев) — но сейчас вышел, получив инвалидность. Работать пока не могу вовсе, что будет дальше — не знаю. Вовсе не знаю, как ваши дела с комиссией по литературному наследству[5].

Напишите.

Заметка («Кр. Новь») здорово сокращена и почищена, но и в этом виде едва нашла себе место в журнале[6].

Сердечный привет.

Шаламов.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 25 декабря 1959 г.

Дорогая Галина Александровна!

От всего сердца поздравляю Вас, Ивана Степановича и всю Вашу семью с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, душевной бодрости и силы. Оля[7] приветствует и поздравляет Вас.

Приходите, звоните...

Ваш *Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 16 июня 1964 г.

Дорогая Галина Александровна. Я болен и не могу Вас навестить. Оля на даче и, когда приезжала, говорила, что ничего о Вас не знает. Почему?

Прошу переговорить с Я. Д. Гродзенским по одному делу[8], важному для меня.

Что слышно? Как здоровье Ивана Степановича? Вали? Тани?

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 22 июня 1964 г.

Дорогая Галина Александровна.

От всего сердца благодарю за письмо. Оно уже запущено в производство — в самый час его получения с дневной почтой. Оля на даче, Серёжа приезжал вчера. Ремонт у нас еще не кончен. Как только будете в наших краях, зайдите хоть на минутку. У меня нет никаких обнадеживающих сведений, но хотелось бы Вам кое-что рассказать из истории с «продолжение следует».

Еще раз благодарю за Вашу сердечную помощь, поддержку.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

2 июля 1964 г.

Дорогая Галина Александровна.

Сегодня я получил из ГУЛАГа справку, о которой просил. Как видите, все сделали быстро и без бюрокра-

тизма и вполне по-человечески. Сердечно Вас благодарю за помощь и поддержку. Обращаться в Магадан уже нет надобности.

Приезжала Оля и была очень огорчена, что Вы ей ничего не написали — она писала Вам дважды.

Как только почувствуете себя лучше и попадете в город надолго — прошу зайти ко мне.

Привет И. С. и Вале.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

18 сентября 1964 г.

Дорогая Галина Александровна.

Сердечно рад выходу фрагментов «Гоголя» в «Новом мире»[9]. Я тоже не знал этой работы Александра Константиновича и получил огромное удовольствие от прочтения того немногого, что напечатано. Ваша исключительная заслуга в публикации этой работы.

О. С. вернулась с дачи и очень хотела бы повидаться с Вами.

Привет И. С., Вале, Тане.

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 25 июня 1967 г.

Дорогая Галина Александровна.

Прошу принять мою новую книжку «Дорога и судьба», в которой есть много колымских стихов.

Я привез бы давно лично, но происшествие в Ленинской библиотеке (у меня снова был Меньера приступ) вывело меня из строя.

Привет Вале, Тане и И. С.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 15 сентября 1972 г.

Я посылаю Вам свою книжку «Московские облака» с той самой надписью, о которой я говорил Вам в новогоднем письме[10].

Я уже потерял надежду, но с помощью Бориса Николаевича Полевого мне удалось буквально выколотить эту книжку из издательства. Я еще не получил ни авторских, ни заказа в Книжной лавке писателей, но в магазинах «Московские облака» продают.

Мне дали новую квартиру — дом на Хорошевском провалился под землю в яму Метростроя и адрес мой теперь таков: Д-56 Васильевская ул., 2, корп. 6, кв. 59 (напротив Дома кино и через дом от Чехословацкого посольства). Тишина такая, в какой я еще не живал в Москве. Квартира коммунальна<я>, три семьи (одна из них — я).

Я всегда считал идеальной экипировкой человека — это пустая торба, мешок, притом не очень больших размеров. Это — арестантская классика. И вот оказывается, эта торба разрастается до размеров двух грузовых машин + такси.

Я еще не разобрался путем на новом месте.

Я очень хотел бы знать, как Ваши дела издательские и прочие.

С сердечным уважением

В. Шаламов.

Пусть Иван Степанович, Валя и Таня извинят меня, что не делаю общей надписи на книжке. Так задумано в подражание другой надписи[11]. Конечно, мне бы хотелось выпустить свою «За живой и мертвой водой» — разумеется, только в Советском Союзе.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 29 декабря 1972 г.

Дорогая Галина Александровна.

Поздравляю Вас и всю Вашу семью с Новым годом, желаю добра, счастья.

Во все справочники [нрзб] включена последняя беседа Ленина — с А. К. Воронским и Крестинским[12]. Это — последние визитеры в жизни Ленина 16 декабря 1923 года, за месяц до смерти.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 2 декабря 1977 г.

Галина Александровна.

Сейчас в Москве во всех аптеках нембутала[13] полно. Чего Вы спите? <...> ждать не надо. Он будет выдаваться только через год.

А вот и стишок специально для Вас:

Вас вычеркивали из списка
На таежное молоко[14].
Разве это не близко
Или — очень уж далеко?
Капля крови тут есть Хрущева
В том, что Вы — здесь, а не там.
А, как правильно — «шва» или «шова»
Я, наверно, не знаю сам.

Привет И. С. и особенно дочерям, о которых и идет речь в этом стишке.

Ваш *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Воронская Г. А. (1914–1991) — дочь литературного критика и писателя, первого редактора журнала «Красная новь» А. К. Воронского. (См. очерк Шаламова о Воронском в т. 5 наст. издания, статью «Первый номер «Красной нови» и комментарий к ней в т. 7.) После ареста отца Г. А. Воронская была отправлена на Колыму, где познакомилась с будущим мужем И. С. Исаевым, арестованным в 1936 г. В. Т. Шаламов сблизился с семьей Воронской-Исаева еще на Колыме и затем, по возвращении в Москву, постоянно встречался и переписывался с ними. Часть переписки опубликована наст. изд. в т. 6, с. 259–266). Воспоминания Г. А. Воронской о Шаламове см. в ее книге «В стране воспоминаний» (М., 2007), воспоминания И. С. Исаева «Первые и последние встречи» — Шаламовский сб. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 8–7. В данном случае публикуется более широкий круг писем к Г. А. Воронской, напечатанных впервые в журнале «Исторический архив». 2000. № 1. С. 130–140 (публикация Т. И. Исаевой).

[1] *Дементьев* Александр Григорьевич (1904–1986) — литературовед, председатель комиссии по литературному наследию А. К. Воронского.

[2] *Кондратович* Алексей Иванович (1920–1984) — в 1957 г. сотрудник журнала «Москва», впоследствии член редколлегии журнала «Новый мир».

[3] Речь идет о статье Шаламова «Первый номер “Красной нови”», написанной для журнала «Москва», подвергшейся значительным редакционным сокращениям.

[4] *Исаева* В.И. (1945–1991), *Исаева* Т.И. (1951) — дочери Г.А. Воронской и И.С. Исаева.

[5] Комиссия по литературному наследию А. К. Воронского.

[6] Статья «Первый номер “Красной нови” была опубликована в журнале «Москва» (1958. № 5 С. 217–218; см. также комментарий к ней в наст. томе, с. 223–226).

[7] *Неклюдова* О. С. (1909–1989) — жена В.Т. Шаламова.

[8] Речь идет об оформлении пенсии для В.Т. Шаламова. Г. А Воронская, наряду с врачами Ф. Е. Лоскутовым, А. М Пантюховым и бывшим начальником Аркагалинской шахты Н Ф. Цапковым дала свидетельские показания о его подземной работе на Колыме. Фраза «продолжение следует» в очередном письме свидетельствует о борьбе за пенсию, в которой активное участие принимал друг Шаламова Я. Д. Гродзенский.

[9] Имеется в виду публикация отрывков из книги А. К. Воронского «Гоголь».

[10] Надпись на книге: «Колымчанке Галине — дочери Валентина. Москва, сентябрь 1972 г. В. Шаламов». В книге А. К. Воронского «За живой и мертвой водой» есть посвящение: «Галине, дочери Валентина». Книга посвящена Г. А. Воронской. («Валентин» — дореволюционная подпольная кличка Воронского)

[11] См. прим. 10.

[12] *Крестинский* Н. Н. (1883–1938) — политический деятель. Член Политбюро, Оргбюро ЦК и секретарь ЦК РКП(б) в 1917–1921 гг. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. В 1923 г. — полпред РСФСР в Германии. Наряду с А. К. Воронским встречался с В. И. Лениным 16 декабря 1923 г., незадолго до его смерти

[13] Нембутал — снотворное-барбитурат, без которого не могли обходиться Шаламов и Воронская.

[14] На Колыме кормящим матерям обычно выписывали молоко, которого лишалась Г. А. Воронская как дочь «врага народа».

ПЕРЕПИСКА С И. Г. ЭРЕНБУРГОМ

В.Т. Шаламов — И. Г. Эренбургу

Илье Григорьевичу Эренбургу. Спасибо Вам за Ваши теплые слова о Мандельштаме. 14 мая 1961 г. *В. Шаламов*[1].

Москва, 28 апреля 1966 г

Илья Григорьевич!

От всей души благодарю Вас за выступление в библиотеке 9 апреля[2]. Только сегодня мне удалось просмотреть запись Ваших ответов на вопросы (а о самом вечере я и не знал).

Я совершенно согласен с главной мыслью — о необходимости реабилитации совести, о нравственных требованиях, которые предъявляет к человеку подлинное искусство. Ответ — в искусстве, а не в спутниках, не в лунах. Полеты в космос не сделают человека ни хуже, ни лучше, ибо по Вольтеру: «Геометрия оставляет разум таким же, каким она его находит».

Верно и то, что не в Сталине дело. Сталин даже не символ. Дело гораздо, гораздо серьезней, как ни кровавы тени тридцать седьмого года. Вы отвели «неограниченное количество часов» для человека, который может ответить на этот вопрос. Ответ существует, только он ищется десятилетиями, а выговаривается годами.

О письме, адресованном Вам[3]. Эрнст Генри — не из тех людей, которые имели бы право делать Вам замечания, наскоро сколачивая себе «прогрессивный» капитал. Я отказался читать эту рукопись именно по этой причине.

Очень, очень рад, что Вы без обиняков заговорили об отношении к Вашей книге в «Новом мире». Это — журнал конъюнктурный, фальшивый, враждебно относящийся к интеллигенции[4]. Хрущёва они чернят с 18 октября 1964 г., начиная с очерка Троепольского о реках и кончая последними стихами Твардовского о деревне[5].

Рад, что восстановлена глава о Фадееве, зачеркнутая Твардовским. Рад, что воскресло имя Бухарина. Рад, что Вы расширите Тынянова, что Вам обещают 8 и 9 том собрания сочинений[6].

О молодежи. Это очень важно, это страшная вещь: о сорока библейских годах, о погибших поколениях, отравленных этим ядом. Мне скоро шестьдесят лет, и я хотел жить лучше других. Я отвечаю на вопрос о молодежи иначе, чем Вы, но хотел бы жить Вашей верой![7]

М. б., Вы и правы.

Желаю Вам здоровья, сил духовных и физических, необходимых в Вашей огромной работе, за которой я много-много лет слежу с самым теплым чувством.

Ваш *В. Шаламов.*

Дорогому Илье Григорьевичу Эренбургу, поэту и политику, с глубочайшим уважением и симпатией. Москва, сентябрь 1966. *В. Шаламов*[8].

Москва, 28 XII <19>66

Дорогой Илья Григорьевич,

От всей души поздравляю Вас с Новым годом, желаю здоровья, силы, долгих лет.

«ЛГЖ» вышли крайне своевременно. Измените Ваше решение — введите в «ЛГЖ» еще лет тридцать[9] — скажем с 1953 по 1983 год. Это и есть мое новогоднее пожелание.

С любовью и уважением

В. Шаламов.

Москва, 25 июня 1967 г.

Дорогой Илья Григорьевич, посылаю Вам свою новую книгу «Дорога и судьба» на Ваш суд.

Это стихи десяти-двадцатилетней давности, обломки Колымских тетрадей.

Прошу принять «Дорогу и судьбу» — с добрым сердцем.

Ваш *В. Шаламов*[10].

ПРИМЕЧАНИЯ

В.Т. Шаламов познакомился с И. Г. Эренбургом 13 мая 1963 г. на вечере памяти О. Э. Мандельштама в МГУ, где Эренбург председательствовал, а Шаламов читал рассказ «Шерри-бренди». Позднее, 2 ноября 1966 г. (см. записные книжки Шаламова. Наст. изд., т. 5, с. 298), состоялась их личная доверительная встреча на квартире Эренбурга, продолжавшаяся три часа. Ранее Шаламов чрезвычайно внимательно, а подчас пристрастно читал воспоминания писателя «Люди. Годы. Жизнь», печатавшиеся в журнале «Новый мир» (что отражают его замечания о воспоминаниях Эренбурга о Пастернаке, публикуемые в этом томе). Переписка и дарственные надписи свидетельствуют о значительно более ровном и уважительном отношении Шаламова к Эренбургу, о сходстве их взглядов по многим вопросам современности.

Все подлинники документов хранятся в фонде И. Г. Эренбурга в РГАЛИ, ед. хр. 2366. Прим. 2–6 принадлежат

Б. Я. Фрезинскому, опубл. в кн: И. Эренбург. Я слышу все... Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967. М., 2006.

[1] Дарственная надпись на книге стихов Шаламова «Огниво» (1961 г.), посланной Эренбургу. *«Теплые слова о Мандельштаме»* — имеется в виду глава об О. Э. Мандельштаме в книге Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», незадолго перед тем напечатанная в «Новом мире». Впервые надпись воспроизведена Б. Фрезинским в его публикации «Нам надо реабилитировать совесть». Диалог 1966 года. Илья Эренбург — Варлам Шаламов // Советская культура. 1991. 26 января.

[2] Имеется в виду выступление Эренбурга на обсуждении его книги «Люди. Годы. Жизнь» в молодежном клубе интересных встреч (Москва, библиотека им. Фурманова на Беговой ул.) 9 апреля 1966; это было одно из последних публичных выступлений Эренбурга; запись его распространялась в самиздате, опубликована в «Советской культуре» 26 января 1991 г.

[3] Речь идет об открытом письме Эренбургу публициста Эрнста Генри (см. «Дружба народов». 1988. № 3), которое распространялось в самиздате, но адресату послано не было. Генри обвинял Эренбурга в неправильном освещении в его мемуарах роли Сталина; ответить на это письмо печатно писатель не имел возможности в силу условий тогдашней цензуры.

[4] В этом запальчивом суждении сказались, надо думать, не только свойства журнала, где тогда превозносили Солженицына, но и отрицательное отношение редакции «Нового мира» к прозе и стихам самого Шаламова.

[5] Н. С. Хрущёв был свергнут 14 октября 1964 г. В очерке Г. Троепольского «О реках, почвах и прочем» («Новый мир». 1965. № 1) и в стихах А. Твардовского «А ты самих послушай хлеборобов» («Новый мир». 1965. № 9) содержались высказывания, воспринимавшиеся читателями как критика Хрущёва.

[6] Говоря об обещании издательства включить в т. 8 и 9 его Собрания сочинений книгу «Люди. Годы. Жизнь», Эренбург на встрече в молодежном клубе сказал, что надеется там напечатать главу об А. Фадееве и новые страницы о Ю. Тынянове.

[7] Следует пояснить, что главная мысль выступления Эренбурга на встрече в молодежном клубе заключалась в словах: «Человек, в котором есть только знание, но нет сознания (под сознанием я понимаю совесть), это еще не человек, а полуфабрикат» — и это полностью отвечало философии Шаламова. *«Верно и то, что не в Сталине дело»* — имеются в виду слова Эренбурга в связи с письмом Э. Генри: «Меня упрекают, что я называю Сталина умным. А как же можно считать глупым человека, который перехитрил решительно всех своих бесспорно умных товарищей? Это был ум особого рода, в котором главным было коварство, это был аморальный ум. И я об этом

писал.. Ведь исторически дело не в личности Сталина, а в том, о чем говорил Тольятти: “Как мог Сталин прийти к власти? Как он мог держаться у власти столько лет?” [имеются в виду вопросы, заданные руководителем итальянской компартии П. Тольятти в его «Памятных записках», написанных перед смертью и опубликованных в «Правде» 9 сентября 1964 г. — *Сост.*]. Вот этого-то я и не понимаю. Миллионы верили в него безоглядно... Ссылки на бескультурье и отсталость нашего народа меня не убеждают. Ведь аналогичное мы видели в другой стране, где этих причин не было (Эренбург ведет речь о гитлеровской Германии. — *В. Е.*). Я жажду получить ответ на этот главный вопрос, главный для предотвращения этого ужаса в будущем. И я приглашаю всякого, кто может ответить на этот вопрос, позвонить и прийти ко мне, но так что говорить буду не я, а пришедший. Я же буду слушать неограниченное количество часов...» (Цит. по: «Нам надо реабилитировать совесть»// Советская культура. 1991. 26 января.)

[8] Дарственная надпись на книге стихов «Шелест листьев» (1964).

[9] В 1967 г. Эренбург приступил к написанию 7-й книги «Люди. Годы. Жизнь» (сокращенно — «ЛГЖ»), действие которой начинается в 1953 г., и успел довести повествование до 1959 г. Прим. Б. Фрезинского.

[10] Дарственная надпись на книге стихов «Дорога и судьба» (1967).

ПЕРЕПИСКА С К. И. ЧУКОВСКИМ

В. Т. Шаламов — К. И. Чуковскому

Москва, 8 января 1965 г.

Многоуважаемый Корней Иванович.

В Вашей отличной книжке «Высокое искусство» на странице 280[1] сообщено:

«Трудно было бы назвать сколько-нибудь выдающийся труд, посвященный Шекспиру, которого не прочитал бы Борис Пастернак, принимаясь за перевод. “Отелло” и “Гамлет”. Немецкая шекспириана, равно как и французская, не говоря уже об английской и русской, была им изучена досконально».

Все это правильно, но вот какая есть подробность немаловажная. Пастернак об этой работе (действительно им проделанной) говорил так (в начале 1954 г.):

«Все это оказалось бесполезным (изучение чужих переводов) и только мешало работе. Приступая к пере-

воду “Фауста”, я не повторил этой ошибки. Перед своей новой работой я не прочел ни одного перевода “Фауста” — ни Фета, ни Холодковского... — поступил прямо противоположно тому, как поступал я при работе над Шекспиром». Это замечание Вас должно заинтересовать[2].

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: *Чуковский К. И.* Собр. соч.: в 15 т. М., 2001. Т. 3. С. 366.

[1] Страница указана по изданию книги К. Чуковского «Высокое искусство» 1964 года. Во всех последующих изданиях этой книги фраза, приводимая Шаламовым, отсутствует.

[2] «Принять во внимание» — приписано К. Чуковским.

ПЕРЕПИСКА С Л. Н. КАРЛИКОМ

В.Т. Шаламов — Л. Н. Карлику

24 мая 1965 г.

Дорогой Лев Наумович!

Позвольте отблагодарить Вас за столь неожиданный — и не заслуженный мной — подарок, книжку о Клоде Бернаре. Я очень, очень рад, что Вам понравились мои стихи и мои прозаические опыты (их лишь приближенно можно назвать рассказами). Верно и замечание Ваше о «медицинской деятельности, которая не может не оставить следа...» Хотя писательские наблюдения по своей психологической природе не похожи на ту медицину наблюдения, о которой писал Клод Бернар, тем не менее формула точных знаний входит важным элементом в принципы работы над рассказом. Не та, сознательная организация рассказа в виде монтажа разного рода «документов», вкрапление в текст газетных заголовков и т. п. — а основанная на точном знании, уверенно и ясно произносимая фраза. Я думаю, что усвоенное мной на фельдшерских курсах имело большее значение (в смысле не только литературных находок, но и писательского лица), чем образование, полученное на юридическом факультете. Кроме того, фельдшерские курсы дали мне независимость — непременное условие всякой писательской деятельности.

И еще: по моему глубокому убеждению писатель не должен иметь литературного образования. Литературное образование может только изуродовать мир, испортить почерк, заглушить собственный голос. Нужные литературные знания должны приобретаться «самотеком».

Наконец, третье. У меня много писательских писем, вернее, писем писателей. И всякий раз я читаю похвалы профессионалов как профессиональные похвалы. Всегда думаешь — что стоит за строчками? Не продиктовано ли письмо каким-нибудь желанием, далеким от искусства? Не хвалят ли петуха затем, чтобы он похвалил кукушку? Не слышится ли в письме голос футбольного болельщика? Нынче любой мемуар служит этой недостойной цели. Тут дело не в том, что Толстой ругал Шекспира и хвалил Семёнова, а в неискренней оценке, продиктованной желанием «привлечь», «завербовать» и т. д.

Ни в одном писательском письме я не нашел нелицеприятной критики (кроме писем одного ныне умершего поэта, которому я не успел показать свою прозу).

Вот видите, как глубоки пласты, тронутые Вашим письмом.

Я очень благодарен Я. Д. Гродзенскому (это мой старый товарищ еще доуниверситетских времен, человек, которого я бесконечно уважаю) за то, что он познакомил Вас с моей скромной работой.

С сердечным уважением *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: *Левин М. Л.* Жизнь, воспоминания, творчество. Нижний Новгород, 1998. С. 56.

Карлик Лев Наумович (1898–1975) — известный патофизиолог, профессор 3-го Московского медицинского института. В ходе борьбы с «космополитизмом» в 1950 г. был смещен с должности и направлен в Рязань, где до 1968 г. заведовал кафедрой в местном медицинском институте. Его монография о знаменитом французском враче и ученом Клоде Бернаре, вышедшая в 1964 г., была отмечена золотой медалью Французской академии наук. Л. Н. Карлик был отцом выдающегося советского физика, друга академика А. Д. Сахарова Михаила Львовича Левина (1921–1992).

Как явствует из письма, контакты между Л. Н. Карликом и В. Т. Шаламовым начались благодаря посредничеству старого друга Шаламова Я. Д. Гродзенского, жившего в Рязани и знакомившего своих друзей с посылавшимися ему стихами и

самиздатскими «Колымскими рассказами». Рассказы чрезвычайно взволновали Л Н. Карлика, они были близки ему еще и потому, что его жена Р. С. Левина шесть лет провела в лагерях. В ответ он и прислал Шаламову свою книгу о К. Бернаре.

Письмо Шаламова интересно прежде всего размышлениями о взаимоотношениях литературы и медицины, о «точном знании», необходимом писателю. Важно оно и тем, что с него начались дружеские отношения Шаламова с Л. Н. Карликом. Они вылились в конце концов в важный акт конкретной помощи, оказанной профессором писателю — он выписал ему справку о болезни Меньера, которая стала для Шаламова своего рода защитительной (и даже спасительной) в сложных ситуациях, когда его из-за расстройства вестибулярного аппарата принимали за пьяного. В письме Я. Д. Гродзенскому от 8 декабря 1970 г. (наст. изд., т. 6, с. 353–354) он писал: «Сердечно благодарю за срочную помощь и прошу выразить мою благодарность Льву Наумовичу, хотя у меня с ним разные мнения о путях прогрессивного человечества. Но — разве в этом дело. Медицинская справка — текст профессора Карлика — в высшей степени улучшила мой проект — и уже применялась в объяснениях с водителями троллейбусов — ибо те имеют те же задания, что и милиция и служащие метро. Собственноручная профессорская установка приводит их в состояние глубокого благоговения».

Вероятно, первоначальная справка Л. Н. Карлика была Шаламовым утеряна, потому что сохранившийся в архиве аналогичный документ имеет другую подпись. Здесь рядом с четко читаемыми первыми буквами подписи («Кар..») — что иногда воспринимается как подпись Карлика — стоит круглая печать, на которой столь же четко написано: «Врач Нина Евгеньевна Карновская». Карновская была женой Я. Д Гродзенского.

ПЕРЕПИСКА С Н. В. КИНД

В. Т. Шаламов — Н. В. Кинд

Москва, 23 июля 1965 г.

Дорогая Наталья Владимировна,

Спешу ответить на Ваше милое письмо. Нет, никакого «осадка» от разговора не осталось — это могло бы случиться, если бы я покривил душой в разговоре с Вами, в Вашем доме. Благодарю Вас за Вашу деликатность — главную причину Вашего письма ко мне. Приятельницу Вашу я не могу называть Лелей?[1] Вы должны были в тексте исправить эту ошибку — единственную в столь чутком и тонком письме. Прошу как

можно скорее сообщить мне, как имя и отчество Лели. Мы с ней говорили о судьбах, страданиях и долге русской интеллигенции — это самый главный вопрос нашей жизни. Передавайте приятельнице Вашей самый мой сердечный привет.

Благодарю Вас за приглашение. Непременно им воспользуюсь и буду у Вас бывать. Да, Вы угадали, мне хотелось, чтобы вы прочли мои рассказы — в них есть кое-что новое для литературы. И чувство это новое лучше воспринимать неутомленным глазом, чувством и сердцем, не налаженными на литературный «вид с высоты». Что касается поездки в Верею[2], то мы обязательно-обязательно туда поедем...

Сердечный привет И. Д.[3] и Вашей знакомой. Покажите ей рассказы. Пусть тоже поставит баллы — без всякой игры, по «гамбургскому счету».

С глубоким уважением и симпатией *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Н. В. Кинд

Москва, 22 октября 1965 г.

Дорогая Наталья Владимировна,

Письмо Ваше неотправленное прочел с большим волнением. Жалею, что письмо не было брошено в почтовый ящик, и радуюсь, что все-таки оказалось у меня. Бесконечно Вас благодарю за тот свет и тепло, которые Вы внесли в мою жизнь.

После вчерашнего вечера столько захотелось сказать Вам, столько спросить у Вас. Все сдвинулось необыкновенно быстро. Я очень волнуюсь, когда читаю собственные вещи — до слепоты, что Вы, наверное, давно заметили — с первого вечера, когда я был у Вас.

Мне очень понравилась Марина Казимировна[4]. Не знаю, понравился ли я ей. Увлечение Сэлинджером[5] — это не беда, этот писатель не хуже любого своего живого современника. В литературных пристрастиях М. К. есть внутренняя правда и глубокий подтекст с оправданием и обоснованием религии живых будд (в Тибете, да и не только в Тибете). Не правда ли? Писатель умерший интересует М. К. меньше, как бы уступает живым. Или я ошибаюсь и все это выдумал?

Один только ущерб ощутил я вчера, и ощутил очень быстро. Это то, что в комнате было слишком мало Вас

самой. И это будет всегда, когда Вы будете в роли заботливой хозяйки. Я ведь хотел узнать от Вас — и Вы мне обещали это — подробности самоубийства Вашего знакомого на Севере. Тема северных самоубийств очень интересна, и оба мы знаем, в чем тут суть.

Я даже не успел рассказать Вам о Надежде Яковлевне, об 11 октября, когда вы вернулись и позвонили, и Н. Я. с просветлением лица сказала: «Ну, теперь Наташа вернулась и мне легко». Я хотел бы, чтобы вы нашли время для рассказа о себе самой... Очень жалею, что не поехали мы тогда в Верею. В сущности, самое важное, самое теплое было сказано во время двух кратких бесед на автобусной остановке. Для меня, по крайней мере.

Разумеется, я готов выполнить все Ваши желания, и люди, с которыми я встречаюсь в Вашем доме, мне интересны и нравятся. Но я прошу не забывать и меня — чтобы можно было говорить с Вами о Вас.

Я буду считать радостью для себя читать у Вас все мои новые вещи. Рассказы, что у Вас, возвращать мне не нужно. При первой же возможности я напишу на них кое-что. Напишите, когда Вы захотите меня видеть, и я приду в тот самый день и час. Сердечный привет И. Д.

В. Ш.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кинд Наталья Владимировна (1917–1992) — геолог, первооткрывательница алмазной трубки «Мир» в Якутии, доктор геолого-минералогических наук, близкая подруга Н. Я. Мандельштам. Ее квартира была местом встречи многих выдающихся людей. В гостях у Н. В. Кинд не раз бывал и Шаламов. Здесь были сделаны магнитофонные записи его рассказов. 20 января 1982 г. после похорон Шаламова на квартире Н. В. Кинд проходили поминки.

[1] *Леля* — личность не установлена.

[2] Подмосковный поселок, место дачного отдыха Н. Я. Мандельштам и Н. В. Кинд, где бывал и Шаламов.

[3] *Рожанский* Иван Дмитриевич (1913–1994) — физик, историк науки, муж Н. В. Кинд.

[4] *Баранович* Марина Казимировна (1901–1975) — переводчица.

[5] *Дж. Сэлинджер* (1919–2010) — американский писатель, автор популярного романа «Над пропастью во ржи».

ПЕРЕПИСКА С Н. В. САВОЕВОЙ И Б. Н. ЛЕСНЯКОМ

В. Т. Шаламов — Н. В. Савоевой и Б. Н. Лесняку

Москва, 18 января 1962 г.

Дорогие Нина Владимировна и Борис!

У меня — просьба к вам обоим — помочь мне вспомнить одну смерть. На «Беличьей» в 1943 году умер (в отделении Каламбета) Роман Кривицкий[1], бывший ответственный секретарь «Известий», доходяга, опухший такой. Койка его стояла рядом с моей, но я выписался, а он — оставался, и судьбы его я не знаю. Слышал, что умер тогда же. Не вспомните ли точнее, подробнее все о нем.

О. С. шлет вам обоим привет.

Как дела с переездом в Москву?

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 22 февраля 1962 г.

Дорогой Борис!

<…>[2] В последнем номере альманаха (2-1962) напечатана повесть Козлова о Берзине[3]. Первые главы крайне поверхностны, слабы. Вишера (на Северном Урале) занимает в берзинской жизни важное место — он проводил там правительственный эксперимент особого рода — (отнюдь не секретный), что и было содержанием его работы на Вишере, — а в повести об этом даже не упомянуто. Козлов даже не догадывается о сути вещей.

Там были люди, его сотрудники, не мельче самого Берзина. Но, конечно, это — не Эпштейн и не Алмазов (бухгалтер и плановик!), и не Эпштейна и Алмазова имеют в виду, когда говорят о «вишерцах» на Колыме. Я ведь Берзина знаю, был с ним на Вишере, знаю все его окружение. В Москве живет немало людей тогдашней Вишеры, и можно только удивляться, что Козлов за 10 лет собрал такой удивительно несерьезный и беспечный материал. Не знаю, что будет дальше. Ну, бог с ним.

Нине Владимировне — мой сердечный привет. Это письмо вам обоим: и Нине Владимировне и тебе.

Здоровье мое плохое. Впрочем, я продолжаю верить, что начатое на 22 съезде партии не остановится и поборет все препятствия, которые очень велики.

Вот тебе сюжет для рассказа. «История болезни» — по форме, по бланку, каких были тысячи, десятки тысяч. С лабораторным анализом, следами переломов от побоев, пеллагры. Анамнез морби и анамнез вита[4]. И смерть. И секционный акт, где диагноз не сходится, но подгоняется под какой-нибудь «нейтральный».

Никогда еще, кажется, такого длинного письма я тебе не писал.

О. С. шлет вам обоим привет. Желает счастья, бодрости. Пиши.

В.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 8 января 1964 г.

Дорогой Борис!

Жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик[5] оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное, говорили: «пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть и сосна, и ель, и можжевельник. Словом — жму руку.

Привет Н. В.

Мама твоя звонила перед Новым годом.

Твой *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 26 апреля 1964 г.

Дорогой Борис!

В № 4 «Нового мира» за этот год, только что вышедшем, помещены воспоминания о Колыме одного из колымских доходяг — генерала армии Горбатова («Годы и войны»). Речь идет о 1939 годе, о Мальдяке и о больнице 23-го километра. Обязательно найди и прочти. Это — первая вещь о Колыме, в которой есть дыхание лагеря (и истина), хотя в уменьшенном «масштабе». Я думаю,

что ты вспомнишь и то, что забыл Горбатов — фамилию того фельдшера, который работал на Мальдяке в 1939 году. Прошу ответить мне незамедлительно.

Привет Н. В.

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 4 июня 1964 г.

Дорогой Борис!

Сердечно тебя благодарю за великолепные фотографии, которые ты прислал. Я давно должен был написать это, да все прибаливаю и не нашел сил для письма. Я не думал, что ты так чудесно делаешь эти вещи. О справках. Я написал письмо (уже давно) начальнику аркагалинской шахты (он на пенсии и живет в Москве), но никакого ответа не получил пока. Напишет и Андрей Максимович (он в Москве сейчас).

Нине Владимировне мой привет самый лучший.

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 5 июня 1964 г.

Дорогой Борис. Пишу карандашом потому, что котята изгрызли авторучку, а новую пока не купил. Посылаю тебе текст свидетельства, заверенного в нотариальной конторе б. начальником аркагалинской шахты И. Ф. Цепковым[6]. Это не б. з/к, а договорник. За первые годы (с 11 авг. 1937 г. по 1 апр. 1939 г.) дает свидетельство доктор Лоскутов (я уже написал ему). Время войны (1942–1945) удостоверит, надо надеяться, А. М. Пантюхов, который сейчас в Москве. Достаточен ли текст нотариального свидетельства Цепкова? Сообщи, и я вышлю тебе подлинник (он выдается в одном экземпляре). И Лоскутов, и Пантюхов были в тех же горных управлениях в годы 1937–1939 и 1942–1945, что и я. И Лоскутов, и Пантюхов дают свидетельства по форме, которую я посылаю.

Привет Н. В.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 26 июня 1964 г.

Дорогой Борис!

Почему ты не пишешь? Разве «деловая» сторона — единственная в наших отношениях? Ты не ответил о времени вашего возвращения в Москву, не рассказал о своих издательских делах, магаданских и столичных.

Жду писем. Привет Н. В.

О. С. и Серёжа приветствуют вас обоих (они оба на даче сейчас).

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 2 июля 1964 г.

Дорогой Борис!

Я сердечно тебя благодарю за рецензию[7], где ты выступаешь по всем критическим канонам, заслуживая отличной отметки. Но это — пустяки, я хочу написать (в связи с рецензией твоей) письмо как можно толковей, но чувствую себя очень плохо и не в силах сейчас изложить то, что хочу. Это короткое письмо как бы извинение за задержку ответа.

Фотография с лошадью и университетом — должна что-то озарить? ошеломить? — и вертится уже в голове что-то.

Н. В. привет мой сердечный.

В.

Письмо твое подробное, предваряющее телеграмму, получил, разумеется, и очень благодарен.

В.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 5 июля 1964 г.

Дорогой Борис!

Необходимые мне документы я уже получил в Москве — сердечно тебя благодарю за все хлопоты и беспокойство.

Рецензия твоя вышла чуть не в один день с рецензией В. М. Инбер (ЛГ) о той же самой книжке.

Разумеется, «трудный» и «сложный» разные понятия. Это ясно и магаданскому редактору.

Тон статьи твоей считаю во многом очень удачным, полезным и обещающим — и для тебя, и для меня. Нехорош заголовок.

Нельзя ли несколько (два-три) экземпляра «Магаданской правды» за 24 июня получить?

В общем рецензия принадлежит перу квалифицированного литератора, знающего, на какие именно вопросы должна отвечать такая статья. «Рубежи» произвели отличное впечатление.

А если по-серьезному — я очень доволен и грамотностью статьи, и чувством, и умом.

Стихи — это ведь такая тонкая материя, где пейзаж без человеческой речи — нем, мертв. Суть «Шоссе»[8] — в последней строке — в море, которое затаскивает бурлацкой веревкой к ангелам.

Хорошо, что примеры взяты из обеих книжек («Огниво» и «Шелест»).

Когда вы вернетесь в Москву? Осенью? Или будущей весной? Напиши.

Фотографии я все роздал. Ту, что в шапке, презентовал Солженицыну. А у кошки[9] какие-то двойные глаза? Отчего бы это? Я не предполагал столь высокого качества фотографий.

О. С. и Серёжа на даче. Ремонт, начатый в марте, еще не закончен. Сердечный привет Нине Владимировне.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 3 декабря 1964 г.

Дорогой Борис!

По встретившейся срочной надобности сообщи мне как можно скорее имя и отчество Уманского[10] (Яков Михайлович или Яков Моисеевич?), а также месяц и год его смерти. Буду очень, очень благодарен. О деньгах (долге) тебе думать не надо. Пусть это будет уплата в самую последнюю очередь.

Нине Владимировне сердечный привет.

Твой *В. Шаламов.*

И вот еще что. Нельзя ли купить в Магадане все, подобное «Географии Магаданской области», которую ты послал мне. Книжка эта — документ удивительный, очень мне нужный. Вот сочинения такого рода, а также все и всяческие мемуарные работы, вплоть до книжки Вяткина — тоже[11]. Есть ли там что-нибудь путное? Хотелось бы приобрести. Не затруднит ли тебя просьба? Отвечай об Уманском быстрее.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 15 декабря 1964 г.

Дорогой Борис.

Спасибо тебе за письмо и сведения об Уманском. Как часто бывает в рассказах, я угадал дочерей героя, угадал отношение их к отцу, хотя и не знал об этом ровным счетом ничего — все выдумал. Я написал рассказ «Вейсманист», где — суть — в крепости духа, в надеждах, разбивающихся о жизнь, и т. д. Если бы я получил твое письмо раньше — кое-что, вроде грузинского языка и немытого стакана я бы мог вставить. Но рассказ уже написан. Исправлять его, переписывать — нет сил. Я никогда этого не делаю. Для сути рассказа герой должен умереть 4 марта 1953 года. Но и смерть в 51-м году тоже годится.

Желаю тебе здоровья. Пиши обо всем, что есть интересного в Магадане (или было).

Н. В. сердечный мой привет.

В. Шаламов.

Знал ли Уманский, что изобретен электронный микроскоп и хромосомная теория Моргана и Вейсмана была подтверждена экспериментально? Вот что было бы важно для рассказа. Напиши, пожалуйста.

В.

Конверт заклеен моей собственной рукой, чтоб «не пропадало доброе», как говорили в старину.

В.

В. Т. Шаламов — Н. В. Савоевой и Б. Н. Лесняку

Москва, 26 декабря 1964 г.

Дорогие Нина Владимировна и Борис, поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы позитивные начала

нашей текущей жизни укрепились окончательно и бесповоротно. Желаю здоровья, сил. Желаю оставить Дальний Север и переехать в Москву в 1965 году — весной, конечно.

Борис. Твоя мама звонила недавно и говорила с О. С. Ты не получил ответа на свое письмо об Уманском. Я послал ответ за несколько дней до звонка твоей мамы. Сейчас план того рассказа несколько изменился (рассказ сейчас на научной консультации), и если потребуют переделки — я внесу все изменения, которые можно и должно внести по тем материалам, которые есть в твоем письме. Сердечно благодарю. Нельзя ли мне прислать (заказным письмом?) несколько фотографий[12] писем. Сейчас настал момент, когда придется эти письма отсылать в журналы.

Твой *В. Шаламов.*

О. С. и Серёжа поздравляют вас с Н. г. и шлют вам обоим привет.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 14 января 1965 г.

Дорогой Борис!

Спасибо за книжную посылку. Не скрою, что подбор меня удивил. Мне ведь хотелось: описания географические, исторические работы, документы, дневники, записки, мемуары, исследования, все, что угодно, но не бессовестную болтовню господина Вяткина.

Из уважения к затраченному тобой труду по пересылке почтовой я просмотрел роман. Эту «книгу» написал подлец. Ведь печатались и Вронский, Галченко — неужели все исчезло? Учебник географии был превосходным подарком, и я думал, что в издательстве есть и еще кое-что дельное. Рассказ «Вейсманист» я тебе покажу в Москве.

Разумеется, упоминая Вяткина в предыдущем письме, я думал, что это дневник, документ... Прошу прощения. Отрицательная оценка «романа» (о котором мои корреспонденты писали как о книге, в которой есть все, кроме правды) — нежелание получить из Магадана что-либо. Но построже, построже... Без новостей и рассказов.

Н. В. сердечный мой привет. О. С. и Серёжа шлют вам обоим свои добрые пожелания.

В. Ш.

В.Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 1 марта 1965 г.

Борис, некоторое время назад звонила твоя мама — почему я тебе ничего не пишу... Но я тебе ответил на твое письмо и посылку. Мой скептицизм тебе не следует принимать всерьез — в конце концов — то, что тебе покажется интересным и полезным для меня — то и посылай. У меня вот такая к тебе просьба необычная. Небезызвестная Женя Гинзбург[13] выдает здесь себя не за то, кем она была, и мне хотелось бы получить от тебя разъяснение по этому поводу, справку хотя бы в виде впечатления. Я ее и сам немножко помню и знаю, но очень мало. Привет Нине Владимировне. Жду вас обоих в Москву.

Ваш, твой *В. Шаламов.*

Удивительная вещь. Никто из тех, кому я показывал присланную тобой ветку стланика, — не представляют, не воображают себе это растение. Им легче химеры с собора Парижской богоматери вообразить, чем стланик. Большое спасибо тебе за подарок.

В. Ш.

В.Т. Шаламов — Н. В. Савоевой и Б. Н. Лесняку

Москва, 10 июля 1967 г.

Дорогие Нина Владимировна и Борис!

Прошу принять с добрым сердцем мою новую книжку «Дорога и судьба». Борис, пошли несколько лучших своих фотографий Магадана (бухты, моря, гор), какие ты считаешь лучшими. Все, что у меня было, я давно раздарил. Это надо сделать срочно. Фотография для книжки, как ты видишь, твоя.

С глубокой симпатией *В. Шаламов.*

Еще просьба. Купить в Магадане все экземпляры книжки О. Мандельштама «Разговор о Данте»[14]. Эту работу только что выпустило изд-во «Искусство». Но в

Москве она продавалась час. И еще: если возможно, купи с десяток экземпляров моей книги — пригодится. В Москве ее в продаже нет.

В.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

<1967 г., ок. второй половины июля>

Борис!

Вот тебе подарок от Надежды Яковлевны. Книжка Мандельштама вряд ли дойдет. Здесь она продавалась час. Издание этой книги — первой работы Мандельштама за сорок лет — большое событие в истории русской культуры.

Спасибо тебе за фотографии. Кажется, раньше были более выразительные: море, бухта, город, уходящая вверх дорога. Если ты остаешься на зиму в Магадане и на осень — то купи учебник Карпова по Колымской географии для восьмого класса. И поищи старых газет и журналов 1935, 1936, 37, 38 года, журнал «Колыма» и другие[15]. И еще просьба, выясни год и род смерти Александра Александровича Тамарина[16], б. заведующего Колымской опытной с/х станцией и вообще растениевода известного, награжденного вместе с Берзиным в 1935 году орденом Ленина. В 1937 году летом Александр Александрович был еще жив и работал не то на Дукче, не то в Магадане. Я знал его по Вишере.

Привет Н. В.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

<1967 г., июль>

Дорогой Борис!

Раз ты остаешься в Магадане, не мог ли бы ты собрать любые материалы о колонистах, о Колонбюро[17]. Когда все это началось и кончилось.

В Магадане, наверно, есть бывшие старые колонисты. Колонбюро имело поселок на Оле, в Весёлой и пр.

Не вышли ли в Магадане любые справочные издания вроде сборника к десятилетию, который ты посылал.

И вообще всю Колымскую географо-историческую прозу, включая ведомственные доклады, что ли.

Магадан выпустил когда-то книгу Н. А. Жихарева — «Очерки Северо-Востока РСФСР». Нельзя ли эту книгу приобрести.

Пиши.

Привет Н. В.

Нельзя ли еще экземпляр получить учебника географии для средней школы (Карпова) и все новое, непредусмотренное.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Москва, 17 апреля 1969 г.

Дорогой Борис!

Спасибо за книжку Яновского[18]. Эту книжку написал подлец. Учебник географии Кузьмина выглядит много порядочнее. Автор видит решение колымского вопроса в навечном прикреплении людей к Северу — ясно, что для «комплекса» не имеет значения, чем прикрепляют — длинным рублем или колючей проволокой — до концлагерей тут один шаг.

Как ни безразлична мне современная Кольма, я с жадностью ловлю каждую кроху сведений о любом дне из тех двадцати лет нашей колымской жизни. Тот исторический период (с 1932 по 1956 год) бесконечно важнее всей Колымы исторической и всей Колымы современной для русской истории.

Поистине мы с тобой наблюдали «мир в его минуты роковые». Автор брошюры «Человек и Север» хотел бы отменить мороз и ветер, отменить климат. Увы — автор не в силах отменить географию. Он не в силах отменить и историю, как бы ни хотел замолчать, исказить, отрицать все, что было, оболгать мертвецов и прославить убийц.

Привет Н. В.

С уважением и симпатией *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Н. В. Савоевой

Москва, 7 мая 1972 г.

Дорогая Нина Владимировна!

Сердечное Вам спасибо за рецепты[19]. Помощь оказалась экстренной, хотя и удалена от Москвы за девять (или двенадцать) тысяч километров.

Даже рецепты с датой магаданской удалось использовать — не прошел еще десятидневный срок.

Борису передайте тысячу приветов в больницу, если он уже (или еще) не вышел оттуда. А что с ним? Опасное что-нибудь, Вы не написали.

Шлю вам обоим привет. Пишите.

Ваш *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Среди адресатов Шаламова в 1960-е годы особое место занимал Борис Николаевич Лесняк (1917–2004) — его друг по Колыме, фельдшер-заключенный, ставший вместе со своей женой, врачом Ниной Владимировной Савоевой (1916–2003) одним из спасителей Шаламова, когда он в конце 1943 г. в состоянии «доходяги» попал в больницу Севлага «Беличья». Свою огромную благодарность Лесняку и Савоевой писатель выразил в рассказе «Перчатка».

В предыдущие издания Шаламова, в том числе в первое издание шеститомника, подготовленное И. П. Сиротинской, не вошла основная часть переписки с Б. Н. Лесняком, хранившаяся у адресата. Имевшиеся у него письма Шаламова Б. Н. Лесняк напечатал в своей книге «Я к вам пришел!» (Магадан. Архивы памяти. Вып. 2. 1998). Известно, что в 1971 г. Шаламов порвал отношения со своим старым другом (обстоятельства разрыва описаны им во «Вставной новелле». См. наст. изд., т. 4, с. 619–624). Публикуемые письма отражают разгар дружбы, в которой очевидна роль Б. Н. Лесняка (жившего тогда в Магадане) как постоянного помощника Шаламова в его литературных, и не только литературных делах.

[1] Очевидно, имеется в виду *Кривицкий Роман Юльевич,* 1900 г. р., журналист, осужденный по КРТД и фигурирующий в эшелонном списке заключенных Бутырской тюрьмы, следовавших на восток осенью 1938 г. вместе с О. Э. Мандельштамом. (*Нерлер П.* «Слово и “Дело”» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М., 2010. С. 115). Брат официозного военного очеркиста и писателя, зам. главного редактора журнала «Новый мир» при главном редакторе К. М. Симонове (1948–1958 гг., с перерывом) *Александра Юльевича Кривицкого* (1910–1986). Его имеет в виду Шаламов, говоря в последующем письме: «О Романе Кривицком никого запрашивать не надо — об этом позаботится его брат» (наст. изд., т. 6, с. 357).

[2] Начало письма, хранившееся в архиве Шаламова, опубликовано в наст. изд., т. 6, с. 357–358.

[3] Имеется в виду первая часть неоконченного романа магаданского писателя *Козлова Н. В.* «Хранить вечно», посвященного Э. П. Берзину (альманах «На Севере Дальнем». Магадан, 1962. № 2). *Эпштейн Л. М.* — заместитель Берзина по экономике, расстрелян на Колыме в 1940 г.; *Алмазов З. А.*, другой заместитель, расстрелян в Москве в 1939 г. Шаламов не был знаком с ними на Вишере.

[4] Принятая в медицине форма истории болезни, устанавливающая связь между заболеванием (*morbi* — лат.) и содержанием жизни (*vita*) пациента.

[5] В подарок к Новому 1964 году Б. Н. Лесняк прислал Шаламову авиабандеролью ветки колымского стланика. Это послужило поводом к написанию рассказа «Воскрешение лиственницы» (1966), где образ стланика трансформирован в образ лиственницы.

[6] *Цепков (Цапков)* Н. Ф. — один из свидетелей (наряду с Ф. Е. Лоскутовым, А. М. Пантюховым и Г. А. Воронской), подтвердивших колымский трудовой стаж Шаламова для назначения ему в 1965 г. повышенной пенсии (72 руб. 60 коп.) с учетом подземных работ.

[7] Рецензия на два сборника стихов Шаламова («Огниво» и «Шелест листьев»), написанная Б. Н. Лесняком и опубликованная в «Магаданской правде» 24 июня 1964 г. под заголовком «Север, Север...» вместо предложенного автором названия «Дорога».

[8] Имеется в виду стихотворение «Шоссе» из сборника «Огниво» (1961), посвященное колымской трассе.

[9] Известная фотография Шаламова с кошкой Мухой на руках. Б. Н. Лесняк был автором целого ряда фотографий Шаламова 1960-х годов (например, «в шапке», о которой идет речь выше).

[10] *Уманский* Яков Михайлович (ум. 1951 г.), профессор — герой рассказа «Вейсманист». О соотношении вымысла и реальности в этом рассказе см. далее письмо Б. Н. Лесняку от 15 декабря 1964 г., а также ответ Шаламова на письмо С. М. Уманской (наст. изд., т. 6, с. 516).

[11] *Вяткин* В. С. — автор романа «Человек рождается дважды» (Магадан, 1964, 1989). Несмотря на наивность автора, непрофессионального литератора, бывшего начальника Оротуканских ремонтно-механических мастерских, роман содержит ряд важных бытовых подробностей о жизни лагерной Колымы. Шаламов, называя Вяткина «подлецом» (далее, в письме от 15 декабря 1964 г.), судит о нем с максималистских позиций, обусловленных своим жизненным и литературным опытом. Более смягченная оценка Шаламовым труда Вяткина (ниже) свидетельствует, что по прочтении книги он понял, что этот труд относится не к жанру документа, а к жанру романа.

[12] Речь идет о фотокопиях переписки Шаламова с Б. Л. Пастернаком, которые делал Б. Н. Лесняк.

[13] *Гинзбург* Евгения Семёновна (1904–1977) — автор повести «Крутой маршрут». В своих воспоминаниях Б. Н. Лесняк выражал сомнение в правдоподобности целого ряда эпизодов второй части «Крутого маршрута», связанного с пребыванием Е. С. Гинзбург в больнице Беличья. Он замечал: «Шаламов и я считали Гинзбург партийным фанатиком из элитарного слоя и сторонились ее. Лагерную судьбу Жени мы знали. Она была более чем благополучной на фоне вопиющей трагедии ее союзниц по женскому лагерю». (*Лесняк Б. Н.* Я к вам пришел! Магадан, 1998. С. 256–273).

[14] *Мандельштам О.* Разговор о Данте. Послесл. Л. Е. Пинского; подгот. текста и примеч. А. А. Морозова. М.: Искусство, 1967.

[15] Б. Н. Лесняк выполнил эту просьбу. Экземпляры газеты «Советская Колыма» за 1936–1937 гг. и журнала «Колыма» за 1936 г. сохранились в архиве писателя. Знакомство с материалами этих изданий серьезно повлияло на трактовку личности директора Дальстроя Э. П. Берзина в рассказах Шаламова «У стремени» и «Хан-Гирей» (1967 г.). Подробнее об этом: *Есипов В. В.* Об историзме «Колымских рассказов» — статья и комментарий в кн: Шаламов В. Колымские рассказы. Избранные произведения. СПб.: Изд-во «Вита Нова», 2013. С. 529–533, 556–558.

[16] *Тамарин* А. А., агроном — герой рассказа «Хан Гирей» (1967), упоминается в «Вишерском антиромане».

[17] Колонбюро — организация в структуре треста «Дальстрой», занималась устройством бывших заключенных, избравших свободное поселение (колонизацию).

[18] *Яновский* В. В. — автор книги «Человек и Север» (Магадан, 1969).

[19] Имеются в виду рецепты на нембутал — снотворное, без которого не мог обходиться писатель. Письмо свидетельствует, что, несмотря на разрыв 1971 г., Шаламов сохранял сочувствие к Б. Н. Лесняку.

ПЕРЕПИСКА С А. К. ГЛАДКОВЫМ

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 25 октября 1966 г.

Дорогой Александр Константинович.

Надежда Яковлевна[1] встревожена Вашей болезнью и просит Вас написать ей, когда Вы приедете в Москву. Я тоже прошу подать голос. Спасибо за добрые слова о стихах в «Юности»[2].

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

16 февраля 1967 г.

Дорогой Александр Константинович!

Сердечно благодарю за Ваше любезное письмо и газетную вырезку с интервью Куни[3]. Конечно, не только Куни и Орнальдо[4], но все, все темные и тайные силы были мобилизованы и использованы. И почему нет? Разве есть границы морали личной? Жизнь не знает, что такое самое худшее — всегда есть дно дна. Предела тут нет. Смерть, наверное, какой-то предел, но и смерть есть только часть жизни. У меня просто руки опускаются, когда видишь, что все, наиболее выстраданное, наиболее проверенное, подвергается сомнению из-за того, что люди просто не хотят подумать серьезно о многом, начиная с фармакологии букиниста[5] и кончая блатным миром. Никто не хочет знать, что все гораздо серьезней, страшней.

Жму Вашу руку. Сердечный привет Эмме Анатольевне. Я чуть не месяц проболел (грипп) и только-только начал выходить. Ваш привет Надежде Яковлевне я передал письмом и только вчера — лично. Работа Л. Я. Гинзбург о Мандельштаме должна быть первоклассной. Л. Я., по-моему, — единственный сейчас в России человек, который может писать о стихах[6]. Стихи стоят особо в литературе, в искусстве. О них необычайно трудно писать. Белинский, Чернышевский, Добролюбов никогда в жизни не писали о стихах[7]. Еще раз — привет.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

8 июня 1967 г.

Дорогой Александр Константинович.

Спасибо за Ваше доброе письмо[8]. Книжку[9] пришлю как только придет тираж — в нашей издательской практике эта сторона сильно отстает от «сигнала». Казалось бы, о чем «сигнал»? — о тираже. Сердечный привет Эм. Анат.

Ваш *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 20 янв. 1969 г.

Дорогие Эмилия Анатольевна
и Александр Константинович!

Сейчас я хочу обратить ваше внимание, дорогие Э. А. и А. К., на книжку стихов, которая только что вышла в Ереване (тираж 5 тыс.), Мария Петровых «Дальнее дерево»[10]. Здесь, если отбросить переводы с армянского и ряд проходных и просто слабых стихов, набирается более тридцати первосортных, великолепных стихотворений (на тему стихи — судьба). Книжка могла бы быть событием. Выход «Дальнего дерева» говорит о том, что если и есть поэтические резервы у века — они в нашем поколении. Так долго все было растоптано — распрямляется только теперь. Вот одно из стихотворений:

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата,
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.
Она ко мне внимательна особо
И на немые муки торовата.
А счастье исчезало без возврата...
За что я не пойму такая злоба?
И все исподтишка, все шито-крыто.
И вот сидит на краешке порога
Старуха у разбитого корыта.
— А что, — сказала б ты, — и впрямь старуха.
Ни памяти, ни зрения, ни слуха.
Сидит, бормочет про судьбу, про бога.

Пражанин Герман Хохлов[11] — помните, в «Известиях» печатались в тридцатых годах его многочисленные статьи о советской поэзии — уверял меня в Бутырской тюрьме летом тридцать седьмого года, что цитировать, запоминать, применять для характеристики творчества поэта надо не отдельные строфы или строки или куски, а только целые стихотворения. Все остальное противно воле бога и автора.

Сердечный привет. Пишите.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

18 сент. 1969.

Дорогой Александр Константинович.

Благодарю за книжку о Чернышевском[12]. Привет Э. А.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

С Новым годом, Эмма Анатольевна и Александр Константинович. Желаю самого лучшего.

Ваш *В. Шаламов.*

А. К. — Мне требуется получить совет по одному литературному делу <нрзб>. Мое летнее монашество кончилось[13]. Речь идет о «Прометее». Я хотел бы выступить по вопросам разрыва <связей?> культурных, исторических, литературных на конкретном фельетонном материале[14]. Год был не очень хорошим, все же лучше прежних ближайших.

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 5 января 1971 г.

Дорогой Александр Константинович,

Спасибо за любезные письма. Шлю и я — Эмилии Анатольевне и Вам новогодние приветы. О встрече. Выбирайте сами любой день и час января —и время и место встречи. Я с удовольствием к Вам приеду и всегда рад видеть Э. А. и Вас у себя.

Ваш *В. Шаламов.*

Вы поселились в хорошем месте. Там и телефон, вероятно, есть? Словом, нету известия.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 2 апреля 1971 года.

Дорогой Александр Константинович.

Я сейчас встретил у книжного магазина Льва Абелевича[15], и он мне сказал, что Вы написали мне

письмо (о покупке книжки Рильке для меня и что я — не ответил). Письмо это я получил 16-го марта и тотчас же на него ответил — самое позднее 19-го или 20 марта по адресу Красноармейской ул. Письмо брошено в почтовый ящик — а где — не могу вспомнить. Жаль, что оно затерялось. Восстанавливаю приблизительно его текст: Очень буду рад такому презенту. Меня с Рильке связывает шутливым образом и нечто личное. Я жил в Завидовском районе[16] до возвращения в Москву в 1956 г., и Борис Леонидович, устанавливая мои тогдашние географические координаты, уверял, что я повторяю путь Рильке. Обнаруженное географическое совпадение должно подвигнуть меня на самые высокие дела. Я отвечал, что в моем Колымском багаже — собрались мотивы, которые Рильке и не снились. Рильке, оказывается, жил в Завидовском районе, гостил у Спиридона Дрожжина, крестьянского поэта[17]. Дрожжин — поэт никакой — от сохи, и поэтому его показывали в царское время всем иностранцам. Дрожжин неоднократно был лауреатом <нрзб>[18] премии (была и такая). Стихов Дрожжина нет, а уже то, что босые ноги Рильке бегали по вечерней росе Дрожжинского сенокоса, приводит меня в волнение. Сейчас изба Дрожжина — музей и стоит в поселке Завидово. К сожалению, эта изба, когда в ней бывал Рильке, стояла в другом месте — на дне Московского моря. Вот о том, что Рильке бывал в Завидовском районе, мне как раз и рассказывал Борис Леонидович. Вообще же я к Рильке отношусь с большим пиэтетом. Вот весь текст пропавшей грамоты... Я просто подавлен этим случаем. Не то что писать — жить не хочется с такой почтой. Желаю Вам всяких добрых жизненных удач, желаю успеха. Шлю привет Э. А.

В. Шаламов.

Еду сейчас на почтамт и в гл. телеграф, чтобы оттуда отправить Вам заказное.

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 6 апр. 1971 г.

Дорогой Александр Константинович.

Книжку получил. Спасибо.

Ваш *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 27.IV–71

Спасибо за Вашу любезность. Я уже получил по этому сборнику[19] по новой системе оплаты по 30 рублей за стихотворение — всего 90 рублей (аккордно по 2 рубля строка, а построчно там 42 строки). Я получил бы при тираже 100 000 — рублей двести.

Ваш *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 12 января 1972 г.

Дорогой Александр Константинович.

Ваш адрес на Красноармейской, по которому пишу сейчас, был у меня и раньше, но с упоминанием, что он действует зимой, а так как зима прошла не одна, я не решился им воспользоваться для Новогоднего письма. На улицу Грицевецкую[20] в адресной книжке я уже не написал, уповая, что Загорянка[21] скорее перешлет, что и оказалось. Я очень, очень рад выходу книжки Мандельштама[22]. Это, конечно, победа в арьергардных боях, но все же победа. Дымшиц — не самый худший автор предисловия к такому тонкому делу, как стихи, да еще стихи Мандельштама. Самым худшим автором был бы покойный господин Твардовский — стоит только вспомнить некролог Ахматовой, который этот сталинский лауреат написал[23]. У Надежды Яковлевны я не был более четырех лет — оттого и все ее публикации прошли мимо моих ушей и глаз. И о сборнике О. Э. я узнал из Вашего письма. Если будете заказывать через лавку — нельзя ли экземпляр для меня этой книжки. Адрес Н. Я. такой: М-447, Б. Черемушкинская, 50, корп. 1, кв 4. Телефон 126-67-42. Я рад повидаться с Вами и Э. А. Телефон мой 255-77-49. Но лучше письмом известить, из-за моего слуха потерянного, назначив на любой час любой субботы и воскресенья по Вашему выбору — или у Вас, или у меня. Жму руку и шлю привет Э. А.

Ваш *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 28 апреля 1972 г.

Дорогой Александр Константинович.

Вся Москва говорит о «Молодости театра»[24] — и я не могу пропустить такой спектакль. Попытки приобрести билет не дали результата. Обращаюсь к Вам за помощью, зная Ваше всегдашнее расположение ко мне. День мне безразличен. Нас еще не сломали (дом не снесли строительством метро), но день моей разлуки с Хорошевским шоссе близится. Отвечайте на старый мой адрес: Москва — А-284, 125284 Хорошевское шоссе, 10 кв 3. Мой поклон Эмилии Анатольевне.

Ваш *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 27 декабря 1973 г.

Дорогие Эмилия Анатольевна
и Александр Константинович.

Шлю вам лучшие Новогодние приветы. Желаю самого доброго. С сердечным уважением

В. Шаламов.

В.Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Москва, 3 января 1974 г.

Дорогой Александр Константинович[25].

Мой адрес Вы прочли вполне правильно: Москва Д-56, Васильевская, 2, корп. 6, кв. 59 (телефон 2-54-19-25). Небрежность почерка — не из-за небрежности общения: дело в том, что у меня дрожат руки и не дают возможности выводить буковки русского алфавита с достаточной художественной убедительностью и документальной достоверностью. Пальцы мои не дают мне возможности вдеть нитку в иголье ухо и таким образом кратчайшим путем попасть в царство небесное. Не дают мне мои пальцы и печатать на машинке. Вот по этой-то причине я и допустил недопустимое. О встрече. Я готов и хочу увидеться с Вами в любой удобный Вам день и час, лучше всего у Вас. Но можно и у меня. Соседям, если меня не

будет дома, передайте, чтоб я позвонил Вам. А можно и письмом, как раньше. Жму руку и еще раз прошу прощения за неразборчивый почерк.

Ваш *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Гладков Александр Константинович (1912–1976) — драматург, автор пьесы «Давным-давно», 1940 г. (Сталинская премия 1943 г.) (по этой пьесе Э. А. Рязанов в 1962 г. снял фильм «Гусарская баллада»). В 1946–1954 гг. А. К. Гладков находился в лагерях. Его жена Попова Эмилия Анатольевна — актриса. Три письма Шаламова А. К. Гладкову опубликованы в т. 6 наст. издания. В данном случае публикуются письма, сохранившиеся в личном фонде А. К. Гладкова в РГАЛИ (ф. 2590, оп. 1, ед. хр. 378, л. 1–21).

[1] Н. Я. Мандельштам.

[2] Речь идет о подборке стихов Шаламова в журнале «Юность». 1965. № 10.

[3] Имеется в виду Михаил Куни (1897–1972) — эстрадный артист, выступавший с 1930-х годов в жанрах «массовый гипноз публики», «психологические опыты», «чтение мыслей» и т. д., напоминая открытого прессой в 1960-е годы «экстрасенса» Вольфа Мессинга. В контексте развиваемой далее Шаламовым темы о «темных и тайных силах», которые были «мобилизованы и использованы» (речь идет о политических процессах 1936–1937 гг., где подсудимые, видные большевики, признавались в возводимых на них явно фантастических обвинениях), это указывает на глубокую увлеченность писателя слухами и предположениями об использовании в системе НКВД психотехники и других средств для подавления воли подсудимых (Шаламов допускает, что и М. Куни с его способностями мог быть привлечен к такого рода задачам). Современные данные не подтверждают подобных фактов. См., напр., *Китаев Н. И.* «Криминалистический экстрасенс» Вольф Мессинг (Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=119344&p=1), в этом интернет-источнике упоминается и М. Куни.

[4] Орнальдо — псевдоним артиста Н. А. Смирнова, выступавшего в 20–30-е годы с сеансами массового гипноза. Упоминается в рассказе Шаламова «Букинист» (1956 г.).

[5] Имеется в виду рассказ «Букинист», где устами героя, бывшего чекиста (его прототипом являлся знакомый Шаламова В. А. Кундуш) утверждается версия о подавлении воли участников процессов тридцатых годов химическими средствами, а также методами гипноза. Шаламов был склонен разделять эту версию и своим рассказом взывал к ее расследованию.

[6] Шаламов, несомненно, читал книгу Л. Я. Гинзбург «О лирике» (Л., 1964) Ее большая работа «Поэтика Осипа Мандельштама» была опубликована в сборнике «Известия АН СССР». М , 1972. Т. XXXI. Вып. 4.

[7] Шаламов с предубеждением относился к представителям т н «реальной» литературной критики XIX века, которые, по его мнению, недооценивали значения художественной формы в поэзии, делая акцент главным образом на общественно-актуальном содержании.

[8] Начало этого письма — о книге А. Моруа «Флеминг» и др — см наст. изд., т. 6, с. 519–520.

[9] Книга стихов Шаламова «Дорога и судьба», вышедшая в 1967 г.

[10] Единственный прижизненный сборник стихов поэтессы М. Петровых (1908–1979) «Дальнее дерево» вышел в Ереване в 1968 г.

[11] Герман Хохлов — см. одноименный очерк Шаламова в наст. изд т 4

[12] Возможно, речь идет о книге: «Дело Чернышевского». Сб. документов. Подгот. текста, ввод. статья и коммент. И. В. Пороха. Саратов, 1968. Не исключено также: *Водолазов Г.* От Чернышевского к Плеханову. М , 1969.

[13] «Летнее монашество» — имеется в виду самый напряженный период творческой работы Шаламова. (Ср. его стихи: «Летом работаю, летом. / Как в золотом забое...»). Такой календарь во многом определялся многолетними колымскими привычками писателя («Зимы он не любил», — свидетельствовала И. П Сиротинская), а также тем обстоятельством, что его жена О. С. Неклюдова и ее сын Сергей, с которыми он более десяти лет жил в Москве, летом обычно уезжали на отдых и писатель оставался в одиночестве.

[14] Замысел остался неосуществленным

[15] *Левицкий* Лев Абелевич (1929–2005) — литературный критик, знакомый Шаламова и Гладкова.

[16] Завидовский район с 1935 по 1960 г. входил в состав Московской области, затем отнесен к Конаковскому району Калининской (ныне Тверской) области Станция Решетниково и пос. Туркмен, где жил Шаламов после Колымы, относились в ту пору к Завидовскому району.

[17] *Дрожжин* Спиридон (1848–1930) — крестьянский поэт-самородок. Знаменитый австрийский поэт Р. М. Рильке встречался с ним во время своего приезда в Россию в 1900 г.

[18] С. Дрожжин был лауреатом премии журнала «Нива».

[19] Вероятно, речь идет о сборнике «День поэзии — 1970», где были опубликованы три стихотворения Шаламова.

[20] Улица Грицевецкая (ныне — летчика Грицевца, дважды Героя Советского Союза), где ранее жил А К Гладков, переехавший затем на ул. Красноармейскую в район метро «Аэропорт».

[21] Загорянка — дачный поселок под Москвой, где отдыхал А.К. Гладков.

[22] Речь идет о подготовке первого в СССР издания стихов О. Э. Мандельштама. Оно было анонсировано еще в 1958 г, но вышло только в 1973 г.: *Мандельштам О* Стихотворения М.: Советский писатель. Ленинградское отделение. (Библиотека поэта) 1973. Предисловие А. Дымшица, сост, комм и примечания Н. Харджиева.

[23] Сарказм Шаламова по отношению к А. Т. Твардовскому в данном случае совершенно безоснователен. Некролог Твардовского А. А. Ахматовой, напечатанный 7 марта 1966 г в «Известиях» и затем опубликованный в виде расширенной статьи «Достоинство художника» в «Новом мире» (1966, № 3), был проникнут глубочайшим уважением к поэтессе. Ср. емкие и красноречивые слова некролога о литературной жизни Ахматовой — «прожитой нелегко, но честно и красиво, с достоинством подлинного таланта». Пристрастное отношение Шаламова к А. Т. Твардовскому в 1960-е годы во многом объяснялось тем, что журнал «Новый мир» не напечатал предложенных писателем «Колымских рассказов» и стихов. Негативную роль в этом случае сыграли некоторые действия А. И. Солженицына. (См.: *Есипов В.* Нелюбовный треугольник: Шаламов — Твардовский — Солженицын // Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007, 2008.)

[24] «Молодость театра» — пьеса А. К. Гладкова, поставленная в 1972 г. в театре им. Е. Вахтангова (пьеса посвящена деятельности Е. Вахтангова в 1920-е годы).

[25] Последнее из сохранившихся писем Шаламова А. К. Гладкову написано рукой печатными буквами, объяснение этому — в самом письме

ПЕРЕПИСКА С О. Н. МИХАЙЛОВЫМ

В.Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

<1966>

Дорогой Олег Николаевич.

Спасибо за Ваши заботы[1]. Приезжайте с Чалмаевым (или как Вам будет удобно) в любой день утром (до 12),

и я дам для «Нашего современника» рукопись «Очерков преступного мира». И стихи.

С уважением *В. Шаламов.*

Несмотря на мою глухоту, я думаю, что, если мне удастся разобрать, кто говорит, мы сумеем сговориться о свидании.

В. Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

22 декабря 1967 г.

Дорогой Олег Николаевич.

Сердечно Вас благодарю за Вашу книгу[2]. Книга разумна, полезна и серьезна. Несколько универсальна, пожалуй. О стихах написано необычайно мало. Асеев, Маяковский писали ведь вовсе не о стихах. Благодарю за страницы 25, 55, 74. Особенно тронут упоминанием «Очерков преступного мира». А как мне получить копию Вашей рецензии на «Дорогу и судьбу»? Нельзя ли ее столкнуть в бурные волны самотека?

От всей души благодарю Вас за рецензию Адамовича[3].

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

<1968 г.>

<Фрагмент письма О. Н. Михайлову, не содержавшийся в черновом варианте. (Ср. наст. изд., т. 6, с. 531)>

...Дважды уничтожали мои архивы. Утрачено несколько сот стихотворений, тексты давно мной забыты. Некоторые присылают мне только теперь. Утрачено и несколько десятков рассказов, а напечатано в тридцатые годы лишь четыре. Сохранилась лишь часть (большая) колымских стихов — в свое время вывезенных на самолете и врученных мне в 1953 году. Эти колымские тетради (стихи 1937–1956 годов) числом шесть составляют более шестисот стихотворений. Часть из них вошла в сборники, в публикации «Юности».

Таким образом в «Дороге и судьбе» — лучшие стихи — это стихи двадцати- и пятнадцатилетней давности. Я приехал в 1956 году после реабилитации с меш-

ком стихов и прозы за спиной. Около ста стихотворений было взято журналами — каждый брал помаленьку. И я рассчитывал, что до славы остался месяц. Но начался венгерский мятеж, и сразу стало ясно, что ничего моего опубликовано не будет. Так продолжается и по сей день. Мне удается печатать по нескольку стихотворений в год — самых для меня не интересных, участвовать в «Днях поэзии», выпустить за 10 лет три сборника по два-три листа — с усечением и купюрами.

Я смею надеяться, что «Колымские тетради» — это страница русской поэзии, которую никто другой не напишет, кроме меня.

В. Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

Май 1972 г.

Дорогой Олег Николаевич!

С удовольствием разрешаю Вам использовать мои работы[4], как Вы хотите, — в любых пределах и формах. Это — ответ по пункту «а». По пункту «б» — страничку из «Очерков преступного мира» прилагаю. Эта ли?

...В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. Беня Крик из «Одесских рассказов» и пьесы «Закат» Бабеля, «Вор» Леонова, «Ванька Каин» и «Сонька Городушница» Алексея Кручёных, «Вор» и «Мотька Малхамувес» Сельвинского, «Васька свист в переплете» В. Инбер, «Конец хазы» Каверина, налетчик Филипп из «Интервенции» Славина, наконец фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. На эстраде Леонид Утёсов получил всесоюзную аудиторию с блатной песенкой

С одесского кичмана
Бежали два уркана...

Утёсову откликался многоголосый рев подражателей, последователей, соревнователей, отражателей, продолжателей, эпигонов:

...Ты зашухерила
Всю нашу малину...
и так далее.

Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много

опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также всеми неупомянутыми авторами произведений на подобную тему, эти произведения имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны. Сто двадцать писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале. Книга эта издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Одна из притч «История моей жизни» написана М. Зощенко и всегда включалась в сборники его сочинений. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя. Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы уголовного мира. Увы!

Преступный мир с Гутенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого. Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла «блатарей».

Есть еще и «с»-дополнение, возможно, полезное для Вашей работы. «Одесская школа» — это блеф литературный, очень дорого обошедшийся советскому читателю.

«Дополнение» возникло потому, что моя работа написана крайне сжато, конспективно. Сказать надо было так много, что, как ни важна эта тема — а она очень важна, бесконечно важна, — не было и нет времени на расширение аргументации, примеры и прочее.

Но и сейчас — через пятнадцать лет после записи «Очерков преступного мира» — все остается по-преж-

нему, ни капли правды не проникло по блатному делу ни в литературу, ни на сцену.

Казалось бы, что страшного в развенчании блатного мира? Недавно появились «Записки серого волка»[5] — очередная «туфта» по этому важному вопросу. Не говоря уж о крайней претенциозности стиля, отвечает на этот вопрос не тот, кому надо отвечать. «Серый волк» — бандит, а не вор (Волжский грузчик — такая кличка для него в блатном мире припасена). «Серый волк» боится воров и врет, что их нет. Берется судить по вопросам, по которым не имеет права судить, судит вместе с «Москвой», вместе с «Литгазетой». Это — очередной опус шейнинского толка. Наш век — век документа. Появляется автобиография бандита. До воровского царства еще очень далеко. Но это все попутно, а «с»-дополнение может выглядеть так.

О Бабеле можно сказать и больше. Кроме «Одесских рассказов» с Беней Криком, имевших огромный читательский успех, есть у Бабеля пьеса «Закат», шедшая в Художественном театре (2-м?), выросшая тоже на шуме блатной романтики «Одесских рассказов». «Закат» пользовался большим успехом, трактовался печатно как новый «Король Лир».

Совсем недавно кинорежиссер Швейцер[6] окунулся в блатную Шекспириану, поставив «Золотого теленка» — программную вещь «одесской школы» — по схеме «Гамлета» с монологами о суетности жизни, с шутом Паниковским и могилой шута. Если биндюжник Мендель Крик — это король Лир, то Остап Бендер Юрского — Гамлет, не меньше. Эллий-Карл Сельвинский, как он себя именовал в те годы для сборника «Мена всех», — каламбур, задуманный в поддержку ямбам Ильфа и Петрова в Вороньей слободке, дал свой фотопортрет в жабо из лебяжьих перьев. Близ портрета было стихотворение «Вор», вошедшее потом во все хрестоматии двадцатых годов и во все сборники стихотворений Эллия-Карла Сельвинского:

Вышел на арапа, канает буржуй.
А по пузу — золотой бампер...

И конец:

...Вам сегодня не везло, дорогая мадам смерть.
Адью до следующего раза.

Неумелое управление блатной лексикой не было никем замечено. На Колыме я читал ворам это стихотворение — для опыта, они отмахивались со злобой, да и верно — не для них ведь оно было написано.

Второе широко известное стихотворение Сельвинского на блатную тему — это «Мотька Малхамувес» — всякий раз с разъяснением, что «Малхамувес» — это Ангел смерти — таких кличек у блатных нет, там все попроще, не так пышно. Это — остросюжетный рассказ об ограблении магазина, с блатной лексикой, более точной, чем в первом, «Воре», почерпнутой на этот раз из какого-нибудь официального пособия по «блатной музыке», где нет таких промашек, как «Вышел на арапа»:

Красные краги. Галифе из бархата,
Где-то за локтями шахматный пиджак
и т. д

Сюжетный опус «Мотька Малхамувес» пользовался большим успехом. Входил во все сборники Сельвинского.

Вера Михайловна Инбер не хотела отстать от своих товарищей — конструктивистов в разработке этой эффектной темы. Но в отличие от прямой героизации «Вора» и «Мотьки Малхамувеса» блатная поэма В.М. Инбер имела нравоучительный конец с героем милиционером, смертью преступника под пулями власти в перестрелке. Главная же преступница, организовавшая ограбление, подбившая порчака на ограбление, скрывалась. Милиционер говорит своему начальнику:

Дело его слабо.
Я же, хотя цел,
Виновен в том, что бабы
Я не предусмотрел.

И конец:

Ты, видать, таков,
Вырезать стекло алмазом
Пара пустяков.

Так говорит перед смертью Васька, герой большой поэмы «Васька Свист в переплете».

У того же автора (В. М. Инбер) есть большое количество «уголовных» стихотворений, входивших во все сборники поэта в те годы, и немалое количество романсов той же тематики.

Отдал дань «перековке» и М. Зощенко, написав скучную документальную повесть «История одной жизни» о исправлении международного фармазона на канале. Даже губы скривить в улыбке не захотел — только восхищался и удивлялся, обводя чернилами бурную жизнь нового Бенвенуто Челлини. Пришвин в «Осударевой дороге» по уши в перековке. Все вещи Шейнина — спекуляция, особенно удивительная для следователя. Впрочем, Шейнин был следователем не по блатным делам. Количество примеров, разумеется, может быть умножено во сто крат.

Я хотел бы напечатать «Очерки преступного мира» в любом журнале — специальном, ведомственном, провинциальном и т. д.[7] Казалось, почему бы издательству бояться решения этой важнейшей темы? Боятся нарушить — не традицию, а душевный покой, свой и начальства.

Желаю Вам всякого добра.

С глубоким уважением *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

20 апреля 1972 г.

Дорогой Олег Николаевич.

Я очень рад, что именно Вы будете писать обо мне для «Литературной энциклопедии»[8], отвечаю на Ваши вопросы. Я родился 18 июня 1907 года в городе Вологде. Список вышедших книг (стихотворных сборников) невелик:

1. «Огниво» — 1961, г. Москва, изд. «Советский писатель». 2. «Шелест листьев», 1964. То же издательство. 3. «Дорога и судьба», 1967. То же издательство. 4. «Московские облака» — выходят в «Советском писателе» в июле нынешнего 1972 года — так мне обещали в издательстве.

Сборников прозы у меня нет, хотя меня хорошо печатали «до»: рассказы «Три смерти доктора Аустино» — в № 1 «Октября» за 1936 г., «Возвращение» — в журнале «Вокруг света» № 12 за 1936 г., «Пава и древо» — в «Литературном современнике» № 3 за 1937 г., очерк «Картофель» был напечатан в «Колхознике» М. Горького в № 9 1935 г., «Мастер, переделывающий природу» (о Мичурине) — в журнале «Прожектор» № 8,

1934 г. Недавно я просмотрел мои старые вещи. Рассказов там просто нет в том понимании жанра, какого я держусь сейчас. Там и нравственные требования были иные, и внутренний толчок иной, и техническое вооружение отличалось от нынешнего.

«После» был напечатан только «Стланик» — один из серии «Колымских рассказов» — в журнале «Сельская молодежь» № 3 за 1965 г. «Вопросы литературы» напечатали мою статью «Работа Бунина над переводом «Песни о Гайавате».

Первые стихи я напечатал в возрасте 50 лет, хотя пишу стихи с детства, в журнале «Знамя» в 1957 году (№ 5) — цикл «Стихи о Севере». С этого времени печатаю стихи постоянно в журналах «Москва», «Знамя», альманахах «День поэзии». Главный же журнал, где я постоянно печатаю стихи, — это «Юность». Б. Н. Полевой и редакция дали мне возможность, несмотря на запоздание, определить свое поэтическое лицо.

На все мои стихотворные сборники было много рецензий и откликов. Наиболее мне дороги рецензия Слуцкого на «Огниво» — «Огниво высекает огонь» («Литературная газета» № 5. X. 1961 г., Ваш разбор «По самой сути бытия» в «Литературной газете». Были рецензии Г. Красухина в «Сибирских огнях» (№ 1 за 1969 г.) и Э. Калмановского в «Звезде» (№ 2, 1965), где были попытки угадать кое-что в моих стихах.

В шестьдесят лет остается немного вещей, которыми по-настоящему дорожишь. Как я ни спешил — а я очень спешил использовать запас и нравственных сил, и таланта, — я не сделал и тысячной части того, что хотел. И в стихах, и в прозе.

В стихах мне казалось, что я вышел на какие-то важные рубежи пейзажной лирики русской поэзии XX века во всей ее технической и духовной оснащенности. Что я нащупал почти предел эмоциональности, уплотненности стихотворной строки при сохранении звуковой опоры канонического русского стиха, чьи возможности — безграничны.

В прозе я считаю себя наследником пушкинской традиции, пушкинской фразы с ее лаконизмом и точностью. Сближение документа с художественной тканью — вот путь русской прозы XX века — века Хиросимы и концлагерей, века войн и революций.

Поэзия и проза взаимно пересекаются в моих вещах, едины, но не внешним, а внутренним единством.

Голова моя свежа, как и пятьдесят лет назад, и перо мое в полном порядке.

С глубочайшим уважением,

В. Шаламов.

На любой Ваш вопрос я готов ответить незамедлительно.

ПРИМЕЧАНИЯ

В переписку В. Т. Шаламова с литературоведом и критиком О. Н. Михайловым, опубликованную в т. 6 наст. издания, вошел лишь один черновик письма, сохранившийся в архиве писателя. Данная публикация основана на письмах Шаламова и их фрагментах, напечатанных О. Н. Михайловым в его статье «В круге девятом» (газета «Слово», 14 марта 2003 г.).

[1] Речь идет о стремлении О. Н. Михайлова опубликовать «Очерки преступного мира» Шаламова в журнале «Наш современник». Публикация не состоялась.

[2] Имеется в виду брошюра О. Н. Михайлова «Любят ли ваши дети поэзию?». М., 1967.

[3] *Георгий Адамович.* Стихи автора «Колымских рассказов // Русская мысль. Париж. 1967. 24 августа. Машинопись рецензии Г. Адамовича, предоставленная О.Н. Михайловым, сохранилась в архиве В. Т. Шаламова в РГАЛИ (ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 179, л. 1–4) Полный текст приводится ниже:

Едва ли кто-нибудь из читавших «Колымские рассказы» Варлама Шаламова — не так давно помещенные без ведома автора в двух книжках «Нового Журнала», — в состоянии их забыть На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет «Один день Ивана Денисовича», и появись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков Правда, за Солженицыным остается преимущество новизны и открытия: он первый рассказал о том, что многие на Западе отрицали и что до последних лет, не без насмешливого высокомерия, относили к клеветническим выдумкам После появления его свидетельства в московской печати говорить о клевете стало невозможно Однако по существу свидетельство Шаламова — несомненно основанное на том, что ему лично пришлось испытать, — хуже, безотраднее, безнадежнее солженицынского Иван Денисович, при всем своем рабском бесправии и мучениях, был еще живым человеком — как были еще живыми людьми и его товарищи по несчастью В «Колымских же рассказах» бродят какие-то тени, почти мертвецы, когда-то бывшие живыми· они обмениваются отрывочными замечаниями, ссорятся, бранятся, ненавидят один другого, как будто иногда даже цепляются за жизнь, — но это подлинно «мертвые души», мертвые, убитые непрестанным страхом и все растущим отчаянием Каторга в этих рас-

сказах не только сделала, но и окончательно доделала свое дело — чего нет в повести Солженицына

Маленький сборник стихов Варлама Шаламова, вышедший этой весной в Москве, заранее, еще до чтения, вызывает тревожное любопытство каковы могут быть, какими могли остаться стихи человека, проведшего долгие годы на Колыме? Книга не совсем обычно, но, по-моему, хорошо и выразительно названа — «Дорога и судьба». Приложен портрет автора: хмурое, усталое лицо, тяжелый, пристальный взгляд. От имени издательства сообщается, что «поэзия В Шаламова привлекает глубоко заложенным в ней философским началом, достоверностью наблюдений, взвешенностью слова» и что «круг интересов поэта разнообразен». О его участи, о его сравнительно недавнем прошлом — ни слова А читатель, само собой, ищет в шаламовском сборнике отражения того, что поэт пережил

Стихи умные, суховатые. Судя по их общему складу, Шаламов не столько склонен забыть или простить былое, сколько готов махнуть на него рукой. Одно только стихотворение выделяется среди других своим ожесточением, открытым своим стремлением свести счеты с «подлецами, подхалимами и лицемерами» — и, кстати сказать, это далеко не лучшее стихотворение в книге. Поэтическое мастерство Шаламова несравненно убедительнее там, где он вглядывается в природу — «равнодушную природу», по Пушкину, — где беседует с самим собой или упоминает со сдержанным волнением о своем возвращении после ссылки в Москву, «велением эпохи, сплетенную с моей судьбой».

Его учитель и, по-видимому, любимый поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью Не в «философском начале» тут, конечно, дело, как несколько простодушно указывается в издательской заметке, а в пренебрежении к легковесному лиризму, к очарованию во что бы то ни стало, какой бы ни было ценой, по примеру иных последователей Фета. Есть в «Дороге и судьбе» стихотворение, так и озаглавленное «Баратынский», текст которого почти анекдотичен, несмотря на серьезность тона: на каторге три узника случайно, в чьем-то заброшенном доме, нашли томик Баратынского и тут же разделили его на три части. Первый взял предисловие — «на цигарки». Второй взял послесловие с целью выкроить себе из него колоду игральных карт (о самодельных картах упоминается и в «Колымских рассказах»). Шаламову достались «вдохновенные стихи полузабытого поэта», и он признает это «счастьем».

Чтение поэта, может быть, и «полузабытого», но в высшей степени замечательного, навсегда оставило след в сознании заключенного — если только читал он тогда его впервые. Баратынский научил его конкретности, анти-зыбкости поэтических приемов, причудливой точности образов. Вот один из образцов этого, выбранный почти наудачу:

СОСНА В БОЛОТЕ

Бог наказал сосну за что-то
И сбросил со скалы.
Она обрушилась в болото
Среди холодной мглы.

Она, живая вполовину,
Едва сдержала вздох,
Ее затягивала тина,
Сырой багровый мох.

Она не смела распрямиться,
Вцепиться в щели скал,
А ветер — тот, что был убийцей, —
Ей руку тихо жал,

Еще живую жал ей руку,
Хотел, чтобы она
Благодарила за науку,
Пока была видна.

Сборник стихов Шаламова — духовно своеобразных и по-своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, — стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслуживали бы такого разбора, и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделаться от «колымского» подхода к его поэзии. Невольно задаешь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких, ночных раздумий о той «дороге и судьбе», которая порой выпадает на долю человека? Может быть, именно в результате этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет.

[4] Имеются в виду критические заметки О. Н. Михайлова об «одесской школе» в советской литературе, вошедшие в его книгу «Верность» (1974).

[5] «Записки серого волка» — роман эстонского писателя Ахто Леви, вышедший в 1970 г.

[6] Фильм режиссера М. А. Швейцера «Золотой теленок» (1968 г.).

[7] «Очерки преступного мира», созданные Шаламовым в конце 1950-х гг., не были напечатаны ни в одном из журналов. (Ср. ответ редактора издательства «Советский писатель» Ф. Колунцева в наст. томе, с. 358)

[8] Автором статьи о Шаламове в «Краткой литературной энциклопедии» стал Л. Н. Чертков.

ПЕРЕПИСКА С Ю. А. ШРЕЙДЕРОМ

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 7 сентября 1975 г.

Дорогой Юлий Анатольевич!

Вот — нелицеприятная и строгая критика Вашего стихотворения:

Каплет дождь святой водичкой
На висок.

Не «на песок», а именно «на висок».

Во всей русской лирике, да и в мировой также, не говоря уж о прозе, нет такого положения человеческого тела, чтобы дождь капал на висок. Дождь может капать (по законам тяжести — отвесно) и попадать — на темя или шапку; на голову, на череп, но не на висок. Поэтому — то, что дождь каплет на висок,— это плюс, огромный плюс, это — стихи. Это та новинка, которая сразу обращает внимание и искушенного, и неискушенного читателя. Создание таких «физических новинок» и есть предмет стихосложения. Вторая новинка этого стихотворения та, что «дождь — святая водичка». Тоже — плюс, хотя такие поэтические истины добывал Бунин — способом «от ума», а не в звуковом потоке. Вот если бы эти стихи писал Пастернак — он бы накручивал на повторы, или, если пользоваться Вашим термином, — «опорные трезвучия», весь близлежащий и далеко лежащий мир.

Вы же вернулись к разуму: «Мы стоим (а что же делать виску?) с тобою в сквере под дождем (плюс за повторы), / В целом мире в полной мере (плюс — за внутреннюю рифму-повтор) мы вдвоем».

Ситуация «в целом мире мы одни» сделала бы честь Вертинскому или популярному автору романса «Рамона»: «Ты от холода дрожала на ветру (плюс за звуковые повторы). / Так бы жизнь начать сначала поутру». (Минус — за крайнюю шаблонность финала. Нельзя ли найти чего-либо посвежее — пусть не по линии мировых вопросов.)

Самый главный недостаток стихотворения «Каплет дождь святой водичкой» в его подражательности: в ритме, теме, размере; это — перепев позднего, а стало быть, худшего Пастернака.

Как исправить? Положить героя на бок, чтобы дождь действительно капал на висок. Такая манипуляция не представляет собой ничего личного, ничего лишнего и ничего обидного, ибо в поэзии находку «на висок» надо хранить и подчинить ей все остальное. А можно поставить вместо «висок» — и «песок», но тогда исчезнет «сестричка», которая в прямом случае играла свою прогрессивную роль. Интонацию же чужую исправить нельзя.

Укороченные строки широко применял Блок.

Вообще в этом коварном ремесле надо выжечь каленым железом все, что хоть напоминает случайно или может напомнить что-то чужое. К сожалению, у нас нет теории интонации (она как раз и может быть основана на Ваших «опорных трезвучиях»). Я сейчас дописываю в черновике краткую работу: «Сергей Есенин под звуковым лучом»[1], где доказываю, что «Выткался на озере алый свет зари» — первое стихотворение, где были звуковые повторы, и что именно поэтому Есенин стал поэтом. Затем идет разбор лучшего стихотворения Есенина — «Письма к матери», где звуковое совершенство и нарочитость не уступают пастернаковской «Метели».

Сердечный привет Татьяне Дмитриевне.

Ваш *В. Шаламов.*

Приложение: обещанные мною вариации стихотворения «Каплет дождь святой водичкой».

Каплет дождь святой водичкой:
Дьявол пьет,
Тычет в лед зажженной спичкой,
Тает лед.
Ожерельем кимберлита
Озарен,
Он нашел в гримасах быта
Верный тон.
Каплет дождь святой водичкой,
Дьявол пьет.
Сатане это привычно:
Горло жжет.
Горло жжет от фарингита,
От ангин.
И от неустройства быта —
Сто причин.
Так прощайте, Люциферы,
В добрый час.
Рад увидеть у пещеры
Многих вас.
Каплет дождь святой водичкой,
Бьет капель,
Попадает очень лично,
Метко в цель.
Как подобье некой пытки
В темя бьет.
С первой, кажется, попытки
Достает.

Мстит за ту вину чужую,
Бьет капель,
Заполняя ледяную
Ту купель.
Дождь, как перья синей птички
В небесах.
Каплет он святой водичкой
В чудесах.
Появляется оттуда
Злым дождем,
Хоть ни чуда, ни причуды
Мы не ждем.
Каплет дождь святой водичкой
На мечты.
Где ты, синенькая птичка,
Где ты птичка-невеличка?
Где же ты?
Где лежат градины грома,
Птичий труп,
Затихающих у дома
Птичьих губ.
Птичьих труб гремит согласье
На полет,
Где очищен от ненастья
Небосвод.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: журнал «Вопросы литературы». № 5. 1989. Основная часть писем Шаламова Ю. А. Шрейдеру опубликована в наст. изд., т. 6.

[1] Этот замысел осуществлен в разборах стихотворений С. Есенина «Письмо к матери» и «Мой путь» (см. эссе «Есенин» в наст. изд., т. 5, с. 185–193).

ПЕРЕПИСКА С К. Н. ЗЛОБИНЫМ

В. Т. Шаламов — К. Н. Злобину

Москва, 5 ноября 1975 г.

Кирилл!

Произошло недоразумение.

Я принял твоего сына (которого я никогда в жизни не видел) за другое лицо, заслуживающее такого приема.

Я прошу прощения за инцидент[1].

Особенно мне это больно из-за Светланы Михайловны, которую я всегда вспоминаю с величайшей теплотой и глубокой благодарностью.

Ну, еще раз прошу прощения у вас обоих, даже у всех троих.

С сердечным уважением.

В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется впервые. Из личного архива С. И. Злобиной.

«Недоразумение» связано с посещением квартиры Шаламова на ул. Васильевской, 2, кор. 6 сыном-студентом его родственников (по линии первой жены) супругов К. Н. и С. И. Злобиных Сергеем, который по наивности, не зная состояния Шаламова и его глухоты, хотел показать ему свои стихи.

К. Н. и С. И. Злобины упоминаются в письме Шаламова к М. И. Гудзь от 18 мая 1954 г. (т. 6, с. 81); интервью Светланы Ивановны Злобиной (в письме она ошибочно названа Михайловной) о встречах с Шаламовым опубликовано в «Новой газете» 30 октября 2012 г. и на сайте Shalamov.ru (Режим доступа: http://shalamov.ru/memory/195/).

[1] Инцидент, свидетельствующий о нежелании Шаламова встречаться с чуждыми ему людьми, возможно, связан с А. В. Храбровицким. (См. прим. 3 к публикации «Б. Полевой» в наст. томе.)

ПЕРЕПИСКА С РЕДАКЦИЯМИ

<На официальном бланке альманаха
«На Севере Дальнем»>

3 января 1956 г.

Москва, Гоголевский пер., д. 25, кв. 19. Шаламову В. Т.

Уважаемый тов. Шаламов!

Цикл Ваших стихотворений после обсуждения на редколлегии будет готовиться к опубликованию в шестом выпуске альманаха «На Севере Дальнем», который выйдет в свет в марте с. г.

С уважением,
редактор альманаха «На Севере Дальнем»

/О. Онищенко/

Телеграмма

Москва Гоголевский бульвар кв. 25 Шаламову
Москве 15 Мгд18 Магадана 8/7 13 16 0752 ПП 0810
Стихи получены сообщите что публиковалось *Козлов*[1]

<На официальном бланке альманаха «На Севере Дальнем»>

16 апреля 19 <две цифры не вписаны — очевидно, 1956 г.>

Уважаемый Варлам Тихонович!

Извините, что задержали ответ на Ваше письмо.

Ваши стихи «Слово к садоводам» напечатать в альманахе не можем.

Желаем Вам всего лучшего.

С уважением,
Редактор альманаха

/К. Николаев/[2]

Шаламову Варламу Тихоновичу

Присланные стихи — «Камея», «Верю» и другие вполне литературны, они музыкальны, лиричны, но темы малосодержательны [подчеркнуто Шаламовым. — *Сост.*] и потому не заинтересовали отдел поэзии журнала «Нева».

Думаем, что стихи ниже Ваших возможностей.

Литконсультант журнала «Нева»

/Журавлев/ 25/XII-56

<На официальном бланке журнала «Юность». Дата не указана>

Уважаемый тов. Шаламов!

Из стихов, которые Вы предложили нашей редакции, ничего отобрать не удалось.

Может быть, у Вас есть стихи более близкие нам тематически — о юности, о комсомоле?

Рукопись возвращаем.

С приветом,
Редактор отдела поэзии

Н. Старшинов[3]

Из стихов В. Шаламова мне понравились только «Ручей» да «Осенний вечер». Их можно было бы напечатать при наличии стихов на тему труда.

В новых стихах очень уж закрученная метафоричность. Некоторый интерес представляет только «Каменотес».

7/VII-58 Подпись неразборчива. (По всей вероятности, один из членов редколлегии журнала «Москва». — *Ред.*)

<На бланке газеты «Московский комсомолец»>

<1960 г.>

Уважаемый Варлам Тихонович!

Должна принести Вам свои извинения: стихи, которые Вы любезно передали Л. Поликовской, не были напечатаны. Она мне обещала вернуть их Вам лично. Геннадий Красухин передал мне два Ваших стихотворения из портфеля «Литературной газеты». У нас они были опубликованы 13 сентября. Посылаю Вам газету. Гонорар Вы можете получить в бухгалтерии нашей редакции 1 октября.

С искренним уважением,
Завотделом литерат<уры>

Наташа Дардыкина

<на официальном бланке журнала «Знамя»>

Уважаемый тов. Шаламов!

Еще и еще раз перечитали Ваши стихи. Думается, из этого пока трудно выбрать что-либо, может быть, Вы покажете нам еще, все, что будет нового?

С искренним приветом и уважением,
Зав<едующая> отд<елом> поэзии
журнала «Знамя»

(*О. Кожухова*)
7/I-59

Уважаемый тов. Шаламов!

По поручению отдела поэзии я внимательно ознакомился с Вашими новыми стихотворениями, переданны-

ми в редакцию Ф. Ф. Сучковым. Должен сказать, что мне не сразу и с большим трудом удалось отобрать кое-что для напечатания. В конце концов пришлось ограничиться в некоторой степени связанными между собой по смыслу и содержанию тремя стихотворениями — «Меня застрелят на границе», «Горный водопад» и «Баратынский». Их-то я и буду рекомендовать редакции.

Думается, новые свои стихи Вы не пронесете мимо журнала «Молодая гвардия»!

С искренним уважением,
литконсультант журнала «Молодая гвардия»

В. Савельев

<число не указано> июля 1962 года

Уважаемый тов. Шаламов!

Среди присланного — лучшее «Старая Вологда».

Есть в нем и отчетливое настроение, и слово, емкое и весомое:

Когда-то слишком пыльная,
Базарная, земная...
Когда-то слишком ссыльная
И слишком кружевная.

Другие стихи эскизного плана, правда, «Шестой континент» тоже закончен, но строфы написаны неумелым стихом, порой даже косноязычны [подчеркнуто Шаламовым. — *Сост.*].

Присылайте что-либо еще, быть может, получится удачнее.

С уважением
Отдел литературы
«Литературной газеты» (*Ю. Панкратов*)?? [вопросительные знаки В. Т. Шаламова. — *Сост.*].

Примечание В. Т. Шаламова:

«Когда-то в феврале или январе 1962 года, желая отблагодарить «Л. Г.» за сочувственную рецензию на мои стихи (Слуцкого и <Соломина> в 1957 г.), я дал туда:

1. Упала, кажется, звезда;
2. Не в Японии, не на Камчатке;
3. Старая Вологда;

4. Шестой континент;

5. Станционный смотритель.

В половине июня В. Косолапов в частном разговоре интересовался, почему я не даю стихи в «Л. Г.». Я сообщил, что уже дал.

И вот ответ, в точности повторяющий ответ редакции журнала «Знамя» Б. Пастернаку с прямо <нрзб.> читательской рецензии в 1954 году[4].

Уважаемый Варлам Тихонович!

Возвращаем Вам для доработки сборник Ваших стихотворений «Шелест листьев».

Желаем Вам здоровья и дальнейших творческих успехов.

С искренним уважением,

Майя Ильинична
12/VII-62

P.S. Копии рецензий, кажется, у Вас есть[5].

<На бланке издательства
«Советский писатель»>

Уважаемый Варлам Тихонович!

Редакция познакомилась с рукописью «Колымские рассказы». При знакомстве со сборником создалось впечатление, что Вы опытный и квалифицированный литератор.

Однако так называемая лагерная тема, взятая Вами в основу сборника, очень сложна и, чтобы она была правильно понята, необходимо серьезно разобраться в причинах и следствиях описываемых событий.

На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична.

Посылаем Вам рецензию и редакционное заключение, которое выражает мнение редакции о Вашей рукописи.

Сборник «Колымские рассказы» возвращаем.

В. Петелин,
зам. зав. редакции
русской советской прозы[6]

<на официальном бланке издательства «Советский писатель»>

31 августа 1967 г.

Уважаемый Варлам Тихонович!

Мы несколько раз просили Вас зайти в редколлегию для разговора, но, к сожалению, Вы не смогли этого сделать.

Рассмотрение Вашей рукописи закончено. Мы высылаем Вам копии рецензии члена правления издательства Ю. Лаптева и заключение редакции. В них подробно изложены причины, по которым редакция не может рекомендовать Ваши «Очерки преступного мира» к изданию.

Что же касается рассказов, то их, к сожалению, мало и они не могут по своему объему составить книги.

По жанру Ваши «Очерки» являются произведением не столько беллетристическим, сколько публицистическим. Вы не только описываете, но и широко комментируете описываемое. Мысли, высказанные Вами в «Очерках», несомненно, явились плодом длительных размышлений. Однако многие из Ваших утверждений кажутся нам весьма спорными. Трудно, например, согласиться с тем, что единственным способом борьбы с бесчеловечностью «рыцарей» подпольного ордена «воров» является бесчеловечность, обращенная против них самих, т. е. бесконечное увеличение сроков заключения и физическое уничтожение[7]. Подобные эксперименты проводились, но они не давали результатов и не оставили по себе доброй памяти.

Весьма спорной представляется нам Ваша оценка литературных произведений, посвященных «блатному миру». (Заметим в скобках, что, например, по приведенной Вами классификации Жан-Вальжан вовсе не является «блатарем». Он «битый фраер».)[8]

Словом, в Ваших очерках много такого, над чем можно, и, видимо, надо поспорить, и в первую очередь специалистам. И в этом смысле нам кажется, что они больше подходят для публикации в каком-нибудь специальном юридическом издании в качестве материала дискуссионного.

Возвращаем Вам рукопись.

С глубоким уважением,
И. о. зам. зав. редакцией русской
советской прозы

Ф. Колунцев

<на официальном бланке газеты
«Московский комсомолец»>

10 VIII 1968 г.

Уважаемый Варлам Тихонович!

Нам очень бы хотелось видеть Ваши стихи в нашей газете. Да и читатели в письмах часто просят опубликовать Ваши стихи. Может быть, найдется у Вас что-нибудь и для нас. Мы были бы Вам очень благодарны.

С уважением и надеждой,
литсотрудник отдела литературы
и искусства

Л. Поликовская

<на официальном бланке журнала
«Дружба народов»>

22 февраля 1971 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

С большим сожалением вынуждена вернуть Вам стихи — их прочитал наш новый член редакции М.К. Луконин[9] и отклонил их.

Как видите, он отмечает высокий уровень исполнения, но не чувствует новизны и взлетов.

Быть может, пока решалась судьба этой рукописи, у Вас появилось что-то новое, более близкое нам?

Тогда — жду!

Жму руку.

Ст. редактор отдела поэзии

В. Дмитриева

<Без даты, из Владивостока>

Уважаемый тов. Шаламов!

Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в издании, подробности которого изложены в аннотации.

Собственно, мы с самого начала работы хотели обратиться к Вам, но лишь на днях получили Ваш адрес.

Необходимы 10–12 ваших стихотворений и био-библио-справка о Вас.

Итак, ждем.

По поручению редколлегии
составитель сборника «Дальний Восток в рус. сов. поэзии»

Ю. Кашук[10]

14 февраля 1978 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

К сожалению, должна Вам возвратить стихи. Из них для «Знамени» ничего не удалось выбрать. Быть может, со временем Вы сумели бы дать нам еще один цикл.

Надеюсь, что Вы уже здоровы.

Всего Вам самого лучшего.

С уважением, *Г. Корнилова*

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по материалам архива В.Т. Шаламова (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 371. л. 1–41).

[1] *Козлов* Николай Владимирович (1913–1975) — директор Магаданского книжного издательства и главный редактор альманаха «На Севере Дальнем». Автор неоконченного романа «Хранить вечно» (о Э. П. Берзине). Подробнее о нем: Соучастники: архив Козлова. Т. 1. Возвращение. 2012. См. также переписку Шаламова с Б. Н. Лесняком в настоящем томе.

[2] Как явствует из письма Шаламова Б. А. Слуцкому от 28 декабря 1962 г., ни одно из его стихотворений в альманахе «На Севере Дальнем» не было опубликовано (см. наст. изд., т. 6, с. 318–319).

[3] Поэт *Старшинов* Николай Константинович (1924–1998) являлся заведующим отделом поэзии журнала «Юность» в 1955–1962 гг. Начиная с 1965 г., Шаламов активно печатался в этом популярном молодежном журнале. (См: *Есипов В.* Шаламов в «Юности» // Юность. 2012. № 6.)

[4] Вероятно, речь идет о критических откликах на первую публикацию «Стихов из романа» («Доктор Живаго») Б. Пастернака в журнале «Знамя» (1954. № 4).

[5] *Муравник* Майя Ильинична — редактор издательства «Советский писатель». Ответ свидетельствует о трудном прохождении в печать второго сборника стихов Шаламова «Шелест листьев» (вышел лишь в 1964 г.). (См. книгу воспоминаний М. Муравник «Розовый дом». М., 2006.)

[6] *Петелин* Виктор Васильевич (р. 1929) — литературовед и критик, много лет специализируется на творчестве М.А. Шолохова. В 1961–1968 гг. работал редактором в издательстве «Советский писатель».

К ответу В. Петелина была приложена рецензия на рукопись «Колымских рассказов», принадлежащая перу литературного критика А. К. Дремова и датированная 15 ноября 1963 г. Текст целиком приводится ниже.

В рукописи В Шаламова «Колымские рассказы» 33 рассказа — и совсем маленьких (на 1–3 странички), и побольше Чувствуется сразу, что написаны они квалифицированным, опытным литератором Большинство прочитывается с интересом, имеет острый сюжет (но и бессюжетные новеллы построены продуманно и интересно), написаны ясным и образным языком (и даже, хотя повествуется в них главным образом о «блатном мире», в рукописи не ощущается увлечения арготизмами). Так что, если вести речь о редактировании в смысле стилистической правки, «утряски» композиции рассказов и т п, то в такой доработке рукопись, в сущности, не нуждается

Для того чтобы сделать выводы и практические рекомендации по рецензируемой рукописи, надо думать не об этом, не о «чисто литературной» стороне, а о более существенных вопросах — об общей направленности рукописи, о содержании рассказов, о методе, которым работает автор

Какое-то представление о рукописи в этом смысле дает уже знакомство с названиями включенных в сборник произведений. «Первая смерть», «Татарский мулла и свежий воздух», «Васька Денисов — похититель свиней», «Заговор юристов», «Тифозный карантин» и т. д и т п

Читая рассказы В. Шаламова, мы погружаемся в мир тюрем, пересыльных пунктов, лагерей Сборник — это как бы жутковатая мозаика, каждый рассказ — фотографический кусочек повседневной жизни заключенных, очень часто — «блатарей», воров, жуликов и убийц, находящихся в местах заключения. Автор подробнейшим образом (кстати, есть ряд случаев, когда одни и те же — буквально, дословно — описания тех или иных сцен встречаются в нескольких рассказах) описывает все — как спят, просыпаются, едят, ходят, одеваются, работают, «развлекаются» заключенные, как зверски относятся к ним конвойные, врачи, лагерное начальство В каждом рассказе говорится о непрерывно сосущем голоде, о постоянном холоде, болезнях, о непосильной каторжной работе, от которой валятся с ног, о беспрерывных оскорблениях и унижениях, о ни на минуту не оставляющем душу страхе быть обиженным, избитым, искалеченным, зарезанным «блатарями», которых побаивается и лагерное начальство. Несколько раз В. Шаламов сравнивает жизнь этих лагерей с «Записками из Мертвого дома» Достоевского и приходит каждый раз к выводу, что «Мертвый дом» Достоевского — это рай земной сравнительно с тем, что испытывают персонажи «Колымских рассказов» Единственно, кто благоденствует в лагерях — это воры. Они безнаказанно грабят и убивают, терроризируют врачей, симулируют, не работают, дают направо и налево взятки — и живут неплохо. На них никакой управы нет. Постоянные мучения, страдания, изнуряющая работа, загоняющая в могилу, — это удел честных людей, которые загнаны сюда по обвинению в контрреволюционной деятельности, но на самом деле являются людьми, ни в чем неповинными.

И вот перед нами проходят «кадры» этого страшного повествования. убийства во время карточной игры («На представку»), выкапывание трупов из могил для грабежа («Ночью»), умопомешательство («Дождь»), религиозный фанатизм («Апостол Павел»), смерти («Тетя Поля»), убийства («Первая смерть»), самоубийства («Серафим»), бес-

предельное владычество воров («Заклинатель змей»), варварские методы выявления симуляции («Шоковая терапия»), убийства врачей («Красный крест»), убийства заключенных конвоем («Ягоды»), убийство собак («Сука Тамара»), поедание человеческих трупов («Тайга золотая») и так далее и все в таком же духе.

При этом все описания очень зримые, очень детализированные, часто с многочисленными натуралистическими подробностями

Через все описания проходят основные эмоциональные мотивы — чувство голода, превращающее каждого человека в зверя, страх и приниженность, медленное умирание, безграничный произвол и беззаконие Все это фотографируется, нанизывается, ужасы нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого

Мы знаем повесть А Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — произведение о лагерях, вызывающее к себе различное отношение. Но при самом критическом отношении к этой повести, при учете узости кругозора автора, односторонности и поверхностности многих описаний, нельзя не видеть, что пафос этого произведения в утверждении стойкости человека, который и в трагических, бесчеловечных условиях лагерной жизни не теряет качеств человека, собственного достоинства и даже интереса к труду. Это и дало основание поддержать повесть Солженицына Но мы все помним, что, говоря о ней, Н. С. Хрущев предупреждал о ненужности увлечений «лагерной темой», о необходимости подходить к ней с исключительной ответственностью и глубиной, о том, что такие произведения не должны убивать веру в человека, в его силы и возможности.

«Колымские рассказы» как бы полемизируют с повестью Солженицына. То, что было у него положительного, здесь демонстративно «опровергается».

Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека даже и в самых тяжких условиях, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения — нравственной и физической гибели человека в лагерных условиях.

Если Солженицын пытается показать, что как бы то ни было, но человек может и не превратиться в животное, то Шаламов как раз и акцентирует на том, как от голода, холода, побоев, унижений, страха люди превращаются в зверей.

Если Солженицын пытается (часто неудачно, но пытается) показать, как по-разному ведут себя люди в заключении, как-то дифференцировать их, показать и настоящих, несгибаемых коммунистов, и отпетых мерзавцев, которые заслуженно находятся в заключении, то Шаламов не стремится к такой дифференциации в изображении лагерного мира Заключенные — это одна серая масса мучеников. Какие-то индивидуальные черточки, конечно, даются (главным образом, внешний портрет), но внутренний мир персонажей не раскрывается сколько-нибудь разносторонне, он главным образом ограничивается желанием есть, спать, спастись от гибели. «Дифференциация» проведена, пожалуй, только в одном смысле· «блатари» и все остальные заключенные Но в главном — в отношении к своему бытию, к самому

факту ареста и заключения, к политике советской власти и к ее извращениям — все одинаковы Вернее даже, никакого отношения к этому основному, определяющему жизнь и поведение, и дальнейшую судьбу каждого заключенного, автор сколько-нибудь отчетливо не выявляет, никакого социального обоснования и объяснения он даже и не пытается дать. А без этого, вполне понятно, все изображение приобретает натуралистически-объективистский характер, проникнутый абстрактной жалостью к человеку вообще И образ заключенного в этой ситуации тоже вырисовывается как образ человека вообще, а не человека социального, наделенного общественными симпатиями и антипатиями, имеющего тот или иной уровень сознательности, свое отношение к коренным вопросам общественного бытия. Никакого общественного человека в «Колымских рассказах» нет. Есть лишь живое страдающее существо, несправедливо загнанное в ужасные гибельные условия, которое не хочет умирать и всеми возможными для него способами цепляется за жизнь!

Думаю, что опубликование сборника «Колымских рассказов» было бы ошибочным. Этот сборник не может принести читателям пользы, так как натуралистическая правдоподобность факта, которая в нем, несомненно, содержится, не равнозначна истинной, большой жизненной и художественной правде, которую читатель ждет от каждого художественного произведения.

Некоторые рассказы — «По снегу», «Стланик», «Геркулес», может быть, «Домино» — могли бы быть опубликованы в каком-либо сборнике рассказов разных авторов, но тоже при доработке. Но в них есть то «зерно», которое могло бы сделать эти вещи интересными и полезными. «По снегу» и «Стланик» — это миниатюры-аллегории о человеческой стойкости и упорстве, о необходимости идти вперед «Геркулес» — сатира на самодурство и подхалимаж. «Домино» — рассказ о человеческой доброте, о людях, которые стремятся быть гуманными по отношению к другим, помогать им, хоть чем-нибудь облегчая тяжести жизни.

И эти рассказы, конечно, не на «главной магистрали», но в соответствующем окружении, хорошо отредактированные, они, мне кажется, могли бы быть использованными

(Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 35–38. Публикация И. П. Сиротинской).

[7] Автор отзыва писатель Ф. Колунцев (псевдоним Тадэоса Бархударяна, 1923–1988) явно утрировал положения «Очерков преступного мира» В. Т. Шаламова, трактуя их как призыв к жестокой физической расправе с уголовным миром. На самом деле у Шаламова речь идет о создании в обществе атмосферы непримиримости к морали блатного мира и его «романтике».

[8] *Вальжан* Жан — герой романа В. Гюго «Отверженные», бывший каторжник, ставший способным на благородные поступки. Шаламов в своих «Очерках» не раз подчеркивает романтизированность и наивность этого образа (см. т. 2, с. 7, 97). Определение «битый фраер» никак не подходит к герою

В. Гюго. Очевидно, что Ф. Колунцев желал щегольнуть своими «познаниями» в уголовной лексике.

[9] *Луконин* Михаил Кузьмич (1918–1976) — поэт-фронтовик, с 1971 г. — секретарь правления Союза писателей СССР. Вероятно, при отклонении стихов Шаламова руководствовался прежде всего официальными установками.

[10] *Кашук* Юрий Иосифович (1937–1991) — известный владивостокский поэт. Альманах с таким названием в печать не выходил. Возможно, речь идет об «Антологии поэзии Дальнего Востока. 1917–1967» (Хабаровск, 1967), куда стихи Шаламова не вошли. Важно, что Ю. Кашук был ценителем творчества Шаламова.

ПИСЬМА В.Т. ШАЛАМОВА В ИЗДАТЕЛЬСТВО MIDDELHAUVE VERLAG, КЁЛЬН, ФРГ
(черновики, октябрь 1968 г.)

Уважаемый господин издатель!

Вами в 1967 г. издан на немецком языке сборник моих рассказов под заглавием «Artikel 58» с пометкой «Autorisierte Übersetzung»[1]. Между тем я Вам ни этих рассказов, ни права на издание их не давал и поэтому категорически протестую против допущенной Вами бесцеремонности.

Поскольку, однако, несмотря на сказанное, Вы книгу все же издали, то не будете ли Вы хотя бы любезны прислать мне как автору один-два экземпляра ее и перевести заодно авторский гонорар.

<Вариант>:

Сборника с названием «Артикль 58» у меня нет, но из оглавления вижу, что эти рассказы — мои. Хотя я этих рассказов не авторизовал, (Вы не имели права — зачерк. — *Ред.*), я выражаю протест против такого характера публикации. Прошу прислать экземпляр для ознакомления. Прошу также, если это полагается по законам Вашей страны, выслать гонорар по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 10, кв. 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

Черновые автографы (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 146).

Сведений об отправке этих писем (или телеграмм), как и о реакциях на них, не имеется. Подробности ситуации с попыт-

кой протеста В.Т. Шаламова против несанкционированного издания его «Колымских рассказов» в Германии см. в письме М. Н. Авербаха (наст. изд., т. 6, с. 628–629).

[1] «Авторизованный перевод» (нем.), т. е. перевод, одобренный автором.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».

Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность.

Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.

Я — честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.

Я — честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны.

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере, — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник.

Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма.

Я отдаю себе полный отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господа из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева. Многолетняя антисоветская практика журнала «Посев» и его издателей имеет совершенно ясное объяснение.

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.

И в прежние годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Все сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей. Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?

Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!

С уважением *Варлам Шаламов*
Москва
15 февраля 1972 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Опубликовано в «Литературной газете» 23 февраля 1972 г. Вызвало острую и противоречивую реакцию как в СССР, так и на Западе. Именно после появления этого письма А.И. Солженицын публично заявил, что «Шаламов умер» («Я в тех же днях откликнулся в самиздате и добавил в “Архипелаг”» — *Солженицын. А. И.* С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 168). Известный историк-эмигрант М. Геллер в польской газете «Культура», выходившей в Париже, тогда же заявил: «И вдруг Шаламов, проведший 20 лет в лагерях, не выдержал нового нажима и сломался, изменил себе» (Цит. по: *Геллер М.* Российские заметки. 1969–1979. М., 2000. С. 145). Ряд знакомых Шаламова, например, Б. Н. Лесняк и другие высказывали мнение, что писателя «заставили» написать это письмо. В то же время наиболее близко общавшиеся с Шаламовым в то время И. П. Сиротинская (см. ее воспоминания) и Ю. А. Шрейдер свидетельствовали об отсутствии какого-либо внешнего давления (ср: «Никто не вынуждал Шаламова писать это письмо. Это я утверждаю с его слов, сказанных спустя день-два после того, как письмо было

напечатано. Он вовсе не пытался оправдываться или жаловаться на вынужденные обстоятельства. Наоборот, он радовался, что ему удалось добиться этой публикации» — *Шрейдер Ю. В.* Шаламов о литературе//Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 229).

Свои мотивы обращения в «Литературную газету» сам Шаламов кратко объяснил в письме к литературоведу Л. И. Тимофееву от 29 февраля 1972 г. (наст. изд., т. 6, с. 575–576). Значительно более выразительна и красноречива публикуемая ниже запись из дневника Шаламова.

О ПИСЬМЕ В «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

(дневниковая запись)

Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому.

Я отлично знаю, что мне за любую мою «деятельность», в кавычках или без кавычек, ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не подписал, не написал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет — не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет. И совершенно разумно делает, ибо со своими проблемами я справлюсь сам.

Почему сделано это заявление? Мне надоело причисление меня к «человечеству», беспрерывная спекуляция моим именем: меня останавливают на улице, жмут руки и так далее. Если бы речь шла о газете «Таймс», я бы нашел особый язык, а для «Посева» не существует другого языка, как брань. Письмо мое так и написано, и другого «Посев» не заслуживает. Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе «Необращенный», написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам.

Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и, вообще, все — в границах языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

Оригинал записи: РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 125. Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 104–105. (Публикация И. П. Сиротинской).

Из архива писателя

ВЕЧЕРНИЕ БЕСЕДЫ

Фантастическая пьеса

НАБРОСКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЦЕН

Сцена 1

Камера Бутырской тюрьмы. МОК[1] № 95 или 96. Откидная койка, параша, окно, розовое небо рассветной Москвы.

Я: Делаю гимнастические движения, одинаковые на всех континентах, вдыхаю тюремный воздух с глубоким удовольствием. Одиночество — оптимальное состояние человека[2]. Для того чтобы продолжить род, чтобы человечество росло, нужен коллектив в пять человек. Это миллион уступок, миллион притирок, недостижимость любой цели. Конечно, человеческий род можно не продолжать, тогда в семье должно быть четыре человека.

Лучший коллектив для взаимной защиты — это двое. Но и двое — это счастье, удача, миллион взаимных уступок, пока не установится сносный режим. Если, разумеется, не определять сразу лидерство одного — при Тютчевском поединке любви[3].

Трое — это уже ад — блоки, взаимная борьба, уловки, весь темный мир страстей теряет управление. Двое — это тоже ад, но тут еще человек может выйти победителем, если он — лидер — и смирится с поражением, если он — ведомый.

Только в одиночестве свобода. Даже не свобода, а просто человеку легче одному дышать.

Воздух так разрежен. Запас духовного кислорода, не растраченного, не фальшивого, а подлинного, так невелик, что только одному и надышаться. Да даже и один он

дышит тяжело — похож на рыбину, бьющуюся на песке, на жабры трепещущие, на складку губ вроде трубача.

Истин, которыми можно дышать, на свете почти не осталось.

Конечно, это одиночество может превратиться и в двойку. Двойка ведь самая таинственная цифра нашей арабской десятки. Век кибернетики основывается на двоичной системе. Веку кибернетики свойственна двойка; двойка, а не единица. Поэтому в оптимальном состоянии человека-трубача-рыбы ему возможно и даже свойственно пользоваться двоичной системой, <нрзб> другим знаком бога. И не важно, будет ли этот бог единицей, а человек нулем, или бог будет нулем, а человек — единицей. Состояние его все еще оптимально ли? Схимник, аскет — это люди, которым нужна двоичная система, не имеющие оптимальности одиночества, когда главное — никого не учить, никого не посылать в Освенцим или на Колыму.

Надзиратель входит с миской супа под резкий звон двойного поворота ключа.

— А если бог умер?

— Да, если бог действительно умер, то моя камера — это образ вечной свободы. И лучшего я не буду иметь в жизни.

— Вы, кажется, Адамсон[4], комендант нашей тюрьмы?

Надзиратель: Я вовсе не Адамсон. Я самый простой надзиратель. Адамсон, как и писатель Тургенев — читали такого, не любит разговоров о смысле жизни, о боге и не мог бы задать Вам вопрос о мертвом боге. Адамсон не Ницше, не Керкегор.

Я: Почему Вы называете меня на «Вы»?

Надзиратель: Потому что еще не пришел час называть тебя на «ты» (Вариант: Потому что время еще не пришло. Выносите парашу!)

Я: Америка не понимает нас. Вернее, не хочет понять. Разве можно хвалить дочь палача, который оставил кровавые следы не только на Колыме, не только в каждой области деятельности государства, но в душах каждого, душа которого растлена. Светлане Сталиной[5] при ее судьбе место только в монастыре. Америке не нужны праведники. Ей нужны раскаявшиеся грешники. Вот формула разгадки. И не потому, что раскаявшиеся грешники больше знают из тактической кухни великих преступлений двадцатых <годов> и могут об этом свиде-

тельствовать на форуме, просто грешник чувствует себя обласканным, благодарно, верно ему служит. Есть тут и другой расчет. Праведник и так будет праведником, будет сражаться из-за чести. Подкупать его не надо, даже опасно. А вот изменника, если ему доплачивать — а чем дороже, тем он ценнее, тем больше получается рекламы. Праведники даже опасны. Все праведники люди капризные, не могут хорошо разбираться в системе мер и весов, не умеют ярды переводить на метры в уме.

Их зовут романтиками, идеалистами. Судьба их обманывает во всех странах. Праведник — это интернациональное понятие.

Надзиратель: Это верно — их много прошло через мой корпус. <Ну, что же> делать.

Я: Не знаю. Умерли где-нибудь в ссылках.

Надзиратель: А Савинков был праведником?

Я: Конечно, самым типичным[6].

Надзиратель: А Толстой?

Я: Нет. Толстой был делец, изображавший праведника, циник и нахал, который лез судить в делах, которых он вовсе не понимал.

Русский народ — народ дальних целей, дальних сроков, дальних перспектив. Его учат жить по законам массовой статистики, но особенность массовой статистики в том, что каждый отдельный личный случай не повторяет ничего, похож только на самого себя и ничему не учит. В законах массовой статистики нет места Нагорной проповеди, нет места Блоку. Внешняя свобода — свобода ходить на собственной голове — но только на собственной, на своей, а не на чужой, не на голове ближнего своего. Русский народ привык жить будущим, но не настоящим. Настоящее для русских всегда определяется как времена, которые нужно перетерпеть, пережить. В первые годы революции была попытка отказаться от национальных целей, смешать национальную перспективу, начав с быта. Из этого ничего не вышло — кроме, кроме...

Надзиратель: В чем разница между современным подпольем — ведь оно существует, и, скажем, подпольем двадцатых годов.

Я: Неужели Вы не знаете? А все эти микрофоны, техника. Разве у вас ее нет?

Надзиратель: Есть, но немногим более, чем в московских квартирах. Мы тут, как лешие живем, как в монастыре, Би-Би-Си не слушаем.

Я: Тогда объясню Вам. Подполье Москвы в двадцатые годы, троцкисты, левые и правые, строили свою работу на принципе дореволюционных понятий. Вполне догматически пользуясь наследием народовольцев.

Если бы Солженицын был троцкистом, он никогда не получил бы Нобелевской премии, никогда не пользовался бы поддержкой Би-Би-Си. Вся штука в том, что он безупречный служака, советский офицер военного времени, имеющий награды. Эти-то награды и беспорочность и привлекают филантропов-политиков[7]. Талант у Солженицына более чем средний, на сто процентов — традиционный, плоть от плоти социалистического реализма. Это-то и привлекает Би-Би-Си <...> Такая в сущности легковесная демагогия, критика в кавычках, напор есть в его повести и рассказах. <...> Так же и подавалось: «Советский офицер, которому не дают сказать слова». Так это и было на самом деле. Солженицын — футбольный мяч, который перепасовывают два форварда Би-Би-Си. Солженицын — не вратарь, не защитник и не форвард, не капитан команды. Он — мяч.

Так что его и сажать не за что — и в романах его нет ничего криминального. Это-то и придает особо выгодную позицию этому футбольному мячу. Пастернак был гений. О нем можно было спорить. Это честь интеллигенции русской, совесть русской интеллигенции. От Солженицына не ждут таких молитв, рецептов и откровений. Он это понимает, потому и не судит на симпозиумах. Нормы поведения ему дают его друзья. Форма его — самая традиционная.

Надзиратель: Нет формы — нет писателя.

Я: Приятно слышать такое от тюремного надзирателя. Это большой сдвиг психологии работников пенитенциарных заведений.

Я: Видите, надзиратель. Кристальность прозы «Детства Люверс»[8] много превосходит рыхлые периоды «Доктора Живаго», всю хаотичность, неслаженность в бешеной спешке написания романа.

Надзиратель: Я в этом мало понимаю.

Я: Как?! Разве вас не учат предмету, о котором вы судите. Раньше это делалось иначе, и какой-нибудь Агранов[9] легально цитировал и Блока, и Белого, и Хлебникова, и Бальмонта. Отличал строку Кузмина от строки Мандельштама. Да, в следующем чекистском поколении принято было цитировать Гумилёва и вздыхать.

Каждый поэт погибает. Хотя — если сказать Вам по секрету — Гумилёв не был таким уж большим поэтом.

Надзиратель: Или Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому, что мне темно с другими.

Я: Вот-вот. Значит и Вы — просвещенный сотрудник. Как же Вы могли одобрительно отнестись к «Доктору Живаго»? Ведь это — «сырьевой склад», где нет никакой тайны, где все метафоры еще не прошли отбор, не вошли в языковой строй. Для потока сознания там уже проведена некоторая работа чернового характера, что не дает потоку вырваться на свободу. Поток уже загнан в схему, в клетку традиций, обуздан. Момент уже упущен. У событий романа искусственные берега. «Доктор Живаго» — простой склад сырья. Склад литературный, философский, исторический. Вот что значит спешка.

Надзиратель: А почему Вы считаете, что тут была спешка?

Я: Эта спешка началась тогда, когда план романа был уже обдуман, его лицо.

Сцена 2

Я: Поговорим о Достоевском, надзиратель!

Надзиратель: Ну, что же! Достоевский слишком многое угадал, слишком многое предсказал, чтобы мы могли пройти мимо этого единственного русского пророка, чьи предсказания мы можем оценить исчерпывающе. Только не смотрите на меня как на надзирателя. Смотрите на меня как на члена Союза Писателей или еще лучше Композиторов.

Я: Я вовсе и не думал, что Ваша маска, Ваша роль, Ваша форма — все это предмет какой<-нибудь> аналогии, подтекста. Я обращаюсь к Вам как к человеку, а не как к члену Союза Писателей. И мертвого бога Вы заменить мне не можете. Так что насчет Достоевского я буду с Вами вполне откровенен.

Видите <ли>, гражданин надзиратель, Достоевский предсказал крах русского гуманизма. Пришло все, о чем говорил Шигалев[10]. Я сам старый фурьерист, гражда-

нин надзиратель, и могу судить несколько пристрастно. Душу русского народа объясняли и психологической подготовкой Запада к встрече с русской душой — с ее взлетами и падениями, абсолютной не нацеленностью. Запад ждал новую Россию по Достоевскому и был психологически подготовлен отразить нападение. Поэтому-то Запад и спасся еще после Первой мировой войны. А 12 миллионов перемещенных после Второй мировой войны подтвердили все пророчества Достоевского и поэтому — уцелел. Уцелела его религия, обрядность, права, семья.

Русская душа была понята на Западе. Сильный барьер атомной бомбы, грозящий уничтожению человечества навсегда, — реальный поезд к концу света — переведен в инженерный язык абсолютных научных реальностей. Вот чем был конец революционной воли. И то, что в Москве продают Чернышевского за 5 копеек, все это свидетельствует о том, что мир переводит дух, чтобы обдумать дальнейшее направление нравственности, мысли, идеи. Положительная сторона произведений Достоевского — народная вера, Христос были чепухой. Достоевский недаром самый антирелигиозный русский писатель. Писатель, который может учить Толстого безверию. Его знаменитый софизм о том, что бог потому-то и существует, что миром правит зло, — софизм не больше[11]. Не дороже, чем известный постулат Эпикура о том, что смерти нет, пока мы живем.

Современная мысль Достоевского не выше, не ценнее эпикурейского старания. Разумного начала в мире нет — все остальное лишь игра ума вокруг одних и тех же роковых вопросов. Отвечать, что бог есть именно потому, что в мире правит зло — это слишком цинично даже для меня. Одно можно сказать твердо, если вспомнить последние пятьдесят лет. Достоевский остановил революцию. XIX в. был крахом русской гуманистической литературы, которая от Некрасова до Толстого звала к совершенству, к воспитанию, к высшей цели, «от ликующих, праздно болтающих»[12]. Так говорил кумир русской провинции. Русская классическая литература привела к краху революционной ситуации, где все было названо своими именами. Содрогнулся весь мир и не развалился. В том, что он не развалился, немалую [роль] сыграл Достоевский. Ведь в двадцатые годы мировая революция считалась вопросом завтрашнего дня. Так все себя и готовили, кто хотел принять участие в строи-

тельстве нового мира. Была поговорка: мировая революция от этого не пострадает — ведь это было бытом. Но после сталинских казней, концлагерей и террора, убийств своих товарищей, страшного растления человеческих душ выяснилось, что о мировой революции никто и не думает. А тех, кто думал — только думал, но не говорил, не проповедовал, — Сталин просто расстрелял, сделав тем самым капитализм вечным.

<...> А в 1945 году Вы[13] уже договорились со Сталиным и стали официальным русским классиком. А я совсем тогда этого не думал. И при своей склонности к левизне, к духовному сопротивлению, облек именно в такую форму. Все сказанное в бараке было доведено до начальства, и я был арестован и осужден судом в суде, приговорен тюрьмой к тюрьме, к лагерю в лагере! Значит Вы не вернулись в Россию после войны, когда возвращали всех антисемитов, всех монархистов вроде Игнатьева, Коненкова, Куприна. Значит, Вы не вернулись. Не успели так скоро оформить. Поблагодарите бога, что написали «Чистый понедельник». И остались ждать давней милости за границей.

Бунин: А что «Чистый понедельник». Это хороший рассказ.

Я: Это эротический старческий рассказ. Ваш опыт приводит Вас в архив — мертвый лев — Вы стали живым классиком. Впрочем львом Вы не были никогда, Бунин, если уж речь идет о царстве зверей. Шакал самое большее. А почему Вы здесь? Как сюда попали?

Бунин: В камере вызвали. Кричат: Бунин! Кто Бунин! Я и отозвался — и...

Я: Не надо было отзываться.

Бунин: Честь имею.

Я: Давай следующего.

Надзиратель выводит *Бунина*, оставляя открытой дверь, за которой слышатся пререкания на русском языке.

Надзиратель: Ведь за последние тридцать лет все нобелевцы — русская целая бригада. Вот и, кажется, все. Как ты не оглох и все-таки не ошибка! Действительно, все русские и русские — Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Целая русская бригада.

Я: А Сартр!?

Надзиратель: Сартра не привели.

Я: Без Сартра этот список будет не полон[14]. Главным образом из-за его этого, как говорят, экзистенциализма. Повторите.

Надзиратель: Экзистенциализма.

Я: Правильно. И заодно веди сюда Ахматову — из женских камер. Она тоже какую-то награду получила в этом нобелевском царстве.

Надзиратель: Таормино, что ли?[15]

Я: Вот-вот. Таормино. Пошли кого-нибудь за ней, а сам давай следующего.

Надзиратель: Пастернак!

Пастернак (*прихрамывает*): Борис Леонидович, 1890 года рождения, срока наказания не знаю, не объявлен.

Я (*надзирателю*): Посмотри там в списке.

Надзиратель (*порывшись в истрепанном списке на папиросной бумаге*): Бессмертие, вечность.

Я (*резко*): За стихи или за прозу.

Пастернак: Не знаю сам.

Я (*надзирателю*): Хорошо это или плохо — такой срок.

Надзиратель: По-моему, хорошо.

Я: А по-моему, плохо. Впрочем, вечная каторга, например, была только литературным термином. Каторга более двадцати лет царского правительства. У обывателей этот двадцатилетний срок и назывался вечным. Тут есть манерность, литературность, жеманность, кокетство, впрочем, свойственные девятнадцатому веку.

Надзиратель: В двадцатом веке тоже стали давать вечную ссылку. Что из этого получилось? Вечность — временное понятие.

Я: Ну, все-таки вечность или не вечность у Пастернака даже в сталинском понимании предмета, даже в терминах каторги царской.

Надзиратель (*снова указывает пальцем на истрепанный список*):

— Тут напечатано: вечность.

Я: А может быть, ты перепутал список, конвоир его смял, и вечность относится к соседу — к Шолохову.

Надзиратель: К Шолохову это относиться не может.

Я: Почему?

Надзиратель: Потому что Шолохов — это кандидатура.

Я: А к Солженицыну?

Надзиратель: Потому что Солженицын (*шепчет что-то на ухо*).

Я: Вполне разумно. Значит вечность — только Пастернаку. Вы извините меня, Борис Леонидович, за задержку.

Пастернак: Пожалуйста, пожалуйста.

Я: Надо же было все же уточнить, что скрывалось за Вашим отказом от премии, которая дается за бессмертие. От бессмертия не избавиться, даже если срок не объявлен.

Пастернак: Да, да, но я, право, не знаю.

Я: А что Вы хромаете? Вас били на допросе?

Пастернак: Пальцем меня никто не тронул. Я же писал об этом подробное показание, что корова наступила мне на ногу в детстве, избавив меня от рекрутчины.

Я: Да, действительно, было что-то такое.

Пастернак: Да-да, было, было, Вы знаете...

Я: Закройте дверь! (*Захлопывает сам.*) Вы гений?

Пастернак: Гений.

Я: Ну, вот все в порядке. Самое главное признание сделано.

Я:

Всю жизнь я быть хотел, как все.
Но мир в своей красе
Не слушал моего нытья.
И быть хотел, как я?

— Это Вы написали?

Пастернак: Я — в 1922 году[16].

Я: А это: <...>

Пастернак: Это тоже в 1942 году.

Я: Как же это Вы так?

Пастернак: Поместилось.

Я: А еврейского поэта Альперта[17] Вы перевели?

Пастернак: Я.

Я: За это могут скинуть балл.

Пастернак: А при чем тут я? Что давали в Гослите, то я и переводил с величайшим равнодушием — высшей формой демократизма.

Я: Или воспитанности.

Пастернак: Переводческая машина — это мельница, которая мелет все, что в нее подкладывают. Альперт был не худшим поэтом из наихудших. Вообще это ведь все не важно — нужно русское стихотворение, полноценное стихотворение на русском языке. Я всегда был против буквализма, и мало что осталось от Шекспира, от Гёте, от Шиллера. Все переводил — от Альперта до Шекспира.

Я: Шекспир тут проигрывает, а Альперт выигрывает.

Пастернак: Может, и Шекспир не проигрывает. Сравнение дело вкуса.

Я: Как Вы смотрите, чтобы валюта Вашей Нобелевской премии попала бы в московские магазины? Как Вы смотрите на попытку получить Вашу премию — Вашим наследникам — сыновьям? Почему к этому сонму причислена Ивинская[18], я не знаю, суть не в этом.

Пастернак: Да-да, дело именно в том, что... Пусть получают, мне-то что? Я в могиле и, как Стравинский[19], не интересуюсь надгробным венком.

Я: Ваше литературное наследство. Тут и, впрочем, есть своя специфика, своя принципиальная сторона.

Как Вы смотрите на то, что нарушили Вашу авторскую волю в отказе от премии. Я обращаюсь за официальным разъяснением к Вам потому, что при Вашей жизни Вы принципиально отказались. Архивная энергия останавливает в то же время последнюю авторскую волю. Эту мысль Вы развивали и в первом письме ко мне, что, дескать, Вам дорог только тот вариант текста, который последний. Это Ваша принципиальная позиция, которую Вы выдерживали, а в подготовке таки избрали <нрзб> последнего сборника, который Вы составляли лично. Стихотворный текст испытал самые разрушительные последствия, неуклонное, принципиальное применение авторской воли. К счастью издатели «Библиотеки поэта» не согласились с этим авторским старческим бредом и, поскольку Вы лежали уже в могиле, — спасли для России стихи Пастернака[20].

Понимаете, ранний Пастернак один, а поздний — другой. Хотелось бы, чтоб Россия сохранила и стихи, и прозу в лучшем виде. В сборниках «На ранних поездах» и «Когда разгуляется» есть много отличных находок, больших и малых поэтических открытий. Но «Сестра моя жизнь» была открытием нового мира. Так и запомнилась чистота. Разрушать этот канон собственноручно — оплошность. Это хуже, чем правил Тургенев Тютчева[21].

Пастернак: Я всегда считал Тургеневский текст каноническим. Ведь эту правку Тютчев видел при жизни.

Я: На самом деле потери очень велики. В Вашем же случае никто из поэтов, шедших за Вами со времени «Сестры моей жизни». А во «Втором рождении» никаких особенных загадок нет. Не пошел на известные превратности опрощения. От мудрой простоты к просто ослабевшему таланту.

Пастернак: Я не считал свой талант ослабевшим. Я же читал Вам стихи из романа. Умолял сказать, хуже ли они прежних, той же «Сестры моей жизни».

Я: Вы поставили передо мной трудную задачу. Сейчас я Вам отвечу, а пока подождите минуту.

Стучу в кормушку, и *Надзиратель* открывает крышку кормушки. Показывается лицо *Надзирателя.*

Я: Бунина еще не увели?

Надзиратель: Здесь еще. Делает гимнастику.

Бунин входит, щелкая каблуками, вытягивается у двери.

Я: Бунин, прочти свой стишок о смерти Чехова. «Художник», кажется, называется[22].

Бунин: Я не помню наизусть.

Я: То, что ты не помнишь, может происходить: или стихи плохие, или ты читал их так редко, что не выработался автоматизм чтения наизусть. Поверим во второе. Но содержание ты, конечно, помнишь.

Бунин: Помню.

Я: И я помню. Стихи не помню, а содержание помню. Там о художнике, который разглядывает чужие похороны, не зная, что и сам скоро умрет, не теряя поэтического зрения до смерти. Такая там мысль, Бунин?

Бунин: Такая.

Я: Хорошо. Ты написал прозу о прозаике. В твоем стихотворении нет ничего от поэзии — это сухая прозаическая статья. Теперь послушай, как пишет поэт о поэте, художник о смерти другого художника. Если речь о поэзии, а не прозе. Борис Пастернак прочтет «Смерть поэта».

Не верили — считали бредни,
Но узнавали от двоих,
Равнялись в строку...
Стояли, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Понимаешь, в чем разница. В самом следовании за этим звуковым тоном. Там и мысли, и чувств найдешь в миллион раз больше. Вот чего ты не мог никогда понять, Бунин.

Равнялись в строку
Остановившегося срока[23]

— Длинную жизнь ты прожил, Бунин, а так и не мог понять, как пишут стихи. Иди.

Надзиратель выводит *Бунина*.

Солженицын. Сцена.

Солженицын (*закрывая дверь*): Я хочу сделать Вам признание. Как на духу.

Я: Здесь подходящее место для исповеди. Всякая исповедь — тюрьма. И всякая тюрьма — исповедальня. Я — весь внимание.

Солженицын: Я хочу посоветоваться с Вами.

Я: О чем? О словаре Даля? Словарь Даля — это Ваше самое сильное место. Или о «Вставной новелле»[24] в Ваш будущий роман.

Я: Это Вы написали, что в лагерной тематике есть все возможности для создания комедии, гротеска, бурлеска, юмора — что у шутки нет границ, нет пределов, нет запретных областей?

Солженицын: Да, я так думаю. После того как мы поговорили серьезно о лагере — можно и пошутить — ведь во всем есть своя юмористическая, смешная сторона. Всему свое место — и серьезности.

Я: Совершенно с Вами не согласен. Более того, считаю кощунственным такой взгляд. Это потому, что [Вы] не видели в лагере ничего. Лагерь прошел мимо Вас. Не тема для шутки, для юморески. В печи Освенцима и забои Колымы с шуткой не войдешь. Эта тема вне юмора. Кощунственно представить себе, что может быть блюз «Освенцим» или вальс «Серпантинка».

Тема вне юмора. Вот почему таким преступлением было, что Вы, получив 500 писем по поводу повести, взялись отвечать на них от имени лагерников — не зная лагеря, не умея его понять. Это — главный грех Ваш[25]. В нем Вы пришли исповедаться? Раскаяния Вашего я не приму, ибо и раскаяние будет раскаянием дельца, конъюнктурщика. Изображать бригадира как героя — тогда, как это убийца в лагере. Но что-то в «Иване Денисовиче» нет правды, и эта повесть — худшая ложь о лагере.

Солженицын: Я не этим <нрзб>. Другое у меня на душе.

Я: Что же? До сих пор по литературным вопросам Вы говорили что-то не то, больше отмалчивались, отделывались от разговора, подходили к каждой угрозе как делец.

Солженицын: После длительных лет обучения, изучений программ ИФЛИ и общей литературной ситуации, после бесконечных ответов я, кажется, понял, как

изображать нравящихся публике героев. Праведников рисовал. Эти пути показаны давно — Толстым, например, да и всем советским реализмом в целом. Этот подражательный опыт был очень удачен. Выяснилось, что читатель только и ждет праведников. Или такого <нрзб> обличения, как, например, в романе Дудинцева. Нужен такой примитивный узор, такие примитивные средства, чтобы вещь была понята и широко доступна. Вот главная моя удача. Я научился изображать каноническим способом канонического русского героя. Все, как в романах Фейхтвангера, — одни и те же максимы, ситуации, пресловутые характеры — все это я легко выдаю на гора. И все это имеет успех. Читательские требования в сущности очень невысоки. И я рассудил: зачем же рисковать, пускаться в какие-то литературные авантюры, формальные поиски, когда я овладел надежным способом, традиционным конфликтом традиционных героев из народа, из крестьян — все это целиком из Толстого — но разве это грех.

Мне кажется, что мой способ — безошибочен. И вот еще почему. Появилось главное явление в жизни — новый характер. Я его изображу каноническим способом, но не пропущу как тип. В какой-то мере я более иллюстрировал. Пусть. Мне не по душе все эти модернизмы.

Я: Писатель, мне кажется, смотреть так не может. Для писателя главное новизна — формы, идеи.

Пилка дров. Сцена №

Надзиратель: Вот вам две пилы двуручные и будете пилить дрова. Ведь надо жечь сердца людей. Берите, Бунин с Пастернаком.

Бунин: Я не буду пилить с модернистом.

Пастернак: Я не буду пилить с антисемитом[26].

Шолохов: Я не буду пилить с исключенным членом Союза Писателей.

Солженицын: Я не буду пилить с членом Союза Писателей.

Надзиратель: Да почему вы не хотите пилить вместе? Ведь вы же все одинаковые писатели. Польза одинаковая и тем же методом социалистического реализма. Оба вы — плоть от плоти этого метода с его заданностью, догматичностью. Оба вы Нобелевские лауреаты. Ну, отпилите чурки по две и ступайте домой жрать.

Солженицын: Пожалуй, попробую.

Шолохов: А я не хочу. В двадцатые годы с такими молодчиками знаете, что делали.

Надзиратель: Ну, тише! Бери пилу у Бунина и марш в лес.

Бунин: Я не хочу с Шолоховым.

Надзиратель: А кто хочет? Но ведь ты же лауреат. Какие-нибудь уступки должен делать. Шолохов тебя заставит пилу водить, как следует.

Бунин: Я давно обучен. Еще во Франции до Нобелевской премии. И могу успокоить вас (*на ухо Шолохову*): я будущий член Союза Писателей.

Надзиратель: Ну, марш! Там поговорите, кто писал первую часть «Тихого Дона». Выясните эту темную историю окончательно.

Шолохов: Тогда другое дело.

Солженицын: Я не хочу пилить с модернистом.

Пастернак: Да я давно не модернист — собираю всякий небось да авось, обсасываю словарь Даля.

Солженицын: Тогда другое дело. Опростился — вот моя рука. Поклянись по-блатному, что ты не модернист.

Пастернак: Блядь буду, не модернист.

Солженицын: А если ты — тайный агент модернизма, впавший в маразм? Ведь ты отказался от премии — что это как не маразм? Можно ли подавать руку после этого отказа?

Пастернак: Блядь буду, можно.

Солженицын: А откуда научился божиться по-ростовски?

Берет пилу и уходит.

Пастернак (*внезапно останавливается*): А пила разведена?

Солженицын: Разведена, разведена. Как говорил мой бывший знакомый писатель Шаламов: высшее образование — достаточная гарантия для умения разводить пилу. А Вы ведь учились, кажется?

Пастернак: Да, в Москве, а потом — в Марбурге. Это в Германии город такой.

Солженицын: Я знаю. Я был там во время войны.

Пастернак: Как Ломоносов?

Солженицын: Нет, не как Ломоносов, а как советский артиллерист.

Пастернак: А Вы где учились?

Солженицын: Я учился в Ростове. Шолоховский земляк. Только он меня признавать не хочет. Я математик. Но понял, что математика для социалистического реализма последнее дело, я учился и успешно окончил заочное ИФЛИ еще до войны. Поэтому все заветы Белинского и Чернышевского храню как зеницу ока и разбираюсь в частях речи и отличаю вставную новеллу от обыкновенной.

Пастернак: Вот об этих новеллах и частях речи у меня очень приблизительное представление. В Марбурге нас, понимаете, этому не учили. Но это, разумеется, не должно служить препятствием для пилки дров. Я, знаете, в Переделкине всегда для моциона.

Солженицын: Ну, вот и отлично. А меня учили в лагере.

Надзиратель: Вот тут и складывайте, около вышки. А на того парня не смотрите — ему все равно в карцере сидеть.

Бунин. Сцена №

Надзиратель (*открывая камеру*): Лауреатов пригнали.

Я: Ну, давай их по одному.

Надзиратель (*распахивая дверь камеры*): Видал, только Нобелевские лауреаты. (*По списку*): Бунин!

Бунин (*щелкая каблуками*): Иван Алексеевич!

Надзиратель: Давай!

Бунин входит в камеру. Дверь захлопывается.

Я: Почему в генеральском мундире, Бунин? Ведь кажется...

Бунин: Это ваше правительство наградило меня этим чином, возвело, так сказать.

Я: Я и не рассмотрел сразу, что у Вас советского стиля генеральский мундир, кажется. И действительно, а не петлицы времен Троцкого. Что у Вас не шлем, а кэпи для танкиста. Простите меня, Бунин, за недогляд.

Бунин: Да это Сталин помог мне прийти в себя. Я сразу увидел, что мундир спасет Россию, и признал, так сказать, духовное поражение России в этом мундирном споре.

Я: Но дело, в общем, не в мундире, а в чине.

Бунин: Ну, чин это уже Ваши <нрзб> между генералами-фельдмаршалами. Пригласили меня на Родину. Хотя я считал эти чины и форму своей победой над Россией, а рыжий (Сталин в рукописи зачеркнуто. — *Ред.*) считает, что это он победил завоевателей этой формой, чинами. Вот рядочком прямиком маршем на Берлин.

Я: А в писательском звании?

Бунин: Спасибо, что генеральское звание дал. Мы победили в своей тяжкой войне против Советского Союза. Писатель я, как Вы знаете, самолюбивый.

Я: Еще бы. А знаете, Бунин, в 1943 году меня судили на Колыме за Вас, за Ваше имя. Я в бараке сказал, что Вы — русский классик, — и мне дали десять лет за клевету на Советскую власть[27].

<...>

Икс: У нас много мертвецов, погибших в Гражданскую войну. Если сгрести все эти трупы в одну яму и засыпать землей и поставить им крест или обелиск — по желанию. Оглянувшись назад надо видеть тень. Все, что попадает в тень этого обелиска, надо исследовать, изучить, устранить. Повторяю, чтоб одни и те же причины не рождали одинаковых смертей. Тут, быть может, будут ошибки. Скажем, Герцен. Надо ли исключать это имя?

Прогрессивное человечество состоит из двух категорий лиц: шантажистов и провокаторов. К кому Вы относите Григорьева?[28] Есть еще третья категория — дураки, но дураков на земле мало.

История болезни. Дни роковой болезни, рокового протокола существу.

Осиновый кол. Сцена №

Я: В чем тайна наших мертвецов, надзиратель? Мертвецов миллионы — цифры XX века. Хиросима, Берлинская операция — сотни тысяч убитых. Миллионы же сожжены в печах Освенцима, загублены в золотых разрезах Колымы — Освенцима без печей. Я, уцелевший, на этой могильной яме воздвигну монумент — крест или обелиск — я еще не решил. Осиновый кол во всяком случае. Я хочу оглянуться на прошлое стоя, как Вы понимаете, очень близко к этому кресту — ведь я один из воскресших и вылезших из ямы — и если я гля-

жу назад, то в тень креста попадает побольше имен, событий, людей и идей, чем у человека, шагнувшего в сторону от креста — в пространстве или во времени.

Это все равно, надзиратель?

Надзиратель: Все равно.

Я: Я гляжу назад от креста, в прошлое, и ищу имена, которые могли привести человечество к такой крови, к таким массовым убийствам. В списке имен, попавших в эту смертельную тень, есть не только политики, не только идеологи. Политика проще всего осудить. В списке стоят и Чернышевский, и Белинский, и Толстой, и Гоголь, и Спиноза. Вся русская классическая литература, проповедующая гуманизм и человеколюбие, стоит в этом списке. Некрасов попадает туда наверняка.

Надзиратель: А Герцен?

Я: В том-то вся и хитрость, надзиратель. Герцен обязательно попадает. Двадцатый век так ужасен, что не знаешь, как рубить, по какому рубцу разделяются добро и зло.

До революции все было очень просто. Для Блока все было еще очень просто. Царь, осуждение Романовых — трехсотлетний род — вот на чем были сосредоточены усилия всего общества. Два ответа. А нормальный человек не может вынести многословных ответов. Требует примитива. Да — нет. Нравственность любая может быть построена только на да и нет. События после революции. Главные враги победивших — это их товарищи, а не дворянство, не царь, не темные силы деревни. Свои же товарищи по совместной вековой борьбе. Эти товарищи и были уничтожены в первую очередь. Вот тайна наших могил.

Сцена 3. Либидо

Надзиратель (*открывая кормушку камеры*): К Вам тут посетитель.

Я: Разве сегодня четверг?

Надзиратель: Кажется.

Я: Ну, давайте.

Надзиратель отпирает дверь двойным поворотом ключа и в камеру, улыбаясь, втискивается *Крушельницкий*[29] в белом больничном халате, сияя от предстоящего свидания.

Крушельницкий: Но я к Вам не за этим. У меня дело деликатного свойства.

Я: О месте поэта в рабочем строю?

Крушельницкий: Почти. Вот видите, когда я уезжал в связи с этой историей.

Я: А говорили, что Вас арестовали, месяц допрашивали.

Крушельницкий: Клевета, Оксмановская[30] клевета. Я уезжал на месяц в Ленинград. Отдохнуть. Понимаете? У меня счета из гостиницы есть.

Я: Ну, роль счетов из гостиницы как оправдательных документов была исследована во время разборки дела Азефа в 1906 году, если не ошибаюсь, в Париже.

Крушельницкий: Да, что-то так. Я ведь тоже историк освободительного движения. Короленко, как Вы знаете. Так что прихватываю и Народную волю, и эсеров, и самую революцию. Но сейчас у меня не архивный вопрос, а самый животрепещущий, если и подпольный, секретный, то больше касается медицины, чем политики. Вернее, касается и медицины, и политики одновременно. Вот почему я хочу посоветоваться именно с Вами. При Вашей квалификации, Вашем всестороннем специфическом опыте Вы можете поставить диагноз полнее всех врачей прошлого, настоящего и будущего. Может быть, был подобный случай. Может быть, сами пережили. Хочу получить авторитетную консультацию.

Я: В чем же дело? Рад служить Вам как специалист.

Крушельницкий: После этой истории меня ведь допрашивали четыре раза. Я, знаете, все, все рассказал... Пусть знают, что настроения мои разделяет вся Россия.

Я: Что же, Вам грозили чем-нибудь.

Крушельницкий: Нет, никто мне не грозил. Просто мне показали дело, копии всех моих писем, которые я посылал в Париж. Рассказал, кто взял эти парижские адреса. Вам ведь я тоже давал, но категорически отказались. Это я все рассказал, и Вас похвалили там.

Я: Вот спасибо.

Крушельницкий: Теперь эти все — и Смирнов, Бабочкин говорят, что я провокатор. А Оксман говорит, что я осведомитель. Я его привлеку к партийному суду и суду чести. Всех притяну, не щадя пола и возраста.

Я уже писал Солженицыну. И получил ответ. Солженицын не верит клевете. Солженицын за меня. А Чуковский и Оксман против меня. Они-то и пустили этот слух, что я провалившийся осведомитель.

Я: Я никак не пойму, от меня-то какого совета Вы ждете? Мнения какого, что ли, о всей этой истории, слова.

Крушельницкий: Нет, не мнения. Ваше отрицательное мнение мне давно известно.

Я: Так в чем же дело? Зачем Вы здесь?

Крушельницкий: Я хочу посоветоваться по одному секретному <вопросу>. С одной стороны — бытовому, с другой — медицинскому, с третьей — психологическому, с четвертой — общественному, даже политическому.

Я: Порнографические карточки Вы, что ли, продаете, секретные карточки парижских изданий?

Крушельницкий: Нет, не порнографические карточки. Но в этом роде. Закроем-ка дверь и перейдем на полушепот.

Я: Ну, что же.

Крушельницкий: Могу я говорить с Вами как мужчина с мужчиной?

Я: Конечно.

Крушельницкий: Видите, в Ленинграде я почувствовал, что потерял половую потенцию. Прошел целый месяц этого проклятого отдыха — никак не возвращается. Приехал в Москву — то же самое. Что мне делать? Ведь я человек еще молодой.

Я: Чувствуете, как будто Вас употребили в задний проход?

Крушельницкий: Да, да. Потерял либидо.

Я: Вы бы по поводу либидо обратились к Вашему знакомому Солженицыну. Он написал целый роман, где подробно исследует этот вопрос в сходной ситуации. Объявил даже, что опросил по вопросу либидо специалиста — и все эти показания записал либо в <отчеты>, либо на магнитофон, либо в <...>. По особой изобретательности или <...> прямота свидетельских показаний для романа — исключительна в процессе создания большого реалистического полотна в стиле Льва Толстого или Мартена дю Гара. Вот так в этой переписке, <...> подтвердилась эта прямота с помощью вычислительной машины, и Ваше важное свидетельство найдет себе место.

Я: Я-то тут причем.

Крушельницкий: Я, видите ли, думал, что Ваш личный опыт. Что Вы встречали, лечили подобное.

Я: Тут Вы не ошиблись. Встречал и лечил. Случаев, подобных Вашему, было несть числа в тридцать седьмом и в тридцать восьмом году. В следственной камере Бутырок, например, либидо было угнетено, как и в Вашем

случае, безвозвратно, с тем же ощущением в заднем проходе.

Крушельницкий: Вот об этом я и думал. Значит, восстановится либидо, вернется? Ведь я человек молодой и терять половую способность из-за какого-то парижского гада — было слишком обидно в мои пятьдесят пять лет.

Я: И архив Короленко еще не прочитан. Я думаю, вернется Ваше либидо.

Крушельницкий: Ну, спасибо, что Вы меня так поддержали, поняли мое тело и душу.

Я: Ну, тут главным образом речь идет насчет тела.

Крушельницкий: Не скажите.

Конец.

Я: Как видите, тюрьма не просто нормальное состояние человека, а именно оптимальное, наилучшее.

Надзиратель: Пожалуй. <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

Автограф — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 100, л. 1–104. Подготовка текста — С. Ю. Агишев, В. В. Есипов.

Одно из поздних незаконченных произведений Шаламова, датируемое примерно серединой 1970-х годов. Жанр «фантастической пьесы» не случаен в выборе сюжета этого произведения — в попытке столкнуть в едином месте и времени, в тюремно-лагерной обстановке, всю, по словам Шаламова, «русскую бригаду» лауреатов Нобелевской премии — И. А. Бунина, Б. Л. Пастернака, М. А. Шолохова и А. И. Солженицына (И. А. Бродский станет лауреатом лишь в 1987 г.). Истоки замысла пьесы, возможно, связаны с большим интересом Шаламова к западной пьесе «абсурда» (он считал, что «Носорог» Э. Ионеско — «пьеса века» (т. 5, с. 293). С другой стороны, писатель бессознательно подчинялся тому же «фантастическому» импульсу, который возник в свое время у Ф. М. Достоевского: «...Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже...» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 118). Использование приемов гротеска в этой пьесе не является неожиданным для творчества Шаламова — элементы контрастного сочетания реального и абсурдного присутствуют и в «Колымских рассказах». В целом в набросках пьесы отражена полемика Шаламова с позицией каждого из героев-писателей, ставшая, в свою очередь, отражением его полемики с основными идеями современности.

Некоторые из кратких и невзаимосвязанных фрагментов в настоящей публикации опущены.

[1] МОК — мужской одиночный корпус.

[2] Одна из излюбленных и часто повторяемых мыслей Шаламова. Ср: «Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы».

[3] Имеется в виду известное стихотворение Ф. И. Тютчева «Предопределение»: «...И роковое их слиянье, / И поединок роковой».

[4] *Адамсон* — вероятно, прообразом этого героя является комендант Бутырской тюрьмы, «толстый грузин», с которым встречался в 1929 г. Шаламов (см. очерк «Бутырская тюрьма» — т. 4, с. 153).

[5] *Сталина* С. И. (Аллилуева) — дочь И. В. Сталина. (См. отзывы Шаламова о ее личности и ее мемуарах в наст. томе, с. 401–404.)

[6] Шаламов считал Б. Савинкова одним из типов революционеров — моралистов, воспитанных на идеях Л. Н. Толстого.

[7] Воспроизводится общепринятая в те годы точка зрения на А. И. Солженицына как на «боевого офицера» (эту точку зрения отстаивал перед официальными кругами А. Т. Твардовский, основываясь на характеристиках А. И. Солженицына периода Великой Отечественной войны). Ныне эта точка зрения подвергается сомнению (см. *Бушин В.* Неизвестный Солженицын. М., 2006).

[8] Шаламов всегда высоко оценивал язык и художественные достоинства прозы «Детства Люверс» Б. Л. Пастернака (см. «Поэт и проза», «Пастернак» в наст. изд., т. 4).

[9] *Агранов* Я. С. (1883–1938) — один из ответственных сотрудников ОГПУ-НКВД, был вхож в литературную среду, дружил с В. В. Маяковским, Б. А. Пильняком и другими писателями.

[10] Герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы», призывавший «срезать радикально сто миллионов голов» ради «всеобщей гармонии».

[11] Вероятно, имеются в виду идеи «Легенды о великом инквизиторе» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

[12] Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час»: «От ликующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!»

[13] Данный набросок касается И. А. Бунина. Шаламов ошибался, считая Бунина принадлежавшим к числу тех русских эмигрантов, кто «простил» Сталину его преступления за победу в войне с фашизмом. Ср. письмо Бунина М. А. Алданову в связи со смертью Сталина в 1953 г.: «Вот наконец издох скот и

зверь, обожравшийся кровью человеческой» // Октябрь. 1996. № 3. С. 150.

[14] Французский писатель и философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр (1905–1980) был удостоен Нобелевской премии по литературе за 1964 г., но отказался от нее ввиду очевидной для него политизированности присуждения Нобелевских премий в условиях холодной войны.

[15] А. А. Ахматова в 1964 г. была удостоена итальянской литературной премии «Этна Таормино».

[16] Цитируются строки из поэмы Б. Пастернака «Высокая болезнь» (1922–1928).

[17] Стихи еврейского поэта И. М. Альбирта (р. 1907) переводил сам Шаламов. См. переписку с И. М. Альбиртом в наст изд., т. 6, с. 572–573. Возможно, подразумеваются переводы Б. Пастернака второстепенных поэтов.

[18] Шаламов ошибается. Речь могла идти только о распределении гонораров за издания на Западе произведений Пастернака между наследниками и О. В. Ивинской. Отказ от Нобелевской премии означал для Пастернака отказ не только от лауреатского звания, но и от денежной части премии. По решению Нобелевского комитета, признавшего отказ вынужденным, Е. Б. Пастернаку в 1989 г. были выданы только лауреатский диплом и медаль его отца. Прим. С. М. Соловьёва.

[19] Вероятно, имеется в виду история с композитором И. Ф. Стравинским, потерявшим ноты «Надгробного венка», посвященного своему учителю Н. А. Римскому-Корсакову.

[20] Речь идет об издании стихов и поэм Б. Пастернака в серии «Библиотека поэта» (Л.: Советский писатель, 1965. Вступ. статья А. Д. Синявского, подготовка текста и примечания Л. А. Озерова).

[21] Редактором первого сборника стихов Ф. И. Тютчева (1854) являлся И. С. Тургенев. В своей статье в журнале «Современник» (1854, № 4) И. С. Тургенев называл некоторые стихи Тютчева «бледными и вялыми».

[22] Стихотворение И. А. Бунина «Художник» (1908), посвященное А. П. Чехову. Строки, о которых говорит Шаламов ниже:

..Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом..

[23] Неточно цитируется стихотворение Б. Пастернака «Смерть поэта» (1930), посвященное гибели В. Маяковского.

[24] Речь идет о главе «Улыбка Будды» в романе А. И. Солженицына в «В круге первом», названной автором «вставной новеллой». Шаламов считал юмористический тон этой новеллы неприемлемым для лагерной темы.

[25] Шаламов имеет в виду «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына — произведение, составленное из разных источников о лагерях.

[26] И. А. Бунин, вопреки утверждению Шаламова, не являлся антисемитом.

[27] Имеется в виду суд в п. Ягодном на Колыме (1943), где упоминание о Бунине как «русском классике» стало одним из поводов для заключения Шаламова на новый, 10-летний срок. (См.: *Есипов В.* Иван Бунин в судьбе и творчестве Шаламова // Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007.)

[28] Личность или прототип не установлены.

[29] Одним из прототипов Крушельницкого, возможно, является литературовед А. В. Храбровицкий, специалист по творчеству В. Г. Короленко.

[30] Известный филолог Ю. Г. Оксман (1895–1970), репрессированный в 1930-е годы (и отбывавший срок на Колыме), в 1960-е годы активно занимался разоблачением доносчиков в литературных кругах.

НОВЫЕ ГЛАВЫ ШОЛОХОВСКОГО РОМАНА

(наброски отзыва на главы из романа М. Шолохова «Они сражались за родину»)

Выступление Михаила Шолохова с новыми главами старого романа «Они сражались за родину» (газета «Правда», 12, 13, 14 и 15 марта 1969 г.) привлекает внимание по ряду причин.

Несмотря на строжайшее запрещение всякого упоминания о лагерной теме[1] — главной теме советского времени — в художественных, мемуарных, поэтических аспектах — время берет свое и замолчать лагерную тему оказалось невозможным.

Нобелевскому лауреату[2] предложено дать художественное объяснение недавнего прошлого.

То, что именно Шолохов берется за эту работу — говорит о том, что используется самая крупная художественная артиллерия, какая только есть в распоряжении правительства, ибо замолчать лагерь оказалось невозможным.

Это первое.

Второе — очевидно, правительство считает, что данное Шолоховым решение лагерной темы (или сталинской темы — это одно и то же) является удовлетвори-

тельным, или хорошим, или отличным. Публикация глав романа в «Правде» тоже говорит за то, что решение удовлетворительное, приемлемое, а может быть, превосходное.

Все это принимается читателем с высшим удовлетворением. Значит, с лагерной темы снят запрет, новые главы романа Шолохова печатаются затем, чтобы их обсуждали.

Это — бесспорно. Нас приглашают принять участие в обсуждении этих тем.

При всех обстоятельствах публикация новых глав есть разрешение, приглашение, повод принять участие в их обсуждении.

Согласен я или не согласен с точкой зрения Шолохова на Сталина или на советский Освенцим — это вопрос другой. Ибо если не обсуждать, то для чего и печатать миллионным тиражом.

Литературные достоинства этой художественной скороговорки невысоки. Шолохов торопится высказать свое мнение и о гражданской войне, и об армии, и о Сталине, Ежове и Берии, и колхозах, индустриализации, и Пушкине, и ~~сталинских~~ [здесь и далее зачеркнуто автором. — *Ред.*] лагерях, и Гитлере, вредительстве в колхозах. Всему Шолохов дал объяснение, утешил все тревоги.

Напрягаться искать разницу между речью героя <и> — авторской нужно потратить слишком много сил.

Где же этот лагерь, пробыв в котором четыре с половиной года, генерал настроен столь оптимистично.

Это — Сибирь.

Это — не Колыма. Ибо Колыма 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 и далее до 1953 года включительно — это лагерь уничтожения.

С другой стороны, «пик» лагерного «произвола» (произвол в кавычках, ибо произвола в лагерях тридцатых годов никогда не бывало — волос с головы арестанта не упал бы без приказания Москвы).

Это 1938 год. Для воли, для арестов — тридцать седьмой, а для лагерей — тридцать восьмой. Все, что было до и после тридцать восьмого — слабее, хоть тоже полно крови.

Итак, Шолохов называет важный год лагерной жизни — тридцать восьмой.

Балагурить по поводу пролитой крови нельзя.

Лагерь тридцать восьмого, где генерал получил <на> вечную память — шрамы на ногах — рубцы от пиодер-

мии, или цинги, или пеллагры, или алиментарной дистрофии — весь этот букет лагерных болезней оставил следы на ногах генерала.

Как же это случилось? А вот как.

Цитата.

[Цитата в тексте пропущена, однако, очевидно, что Шаламов имел в виду следующие строки романа Шолохова:

«...Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны.

Иссиня-бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами.

Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:

— Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая... Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, "кто не работает, тот не ест", вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как ты думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну, и обошлось, только до колен стал, как леопард, а выше — ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно...». — «Правда», 13 марта 1969 г. — *Ред.*].

Как же генерал остался в живых?

Разве можно работать с опухшими ногами? А если «выгоняют», то как выполнить урок, норму, задание, чтобы не снизили пайку?

Генерал объясняет, что действительно не мог работать и ноги опухали от голода и не выполнял «нормы».

Кто же ему помогал? — Товарищи. И генерал произносит тост в честь дружбы.

Но ведь подобным заболевал не один генерал в миллионных и стотысячных лагерях.

Голодают все — если у одного из рабочих пухнут ноги от голода и гной течет от цинготных ран?

Никто из товарищей кормить генерала не будет.

Нужен либо счастливый случай, как у генерала Горбатова[3], или чтоб помогало начальство: начальник лагеря, начальник отряда охраны, уполномоченный.

Но ни один из начальства лагерей в 1938 году не решился бы принести кусок хлеба заключенному, хоть и генералу, — его расстреляли бы самого — доносы писали все на всех.

А товарищи, вся бригада одинаково «доплывают», и если уж есть у всех опухшие ноги — значит <...>.

Что лекарство от язв — самый лучший антисептик — табачная зола, хорошо известно всякому лагерному фельдшеру тех лет. Табачная зола же, применение ее говорит о том, что медпомощь была плохой, ужасной.

Генерал восхищенно и умело латает туфли хозяйки — оказывается, в лагерной «академии» он выучился сапожничать, класть печи, плотничать[4].

Повезло генералу. В лагере учат копать траншеи, кайлить каменную породу, катать тачку, насыпать камнем грабарку. В лагере учат лесоповалу. Вот основные профессии. Сапожничать там не учат. Скорее всего генерал-доходяга был снят с траншеи и направлен на отдых как инвалид. Вот тут он мог подучиться и сапожничать и плотничать.

Повторение же шутки о «лагерной академии» — неуместно. Такая поговорка есть, но это мрачная арестантская поговорка. Вроде поговорки «Бутырок» — «лучше быть здоровым на воле, чем больным в тюрьме».

<Далее рукопись переходит в отдельные замечания, отчасти повторяющие вышеприведенный текст, при этом четко расшифровываются лишь отдельные фразы. — *Ред.*>

Четыре года, которые генерал пробыл в лагерях, конечно, немного, но ничего, кроме возмущения, гнева это пребывание не может оставить в человеке.

Тон нехорош.

Вряд ли старого генерала надо было учить сапожничать, плотничать... Восхищаться этим приобретенным мастерством — подло.

Все, что касается Сталина[5], достойно удивления. Неужели до сих пор писатель не мог разобраться для себя в этом вопросе? Сталин <выдает> автора именно потому, что писательской совести у Шолохова нет.

Враг — Ежов[6]...

Сцена рыбалки. Затянута... В памяти — страницы ловли сома в «Жизни Клима Самгина».

Художественная сторона дела дана для реализма на невысоком уровне.

Я не принадлежу к поклонникам Солженицына. «Один день Ивана Денисовича», на мой взгляд, имел много просчетов, фальшив, о лагере как о благодатной школе никуда не годится.

И лагерь, и роль Сталина в нашей жизни — все это дело будущего.

Мораль растления в деревне — доносы друг на друга, и там, и там — все это верно.

Но дело, конечно, не в доносах. Доносы — это то, что <...> правит. Климат времени.

А правит климат времени сверху.

Разве не в этом главные решения XX и XXII съездов?

Разве не оставил генерал Тодорский <прототип?>[7]...

А доносы — это все попутно.

Пушкин:

> Восславил я свободу
> И милость к падшим призывал

Нет, Пушкин — поэт — не для Шолохова.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рукопись — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 202, л. 1–31. Подготовка текста — В. В. Есипов и С. Ю. Агишев.

Данный текст выражает отношение В. Т. Шаламова к М. А. Шолохову в связи с публикацией глав романа «Они сражались за родину» в «Правде» в марте 1969 г., которые выразительно (и вызывающе, на взгляд Шаламова), отражали изменение политической ситуации в СССР, ее «ресталинизацию» с середины 1960-х годов. Следует заметить, что Шаламов высоко ценил роман Шолохова «Тихий Дон» и не был склонен видеть в нем плагиат записок Ф. Д. Крюкова, помня дискуссию, возникшую еще в 1920-е годы. Ср: «Использование такого рода материалов — право каждого писателя... Выход последующих книг “Тихого Дона” показал всю беспочвенность этой клеветы». (*Шаламов. В.* Двадцатые годы. Наст. изд., т. 4, с. 369).

В данном случае негативное отношение Шаламова к Шолохову во многом связано с известным выступлением последнего на XXIII съезде КПСС 1 апреля 1966 г., где Шолохов откровенно заявил свою жесткую политическую позицию и призвал к расправе над А. Синявским, Ю. Даниэлем и другими

«оборотнями» (как называл писатель инакомыслящих, публикующих свои произведения за границей) — «в духе революционной законности». Это выступление сделало имя автора «Тихого Дона» одиозным в широких общественных кругах (о чем можно судить, например, по отзыву А. Т. Твардовского: «Речь Шолохова — ужасно, даже ее государственный план не спасает от впечатления позорно-угоднического, вурдалацкого смысла в части искусства» — *Твардовский А. Т.* Новомирский дневник. М., 2009. Т. 1. С. 460). Шаламов, специально вырезав текст выступления Шолохова на съезде из отчета в «Литературной газете», в своем дневнике мрачно-саркастически назвал это выступление Шолохова «первоапрельской шуткой» (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 35, л. 9–10).

Как можно понять из текста, Шаламов считал позицию М. А. Шолохова в главах его романа отражением официальной точки зрения властей и протестовал против нее, делая акцент главным образом на фальшивости эпизодов романа Шолохова, связанных с лагерной темой. Общая оценка антигуманистической позиции Шолохова-писателя ярче всего отражена у Шаламова в ее сопоставлении с позицией Пушкина («И милость к падшим призывал».)

Наброски отзыва Шаламова нельзя считать полноценной рецензией. Возможно, первоначальным импульсом писателя было распространение своего отзыва в самиздате, однако, судя по тому, что рукопись не закончена, он отказался от этого намерения.

[1] Имеются в виду изменения в литературной политике после отстранения от власти Н. С. Хрущёва (октябрь 1964 г.).

[2] М. А. Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе за 1965 г.

[3] Речь идет о лагерных воспоминаниях генерала А. В. Горбатова, напечатанных в «Новом мире» (1964, № 4). Шаламов называл эти воспоминания «самым правдивым, самым честным о Колыме, что я читал», а самого автора — «порядочным человеком» (т. 6, с. 307). Очевидно, что полемизируя с Шолоховым и его образом генерала-бывшего лагерника, Шаламов во многом отталкивался от реальной судьбы А. В. Горбатова и его свидетельств. «Счастливый случай» в колымской биографии Горбатова состоял в том, что его по болезни перевели из лагеря «Мальдяк» на рыбный промысел.

[4] Имеется в виду следующий отрывок из романа Шолохова:

«Серафима Петровна (теща хозяина — Николая, брата генерала Александра Стрельцова. — *Сост.*), сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее ра-

зорванную туфлю и так искусно зашил, что впору было бы и самому хорошему мастеру обувного цеха…

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной простотой становится в доме своим человеком.

— Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? — спросил он, разглядывая тещину туфлю.

— В лагере, — коротко ответил Александр. — В академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях…» («Правда». 13 марта 1969 г.).

[5] Шаламов имеет в виду противоречия Шолохова в оценке Сталина, отразившиеся и в публикации в «Правде».

6. Очевидно, подразумевается склонность Шолохова видеть причину репрессий прежде всего в роли наркома НКВД Н. И. Ежова.

[7] *Тодорский* А. И. (1894–1965) — комкор, в 1938 г. был репрессирован и 15 лет находился в сибирских лагерях. Шаламов был в общих чертах осведомлен о биографии Тодорского. Указывая на него как одного из прототипов героя романа Шолохова генерала Александра Стрельцова, Шаламов гораздо ближе к истине, нежели многие современные шолоховеды, считающие главным прототипом генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина (1892–1970). На самом деле М. Ф. Лукин, с которым в свое время сблизился Шолохов, не был репрессирован, а основную известность получил благодаря героизму, проявленному во время войны и немецкого плена в 1941–1945 гг. Одна его нога была ампутирована, что никак нельзя считать прообразом «леопардовой кожи», фигурирующей у Шолохова.

<ОБ А. М. РЕМИЗОВЕ[1]>

Ремизов. «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами».

Лучшая русская книга, которую я читал за последние тридцать лет, необычайная, замечательная книга.

Рассказ «Мышкина дудочка», где сапогом давят мышку, беззащитную, лучший рассказ. До слез.

Грусть необычайная. Вера в призвание, героизм, сила. Урок мужества, героической жизни, нищей жизни без скидок.

Ремизову — наиболее русскому из писателей — особенно тяжело пришлось «заграницей». Непереводимость[2].

Рассказ о переводчиках и переводчицах Ремизова, сходящих с ума, — великолепен, трагичен.

Какую нужно силу, чтобы писать, писать.

Ремизов (вместе с Белым) — бесспорный учитель русской прозы XX века. Но в отличие от Белого в Ремизове очень мало игры, а все всерьез, никакой формальности музыки и словотворчества.

<Далее Шаламов приводит цитаты из книги Ремизова:>

«Мулякат».

«Я понял, что только загнанный я живу и для меня стало “жить” и “боль” одно и то же. И когда не было боли, я как бы не жил на свете».

«И я понимаю, в моей природе все до корней непокорно. И пусть я обречен, я никогда не покорюсь своему концу».

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 33. Оригинал: РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 174. Датировка — 1960-е годы. Автограф в школьной тетради выпуска IV квартала 1963 г. позволяет, по опыту И. П. Сиротинской, более точно ориентироваться в датировке рукописи и отнести ее к началу 1964 г.

[1] *Ремизов* Алексей Михайлович (1877–1957) — русский писатель, чрезвычайно высоко ценившийся Шаламовым. Шаламов считал Ремизова одним из своих учителей в искусстве художественной прозы, наряду с Андреем Белым. Ср: «Я — прямой наследник русского модернизма — Белого и Ремизова». (Из записных книжек. Т. 5. С. 322.)

[2] Книга А. Ремизова «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами», изданная в 1953 г. в Париже издательством «Оплешник» (тиражом 300 экземпляров), имелась в личной библиотеке Шаламова и, вероятно, была подарена ему кем-то из его почитателей. В настоящее время книга находится в библиотеке РГАЛИ.

[3] Шаламов полагал, что произведения Ремизова в силу их сложной стилистики не переводимы на другие языки. На самом деле Ремизов не раз издавался на французском, английском, немецком и других языках.

<ОБ ЭМИГРАНТАХ, ВЕРНУВШИХСЯ В РОССИЮ, И О ВОСПОМИНАНИЯХ С. АЛЛИЛУЕВОЙ (СТАЛИНОЙ)>

<...> Среди этих судеб есть одна группа, очень немногочисленная, но по-особому значительная, вошедшая в общественную жизнь России со своей нотой, по-особому трагической нотой.

Это — русские эмигранты, вернувшиеся в Россию, чтобы разделить судьбу народа.

Их моральный подвиг бесспорен, хотя Н. М.[1] и слышать не хочет ни о каких подвигах.

Ближе всех к этой группе людей стоит русская интеллигенция — типа А. Ахматовой и Н. Мандельштам, не сделавшая попытки отвести руку и сохранившая гордость, силу, убежденность. Но и эта русская интеллигенция полностью не вбирает в себя все особенности и достоинства эмигрантов. Есть известная формула Волошина:

Темен жребий русского поэта.
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба[2].

Но и эта формула не говорит всего о тех людях, которые возвращались из Парижа, из Токио, из Праги.

Что же это была за особая сила, которая заставляла вернуться, хотя все, что делается, было известно. И было известно, что их ждет.

Что из звериного царства может это напомнить? Кролик перед пастью удава, загипнотизированный им кролик, который думает: «А со мной не случится. А в моем случае, может, будет иначе».

Нет. Сравнение с кроликом здесь неуместно. Тогда это — нерест лососевых пород. Я видел нерест на Оле[3]. Эта таинственная сила, которая влечет кету и горбушу, обдирая бока, по камням достигать ручья, в котором рыба погибнет.

Или перелеты птиц. Кто знает, какие силы природы поднимают в воздух миллионы крыльев. Тоже тайна.

Но люди — не рыбы и не птицы. В поведении людей скрыто гораздо более важное начало, глубочайшее нравственное начало, которое может быть сродни евреям, которые возвращаются в гетто, чтобы умереть со своей семьей.

Ощущение высшей нравственности, несомненно, возникает у всякого, кто встречается с этими людьми.

Гордость за человека и его духовные силы по-особому значительна.

Я встречал много таких людей и в тюрьме (Хохлов, Уметин) в 1937 году в Бутырке[4]. Оба почему-то считали, что они должны пострадать в ссылке, но никто не ждал смерти.

Маруся Крюкова из таких, дочь эмигранта. Отец и мать не хотели уезжать, уехали Маруся с братом, связались с советским посольством, вернулись в 1937 году. Брата Маруся живым больше не видела, на допросах ей сломали бедро, я познакомился с ней, когда она была хромушкой, инвалидом. Срок 25/5, начат с 1937. Я встретился с ней в 1947, когда Маруся уже отбыла 10 лет и осталась в живых, потому что была инвалидом. Маруся была вышивальщицей в оборудованном Доме дирекции Дальстроя. На трассе было 6–5 таких Домов, где вышивальщицы — редкостные мастерицы собрались. Над каждой вышивальщицей, чтобы не украла шелка, стояла надзирательница — член партии, которая обыскивала ежедневно.

В этой больнице Маруся пыталась отравиться, но неудачно. О ней написан мной рассказ «Галстук»[5].

Вот эти-то трагические судьбы я и считаю по-особенному значительными.

По аристотелевскому суждению трагедия должна быть катарсисом, очищением, возвышением. Вот это высшее нравственное начало, этот «катарсис» в этих судьбах несомненно есть.

Вот эти наши судьбы и дают нам право судить — и литературные произведения, и — жизнь людей. Одна из таких жизней удивительным образом рассказана нам.

Рукопись[6] исключительно интересна, сенсационности, ценности огромной.

Первое мое суждение было: что это — раздавленный человек, и отзыв — отрицательный. Но в этот момент я думал в сущности не об авторе, а об отце автора[7], который давно сделался для меня символом всего плохого, всего отрицательного, что было в моей жизни, и всякая защита, попытка защиты мной была резко и безусловно осуждена.

Мне стало ясно — если бы это был раздавленный человек, то не было бы рукописи, попытки как-то оправдать, о чем-то рассказать правдиво. Человек нашел в себе силы написать это, дать бой в жизни — значит, это не раздавленный человек.

Я отношусь отрицательно к религии, но признаю ее положительные стороны в смысле моральном, психологическом.

Что же за человек — автор? Несчастный человек.

Для участия в политической борьбе не надо большого ума, большой культуры.

Эти «глыбы», возле которых прошла ее жизнь, — в человеческом смысле были невежественными, бедными духовно людьми.

В рукописи не много нового. Самоубийство матери объяснено правильно, хотя существовали две версии: одна, что застрелилась, когда <Сталин> не поднял телефонную трубку, 2) перебирала за портьерой вещи и была убита, как Полоний Гамлетом, если это сравнение не кощунственно.

Ярчайшая, потрясающая переписка эта «игра в приказы»[8] — всю чудовищность которой автор не очень чувствует, передавая все это с лирической непосредственностью. [*Прим.* Шаламова сбоку: «Письма отца — самое страшное, пожалуй, по тупости, по бедности интеллектуальной».]

Не менее впечатляюще описание кабинета, где висят репродукции «Казаков» Репина[9], какие-то литографии, все те же год от году.

Много сделанного с поправками на последующую дружбу с Бухариным, с Кировым, Орджоникидзе.

В каждом слове, в каждом движении, фразе, жесте — узколобость, тупость, жестокость.

После такого «эй»[10] можно застрелиться, и в рукописи это показано хорошо.

Отец был потрясен самоубийством жены не только потому, что в доме — «предатель», а потому что испугал-

ся, что могла бы застрелить его [эти слова в рукописи отчеркнуты Шаламовым сбоку двойной чертой. — *Сост.*].

Главным качеством, отличавшим отца, был страх. Человек от страха может сделать бесчисленное количество преступлений.

Ходил в 1924–1925 гг. свободно. Верно — я сто раз видел Сталина, Бухарина, Калинина. Но с 1926 г. <Сталин> прекратил.

Власик[11] и все его действия изображены мало.

Все воспитание под конвоем.

Няня. Старая прислуга. У всех «большевиков» были такие точно крепостные рабы.

Роман с Каплером[12] описан очень сердечно, по-моему.

Очень жаль, что мало сказано об отце ее мужа — Жданове[13].

Все о брате уничтожительно верно[14].

Я вовсе не ожидал такого рода свидетеля. Не мог даже думать, что может существовать такая рукопись.

Рассказанное в сущности немного попытка «реабилитации» отца — явно неудачно, но простительно, да и весь характер этот гнусный проступает сквозь любую защиту достаточно определенно[15].

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: Шаламовский сб. Вып. 4. М., 2011. С. 45–49. Оригинал: РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 127, л. 1–15.

Среди рукописей В. Т. Шаламова в его архиве недавно обнаружены две тетради (обычные школьные, какие часто использовал писатель) с надписью «Фаллада». Вероятно, Шаламов собирался посвятить эти тетради своим впечатлениям от известного романа немецкого писателя-антифашиста Г. Фаллады «Каждый умирает в одиночку» (вызывавшего аналогии между гитлеризмом и сталинизмом). Этот замысел, по-видимому, остался неосуществленным, т. к. фактически записи в тетрадях касаются совсем других тем — о судьбах эмигрантов, вернувшихся в советскую Россию, и о воспоминаниях С. И. Аллилуевой, дочери Сталина. Эти воспоминания «Двадцать писем другу» были написаны в 1963 году и до своей публикации на Западе (1967) распространялись в самиздате. Шаламов познакомился с ними в рукописи, что позволяет датировать его записи 1964–1965 годами (на это указывает и

упоминание Н. Я. Мандельштам, с которой он в это время познакомился).

[1] Имеется в виду Надежда Яковлевна Мандельштам.

[2] Из стихотворения М. Волошина «На дне преисподней» (1922), написанного в память об А. Блоке и Н. Гумилёве.

[3] Ола — прибрежный рыбацкий поселок на Колыме. Метафорическое сравнение трагической судьбы эмигрантов, стремившихся в Россию, с рыбами, плывущими на нерест, см. в стихотворении «Нерест» (1965) (наст. изд., т. 3, с. 406).

[5] Рассказ «Галстук» о судьбе М. Крюковой см. в наст. изд., т. 1, с. 135–142.

[6] Начало текста, непосредственно посвященного рукописи С. И. Аллилуевой «Двадцать писем другу».

[7] Имеется в виду И. В. Сталин.

[8] «Игра в приказы» применялась в переписке Сталина с малолетней дочерью.

[9] Имеется в виду репродукция с картины И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», висевшая в кабинете Сталина. С. И. Аллилуева сообщала также, что Сталин ни разу не бывал в Третьяковской галерее.

[10] Ср. эпизод книги С. И. Аллилуевой о событии, предшествовавшем самоубийству жены Сталина Н. С. Аллилуевой 9 ноября 1932 г.: «Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. “Всего-навсего” отец сказал ей: “Эй ты, пей!”. А она “всего-навсего” вскрикнула вдруг: “Эй! Я тебе не эй!” — и встала, и при всех ушла вон из-за стола».

[11] Н. С. Власик — начальник охраны Сталина, генерал-лейтенант.

[12] Имеется в виду роман С. И. Аллилуевой с известным киносценаристом А. Я. Каплером.

[13] С. И. Аллилуева была замужем (вторым браком) за сыном секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова Ю. А. Ждановым.

[14] Василий Сталин, известный своей разгульной жизнью.

[15] Шаламов имеет в виду склонность С. И. Аллилуевой объяснять преступные действия Сталина влиянием Л. П. Берия.

Я. Д. ГРОДЗЕНСКИЙ

(наброски воспоминаний)

Грозденский умер 23 января 1971 года в Рязани. Узнал я о смерти 13 февраля от его жены, с которой мы раньше не встречались, хотя Гродзенский и прожил в браке незарегистрированный более 35 лет.

Почему Ландау[1] — самодовольный дурак <...> принципиально обиженный, учит наизусть балладу Маршака «Королеву Британии». Что в такой балладе привлекает математика, чуждого стиху, чуждого искусству человека.

Претенциозность Ландау опровергнута жизнью Гродзенского, который не столь уверенно демонстрировал свои вкусы в поэзии, если у него они были.

Гродзенский признавал свою полную некомпетентность в стихах. Как-то еще в комнате-щели[2] он, перебирая мои «Колымские тетради», отвел рукой — в этом я не разбираюсь, но верю, что все это должно найти себе место в литературе, печати. А рассказы, конечно, все эти нужны и сейчас.

Конечно, это не литературный анализ, а страстное желание не упустить прошлое.

У Гродзенского было редкое, редчайшее качество — полное преклонение перед чужим талантом. Желание этот талант выдвинуть, поддержать, верить в него, отметить его — хоть с согласия автора, хоть в одиночку.

Гродзенский окончил философский факультет Университета, но поступал на юридический, на Совправа. Увидев чрезвычайно сомнительное юридическое тогдашнее образование, перешел на философский, но философский был еще хуже. Двинуться на литературный не было способностей, как казалось ему <...>

Хитрости — вот чего не было в нем. Правдивость до внезапного заливания краской во время случайных действий.

Двадцатилетний лагерь не отучил Яшку краснеть от собственного вранья.

Это он знал за собой, заикался, острил:

— Я даю фальшивые справки принципиально и тогда не краснею.

— А что можно прочесть о стихах путного?

Я предложил главу «Талант» из мемуаров вдовы Мандельштама.

Глава Яшке не понравилась:

— По-моему, бред сивой кобылы.

— Это не бред.

— Ну, я рад еще раз подтвердить свою некомпетентность.

Как-то Скорино[3] отвела меня на бульваре Тверском в сторонку в 1957, что ли, году. «Знамя» только что переехало из Леонтьевского на Тверской бульвар.

— А что можно прочитать о стихах?

Я сказал, что таких работ мало. «Поэзия»[4] Белого явно не годится.

— Ну все-таки <скажите> по старой дружбе.

Я сказал, что единственные заслуживающие внимания работы о стихах есть в сборниках ОПОЯЗа. Все остальное чепуха, вне темы.

Вопрос тот, что и у Гродзенского.

Надо читать. Если даст что-то разумнее, больше, чем у Ландау, — то тебя как-то озарит.

Ни на какие теоретические темы никогда с Яшкой я не беседовал.

Общее было главным в 1961 году.

А когда он меня нашел на Хорошевском — в 1957, 1958? 1959? 1961? 1962? Почему все связано со Скорино?

В «Новом мире» с успехом публиковались мемуары Эренбурга, и в умилении Скорино сказала:

— Вот вы бы, В. Т., написали. Вы столько видели, были здесь в двадцатые годы.

Скорино бывала у меня, когда я работал в журнале[5], жил в Чистом.

— Написали <бы> про двадцатые годы — мы напечатаем.

Я сказал, что двадцатые годы — это эмбрион нового общества, это годы, где в зачаточном виде изобрели все преступления и все благодеяния дальнейшего — могу написать.

— В таком аспекте нам не надо.

— Тогда я дам в чисто литературном аспекте.

Так почти по заказу «Знамени» я и написал «Двадцатые годы»[6].

Первым читателем и был Гродзенский — взял ее и подчеркивал. «Не могу не подчеркивать, не кавычить и не комментировать — это профессиональная привычка редакционной работы».

В газетах и журналах и я, и Яшка проработали много лет, с двадцатых годов по тридцатые годы.

В двадцатые годы до Университета я часто бывал у Яшки на Басманной, где он жил на чердаке двухэтажного дома, где была выгорожена комната, в которой стояли четыре койки. Одна — девушки, глупой в отношении культуры, Вари. На второй — милицейский действительной службы — почти окончил вуз. На третьей — Яшка. На четвертой? Забыл я, кто жил на четвертой. Я тоже тогда бедствовал, с ними ночевал раза два.

Там на побеленном потолке все — гости и хозяева — писали углем из голландской печки всевозможные лозунги того времени, лозунги массовой пропаганды — или как жить <нрзб>, которые надо выучить, либо лозунги, которые должны облагодетельствовать человечество немедленно.

Я тоже принимал участие в этом кипении жизни.

Все это было в высшей степени целомудренно, преданно, аскетически.

В студенческой коммуне я бывал тоже — в Черкасском переулке в 1926 — там тоже смерть пришла раньше, чем любовь, как к народовольцам и эсерам.

Я жил в Кунцеве у тетки, а потом в Черкаске, в общежитии МГУ, а у Яшки была крошечная комнатенка на первом этаже какой-то коммунальной квартиры тоже в районе Басманной. Крошечная, метров 6 квадратных. Все свободное место было уставлено книгами — <...>, библиотечными и своими.

С собой Яшка всегда таскал толстую переплетенную книжку, где <писал> мелко-мелко, но все же разборчиво — Яшка до смерти сохранил разборчивый газетный почерк.

В хорошем разборчивом почерке, мне кажется, Яшка видел некую нравственную обязанность. «Я должен писать так, чтобы меня могли легко прочесть те люди, к которым я пишу, — это дань уважения другим людям — товарищам, друзьям, начальникам и подчиненным».

Были ли у Яшки подчиненные? Вопрос интересный.

Яшка — газетчик. Особое место.

По образованию философ. Всю жизнь (т. е. в заключении и в ссылке) работал геологом.

— Ну, значит, практика. Но ведь надо приказывать, а не уговаривать.

Допустимый после этого вопрос.

Мы не вспоминали прошлого. Но как-то мне пришла в голову эта тетрадочка изречений знаменитых людей и вообще мыслей. Я напомнил Якову.

— Глупости были. — И покраснел своей краснотой внезапного душевного волнения.

— Еще бы не глупости. Вся эта чушь, которую вколачивали в наши головы двадцатые годы.

— Кто ты по профессии?

— Я не знаю кто. Пишу в анкетах — геолог. Но я не геолог. И уж, конечно, не философ.

А как разнятся люди! Авербах[7], например, всегда стремится много раз подчеркнуть свое личное участие.

Сидим у Авербаха и вспоминаем Якова. Когда? 14 февраля 1971 г.

— Я, кажется, раньше всех в жизни его, — говорю я. — Еще до Университета бывал у него на Басманной.

— Нет, я! Я, я учился с ним в экономическом техникуме в 1923 году, — живо так отвечает Авербах. И — в раздумьи: — Только мы тогда не были знакомы, на разных курсах были. Выяснил в 1961 году!

Вот это «яканье», я думаю, Яшка вытравил из себя сам столь же железным способом, по капле, как вытравливал из себя чувство раба Чехов.

Просто решил, что скромность будет правилом поведения на всю жизнь. И добился.

Эта йога была усвоена Гродзенским хорошо. По своим душевным качествам превосходил если не всех, то очень и очень многих. Яков начисто вытравил из себя все, что может быть показным.

Это я все думаю о нем сейчас, после смерти. В Москве не было для меня ближе человека, чем Гродзенский. Какие у него были свои знакомые? Жену, например, я и не знал... Но дружбе нашей все это не мешало. Мы — встретившись после стольких лет, согласны были в главном.

В жизни у человека мало остается усилий к 50–60-м годам.

Бескорыстие? Да. Самоотречение? Да. А самое главное — в Яшке совсем не было хитрости. Той самой хитрожопости, которой пропитано прогрессивное человечество Москвы.

По своим моральным качествам Гродзенский не идет ни в какое сравнение с литературным обществом московских «кружков».

«Цель творчества — самоотдача»? Для Пастернака это поза простоты[8], а для Гродзенского — было жизнью.

Конечно, Гродзенский был праведником особого рода.

Говорят, что Вигдорова[9] была праведница. Вигдоровой было стыдно за власть, и Ф. А. хотела исправить эти ошибки, слезно, задушевно, тоже с политикой <...>

Вигдорова была расчетом начальников, а Гродзенский был жертвой времени, раздавленный, но сохранивший достоинство до конца.

Вигдоровой о ее праведничестве говорили подхалимы.

Что Гродзенскому легко досталось? Смерть.

Разумного начала в жизни нет. В мое время художник не мог звать к вере в какие-то нравственные начала — лишь Блок — не художник[10]...

Или время стало сложным. Дело не в многозначительных ответах. Многозначительные ответы — это политика, то есть подлость. <...>

Единственный раз в жизни я выступал по телевизору в 1961(?)[11] году, читал «Огниво», и Гродзенский видел эту передачу в Рязани и написал мне о ней. Радовался за меня со всей своей огромной детской душой. Открытка эта есть у меня.

Мучения мои у Твардовского[12] были ему очень понятны, и именно Гродзенский сделал то, что дало мне избавиться от сомнительных связей с «Новым миром».

— Говно твой Пантюхов[13], — сказал Яков, когда смотрел мои магаданские справки.

Я и сам видел, что говно, но в жизни ничего не исправляю, даже хорошего мнения о своих друзьях в прошлом.

— Я не могу говорить о себе, хлопотать о себе. Но друзьям я могу говорить и делать. Возьмусь за твое дело.

Но в моем деле возникли такие чисто бюрократические препоны, которые Гродзенский, несмотря на свое апостольское настроение, не мог переломить, и седин в голове у него прибавилось, хотя эта борьба носила комедийную в общем окраску.

Три вещи, на которые мы смотрели одинаково.

1) Оценка троцкистского движения как, бесспорно, времени напрасных жертв.

2) Что единственным в истории строем дается единственная в мире свобода ругать своих правителей.

3) В народе нет никаких праведников, и не было никогда. Праведниками могут быть только интеллигенты в наше время, если их только ежедневно не бить и не держать голодом.

4) Наша судьба не может быть вариантом массовой пьесы и разрешиться словом палачей.

5) Человек — это блядь.

6) Каждый предоставлен <нрзб.> согласно своему нравственному капиталу.

Гродзенский не верил в бога, но с уважением относился к религиозным людям, конечно, не к таким типам,

как Светлана Сталина[14]. У Гродзенского таких грехов не было, как у папы Светланы, — нечего было замаливать.

<...>

Всех нас, фраеров, бесконечное количество раз грабили: блатные, конвоиры, бригадиры, оперативники и просто прохожие, выдававшие себя за оперативника и блатного.

Едва мы сопротивлялись этому открытому «отъему», мы получали тычки, а то и плюхи.

Никто из нас вспоминать о грабежах не любит. Во-первых, потому что свойство забывать — лучшее качество человеческой памяти. Жаль бы было, если б люди не забывали свою жизнь. Во-вторых, этих грабежей было так много. В-третьих, разве грабеж — худшее из того, что было?

Но если б меня ограбили в Москве после Колымы, доказали бы, что я не имею ни иммунитета, что ли, — я бы скрывал такое свое поражение, скрывал грабеж. Любой из нас скрывал, кроме Гродзенского. Его ограбили вновь на Миллионной[15].

Колымская пайка существует только в момент выдачи под охраной, выставляется и немедленно должна быть проглочена.

Когда мы расставались в последний раз, Яков сказал:

— Дай что-нибудь из твоих рассказов.

— У меня нет ничего нового, — сказал я, — а то, что есть нового, мне хотелось бы еще посмотреть, еще кое-что обдумать, исправить, добавить.

— Сколько же на это надо времени?

— Примерно год.

— За год еще я могу умереть.

— Ну, умрешь, так не прочтешь.

Этот разговор был в сентябре семидесятого года, а в ноябре у Якова был инфаркт (вариант: Якова хватил удар) — последний инфаркт в его жизни. Гродзенский умер 24 января 1971 г., так и не прочтя нового моего рассказа. Этим новым рассказом был рассказ «Яков Гродзенский».

Мы быстро сошлись в главном. Первое: ничего не должно быть забыто. Второе — московский паспорт не в силах окупить наших страданий, мук, которые достались на нашу долю, но не в результате судьбы, неудачи, а в результате планомерного, сознательного, организованного террора государства.

Третье — наша <судьба> не должна быть использована дельцами от политики — вождями оппозиций. Если мы будем защищать чьи-либо знамена, то это будут знамена не оппозиций.

Ни он, ни я <не> поддерживаем, не пытаемся наладить никаких отношений с возможным троцкистским подпольем, отрезаем все старые знакомства. А попыток возобновить эти знакомства — со мной, например — было очень много.

Четвертое, что нас объединяло, — оценка прошлого. Уж если в истории была какая-то не иллюзия, а реальная свобода, то это свобода ругать свое правительство, единственная свобода слова в истории. Ни он, ни я не принадлежали к поклонникам демократических институтов Запада — но оставляли за ним оценку как единственный реальный путь, пусть мизерной, но свободы. Ибо ни социалистическое государство тоталитарного типа, ни Мао Цзе-дун реальной свободы людям не несут. Все это — Шигалевщина, предсказанная Достоевским. Это не значит, что под «левые» знамена не надо становиться. Просто ждать от них свободы не надо — вот и все.

Ни анархизм в его Кропоткинской (или Бакунинской форме) — все это не свобода, принуждение. В религию мы не верим, ибо долг человека в его жизни не может руководствоваться загробной компенсацией.

Гродзенскому я обязан хлопотами по пенсии — вопрос для меня крайне важный.

<...> Государство оставило всех нас просто в безвыходном положении — я, например, получал инвалидную пенсию 3 группы — 26 руб. в месяц, а по второй группе инвалидности — 46 рублей. Инвалид 2 группы не может ведь работать. <....>

Гродзенский не говорил неправды, но не потому, что у него были гены праведника, игра вазомоторики[16], выдавало которую покраснение всей кожи — шеи, лица, тела — при малейшей неправде, волнении в этом отношении, а потому что с детского дома, с юности до зрелых лет он учился самовоспитанию, выдавливая из себя «по капле», по чеховскому выражению, лжеца; воспитывал вежливость, тренировал ясность почерка, говорил раздельно и неторопливо. Яков говорил вежливо и не врал не потому, что он окончил философский факультет. Это было его самовоспитание, тренировка, стоившая ему немалых усилий.

В наше время верили в самовоспитание, в моральное самосовершенствование, в самодисциплину, в рахметовщину.

Только война, гитлеризм и сталинизм показали, насколько чуждо человеку подобное самовоспитание, разрушенное, как хрупкий сосуд, и разлетевшееся на мелкие клочки.

Наше время показало, что человек подлец и трус, и никакая общественная сила не заглушит этой настоящей сути человеческой природы.

А может быть, у Гродзенского просто были гены праведника. Отсюда и игра вазомоторов при невольной даже лжи.

Гродзенский явился ко мне с деловым предложением похлопотать о моей пенсии. Дело в том, что для меня составляли непреодолимое препятствие формальные хлопоты о чем-то в своей судьбе. Как всю жизнь <...> я держусь на коротком поводке, сводя свои обязательства к минимуму.

Все мы поставлены государством в положение не просто возвращения, но возвращения, требующего предъявления доказательства своих прав.

Одним из самых больших оскорблений, которые жизнь мне нанесла, был не тюремный срок, не многолетний лагерь. Вовсе нет. Самым худшим оскорблением была необходимость добиваться формальной реабилитации индивидуальным порядком. Это было глубочайшим оскорблением.

Если государство признает, что в отношении меня была совершена несправедливость — что и удостоверила справка о реабилитации, данная после полуторагодичной проверки <....>, то дороги все должны быть открыты и государство должно выполнять любые мои желания, любые мои просьбы — по самому простому заявлению.

Оказалось, все вовсе не так. При каждой попытке принять участие в общественной жизни воздвигались новые преграды — теми же самыми людьми, которые всю жизнь меня мучили и держали в лагерях.

Это было при обращении в Союз писателей в <...> беседе с Ильиным[17]. Это было и в невозможности опубликовать хоть строчку моих стихов — не рассказов, не прозы — а стихов.

Это было и в больнице Боткинской.

Если я инвалид — пусть государство платит за мою инвалидность. Но для этого признания потребовались колоссальные усилия — форс мажор психологической атаки. Но и с того случая я получал копейки, на которые жить было нельзя.

После всех этих оскорблений, ежедневных, ежечасных, унизительной работы у Твардовского как представителя прогрессивного человечества, невыносимой работы по чтению самотека — при категорическом отказе <...> Твардовского напечатать хоть строчку моих стихов, хоть один мой рассказ — ведь все это было годами в распоряжении «Нового мира»[18]. Отторгнутый Твардовским от журнала, от денег — и это превратить в ничто.

Я и рецензии-то писал с расчетом напечатать хоть один рассказ, цикл стихов. В этом мне было категорически отказано Твардовским. Тогда я обманул его, дав стихи через Солженицына, а Твардовский <нрзб>... выступив публично, отчитал <за> разночтения к стихам.

Мне тогда же были выданы на руки все стихи и все рассказы, которые хранились в НМ.

Я, получая 26 рублей пенсии по инвалидности Ш группы, был в безвыходном положении. Мне было сообщено, что я могу читать самотек и я уже оформлен как рецензент. <...>

Естественно, что О. С. Неклюдова, ожидавшая от меня совершенно других действий в части Союза писателей и прочего[19], не могла и не хотела поддержать меня. Да я бы и не согласился ни на какую поддержку.

Вот тут-то мы и обсудили с Гродзенским эту проблему в ее чистом виде — сотрудничество с НМ, которое вот-вот прервется.

Гродзенский сказал:

— Я буду ходить. Я соберу все справки. Оформим не инвалидность, а десятилетний стаж горняцкий — есть такой приказ. Я сам по нему получаю пенсию. И мне тоже хлопотали другие. Я не ходил сам для себя, а для другого я могу пойти. Тебе надо только согласиться.

<...>Архивы комсомольских собраний дали тот материал, который привел в 1935 году к первому, но далеко не последнему аресту Гродзенского. Его лагерь и ссылка начались с «кировского» дела, зачисления его навсегда в троцкисты. Гродзенский перенес неоднократный срок заключения и ссылки, как все КРТД до реабилитации в Хрущёвское время.

Я эту лагерную часть опускаю, потому что Воркутинский лагерь не был лагерем уничтожения, как Колыма, и кое-какой человеческий облик воркутяне сохранили.

Яков Гродзенский был рязанский самиздатчик, 64 лет от роду, философ по образованию и геолог по профессии, прошедший известный курс наук на Воркуте.

Сочинский детдомовец, Гродзенский рос под надзором некоторых старых партийцев — от детдома к рабфаку, от рабфака к вузу. На факультет советского права Гродзенский поступил в 1927 году. Естественно, что человек такой биографии должен был оказаться в рядах оппозиции.

Так и было.

В 1927 году Гродзенский был исключен из комсомола и из вуза, но в Университете Якову удалось восстановиться, и он кончал уже не юридический (совправа), а философский.

Гродзенский испортил мне рассказ «Вейсманист», не проверив как следует имени ученого. Мне было все равно, как называть — в ритме фраз годилось одно слово «Вейсманист». И «Менделист». Мне было нужно только имя ученого, открывшего хромосомы, автора хромосом. Мой Уманский никогда не называл себя вейсманистом. Он говорил: я — морганист, и рассказ должен был называться «Морганист». Но Гродзенский, пообещав мне все узнать, приехал с ответом неопределенным, ибо или его жена-врач, или его консультант-профессор не может вспомнить имени ученого и считают, что «Вейсманист» пройдет.

Мне было некогда. Не раньше чем через год я вернусь к <написанному>, когда было уже поздно.

Сейчас это кажется само собой понятным, но в 1950 году это было не так. Даже в словаре иностранных слов к слову «ген» было сделано однозначное разъяснение, что «представление о генах является плодом метафизики и идеализма».

Но рассказ — один из самых известных моих рассказов в самиздате — пострадал. Гродзенский в этом виноват.

Начало 1970-х

ПРИМЕЧАНИЯ

Оригинал — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 130, л. 1–85. Первая (недостаточно полная) попытка расшифровки этой рукописи была представлена в Шаламовском сборнике. Вып. 4.

М., 2011. В данном случае, благодаря дополнительной текстологической работе В. В. Есипова и С. Ю. Агишева, текст значительно дополнен и отчасти скорректирован. Опущен ряд трудночитаемых фрагментов рукописи, касающихся послелагерной биографии Я. Д. Гродзенского.

[1] *Ландау* Лев Давидович (1908–1968) — выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии. Дружил с С. Я. Маршаком и часто декламировал в публичных выступлениях начала 1960-х годов английскую балладу в переводе Маршака «Королева Элинор» («Королева Британии тяжко больна...»). Возможно, Шаламов бывал на одном из этих выступлений и оценивал понимание поэзии со стороны Ландау как сугубо дилетантское. Ср. отзыв Шаламова о Ландау и его размышления о науке и поэзии в письме к И. П. Сиротинской (т. 6, с. 498–499).

[2] Имеется в виду комната Шаламова у О. С. Неклюдовой на Хорошевском шоссе, д. 10, кв. 2.

[3] *Скорино* Людмила Ивановна (1908–1999) — литературный критик, член редколлегии журнала «Знамя».

[4] Очевидно, Шаламов имеет в виду работы А. Белого по теории стиха.

[5] В 1934–1937 гг. Шаламов работал в журнале «За промышленные кадры», где познакомился с Л. И. Скорино.

[6] Воспоминания «Двадцатые годы» были опубликованы почти тридцать лет спустя в журнале «Юность» (1987, № 11–12).

[7] *Авербах* Моисей Наумович (1906–1982) — друг Я. Д. Гродзенского, был репрессирован, находился в воркутинских лагерях. В 1960-е годы оказывал Шаламову помощь в юридических вопросах. (См. письма М. Н. Авербаха Шаламову в наст. изд., т. 6.)

[8] Поздняя сниженная оценка Б. Пастернака. (Ср. статью Шаламова «Несколько замечаний к воспоминаниям Эренбурга о Пастернаке» в наст. томе.)

[9] *Вигдорова* Фрида Абрамовна (1915–1965) — советская писательница и журналистка, автор записи процесса над И. Бродским (1964 г.), широко распространившейся в самиздате и за рубежом. Шаламов, как и многие современники, чрезвычайно высоко ценил нравственные качества Ф. А. Вигдоровой. (См. их переписку в т. 6, с. 363–366.) В то же время Шаламов отмечал неблагодарность И. А. Бродского по отношению к той роли, которую сыграла в его судьбе Ф. А. Вигдорова. (См. Записные книжки, т. 5, с. 295.)

[10] Шаламов (как и в случае с Б. Пастернаком) снижает образ А. Блока, который был одним из его любимых поэтов.

[11] Вопросительный знак свидетельствует о нетвердой памяти Шаламова о дате своего выступления по телевидению. Оно состоялось в мае 1962 г. (См. письмо Гродзенскому от 14–16 мая 1962 г. в т. 6, С. 326–327.)

[12] Речь идет о работе Шаламова в 1959–1964 гг. внештатным внутренним рецензентом в журнале «Новый мир» при редакторе А. Т. Твардовском. Шаламов рецензировал рукописи самодеятельных авторов. (См. данный том, с. 444–459.)

[13] *Пантюхов* А. М. — колымский врач, направивший Шаламова на курсы фельдшеров и тем спасший ему жизнь. (См. наст. изд., т. 6, с. 270–272.) Недовольство Гродзенского (и Шаламова) Пантюховым в данном случае может быть объяснено содержанием «магаданской справки», о которой упоминается ниже. От таких справок, подтверждающих стаж работы Шаламова на Колыме, зависел размер его пенсии.

[14] Имеется в виду С. И. Аллилуева, дочь Сталина. (См. отзыв Шаламова о книге С. И. Аллилуевой «Двадцать писем другу» в данном томе, с. 401–404.)

[15] Речь, вероятно, идет о потере Гродзенским квартиры и прописки в Москве после лагеря.

[16] Имеются в виду вазомоторные (сосудистые) реакции организма.

[17] *Ильин* В. Н. — в 1960–1970-х годах оргсекретарь Московской писательской организации, бывший генерал КГБ.

[18] Шаламов преувеличивал личную роль А. Т. Твардовского в том, что «Новый мир» не смог опубликовать его произведений. Кроме общеполитических и цензурных обстоятельств здесь имели значение некоторые действия А. И. Солженицына. (См: *Есипов В.* Нелюбовный треугольник: Шаламов — Солженицын — Твардовский // Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда: Книжное наследие, 2007, 2008. С. 67–104.)

[19] Имеется в виду нежелание Шаламова в этот период вступать в Союз писателей СССР.

БОРИС ПОЛЕВОЙ

(отрывки)

У Полевого были две черты — редактора и человека, умещающиеся в одном лице: крайняя торопливость, вспыльчивость, бестолковость даже — десять раз встанет с кресла — сядет и выдаст, что он готов бесплатно лично печатать своей рукой вставки, сделать, <пробить>, толкать.

Наряду с этой чертой, крайней нетерпеливостью, в нем умещалась столь же крайняя осторожность. Ни на один вопрос в этом открытом для всех кабинете — у Полевого не было часов приема — вы никогда не получали ответа сразу. Главный редактор записывал дело на бумажку, а ответ вам был через несколько дней. Для чего это делать?

Не для того, чтобы прочитать с кем-то — ниже, выше или сбоку всех стоящих.

И не для того, чтобы дать поработать времени, как говорится. А просто затем, чтобы подумать наедине и если получить консультацию, то крайне необходимую, не больше.

А скорее всего главный редактор не хотел ни в чем рисковать, а напротив, обдумывал принятое решение.

В дебрях «Советского писателя»[1]

«Советский писатель» никогда не пользовался доброй славой насчет дополнительного заработка редакторов. Н.[2] просто возила на дом своему редактору сумму — трудно сказать, точен ли был процент отчислений. Расписки тут, конечно, не берутся — взятка была скорее задел на будущее. Осведомитель и стукач Храбровицкий[3], работавший там редактором в отделе прозы, уверял, что даже получение гонорара за рецензию требовало отчисления в виде бутылки коньяка или ужина в ресторане за счет автора книги прозы, рецензента или автора стихотворений. Возможно, что это все — выдумка такого известного сплетника, как Храбровицкий, ибо за стихи дополнительного налога с меня не снимали. Тут дело гораздо тоньше обставлено. Во-первых, стихи — это копейки, на которые жить человеку нельзя.

Тот, кто платит, угощает, получает просто более выгодную работу по переводам. Строчки оплачиваются больше, что составляет значительную разницу при инфляции, от 70 копеек до двух рублей. Но и это все пустяки. Суть не в том, давал ли я взятки в «Советском писателе». Я их не давал и давать не собираюсь. Как бы шли мои сборники, если бы я давал взятки, — не знаю, не могу угадать. Многие мои знакомые именно в этом видели тормоз моего движения вперед в «Советском писателе», рычаг, стрелку, отводящую сборник в тупик, на

запасной путь. Ногу подставляли вовремя. Возможно. Весь мой рассказ вовсе не об этом.

Сплетня — такой рычаг, слух — та идея, которая обладает материальной силой, по выражению Маркса, и творит чудеса.

Все наши судьбы, особенно тех, кто, как я, освобожден «по вновь открывшимся обстоятельствам», т. е. пересмотр дела с опровержением каждого пункта обвинения, зависят вовсе не от редакторов. Все наши дела решают наверху, на партийном съезде, и в этих пределах нам гарантирована любая защита на любом уровне. Это значит, в частности, что цензура действует. А она и действует так в рамках решений партийных съездов.

Это легко видно и по моим сборникам. Текст «Камеи» из «Огнива» — 1961 г. отличается от текста «Камеи», «Шелеста листьев», а «Некоторые свойства рифмы» иные в «Дороге и судьбе», чем в «Огниве»[4].

Все это абсолютно нормально. И практически и издатели, и цензура, и сам автор может опереться на закон, касающийся очень многих, и никем никогда не отменявшийся. Словом, со стороны цензуры у меня никогда за эти шестнадцать лет не было и не могло быть каких-либо претензий: ни в «Московском рабочем», ни в «Советском писателе» таких препятствий и не было. Но каждый редактор, каждый работник любого издательства, любого журнала делал вид, что только от него, от его энергии, от его сочувствия зависит опубликование любого моего стихотворения.

Конечно, пейзажная лирика — это объект, дающий слишком большой простор сомнениям, иносказаниям, аллегориям. Но эти аллегории — в воспаленном мозгу редакторов. Ибо в пейзажной лирике содержательность позиции должна быть определена таким же способом, как делает Дмитрий Шостакович — словами, а не музыкой.

Издательское колесо делает оборот в три-четыре года. Этот вполне нормальный или, видимо, ненормальный оборот, примем тем не менее за норму. Автор поэтического сборника в два авторских листа, а это средний объем поэтической книги — в полторы тысячи строк, вкладывает рукопись в колесо. До этого момента стихи странствуют из конца в конец издательства, далее — в течение трех <лет> дополняются, чтоб освежить сборник — сурово редактируются — отвергаются. Наступает сдача текста в производство. Почему-то раз перепеча-

танное исправляется. На этот процесс тоже уходит год-два. Но все это кончилось, и рукопись ушла в производство, на нее подписан договор, произведена выплата. Словом книга перескочила главный издательский барьер.

Следующий сборник того же объема вы можете предложить издательству еще через три года. Нет нужды, что у вас к выбору давалось не два, а двадцать листов, отвергнутые отнюдь не по художественным недостаткам. У <вас> пропало, осталось в архиве восемнадцать из двадцати листов стихов, которые вы давали издателю. Среди этих «отверженных» немало важных для вас, дорогих вам. Но выставок «отверженных», как при импрессионизме, у нас не устраивается, и стихи оседают в архиве. Каждый новый сборник по идее должен состоять из новых стихов — или быть дополнен лучшими старыми. Словом, по сведениям Книготорга, чтобы ваша <поэзия> раскупалась мгновенно, вам не увеличивают ни листажа, ни тиража.

И хотя сборники стихов с десятитысячным тиражами идут издательствам в убыток — никто не делает попыток изучить этот вопрос поглубже.

Но вернемся к теме, к цифрам. После первого издания у вас осталось восемнадцать листов из двадцати. В сборник вошло только два листа. Вы — профессионал, вы пишете по стихотворению каждый день и через три года сдаете в издательство сборник в шесть листов — пять тысяч строк. В сборник включают два листа, а остальные идут в архив. Задолженность века растет, как государственный долг Соединенных Штатов Америки.

Вам хочется освежить материал. Вы уже потеряли интерес к темам, волновавшим вас десять лет назад. И издательство тоже требует освежения, практически лишая возможности это освежение сделать. Весь московский материал для сборника «Московские облака» бракуется из соображений отнюдь не художественных.

Можно опубликовать «Огонь — кипрей» и нельзя «Таруса», «Память», «Скульптор Герасимов», «Живопись», «Асуан», «Луноход» — вот список не попавшего в «Советский писатель».

Здесь издательства действуют ржавой затычкой: о лагере, о Колыме мы можем опубликовать — у нас есть разрешение на такую публикацию, а те стихи не пропускают. Таким образом, в «Московских облаках» нет ничего московского, а то же самое, что уже представля-

лось в прежние сборники и отвергалось тогда. А это московское есть те же самые шесть листов, из которых вновь отвергнуто четыре.

Сейчас меня Колымский материал не интересует ни капли, а ничего другого для меня [подчеркнуто автором. — *Ред.*] «Советский писатель» не хочет допустить. Пиши о лагере — и все, вот практика, уродливая, порочная практика издателя.

Меня часто спрашивают товарищи: почему в твоих стихотворениях нет датировки — обстоятельство, которое им кажется важным. Для меня же — при медленном движении издательского колеса, при росте задолженности государства за мои стихотворные строки толкнули бы любого поэта на естественный выход — инфекцию многословия — этот вопрос не представляется важным. Датировка, под которой в сборниках могут печататься стихи сорокалетней давности, работа с постоянной астрономической скоростью в один световой год — предел физических, нравственных и духовных удач поэта.

<1972>

ПРИМЕЧАНИЯ

Незавершенная рукопись (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 141), на первый взгляд, создает впечатление единого текста о Б. Н. Полевом. (*Полевой Борис Николаевич,* 1908–1981, редактор журнала «Юность», секретарь правления Союза писателей СССР, много сделавший для поддержки Шаламова. (См. письмо Шаламова Б. Н. Полевому в т. 6; см также: *Есипов В.* Шаламов в «Юности» // Юность. 2012. № 6.) На самом деле вторая часть рукописи никакого отношения к Б. Н. Полевому не имеет, т. к. «в дебрях» издательства «Советский писатель» последний по своему статусу не присутствовал. Первая часть рукописи дает представление о том, как Шаламов воспринимал личность Б. Н. Полевого, вторая показывает, как Шаламов относился к литературным нравам своей эпохи.

[1] Заголовку предшествует слово «Полевой», что не отвечает содержанию текста.

[2] Н. — возможно, О. С. Неклюдова.

[3] *Храбровицкий* Александр Вениаминович (1912–1989) — литературовед, исследователь творчества В.Г. Короленко. Служил посредником в сборе материалов для книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», знакомый Шаламова. Ср.: «Через Храбровицкого сообщил Солженицыну, что я не разрешаю использовать ни одни факт из моих работ для

его работ» (*Шаламов В.* Из записных книжек // Шаламовский сб. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 30). Называя А. В. Храбровицкого «стукачом», Шаламов имеет в виду его роль передаточного звена в распространении литературных и окололитературных новостей.

[4] Подразумеваются цензурные изъятия в стихотворных сборниках Шаламова.

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ «ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛОГДЫ»

Помню газеты 18 года о Бресте. Резкий голос отца: «Подписали? Распутин за такой совет был убит»[1].

Откуда мама брала деньги на жизнь, я не знаю. Помогала Наташа. Галя — ежегодно посылку винограда, от которого доходила одна гниль.

<О брате Валерии на похоронах отца в 1933 г.:>

Выпросил Валерий у матери золотую цепочку отца — на память. У меня не хватило духу вмешаться в этот разговор.

Чрезмерной душевной тонкости был чужд отец.

Маму в течение всей ее жизни, особенно при ее полной инвалидности, беспомощности физической, особенно со слепым мужем на руках, очень мучили лукавые евангельские рабы — обещал, а не сделал! — черта, весьма распространенная не только в русском народе.

В духовенстве отец видел единственную реальную силу, которая не разбудит народ — народ давно разбужен, а решит все русские проблемы. Тот джефферсоновский дух свободомыслия, который царил в нашей семье, не противоречил убеждениям отца в призвании русского духовенства. На себя он смотрел как на человека, который пришел служить не столько богу, а сколько вести сражение за лучшее будущее России.

Отец <спрашивал> о человеке, совершившем открытие: «Он, конечно, из духовного звания?»

Отец не любил Гапона, хотя именно Гапон, священник, встал во главе разрушительных сил, сокрушивших империю.

За мой «Меньер» — рвоту в тотемской поездке — я был строго наказан — что-то съел и не хочет сознаться, затрудняет лечение. Не видя все того же меньеровского комплекса моего вестибулярного аппарата, обвинял

меня в трусости из-за боязни забегать на колокольню. Та же трусость, по его мнению, мешает мне лазать по деревьям, зорить гнезда. А что я не хочу учиться стрелять, ссылаясь на то, что не вижу мушки, отец создал целую домашнюю комиссию — как может быть, если ты можешь читать, а не видишь мушки охотничьего ружья. Значит — ты врешь и подлежишь наказанию, презрению. Природное нарушение равновесия — не мог ходить на гимнастическом бревне. А мушку я не видел потому, что был близорук правым глазом, а левым дальнозорок, что не мешает мне читать без очков — редчайшее преимущество в зрении.

Отец умер в 67 лет — все зубы его были целы — и физические, и духовные.

Горжусь, что никогда не держал охотничьего ружья в руках.

Сборники «Знание» с библиотечным штампом, Флоренский «Столп и утверждение истины», «Петербург» Белого — все это чтение сохранила моя память.

К этому времени относится и мой рассказ «Борисгофер», где отец пытается разрешить мои проблемы своим, т. е. самым передовым прославлением в газетах путей чтения в общественной библиотеке

Инспектор Леонид Петрович Капранов, черносотенец, повинный в исключении брата[2].

Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни. В душе моей детской рождалось чувство жалости за мать, красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару. После, когда отец ослеп, эта острая жалось перешла к отцу.

Никогда не готовил уроков. Все школьные задания я делал сразу по возвращении домой, в первый же час, еще до чая, до обеда — все остальное время читал, чтобы занять, залить жажду жадного мозга.

Отец был человеком волевым.

Конечно, работая городским священником, отец не стрелял сам (стрелял на Кадьяке). Снимал и выделывал шкуры. Научил меня выделывать шкуры — кро-

личьи, по народному способу — обыкновенным тестом. Только убивать ни животных, ни птиц он меня не мог научить. Это главная причина, поссорившая меня с отцом.

Карт, домино, лото в доме вовсе не было. Шашки отец считал глупой игрой, а шахматы признавал, хотя сам играть не умел. Когда я научился играть в шахматы, мне было разрешено ходить в городской шахматный кружок в том самом «Золотом якоре», где жил и творил свой суд Кедров.

Я на всю жизнь запомнил эту хозяйскую рожу покупателя из деревни, за мешок муки вытаскивавшего зеркало. Я навсегда запомнил Расею, в чьих нравственных качествах имел возможность лично убедиться бесчисленное количество раз.

И пусть мне не «поють» о народе[3].

Топография квартиры: гостиная, зало, вторая — сестер, в третьей — с окнами на двор жил отец с матерью, там стоял письменный стол и семейная кровать. Я — в проходной — с одним окном, две койки братьев и сундук[4].

Читать «Отче наш» я не помню, чтоб меня кто учил — мать, сестры, уж не отец, конечно. Для меня с моей памятью на стихи, рифмованные и белые, это «Отче наш» было не труднее Пушкина. <Пропуск фразы в машинописи>. Но и богохульные тоже не приходили в голову. Первое стихотворение богохульное я услышал в стихах Клюева[5].

Отец, укрытый слепотой, при новых тяжких известиях говорил: «Все это пустяки». Увы, это не было пустяками. Выступала на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему.

Отказ от отцовской карьеры (священника) огорчил не только отца, но и мать, которая тоже почему-то допускала меня в священство. Отец: «Если хочешь, я напишу Введенскому и устрою на учение. В обновленчестве есть и свои интеллигенты».

Уехал в Москву — были проданы два ружья брата Сергея, сшиты: две рубашки мадепаламовых[6], перешито пальто дяди Андрея.

Считаю Конан-Дойля и сейчас большим писателем. «Моби Дика» в наше время не было.

[К машинописи приложен лист с рисунком карандашом рукой Шаламова могильного деревянного креста с надписью на нем «Отец Тихон Шаламов». Дата —

30.IX.34 и запись: «Мама вчера говорила: папа все просил: “Купи мне птичку. Я бы за ней ходить стал. Она бы по утрам пела. Купи. В память Сергея”»][7].

ПРИМЕЧАНИЯ

В машинописном варианте «Четвертой Вологды» (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 64) есть ряд купюр (зачеркиваний), сделанных автором, а также И. П. Сиротинской. Как можно предположить, отчасти эти купюры имели целью избежать повторов, отчасти были направлены на смягчение характеристик отдельных персонажей и на устранение деталей, нарушающих логику повествования. Восстановленные фрагменты текста позволяют более полно представить творческий процесс Шаламова в работе над этим произведением, а также уточнить ряд фактов биографического характера. Подготовка текста — В. В. Есипов.

[1] Речь идет о Брестском договоре 1918 г., в результате которого был заключен сепаратный мир с Германией. Мнение отца о Г. Распутине как стороннике такого договора разделял и Шаламов. Ср. его запись в дневнике: «Три человека понимали в Первую мировую войну, что нужен мир с Германией: Распутин, Ленин и Генри Форд» (т. 5, с. 303). Как известно, основной причиной убийства Г. Распутина в 1916 г. стали другие обстоятельства.

[2] Характеристика инспектора Вологодской гимназии Леонида Петровича Капранова как «черносотенца» устранена, вероятно, потому что показалась автору слишком резкой — после революции Капранов стал директором единой трудовой школы (сменившей гимназию), где учился Шаламов. О нем идет речь в эпизоде «Четвертой Вологды» о «некрасовском вечере» (т. 4, с. 80–82). Причиной исключения брата Сергея из гимназии была неуспеваемость (т. 4, с. 60.)

[3] Ср. окончательный вариант: «Пусть мне “не поют” о народе» (т. 4, с. 116). Фразу «не поють» Шаламов счел, вероятно, слишком фельетонной, снижающей важный смысл.

[4] Детали крайне значимы для воссоздания музея-квартиры В. Т. Шаламова. На сундуке в комнате братьев он спал в детстве.

[5] Вероятно, Шаламов имеет в виду «хлыстовские» мотивы ранних стихов Н. А. Клюева.

[6] Мадепалам — тонкая хлопчатобумажная ткань.

[7] Дата «30.IX.34» свидетельствует, что Шаламов в это время приезжал в Вологду, чтобы навестить больную мать (умерла 26 декабря 1934 г.) и побывать на могиле отца (умер 3 марта 1933 г.).

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

<Из записной книжки 1957 г.>
Расширение зрачков на чужую собственность.

Является ли моя болезнь поражением местного порядка (хр<онический> неврит слух<ового> нерва) или уши — только часть и следствие общих изменений.

Потерянная работоспособность, почти полная невозможность сосредоточить себя на работе, привести себя в некий — рабочий транс — может ли еще уйти или переходить на инвалидность. Режим[1].

Кусок мяса (история одного аппендицита)[2]
Побеги — война

Кривицкий
Почему и куда бегут
Котельников, камчатка
Моя отлучка
Двенадцать банок...
Полевая
(беглец с «Разведки»)
Беглец с колбасой
Лейтенант Плотников и ладони[3]

Все твое, что окинешь оком.

«Врачи приходят и уходят, а больные остаются».

Кто-то рассматривал меня в лупу. Лишь после, вспоминая эти минуты, я понял, что это были очки дежурного врача.

«Дама с собачкой» — в сущности единственный вид дамской любви, если она еще осталась.

<Из тетрадей 1961 г.>
Страну приучали к запаху крови. Свидетелей меньше, чем палачей (Л. Гинзбург)[4].

До космодрома (набросок стихотворения)

...Время, отброшенное в средневековье,
Снег, окропленный чистейшею кровью,
Около спиленных лагерных вышек
Жизнь поднимается выше и выше.

Заметки о футболе и шахматах[5]

Пятьдесят лет назад я посетил московский шахматный турнир международный. Первая партия Ласкер–Капабланка игралась в тогдашнем ресторане «Метрополь». Толпу, собравшуюся у подъезда, охраняла милиция конная. Милиционеры кричали: «Ничья! Ничья!»

Но и толпа была невелика — человек триста — не больше.

Все остальные партии турнира игрались не в этом помещении и никаких толп болельщиков не собирали. Шахматный турнир шел в клубе Совнаркома, в соседнем подъезде, где сейчас кассы аэрофлота. Человек сто ходило на этот турнир...

<Далее в ахивном деле — вырезка из газеты «Советский спорт» от 19 сентября 1974 года. Матч Карпов–Корчной. Вторая партия. Заметка П. Дембо: «Крушение на дебютных рельсах»>.

<Комментарий Шаламова:>

Тут скорее крушение на шахматных рельсах, ибо Карпов не пропускает такой небрежности, неряшливости, ошибок. Корчной проиграет матч. <...>[6]

Я оставил шахматы в тот самый день, как убедился, что они больше берут, чем дают, — и времени, и душевных сил. Как ни незначительна роль стихов в жизни, все же она побольше, чем у шахмат.

На Западе существует одна свобода — свобода клеветать на Советскую власть. И вот для этой-то цели тратятся миллиарды, существуют целые институты <...>

В каком-то смысле Куба их тревожит больше.

Атомная бомба держит мир в состоянии мира.

Инсбрук, 1976 г.

Замечательная Белая Олимпиада! Не было нападений террористов — мюнхенские убийства, ни случайных людей.

Что для меня лично было всего дороже? Женская золотая эстафета с результатом — СССР–Финляндия–ГДР, где золото было создано из ничего, даже не из нуля, а из минус четыре, секунд [так в рукописи. — *Сост.*], проиграла Балд<ычёва> на общем старте. Ее столкнули, она упала. Второй этап Зоя Амосова, Г. Кулакова, Сметанина.

Как ни трудна
Моя судьба —
Не эмигрантская сволочь
Будет ставить мне баллы за поведение[7].

<Черновики письма в «Литературную газету»>[8]

Я — честный советский писатель.

О «Посеве» — в жизни не видел этого мерзостного издательства.

Что им до того, что мои Колымские рассказы относятся к тридцатым годам, к времени сорокалетней давности, что им до всех этих проблем. <...>.

И Западу, и Америке нет дела до наших проблем. И не Западу их решать.

<Набросок письма секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву>[9]

Я категорически протестую против использования моего имени в контрреволюционных целях и запрещаю печатание моих произведений на Западе и в Америке. Прошу опубликовать мое заявление в Лит. газете.

<Набросок письма С. Наровчатову — в «Новый мир», без даты>[10]

Я предлагаю опубликовать в «Новом мире» мою переписку с поэтом Пастернаком 1954–1956 гг. 7 писем от него и ответы плюс воспоминания.

Я считаю Пастернака жертвой холодной войны, запутанным всякой иностранной сволочью. Единственная его оплошность: то, что он не пошел на вполне логический шаг: публичной физической демонстрации своего отношения ко всем этим проблемам, <разрубить> этот узел, дав публичную плюху любому западному корреспонденту.

<Набросок стихотворения, 1972:>

Никогда не воскреснет шоссе
В той былой Хорошевской красе...[11]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Записи 1958 года, сделанные в общей тетради в период пребывания в больнице имени С. И. Боткина (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 25, 26).

[2] Замысел рассказа «Кусок мяса» (см. наст. изд., т. 1, с. 331–337).

[3] Очевидно, что Шаламов во время пребывания в Боткинской больнице обдумывал очерк «Зеленый прокурор» (1959) о

попытках побега с Колымы. Из этого же материала родился рассказ «Последний бой майора Пугачева» (1959).

[4] *Гинзбург* Лев Владимирович (1921–1980) — переводчик-германист и публицист-антифашист. Шаламов цитирует его слова из книги «Цена пепла» (М.: Советский писатель, 1961): «В Иерусалим на процесс стекались свидетели. Их осталось немного, гораздо меньше, чем палачей, которые их мучили».

[5] РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 175.

[6] На этот же лист приклеен билет: 18 сентября 1974 года, Колонный зал Дома Союзов, партер, ряд 3, место 12. Цена 2 рубля. Как можно понять, Шаламов присутствовал на матче Карпов–Корчной, болея за Карпова.

[7] Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 40.

[8] Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 40.

РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, д. 370, л. 39, 40. Черновики письма в «Литературную газету» лишний раз свидетельствуют о глубокой раздраженности Шаламова ситуацией, возникшей после публикации «Колымских рассказов» на Западе, и снимают домыслы о «давлении» на писателя. (См. выше прим. к письму в «Литературную газету» в данном томе, с. 366–367.)

[9] Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011 С. 40.

Письмо П. Н. Демичеву было начато, вероятно, по совету Б. Н. Полевого, регулировавшего в этот момент отношения Шаламова с «верхами». Сведений об отправке письма нет.

[10] Впервые: Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 40–41.

С. С. Наровчатов был главным редактором «Нового мира» в 1974–1981 гг. Переписка Шаламова с Б. Л. Пастернаком была опубликована только в 1988 году в журнале «Юность».

[11] РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, д. 47, л. 13 Общая тетрадь, 1972 г. Отрывочные записи: «Пляж... принести... не могу разучиться плавать» и т. д. с очевидностью указывают на пребывание на отдыхе в Коктебеле.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ»

(заявка в издательство)

1. В нашей литературе разбросанно и неполно отражена чрезвычайно важная в воспитательном плане работа, рассказывающая в доступной и художественно полноценной форме о детстве и отрочестве знаменитых русских людей. Мы до сих пор не имеем на эту тему сборника, рассказа о знаменитых мальчиках — видных ученых, политических деятелях, военных гениях, работниках искусств и науки.

2. Детство знаменитых людей — это всегда источник подражания, примера, желания повторить судьбу любимого героя. У ребят огромная и законная тяга к такого рода литературе.

3. Литература наша не бедна биографиями знаменитых русских людей. Горьковская идея «Жизни замечательных людей» воплощена достаточно удачно. Однако во всех этих биографических повестях (за немногими исключениями) основное внимание и место уделяется не детству, а времени творческой деятельности. Юношество еще находит себе материал в этих биографиях, но мальчик или девочка — никогда.

4. Это происходит в силу пренебрежения к важной стороне дела, ибо нельзя думать, что биографических материалов детства мало. Их достаточно. Просто автор никогда не ставит себе этой задачи. Торопясь к изображению взрослой деятельности, мало доступной, конечно, ребятам.

5. Отсутствие внимания к такого рода тематике тем более недопустимо, что впечатления детства, восприятия детские играют чрезвычайно важную роль в формировании характера человека. Поэтому-то так велико значение подобного рода литературы.

6. Если мы обратимся к детству знаменитых людей, мы увидим в нем, в этом детстве, черты, общие для всякого знаменитого в будущем мальчика-ученого ли, художника ли, политика ли. Эти общие черты проявляются у каждого по-своему, но они налицо, и именно они-то делают детство знаменитого мальчика — великим инструментом воспитания.

7. Каковы же эти черты? Это — активная любовь к людям, доброта, чувство справедливости, организованность в труде, честность, стремление помочь семье, ярко выраженный и определенный интерес к тому делу, которое будет его призванием и местом в жизни. Доказать это нетрудно.

8. Таким образом, рассказ о детстве знаменитых людей всегда явится могучим средством воспитания, полезным инструментом улучшения человеческой породы.

9. В каждой биографии замечательного мальчика можно найти яркие эпизоды, подчеркивающие те важные стороны их детства, о которых мы говорили выше. Художественный рассказ об этом, опирающийся на строго документированный, фактический материал, представляется нам наилучшей формой сообщения нашим ребятам этих важных и нужных сведений.

10. В дальнейшем мы предполагаем расширить такой сборник материалом о детстве знаменитых людей всего мира.

11. В сборник мы хотим включить для начала 40 детских биографий. Объемом каждая приблизительно по полпечатного листа, т. е. весь сборник будет состоять из 20 печатных листов + иллюстрации.

12. Детский сборник, понятно, должен быть изданием иллюстрированным. Нам бы хотелось, чтобы в худоформлении сборника участвовало несколько художников: баталисты оформили бы детские военные биографии, мастера исторических полотен — биографии политических деятелей и т. п.

13. Каждый очерк этого сборника не должен быть простым изложением событий, происшедших с мальчиком за время с 8 до 12–14 лет, хотя и полностью соответствовать фактической стороне дела. Нет, он должен быть живым рассказом об одном-двух случаях из жизни ребенка.

14. Какие биографии предполагаем мы использовать для подобной работы.

ВОЖДИ	УЧЕНЫЕ	ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ	ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ	КОМПОЗИТОРЫ
Ленин	Попов	Усагин	Толстой	Чайковский
(лист)	Яблочков	Уточкин	Горький	Бородин
	Тимирязев		Чехов	Скрябин
	Менделеев		Гоголь	Гречанинов
	Мичурин		Достоевский	Мусоргский
	Циолков-		Пушкин	Римский-
	ский		Добролюбов	Корс<аков>
	Павлов		Чернышев-	Глинка
	Сеченов		ский	Рахманинов
	Лебедев		Лермонтов	Балакирев
	Ковалевская		Гоголь*	
	Столетов		Маяковский	
	Жуковский		Белинский	?**
	Можайский		Герцен	Шостакович
	Филатов		Огарев	
	Мудров		Некрасов	
			Н. Остров-	
			ский	
			Гончаров	
			Тютчев	
			Крылов	
			Грибоедов	

---

* Слово «Гоголь» в рукописи зачеркнуто.

** Вопросительные знаки стоят в рукописи

ЖИВОПИСЦЫ И СКУЛЬПТОРЫ	ВОЕННЫЕ	ТЕАТР ОПЕРА	ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Репин	Суворов	Станиславский	Пржевальский
Суриков	Чапаев	Ермолова	Козлов
Шубин?*	Кутузов	Шаляпин	Миклухо-Маклай
Крамской		Качалов	
Перов		Собинов	
Левитан		Южин	
Шишкин		Федотова	
Верещагин		Щепкин	
Серов			
Поленов			
Тропинин			
Федотов			

ПРИМЕЧАНИЯ

Карандашный автограф Шаламова (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 121, л. 58–62) не датирован, но его по ряду признаков можно отнести к 1957 г. Это время включения писателя в активную литературную деятельность после возвращения в Москву и брака с О. С. Неклюдовой. Собственно, заявку на сборник (или серию книг «Замечательные мальчики», предназначавшуюся, вероятно, для издательства «Детская литература») можно считать совместным плодом мыслей Шаламова и О.С. Неклюдовой, писавшей для юношества. Впоследствии Шаламов не раз повторял: «Детство знаменитых людей — это всегда источник подражания, примера, желания повторить судьбу любимого героя»; «впечатления детства, восприятия детские играют чрезвычайно важную роль в формировании характера человека» («Четвертая Вологда»).

К сожалению, прекрасная просветительская и педагогическая идея о книжной серии «Замечательные мальчики» не осуществлена и поныне.

Усагин Иван Филиппович (1855–1919) — русский физик-самоучка, изобрел трансформатор.

Уточкин Сергей Исаевич (1876–1916) — один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей.

Козлов Петр Кузьмич (1863–1936) — исследователь Центральной Азии, акдемик.

Мудров Матвей Яковлевич (1776–1831) — знаменитый русский врач-инфекционист, уроженец г. Вологды.

---

* Вопросительные знаки стоят в рукописи.

РЕЦЕНЗИЯ В.Т. ШАЛАМОВА НА АЛЬМАНАХ «НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ»

Литературно-художественный альманах № 1–5. Магаданское книжное издательство

Своеобразие Дальнего Севера обусловлено не только необычным уровнем спиртового термометра (ртутный там не годится). Освоение нового края — сложное дело. Различны интересы людей, приехавших сюда с «большой земли»; здесь и посланцы партии и комсомола, здесь и молодежь, увлеченная романтикой севера, здесь и охотники за «длинным рублем»; здесь и искатели приключений, здесь и люди, полюбившие суровый этот край, навсегда связавшие с ним свою судьбу. Интересы эти переплетаются, подчас сталкиваются. Людским коллизиям служат фоном только что одетые географической сеткой «белые пятна» гор, болот и ущелий, стремительных горных рек, тысяч ручьев, только вчера получивших имя; восьмимесячная зима с 50–60 градусными морозами, с жестким рыхлым снегом, который разметают метели и ветра утрамбовывают в ущельях так, что топором приходится вырубать ступеньки на подъемах. Каменный колодец — земной полюс холода — Оймякон расположен здесь же.

Север смещает понятие о расстоянии — ближайший авторский коллектив сотрудников магаданского альманаха «На Севере Дальнем» находится «рядом» с редакцией — в пятистах пятидесяти километрах. Другие авторские группы — еще дальше — тысячу, полторы тысячи километров. Смещено понятие о времени — сутки и час почти одинаковы в расчетах путешественника; порой кажется, что здесь действует влияние того медленного геологического счета времени на «эры», «эпохи», с которым здесь привыкли иметь дело разведчики недр.

Многие наши понятия обрели иные масштабы на севере, где даже звездная карта неба скошена. Кажется, что <привычней> патефона? Но я помню, как привезли его в одну разведочную партию, работавшую целое лето в глухой тайге. Все канавщики, шурфовщики, геологи и коллекторы оставили работу. Патефон был водружен на пне огромной пятисотлетней лиственницы, и вся разведка в необычайном волнении слушала беспрерывно играющие пластинки. А из кустов выглядывали привлеченные музыкой юркие черноглазые бурундуки. Только здесь я оценил патефон по-настоящему[1].

Летчик подруливает обледенелый самолет поближе к столовой в Оймяконском аэропорту. Его обступают почтари — оленьи упряжки уже готовы для развозки почты. Почта запоздала — две недели нелетная погода. А летчик торопится в столовую, чтоб наскоро записать строчки о ледяной мгле на высоте 4000 метров.

Водитель проверяет тормоза автомашины, выслушивает мотор перед подъемом на перевал с многозначительным названием: «Подумай». Геолог перебирает свои старые полевые книжки, перепачканные глиной и грязью — что ему вспоминается? — лиловые, розовые, сиреневые, голубые, желтые туманы колымских ущелий? Или цветовое богатство минерала — ведь палитра камня богаче палитры растений.

Или торопливость колымского лета, когда цветут разом, взапуски все цветы — весенние, летние, осенние — времени слишком мало, лето слишком коротко. Розовые чашечки ландыша виднеются на лесных кочках. Тонко, нежно и пьяно цветет шиповник — единственный здесь цветок, имеющий запах. Голые руки лиственниц протягивают изумрудные кончики пальцев. Наступила весна — без дождя, в ослепительном солнечном свете — тоже торопливом и щедром — солнце почти не заходит — утренняя и вечерняя зори встречаются друг с другом. Корни лиственниц жадно цепляются за каждый клочок оттаявшей за лето земли, тянутся вширь; вглубь нельзя — там лед, вечная мерзлота. Все спешит: птицы, звери, растения. Спешат и люди: геологи, водители, плотники, моряки, агрономы...

В магаданском альманахе «На Севере Дальнем» нет профессионалов-писателей. Каждый час летнего дня на счету. Я вижу отчетливо авторов этого альманаха — в их повседневном труде, в их любви к слову, в их желании показать лицо края, в котором они живут.

Мне ясно понимание редакционным коллективом Н. В. Козловым, П. П. Нефедовым, О. К. Онищенко, Б. В. Некрасовым, Л. И. Юрченко, Е. И. Ивановой, К. Б. Николаевым задач художественного закрепления Дальнего Севера — его своеобразных дорог, его промышленного и культурного роста, — все освоение огромной восьмой части Советского Союза.

Я разделяю сомнения, высказанные на первом совещании литераторов Магаданской области о невысоком еще уровне прозы и поэзии, опубликованной в альманахе. Я радуюсь удачам альманаха.

Лучшее здесь — воспоминания геологов: главы из книги С. Д. Раковского — одного из «первооткрывателей» — начальника одной из первых экспедиций времен 1928–29 года (литературная запись сделана членом ССП Е. Левановской); воспоминания Е. К. Устиева «В тайге» и особенно документальные повести геолога И. Галченко «Мы идем на Север» (№ 2), «По следам И. Д. Черского» (№ 4). Отметим, что сам язык геологов значительно ярче, объем зрения их писательского глаза гораздо шире — по сравнению с глазом и языком всех остальных авторов альманаха — прозаиков, поэтов, очеркистов, критиков...

Расширение этого отдела представило бы большой интерес. Несколько лет назад на Колыме были опубликованы превосходно написанные воспоминания В. А. Цареградского[2], руководителя первой экспедиции на Колыме (вместе с Ю. Билибиным), затем в течение 25 лет возглавлявшего всю геологическую работу на Дальнем Севере, Героя Социалистического Труда. Участие В. А. Цареградского в альманахе было бы весьма ценным, равно как и таких «старых колымчан», как геологи А. П. Васьковский, Б. Л. и Л. А. Снятковы, Овсянников и ряд других.

Интересен отдел «Заметки натуралиста» — только эти заметки надо делать более сжато. Были бы полезны статьи или очерки о лесном хозяйстве Колымы со всеми его особенностями — даурской лиственницы, которая достигает на Дальнем Севере триста лет, о карликовой березе, о рябиновых кустах, о тальнике, цвет которого меняется за весну несколько раз. Краеведческий очерк включит в себя и рассказы о рыбах, о птицах, о зверях колымских лесов и бесспорно будет полезен всем, и в первую очередь — молодым товарищам, желающим знать как можно больше о том крае, куда они приехали жить и работать.

В Магадане есть краевой музей. Не знаю — какова его судьба теперь, но лет пять назад он влачил жалкое существование. В темном сарае стояло облезшее чучело лося, и в темных и низких комнатах одноэтажного деревянного дома были сбиты в угол запыленные фигуры россомах, лис, медведей, зайцев, ястребов — всех вместе. Прочие экспонаты были тоже расставлены кое-как. Экскурсоводов не было.

Хороший большой очерк о курорте союзного значения «Талая», о его истории был бы во много раз полезнее бледного стихотворения Григорьева об этом курорте.

В книге Сергея Обручева «В неизведанные края» есть страничка о геологе Иване Демьяновиче Черском, именем которого назван крупнейший горный хребет Колымы. Бывший политссыльный Черский, так же как и Тан-Богораз, вписал свое имя в историю края[3]. И обручевские строки, включающие куски дневника Черского (он умер во время путешествия от вспышки туберкулеза, и жена его довела его работу до конца), волнуют гораздо больше, чем растянутые, мало выразительные и плохо рифмованные строки поэмы А. Семёнова «Черский» (№ 3).

Хорошо бы собрать воспоминания врачей, инженеров, агрономов колымских. О сельском хозяйстве на Колыме можно рассказать много интересного. Здесь же вспомнится и красочная биография А. А. Тамарина — начальника колымской опытной станции, награжденного орденом, помнится, в 1934 году. Александр Александрович Тамарин-Мирецкий[4] много выступал в 20-е годы в московских газетах как литературный критик. На Колыме с ним были его сестра, его мать. У них должны были остаться воспоминания Александра Александровича, он был пишущим человеком.

Любопытна статья Милонова о северной архитектуре, хотя для альманаха подобный материал надо излагать значительно короче и живее.

Хотелось бы увидеть в альманахе очерк о гражданской войне на Дальнем Севере. Документы пепеляевских[5] есаулов есть в Магаданском краевом музее, да и поселок Ола, вероятно, может кое-что об этом времени рассказать.

Ценны все материалы, печатающиеся ленинградскими работниками Института народностей севера. Их статьям и очеркам, а также стихам поэтов народностей севера и фольклору этих народностей в альманахе отводится большое место в каждом выпуске (кроме № 1). Интересно сообщение М. Сергеева об изобретателе чукотской письменности Тенеувиле[6], закончившем свои многолетние работы в тот год, когда Советская власть принесла алфавит народностям севера. Однако думается, что главной задачей альманаха «На Севере Дальнем» является великая тема освоения края, отраженная в таких очерках, как очерк И. Филиппова «Наш Магадан» — вещь очень нужного и правильного замысла. Следует надеяться, что редакция в будущем устроит на страницах альманаха смотр тех северных поселков, которым уже пора превращаться в города: Ягодный, Сусуман, Усть-Омчуг, Певек и др.

И для широкого читателя представил бы интерес рассказ о том, как заполняются «белые пятна» географической карты, как «крестят» безымянные колымские ручьи. На Колыме есть «Озеро танцующих хариусов», есть ключи «Чекай», «Нехай», «Ну»; есть речка с фокстротным названием «Риорита». Есть «Аида», «Вакханка», «Кармен». Как появились такие игривые названия на географических картах?

* * *

В альманахе печатаются главы из романа-трилогии А. Вахова «Китобои». Первая часть трилогии «Трагедия капитана Лигова» вышла в Магадане отдельным изданием. Это роман на редком материале — страницы истории русского китобойного промысла на Дальнем Севере в прошлом столетии. Вахову удалось, следуя своему замыслу, набросать широкую картину: Петербург, Токио, Сан-Франциско, Гаваи, побережье Охотского моря. Дворцы царских вельмож, притоны китобоев, штормы полярных морей... Японские шпионы и американские пираты... Матросы и местные жители-эвенки... Русские моряки с их неустанным беззаветным трудом на дальних окраинах России... Вся эта пестрая ткань романа развернута перед читателем в связном сюжете. «Китобои» вполне могли бы быть основой приключенческого кинофильма. При некоторой скудости словаря Ваховская трилогия — лучшая в художественном отделе альманаха. Это — исторический роман.

Рассказы альманаха о современности. Они неравноценны. Наряду с явно неудачными, надуманными вроде Л. Стеблева «Ее ответ», есть попытки более значительного замысла (В. Некрасов «Дядя Федя»). Общим недостатком является рыхлость композиции, бедность языка, отсутствие собственного писательского видения мира, пренебрежение к отделкам деталей. Отсутствует экономия слова, сугубо важная в такой литературной форме, как рассказ. Словом, мало писательского мастерства. Но кроме этих, так сказать, «технических» недочетов, свидетельствующих о необходимости серьезной литературной учебы, есть и еще один не менее важный недостаток.

* * *

Имя Джека Лондона увековечено на Дальнем Севере. Самое большое озеро Колымы называется «Озером Дже-

ка Лондона». Это — достойный памятник писателю, талантливые рассказы которого у нескольких поколений наших читателей будили интерес к борьбе с суровой северной природой. И по сей день они зовут нашу молодежь на север. Влияние этого писателя, роль его в воспитании юношества — общеизвестна. Но в чем его сила? В прославлении человеческой воли, в показе — как лучшие качества человека обнаруживаются в бою с суровой природой? Не только в этом. Главная сила Лондона — в его реализме, в психологической правде, в человеческих поступках на севере. Лондон понял север как никто до него и первый из писателей показал «географическую» психологию в сотнях оттенков и подтекстов. Он сумел передать дыхание севера в каждой детали, в каждом диалоге, в каждом пейзаже. И временность приисковых построек, и временность человеческих отношений, и особое северное качество дружбы, и необычность отношений мужчин и женщин. Знаменитые лондоновские треугольники (белый, белый, индианка; белый, индианка, белая) исполнены психологической правды севера. Лондон показал, что добро и зло выглядят на берегах Юкона иначе, чем в Сан-Франциско. Описание северной природы лишь вторичное в рассказах Лондона и не на нем держатся его вещи. Я говорю, конечно, о северных его рассказах — лучшем, что Лондон написал. Любопытно, что в самых удачных «южных» рассказах («Приключение», «Рассказы о Грифе») психология героев, по существу, северная, а не южная, а «нагрузку» мороза выполняет жара.

Я потому так задержался на творчестве Лондона, что вижу в этом небольшом анализе разгадку успехов и неуспехов тех рассказов, которые опубликованы в альманахе «На Севере Дальнем». Здесь безусловно есть способные авторы (Некрасов, Онищенко). Каждому автору альманаха есть что рассказать, но забывая о психологической правде севера (она не лондоновская, конечно, но все же особая), помещая своих героев на Дальний Север, авторы вовсе не показывают скрытых основ поступков героев и, наряду с особенностями быта, не показывают особенностей человеческой психологии. Помимо языкового отбора, впечатляемости деталей, забота над психологической верностью поступков действующих лиц — непременная задача автора. Сними все пейзажное из рассказов альманаха — что останется? Мне думается, что каждому автору надо хорошо продумать, что характерно для севера? Что оставляет следы в сознании и поведении людей и, одобряя или осуждая,

добиться психологической правды. Одновременно придет и правда деталей. То, что сумел увидеть глаз геолога и еще не умеют видеть глаза авторов альманаха. Это очень важно. Недаром Галченко закончил свой очерк размышлением о трудностях лекций «Советские люди осваивают дальний север» (№ 2). «То, что произошло на Дальнем Севере за эти двадцать лет, нельзя выразить будничными словами. Я мог бы сказать: там, где шумела тайга, сегодня выросли предприятия. Там, где ходил зверь, сегодня мчатся автомобили. Там, где были неведомые “белые пятна”, работают школы, кинотеатры, радиостанции. Но эти слова звучат слишком обыденно и не передают всей красоты и величия того, что произошло здесь. На Дальнем Севере произошло нечто более важное, чем освоение суровой природы. Но что же именно? Как это выразить? Я в напряжении думаю, пытаясь подобрать подходящие слова и образы, и не нахожу их».

Найти эти особенные слова и есть главная задача литераторов области. Мне кажется, что, когда исчезнут «северные особенности» в отношениях между людьми, значит наступило время полного освоения края. Освоение «физическое» предшествует освоению «психологическому». И в этом психологическом освоении не последнюю роль сыграет молодая магаданская литература.

* * *

Что сказать о поэтическом отделе альманаха? Настоящих стихов «по большому счету» там еще нет. В первых выпусках помещались и вовсе неумелые стихотворения. Но из выпуска в выпуск редакция все строже отбирает стихи для альманаха. Пятый номер включает интересную поэму В. Португалова[7] «Колыма историческая», несколько напоминающую «Арктическую поэму» И. Сельвинского. Стихи магаданца-москвича С. Наровчатого[8] слабее, чем его же стихи, печатавшиеся в московских журналах. Лучше других С. Ливщиц «В порту». В других выпусках попадались хорошенькие стихотворения М. Дёмина «Вечер», «Утро», «Плотник». Только стихотворение «Утро» безнадежно испорчено строкой «Выходит на повал бригада» («наповал»?). Есть подобное у В. Сергеева «И на траву ложатся щедро росы» (россы?). У Лозового «Моряк сечет внимательным биноклем» (трудно догадаться, что это видоизменение термина «засечь», тоже, впрочем, недопустимого в стихотворении).

Или невразумительность первых двух строк четверостишия стихотворения В. Ладе (№ 2):

Мы лезли на камень, где пики лес (лез?)
Нацеливал грудь назад.
Вода голубых июньских небес
Нам заливала глаза.

Грамотные последние две строки почти дословно списаны из инберовского «Сеттера Джека»: «Джек смотрел, и вода небес заливала ему глаза»[9].

Тщательное наблюдение за звуковой отчетливостью строки, устранение фонетической неряшливости во избежание смысловых спадов — первейшая задача всякого человека, работающего над стихами. Впрочем, в утешение Ладе, Дёмина и Сергеева следует сказать, что и большие поэты не свободны от подобных срывов, примером чему является знаменитая брюсовская обмолвка:

Мы ветераны,
Мучат нас раны[10].

Над «Балладой о паводке» Б. Лозовому (№ 4) следовало бы побольше поработать, устранив «прожорливый пламень и шаманящий ветер». Лирический напор в балладе, несомненно, есть:

А паводок грозно гремел по долине,
Сметая проходки шурфовочных линий,
Чтоб к золоту мы потеряли пути,
Чтоб гул комариный стоял по болотам,
Чтоб волку да рыси была здесь работа,
Чтоб конный и пеший не мог бы пройти,
Чтоб древняя россыпь под снегом лежала,
Скрывая тяжелые брызги металла,
Чтоб ворон парил над тайгой
И чтоб глухомань, что была здесь от века,
Не знала бы дерзкой ноги человека
И белых палаток над быстрой водой.

Есть удачные строки у безусловно способного В. Холмского. Трудно судить, что надо и что не надо было печатать из помещенных в альманахе стихов и что посоветовать молодым авторам. Самая толковая статья на тему «Как писать стихи», которую мне доводилось читать, начиналась фразой «Научиться писать стихи — нельзя»[11].

* * *

О критическом отделе альманаха у меня замечаний немного. Нет слов, полезные обзоры работ магаданских писателей, нужное воспитание работников критического жанра, их «проба пера». Но сейчас важнее другое. Главное, в чем нуждаются авторы этого интересного и нужного альманаха, — это овладение мастерством. И мне казалось бы, что, избегая многословных, информационных, всеобъемлющих и потому неизбежно поверхностных критических обзоров (вроде обзора Ивановой в № 2) — лучше было бы, если б в каждом выпуске альманаха давался подробный, всесторонний, показательный, что ли, разбор по всем правилам литературной науки какого-нибудь одного рассказа, очерка, цикла стихотворений — обзор, на котором молодые авторы могли бы учиться, а остальной критический материал обсуждать в кружках на местах или путем взаимных рецензий, рассылая почтой, — местные условия подскажут конкретные пути такой работы. Значительную роль могла бы и должна сыграть областная газета «Магаданская правда», обеспечивая и литературные страницы местных писателей, и рецензии на выходящие альманахи. В статье председателя Бюро областного литературного объединения Онищенко «Достойно отображать жизнь» (№ 5) высказан ряд упреков в адрес редакции «Магаданской правды». По-видимому, газета мало помогает молодым литераторам, и напрасно. Это прямой ее долг.

* * *

Редакция альманаха «На Севере Дальнем» делает большое и важное дело. От выпуска к выпуску альманах набирает сил. Если в первом были только проза и стихи, то в пятом есть и раздел «Творчество народов Севера», и очерки, воспоминания, публицистика, критика к библиография, и книжная полка. Уже сейчас «На Севере Дальнем» — не хуже многих наших краевых альманахов. Ему пора превращаться в журнал, и нет сомнения в том, что «На Севере Дальнем» будет достойным своего замечательного края — золотого цеха Республики.

* * *

Управление строительства Дальнего Севера было создано в 1931 году. В ноябре прошлого года отмечено

его 25-летие. За это время в геологические исследования края вложено более трех миллиардов рублей. Здесь создано более ста металлодобывающих предприятий, шесть ремонтно-механических заводов. Вместо старательской добычи золота работают цельнометаллические приборы и драги. Механизирована вкрыша торфов, добыча открытых песков и обогащение россыпей. Высоковольтная линия электропередач тянется на четыре тысячи километров, а мощность крупных электростанций достигает 143 тысяч киловатт.

В 1931 году два с половиной миллиона квадратных километров края не имели никаких шоссейных дорог. К 1956 году здесь пять тысяч километров автомобильных дорог и более семи тысяч автомашин и свыше тысячи тракторов. Во всем Колымо-Индигирском крае в двадцатых годах было два десятка селений. Сейчас, кроме большого города на берегу Охотского моря — Магадана — центра области, есть 410 рабочих поселков, в том числе 36 благоустроенных поселков городского типа. Вся посевная плошать 1931 года составляла 2 гектара. Сейчас картофель и овощи выращиваются на площади 8 тысяч гектаров. По данным переписи 1926 г. на каждые сто жителей Колымы приходился один грамотный. На Колыме и Чукотке было всего 20 начальных школ. Сейчас на Колыме 158 клубов, 123 школы, 50 больниц, 93 детских сада и яслей. Эти цифры, приведенные в альманахе «На Севере Дальнем» (№ 5), достаточно ярко показывают лицо нового экономического района страны — Магаданской области, самой далекой окраины СССР.

1957

ПРИМЕЧАНИЯ

Машинопись рецензии (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, д. 121, л. 81–94), предназначавшейся, очевидно, для журнала «Москва», где в это время внештатно работал Шаламов. Рецензия явилась откликом на первые выпуски литературного альманаха «На Севере Дальнем», начавшего выходить в Магадане в 1955 г. (издание продолжается до сих пор). Строгость суждений Шаламова о содержании альманаха обусловлена не только его собственным лагерным колымским опытом (о котором он говорит лишь вскользь), но и свойственными ему высокими литературными критериями.

[1] Ср. трансформацию этих деталей в рассказе Шаламова «Сентенция».

[2] *Цареградский* Валентин Александрович (1902–1990) — геолог, один из первооткрывателей месторождений золота и других полезных ископаемых на Колыме и Индигирке. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1944 г. Генерал-майор, с 1948 — заместитель начальника треста «Дальстрой» по геологоразведке. В некоторых современных источниках (о которых не мог знать Шаламов) приводятся данные о косвенном соучастии В. А. Цареградского в репрессиях на Колыме в 1937–1938 гг. Ср: Соучастники: архив Козлова. Т. 1 / Сост. С.С. Виленский, К.Б. Николаев. М.: Возвращение, 2012.

[3] *Черский* Иван Дементьевич (Ян Доминикович) (1845–1892) — выдающийся исследователь Сибири. Участвовал в польском восстании 1863 г., за что был сослан в самый дальний край России. Именно здесь он проявил свои лучшие качества — мужество и научное дерзание. Шаламов крайне высоко оценивал личность И. Д. Черского, посвятив ему стихотворение (см. т. 3, с. 356). *Тан-Богораз* Владимир Германович (1865–1936) — этнограф, писатель, за участие в кружке народовольцев в 1880-е годы был сослан в Колымск Якутской губернии. В годы советской власти — хранитель музея антропологии и этнографии Академии наук.

[4] *Тамарин* Александр Александрович (1882–1938, расстрелян) — агроном, заведовал опытными сельскохозяйственными станциями на Вишере и на Колыме. Шаламов был лично знаком с ним. (См. рассказ «Хан Гирей» и эпизоды, связанные с А. А. Тамариным-Мирецким в «Вишерском антиромане».)

[5] Имеется в виду авантюристический «якутский поход» 1922–1923 гг. белого генерала А. Н. Пепеляева.

[6] *Тенеувиль (Тыневиль)* — чукотский оленевод, сделавший попытку создания чукотской письменности в 20-е годы.

[7] См. переписку Шаламова с В. В. Португаловым (1913–1969) в наст. изд., т. 6.

[8] Так Шаламов воспринимал на слух фамилию известного поэта С. С. Наровчатова (1919–1981), выросшего в Магадане.

[9] Строки из стихотворения В. М. Инбер «Сеттер Джек».

[10] Шаламов (вслед за В. В. Маяковским — из его знаменитой статьи «Как делать стихи?», 1927 г.) неточно цитирует перевод В. Брюсова стихотворения Э. Верхарна «Мор» (1914): «Матушка смерть! Это мы — ветераны. / Старые, дряхлые, мучат нас раны...». Шаламов, как и Маяковский, подчеркивает примитивизм рифмы «ветераны — раны».

[11] Об этой статье, прочтенной случайно в «Калининской правде» (дата и автор не установлены), Шаламов писал также в эссе «Стихи и стимулирующее чтение» (т. 5, с. 91).

ВНУТРЕННИЕ РЕЦЕНЗИИ В. Т. ШАЛАМОВА НА РУКОПИСИ, ПОСТУПАВШИЕ В «НОВЫЙ МИР»

Уважаемый тов. Аборигенов!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашими короткими рассказами из цикла «Русь уходящая». Рассказы говорят о наблюдательности автора, о способности заметить и обличить антиобщественное, вредное, чужое. Однако сама «площадь» произведений не дает автору возможности художественного изображения виденного, замеченного. Все эти рассказы — как бы сюжеты рассказов, «скелеты», а не живая словесная ткань. Не хватает главного — изображения характеров. Одни сатирические картинки более удачны («Митькина профилактика»), другие менее удачны («Большой человек», «Мы — по договору!»). В целом же цикл кажется предназначенным для юмористического журнала или сатирического отдела газеты.

Можно посоветовать Вам отослать свои рассказы в один из тонких журналов.

Для «Нового мира» Ваши короткие рассказы не представляют интереса.

Уважающий Вас

В. Шаламов.

Москва, А-284, Хорошевское шоссе, 10, кв. 2[1].

Уважаемый тов. Бариль!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашим рассказом «Россия, желаю тебе счастья».

Рассказ этот — попытка закрепить на бумаге коечто из подробностей того времени, которое именуется «Тридцать седьмым годом», «Культом личности» и т. д. Автор пытается рассказать, как встречена была война в лагерях, рассказать о людях лагеря — и заключенных, и начальниках. Рассказ отличается достоверностью. Описания в нем — правдивы.

Однако одной достоверности мало для художественного произведения. К сожалению, «Россия, желаю тебе счастья» не обладает теми важными достоинствами, которыми должно обладать произведение искусства. В «России» нет главного, ради чего пишутся рассказы, — нет характеров, нет живых людей, это, скорее, черновая запись, ли-

тературное сырье, где отдельные удачные наблюдения (напр., начальник, укравший письма заключенных, внезапная смерть товарища в темноте) перемежаются рассуждениями газетного плана, многочисленными «казенными» фразами, и живая жизнь тонет в дидактическом море.

Много в рассказе «литературы». Рассуждения о Ромен Роллане и его героях, цитаты из «Кола Брюньона», а привлечение многих других литературных имен не улучшает, как кажется автору, а ухудшает рассказ.

Язык «России» бесцветен, вял.

«Это был прекрасный, задушевный товарищ».

«Заполярное лето вступило в свои права».

Подобными штампами автор пользуется все время, не стремясь к свежести, выразительности.

Автор недостаточно требователен к собственной фразе.

«Подпитывал, согласно заявок».

«Рисовал обстановку на фронте».

«Огонек папиросы иногда рисовал амплитуду движения руки рассказчика».

«Таким образом, на руднике всегда энергично трудилась многочисленная масса рударей».

Вам нужно удалить из рассказа все, что напоминает газетную статью невысокого уровня, ввести в текст подробности живой жизни. Лучше и сам рассказ превратить в мемуар, в документ, с подлинными фамилиями действующих лиц.

Для «Нового мира» рассказ «Россия, желаю тебе счастья» не представляет интереса.

Уважающий Вас

(*В. Шаламов*)

Уважаемый тов. Гребенюк!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашим рассказом «Заблуждение». Рассказ написан грамотно, отличается литературной культурой.

В попытке очертить характеры, а также и в том, что называется «писательской интонацией» — Вы слепо следуете манере Чехова. Произведения этого писателя Вы читали очень внимательно, и чужое литературное влияние весьма ощутимо в рассказе. Характер главной героини Кати — прямое повторение, ухудшенное издание чеховской Душечки. Второй же

персонаж — архитектор Сизов — схема. Живой крови в этом образе мало.

Вам следует хорошо понять одну важную вещь. Всякое произведение искусства всегда открытие, новость, находка. Новизна эта многосторонняя. Это и новизна материала, и новизна сюжета, тонкость и точность психологических наблюдений, яркость описаний, свежесть языка... Подражание любому автору (как бы успешно и удачно Вы ни подражали) всегда просчет, недостаток.

Рассказ «Заблуждение» (не самостоятельный по своей литературной манере) несколько искусственен, надуман, хотя и написан с самыми добрыми намерениями. «Заблуждение» не поднимает никаких новых вопросов. Безликие «катины подруги» не столько символичны, сколько схематичны. В «Заблуждении» мало живой жизни, — при безусловной грамотности, культуре и «правильном» замысле. Рассказ иллюстративен, а не проблемен.

Вам нужно искать сюжеты и темы для своих рассказов в живой жизни вокруг Вас. Нужно много работать над языком, над словом, чтобы избавиться от чужого влияния, чьего бы то ни было. Надо суметь рассказать о виденном по-своему, своим языком.

Новые Ваши рассказы Вам следует прислать в «Новый мир».

Рассказ «Заблуждение» для «Нового мира» не представляет интереса.

Уважающий Вас

(*В. Шаламов*)

В. Емельянов. «Зверушка». Рассказ — 57 стр.

В рассказе «Зверушка» автор глядит на взрослый мир глазами ребенка-подростка. Этот весьма известный способ суждения о людях и времени нашел в авторе рассказа способного истолкователя. «Зверушка» по свежести художественных подробностей, по уверенности почерка — вполне зрелое произведение. Мир «Зверушки» — не подражание.

В рассказе показывается день жизни деревенской школьницы Зины-девочки с мальчишескими ухватками, бойкой, смелой. Это — день дружбы Зины с хорошими людьми родного села, день вражды с плохими людьми — сердце девочки безошибочно в своих симпатиях и

антипатиях. Деревенская жизнь отражается в этом рассказе, не столько открывая нам какие-то новые стороны, сколько по-новому, по-своему показывая знакомое. В «Зверушке» нет глубоких новых обобщений, но свежие и интересные наблюдения есть.

Персонажи рассказа — живые люди. Это, прежде всего, сама Зина, ее взрослый друг, инвалид войны Василий Иванович, паромщица Лукерья, учительница Вера Петровна, дочери Веры Петровны... Писательское перо оживило не только человека — о корове Милке, петухе Чёрном интересно читать.

Автор умеет пользоваться художественными подробностями и деталями, немало сцен рассказа остается в памяти читателя. Таковы — сражение Зины с петухом, окопанные яблони, начинающие хлопать листьями, оживая. Хорошо рассказано о сирени, пахнущей по разному у разных домов. Вспомнится каждому читателю сладкая шкурка, сорванная из-под коры молоденькой сосенки. Хорошо увиденного и показанного в рассказе немало. Язык «Зверушки» простой и живой.

Повесть годится для печати[2].

/В. Шаламов/

А. Кубрава. «Мираж». Повесть — 123 стр.

В повести А. Кубравы «Мираж» изображена трудная судьба бывшего вора, вступающего на трудовой путь.

Решение этой, казалось бы, весьма банальной темы в повести далеко от шаблона. Сюжет «Миража» следующий.

В абхазскую деревню приезжает из города юноша Зураб, только что окончивший десятилетку. Поступать в институт еще рано, да он и не нашел еще себя, свое призвание. Зураб — добросердечный хороший парень, видящий мир с самой лучшей стороны. У него много друзей, и сам он — хороший товарищ. Хорошо относится к Зурабу и старик лесник Арсентий, к которому ходит в гости юноша. Арсентий во время войны воспитал сироту — русского мальчика и дал ему имя Энвер. Через несколько лет Энвер исчез, и дальнейшая судьба его неизвестна приемному отцу. А Энвер стал вором, неоднократно сидел в тюрьме, в лагере. Внезапно Энвер возвращается в родные края, к Арсентию, и встречается с Зурабом. Молодые люди — добродушный, романтически

настроенный Зураб и нервный, озлобленный Энвер — нравятся друг другу. Они решают вместе ехать в Ткварчели — работать на шахту. Они работают на шахте некоторое время, но Энвера одолевает тоска, и он уезжает. Все старания Зураба исправить товарища, показать ему верный путь — бессильны. Да и молод Зураб, а к людям он не обращался за помощью. Энвер исчезает из жизни Зураба, как «мираж», но эта встреча оставляет глубокий след в душе Зураба. Оставляет неразрешенный вопрос — что делать с такими людьми, в которых есть и хорошее и сильное, — и все же они безнадежны. Встреча с Эневером производит столь сильное впечатление на Зураба, что юноша принимает решение — посвятить свою жизнь защите этих людей.

Зураб решает поступить в юридический институт, чтобы лучше понимать таких людей, как Энвер, чтобы умело и успешно бороться за их душу.

Повесть имеет немало достоинств. Материал ее достоверен, характеры двух главных героев намечены с достаточной четкостью, да лесник Арсентий — живой человек. Удачна композиция повести — лишних сцен в ней нет. Психологии и Зураба, и Энвера показаны вполне достоверно, без фальши.

В повести есть художественные подробности, говорящие о хорошем писательском глазе автора («тихий шелест» угля при падении сверху; угольная пыль на лице, которая «скрывает чувства»; ноги, обутые в резиновые сапоги, «проваливаются в уголь» и мн. др.).

Все производственные описания сделаны экономно, грамотно и свежо (работа лесогонов, взрыв и др.).

С любовью изображен старый абхазский быт (сцены у лесника Арсентия).

Немало в повести и недостатков. Вряд ли правильна трактовка Энвера, как некоего лермонтовского героя, гордого отщепенца романтического склада, обиженного обществом. В жизни все это гораздо проще. Привлекательное, романтическое в Энвере — маска, та самая личина, которую наденет на себя уголовный рецидив. Энвер, хотя и не настоящий «блатной», но отравлен навсегда блатным миром. Конечно, это Энвер в глазах Зураба, в его восприятии это — правильно, но авторское осуждение Энвера должно быть выражено более четко.

Вернее, точнее, правдивее показан в повести образ Зураба. Все его поступки, размышления — достоверны,

хотя и не отличаются мудреностью. Характер Зураба — достижение автора, тогда как фигура Энвера — просчет.

Слабы сцены со Светланой, и сама Светлана изображена бледно, вяло. Это — образ не живой.

Напрасно автор включил в повесть анекдоты столетней давности: о Багратионе и его носе[3], о бумажнике, о «гаке» и др. Рассказ о шотландских пивоварах хорошо известен из переводов Маршака, а «молния, как чиркнувшая спичка» — взята напрокат из чеховской «Степи».

Язык повести имеет много недочетов. Много манерных, вычурных описаний:

«Ночь надула щеки и выпустила ветерок».

«Поезд уронил человека и помчался дальше».

«Каблучки ее туфель, как врач больного, выстукивают грудь земли».

«Глупышка-ветер ласкал щеки Энвера».

«На воле он смотрел на жизнь сквозь пальцы, а теперь он смотрел на нее сквозь тюремную решетку».

«Консервы звуков».

«Душа ударила в набат злости».

«Дать отставку своей мысли».

«Знает, что Энвер способен на все, может носком башмака сыграть на губах человека, как на клавишах, и это доставит ему истинное наслаждение, свойственное тому, что испытывает музыкант».

Много шаблона, штампа. Автор недостаточно требователен к языку — ведь в писательском деле не должно быть никаких скидок.

«Лицо ее освещалось чарующией улыбкой».

«Мир, покрытый черной шалью ночи, спит».

«Тень задумчивости лежала на нем. В белой рубашке, чудесно оттеняющей черные волосы, он выглядел хорошо» и т. д. и т. п.

«Они не кидались друг на друга и это было большим плюсом в их отношениях».

Как тут не вспомнить о канцелярите К. Чуковского!

Примеры легко умножить.

Автору можно рекомендовать много и тщательно поработать над языком рассказа, устраняя все вычурное, манерное, добиваясь свежести, ясности, краткости и простоты.

Для «Нового мира» повесть «Мираж» не представляет интереса.

(*В. Шаламов*)

Уважаемый тов. Кубрава!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашей повестью «Роса и пепел», ранее называвшейся «Мираж».

Ваша прежняя повесть подверглась значительной переработке. Повесть расширена, сюжет ее изменен, введены новые персонажи, изменена акцентировка произведения, исчез «мираж», составлявший ранее главную мысль повести. Эти переделки сделаны отнюдь не по моим замечаниям. От коренной переработки повесть только проиграла, «оказенилась». Пропала свежесть трактовки банальной темы о перевоспитании блатаря. Внезапный отъезд Энвера, «мираж» добросердечного Зураба, который был настолько экспансивен, что собирался даже стать юристом, — все эти сюжетные элементы прежнего варианта повести были психологически достоверными, правдивыми. Вместо этого новый вариант повести (главный герой прежней был Зураб, живой абхазский характер) заканчивается банальным из банальнейших вариантов «перековки». Теперь Энвер не бежит, не исчезает, а спасает раненого Зураба от ножа своих бывших товарищей, и эта «очистительная» драма на глазах сотрудников милиции окончательно приобщает Энвера к «коллективу». Но ведь такой сюжетный оборот — это штамп, шаблон. Именно такого рода «повороты» нужно изгонять из художественного произведения беспощадно.

В новый вариант повести введены в большом количестве дидактические разговоры, даже целые сцены — ненужные, недостоверные. Поэтическая живая сцена встречи Зураба и Арсентия в лесу изменила мотивировку (рубка акации вместо кражи винограда), дана ретроспективно — и потеряла всякую привлекательность.

В повесть введены «анкетным» способом биографии Арсентия и Энвера. Описательность только повредила развитию действия.

Словом, «исправления», внесенные в повесть, — это банальности или информационность, а не художественная разработка образа.

Перерабатывая повесть, Вы вовсе не воспользовались моими советами. Главным недостатком «Миража» был характер Энвера — излишняя поэтизация блатаря, его якобы «лермонтовского» лица. На эту фальшь я и обращал Ваше внимание. В новом варианте повесть с этой стороны не только не исправлена, но даже усилена, дополнена шаблонным мотивом «перековки» и окончательно утеряла достоверность. Ведь бывает не только

сравнение — штамп, но и образ — штамп, сюжет — штамп, характер — штамп.

Ваша задача — уж если Вы решили переработать повесть — заключалась в том, чтобы сберечь живое, свежее, свое, этого Вы не добились.

Недостоверна сцена шахтерского собрания с проработкой Энвера. Советы Энверу дают все, с кем он встречается, — и Арсентий, и Кератух, и бригадир, и Зураб, и товарищи, и начальство. Это не улучшает, а ухудшает повесть.

Недостатком следует считать и обилие рассуждений героев повести. Диалоги книжны, а вопросов новых в них не поднимается никаких. С этой точки зрения Вам нужно перечитать повесть, удаляя «умные» разговоры и заменяя их речью живой жизни.

В повести остались хорошие страницы, посвященные подземной работе по шахте, — только эти сцены и читаются с интересом.

Язык «Росы и пепла» лучше, чем «Миража», но не доведен еще до необходимых «кондиций».

«Кокетливо изогнутые ветки».

«Не снимая с себя ничего».

«На него глянуло его микроскопическое "я"».

«Энвер подумал, что этот поезд уже идет, тогда как их еще стоит».

«Грациозные рюмки были наполнены прозрачной жидкостью».

«Во рту загадочно сверкнула <...>».

«Ветер ласков, как улыбка ребенка».

Примеры легко умножить.

Блатной жаргон плохо изучен автором, хотя применяется часто. Слово «расколет» применяется не в том смысле, как указываете Вы. Есть и еще случаи подобных ошибок.

На стр. 34 при встрече со Званцевой сразу после кражи беглец называет себя настоящим именем «Энвер» — такая оплошность недопустима, недостоверна.

Есть фразы, нагромождение одинаковых частей речи затрудняет смысл прочитанного, напр.:

«Он до конца не смог сказать ей, что хотел, но должен был отметить про себя, что девушка боевая и может ему ответить так, что держись».

Для «Нового мира» повесть «Роса и пепел» не представляет интереса[4].

Уважающий Вас

(В. Шаламов)

Уважаемый тов. Пахота!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашим рассказом «Это было в лесу».

Рассказ Ваш имеет ряд больших недочетов. Автором руководили самые благие намерения, когда он писал свое произведение. Борьба с религией во всех ее формах и по сей день — одна из важных задач нашей агитации и пропаганды. Суждение автора о природе, шаг за шагом искореняющей злое начало мира, о человеке — помощнике природы в этом историческом процессе (это и есть главная мысль рассказа) имеет некоторый интерес, хотя эта мысль далеко не новая.

«Это было в лесу» — вариант полемической статьи на антирелигиозные темы. Рассказ этот — вовсе не художественное произведение. У художественных произведений есть свои законы, свои обязательные правила, считаться с которыми необходимо. Главное, ради чего пишутся рассказы, — это изображение живых людей, изображение характеров. В Вашем рассказе живых людей нет. И Аркадий и баптист Кондрат — все это только схемы, а не живые люди. Даже как схемы персонажи романа малоудачны (аргументация баптиста и ответ Аркадия), находятся на невысоком уровне и даже в плане газетной полемики заинтересовать читателя не могут. Это — переписанные (с ошибками) антирелигиозные брошюры — не более.

Герои Ваши сидят в шалаше во время грозы и ведут друг с другом беседу, диспут, высказываясь по-очереди одинаково скучным, газетным языком. Разве можно вообразить себе такой диалог под ударами грома, под шум дождя? В рассказе нет ни одной живой подробности, ни одной детали, которая говорила бы об остроте писательского зрения автора.

Вот портрет главного героя:

«Открытый высокий лоб выражал задумчивую величественность, и чуть-чуть грустноватый (!) взгляд серых глаз веял (?!) непостижимым глубокомыслием».

Всякое ремесло, всякое дело требует определенных элементарных навыков, которыми необходимо овладеть раньше, чем заниматься этим делом.

Писательское дело — одно из самых трудных.

Лесорубы говорят на таком языке между собой:

«Повлечет ли (война) когда-нибудь за собой деформацию жизненных процессов».

Фраза звучит как пародия, но автор далек от такого намерения.

Рассказ написан небрежно, неряшливо. На 79 странице есть фраза, занимающая шестнадцать (!) строчек рукописи (79–80). Разве в жизни люди говорят такими фразами?

Дело не только в орфографических ошибках, которые просил поправить автор.

Что, например, значит такая фраза:

«Лес был бессилен ему устоять».

«В результате всего этого пополз мрак».

«Все части тела наполнились гибкостью».

«Все пришло в неестественное движение».

«Всеми силами стараясь преградить продвижению (падеж!) этого зловещего парохода» (?).

Или:

«Стоя на платформе Священного Писания он буквально ложил на лопатки Степана».

«Разве только тогда ты мог и познать, когда твой возраст достиг высшей точки твоего формирования.

«В процессе этого размышления у каждого мысли расходились в разные стороны».

«Семья и тому подобное, отсюда исходящее».

Примеры легко умножить. Для печати рассказ «Это было в лесу» не годится.

Уважающий Вас

(*В. Шаламов*)

Ю. Сиверский. «Двенадцать эссе» — 21 стр.

«Двенадцать эссе» — это бесформенные «импрессионистические» картинки ленинградского быта, по преимуществу литературного. Рассказы нарочиты, претенциозны. Это — монтаж отдельных наблюдений, сцен, сравнений, острот — далеко не всегда удачных и не всегда нужных. Пытаясь во что бы то ни стало «выразиться красиво», автор не замечает, что манерность, витиеватость, претенциозность только затемняют немудреный смысл замечаний и суждений.

«Двенадцать эссе» написаны «модной» короткой фразой, включают сведения о литературных событиях последних дней. «Опыты» выглядят искусственными, книжными. Лучше заметки выглядят попыткой пародии на раннего Виктора Шкловского по строению фразы, по принципам «монтажа».

Рассказы далеки от простоты, ясности — первых достоинств прозы. Литературные ребусы автора не скрывают наблюдений значительных и важных. Это — остроты ради остроты.

Вот несколько примеров:

«Я смотрел на свои руки, как котенок на хвост».

«Я, как забывший себя актер, предложил страховаться».

«Заходит старейшина, с челкой какого-нибудь чемпиона Санкт-Петербурга»

и т. д. и т. п.

Для «Нового мира» «Двенадцать эссе» не представляют интереса.

(*В. Шаламов*)

Н. Тимофеева. «Сильные люди», повесть — 127 стр.
«Буря» — рассказ — 27 стр.

В повести «Сильные люди» речь идет не о героях войны или мирного труда, не о подвигах в Арктике или Антарктиде. Речь идет о победе разума над чувством в повседневном московском быту.

Замысел «Сильных людей» более чем своеобразен, хотя сюжет и не отличается новизной. Известная актриса, «прима» одного из московских театров по совету режиссера бросает временно театр — затем, чтобы лучше узнать живую жизнь тех героев пьесы о современности, которую театр готовит. Актриса поступает смотрителем в музей, и, хотя эта работа далека от того, что ей надо, актриса находит время и силы для многочисленных экскурсий на разные фабрики и заводы Москвы, где она знакомится с молодежью, с ее трудом, заботами и бытом. Все увиденное она записывает, рассказывает о своей деятельности, время от времени встречаясь со стариком-режиссером, и наступает время, когда режиссер зовет ее вернуться в театр — она участвует в новогоднем концерте в Кремлевском дворце съездов. После встреч с живой жизнью и даже с людьми тяжелого труда актриса возвращается в театр.

Мы не знаем, обогатило ли Елизавету Петровну (так зовут актрису) посещение фабрик и заводов, охрана общественного порядка и московских квартир?

Об этом говорится скороговоркой, и все «вылазки» актрисы в жизнь, ее «казенные» вопросы к ударникам

коммунистического труда и не менее казенные ответы, которые актриса получает, торопливость при изложении подробностей ее путешествий — все это показывает, что важный материал, собранный наспех и кое-как, не представил интереса для автора. Все эти сцены и наблюдения остались «непросеянным материалом». На этом материале можно было поставить и решать много интересных вопросов (о связи искусства и жизни, о психологических трудностях постижения психологии молодежи и т. д. и т. п.).

Однако весь этот материал «освоен» автором плохо. Здесь нет ни важных наблюдений, ни новых мыслей. Выводы, размышления, обобщения актрисы сделаны казенным языком, газетными фразами. Видно, что автора интересует совсем другое. Это другое, изображенное весьма подробно, и есть то главное, ради чего написана эта повесть. Актриса Елизавета Петровна на страницах повести «Сильные люди» встречается и сближается со многими мужчинами самых различных профессий (пожарник, писатель, столяр, майор МВД, администратор Кремлевского дворца съездов). Эти встречи носят особенный, слегка патологический характер. «Идеалы» актрисы хорошо известны любому врачу. С «партнерами» актриса расстается быстро, ища человека, который «понял» бы ее. Такого человека она находит в лице Семёна Карповича, администратора Дворца съездов.

Значительное количество страниц повести занято эротическими сценами. «Сильные люди», по мнению Елизаветы Петровны, это те, кто может укротить свои чувства, подчинить их разуму, те, у которых разум «превалирует (автор почему-то везде пишет «привалирует») над чувством». Проба этих «сильных людей» делается в повести полней в сексуальном плане. «Сильных людей» здесь оказывается два — сама актриса и Семён Карпович. Елизавета Павловна [так в машинописи. — *Ред.*] самым энергичным образом отстаивает право на это патологическое, по существу, поведение. Несколько раз возвращаясь к декларированию победы «воли», автор изображает такие победы многократно.

Актриса Елизавета Павловна отнюдь не смотрит на свои приключения как на некоторое патологическое отклонение от нормы. Напротив, Елизавета Павловна показала, как новый пророк, несущий миру миссию торжества разума над чувством. Актриса Елизавета Павловна

достаточно грамотна, чтобы связать обуревающие ее чувства с эпохой Ренессанса, прославляемого на разные лады актрисой. Действительно, в быте Ренессанса встречается кое-что из идей, которые проповедует актриса в Москве в 1961 году.

Это — главный «предмет» повести. Герои «Сильных людей» часто упоминают Шишкина, Левитана, но характеристики, которые даются этим художникам, не выходят за уровень банальности. То же относится и к суждениям актрисы о своем собственном грузе, о поисках режиссера и о многом другом. (Это сделано таким, например, языком: «Как быстро подхватываются и размножаются идеи партии, активируясь самими массами, — восторженно мыслит актриса» и т. п.). Автор делает попытку очертить характеры. Это прежде всего относится к главной героине. Остальные действующие лица, т. е. лица мужского пола, — очерчены много туманнее, хотя Семёна Карповича мы можем отличить (и по языку и по манерам, и по психологии) от Сергея Капитоновича или пожарника Соловьёва. Вот это различие характеров — есть единственная удача автора повести «Сильные люди».

В повести есть еще один герой — одиннадцатилетний сын актрисы Алёша, учащийся художественной школы. Этот персонаж введен в повесть для усиления эротизма — любовные сцены происходят в соседней комнате. Никакой самостоятельной роли этот герой не играет, хотя тема воспитания сына, отношений матери и сына тоже могли бы быть развиты и поначалу ожидаешь от присутствия Алёши в повести чего-то важного.

Язык повести не вполне грамотен. Чувствуется, что автор нетвердо владеет правилами русской речи. Вот несколько примеров этих словестных «огрехов».

«Явственно ощутила незнание того, что делать».

«Откроет занавес на жизнь многих людей».

«Молодая женщина была увлечена коррозией, но что-то взволновало сознание». Речь идет о ржавых водопроводных трубах.

«Почему-то наслаждалась нарастающей в себе томительной неги» (?).

«Ощутила к нему потребность в ласке».

«Удивляло что-то сумбурное и вместе с тем что-то волевое в порывах его натуры».

«Первым надо было идти в противоположную сторону вторым».

«По сердцу молодого столяра полоснуло холодным острием бездонной пустоты».

«Солнце импонирует настроению».

«В конце актов, присоединяясь к толпе, он хлопал».

«Задушевность грудного тембра волнует его как мужчину».

«В каждом порыве обладания духовно-красивым, целует ее руки».

«Я хочу наслаждаться ньюансами вашего голоса».

«Сидение в залах подчас кажется ужасной пропастью».

«Испытав от окрика нравственное неудобство».

«Но та все не унималась, незаконно дергая нервы».

«Притягивала симпатия моей физиономии».

«В их тусклой невзрачности растворилась вся его похотливая натура».

«Женщина загадочна для мужчины, когда она умеет тонко поддерживать в нем “горение”».

«Сила воли должна привалировать (превалировать) над чувствами».

«И все-таки именно через это так хорошо жить».

«Хочу соприкасаться в вас той стороной, которая».

«Сила сознания вольна привалировать (превалировать) над чувствами».

Эта сентиментальная фраза, содержащая в себе «философскую» суть «Сильных людей», повторяется в повести много раз. Когда не знаешь, как правильно пишется иностранное слово, лучше это слово совсем не употреблять.

Примеры безвкусицы, неправильного построения фраз, «канцелярита», штампа легко увеличить во много раз. «Огрехи» встречаются буквально на каждой странице. Комплименты, которыми осыпают Елизавету Павловну ее поклонники (Божественная! Царственная! Роскошная! Мадонна!), производят тягостное впечатление. Автор, впрочем, делает попытку разнообразить эти комплименты в зависимости от культурного уровня того или иного приятеля Елизаветы Павловны. Пожарник Серезнёв выражается иначе, чем администратор Кремлевского театра. Но это небольшое «достижение» не спасает, разумеется, повести.

Для печати повесть «Сильные люди» не годится.

Автор прислал вместе с этой повестью рассказ «Буря». Это — рассказ о воспитании ребенка, художественно одаренного. Его мать принимает героические меры, чтобы заставить ребенка много, по-взрослому, работать, отбросив все детские желания, привычки, радости.

Труд мальчика, а главное труд матери, ее педагогический подвиг венчается успехом.

Рассказ несколько схематичен, иллюстрационен. Здесь опять формулируется, защищается борьба воли против чувств, которую мать воспитывает в сыне с самых ранних лет, ломая его детскую природу. Полезно ли это? Педагогично ли это? Правильно ли мнение о том, что крошечный талантик может пышно расцвести при геркулесовском трудолюбии и прилежании? Не лежит ли решение извечного спора о таланте и труде в другом плане, а именно, что труд есть потребность таланта — и все. Но, разумеется, автор имеет право на собственное суждение, на собственное решение вопроса.

«Буря» имеет ряд недостатков, чисто литературных. Здесь множество рассуждений, дидактики. Сравнения шаблонны, а иные фразы не вполне соответствуют правилам русского языка:

«Только воля поддерживает явить (поддерживает выявить!) в нем истинный талант к рисованию».

«Творение великого Чайковского околдовывает слух мягкостью музыкального напева, изумительной гармонией звуков».

«И через это — реально открывающийся простор — творчество мысли».

«Стройностью своих фигурок они вызывают не один косвенный взгляд».

«Бросается в воду, в среде которой сразу чувствует облегчение».

«Дивная, чарующая пора цветения земли — ковер волшебных рисунков».

«единый аккорд гармонических созвучий» и т. д. и т. п.

Для «Нового мира» рассказ «Буря» не представляет интереса.

(*В. Шаламов*)

Уважаемый тов. Ханух!

По поручению редакции журнала «Новый мир» я ознакомился с Вашим рассказом «Перед рассветом».

Рассказ написан грамотно, отличается литературной культурой, имеет удачное название.

Замысел рассказа неплох — показать лагеря сталинского времени глазами конвойных — рассказ ведет-

ся от имени проштрафившегося, недостаточно «бдительного» конвоира.

В «Перед рассветом» есть и кое-что увиденное в живой жизни: конвойный Бадюк, портной Стёпин, чтение нового приказа капитаном Мягонским...

Недостатки рассказа в его подражательности (ряд мест явно повторяет «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, да и интонация заимствована у этого же писателя).

Истории с разоружением конвоя не производит впечатления достоверности. Разговор с № 417 — тоже. Все это кажется чуть-чуть искусственным.

Для «Нового мира» рассказ «Перед рассветом» в его настоящем виде не представляет интереса.

Уважающий Вас

(*В. Шаламов*)

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется впервые. Оригинал: РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 201.

В 1959–1964 гг., после выхода на пенсию по инвалидности, В. Т. Шаламов вынужден был подрабатывать на жизнь, став внештатным внутренним рецензентом журнала «Новый мир». Эта деятельность не давала ему никаких привилегий в плане публикации своих рассказов и стихов в самом авторитетном журнале того времени — наоборот, ставила его в крайне унизительное положение (см. воспоминания о Я. Д. Гродзенском в данном томе, с. 405–415). В силу своего заштатного положения общался с редакцией Шаламов главным образом по почте, получая рукописи разных непрофессиональных авторов, на которые надлежало дать обстоятельный и объективный отзыв. Лично с главным редактором «Нового мира» А. Т. Твардовским он никогда не встречался (подробнее об этом см: *Есипов В. В.* Нелюбовный треугольник: Шаламов — Твардовский — Солженицын // Есипов В. В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2008. С. 67–104.).

В фонде Шаламова в РГАЛИ сохранилось более шестидесяти машинописных копий внутренних рецензий писателя на подобный «самотек». Несмотря на то что эта работа отнимала много времени и отвлекала писателя от его главного дела — «Колымских рассказов» и стихов, Шаламов относился к рецензированию со всей свойственной ему добросовестностью. Он занимался схожей работой в 1932–33 годах, когда был консультантом по художественной литературе при Центральной

рабочей читальне им. Горького в Доме союзов. Свой опыт работы с «самотеком» и его особенностями Шаламов обобщил в статье «Заметки рецензента» (наст. изд., т. 5, с. 228–243). Нет сомнения, что эта нелегкая деятельность нередко заставляла его улыбаться и даже смеяться — особенно при знакомстве с графоманскими «перлами».

Для данной публикации отобраны наиболее характерные рецензии, показывающие и уровень авторов, с которыми Шаламову приходилось сталкиваться, и чрезвычайную взыскательность писателя в подходе к литературной работе: из шести десятков рукописей он предложил к печати в итоге лишь одну.

[1] Все рецензии сопровождаются домашним адресом Шаламова, что было обусловлено его статусом внештатного рецензента-«надомника».

[2] Рассказ Вадима Емельянова «Зверушка» был опубликован в № 7 «Нового мира» за 1964 г.

[3] Имеется в виду известный эпизод из воспоминаний Е. Багратиона:

«Однажды, когда неприятель сильно напирал на части Багратиона (он командовал 2-й дивизией в 12-ом году) и положение было серьезное, он занят был обсуждением дальнейших распоряжений. Вдруг вбегает взволнованный адъютант и докладывает: “Ваше сиятельство, неприятель на носу! Багратион, видя возбужденное состояние адъютанта, чтобы охладить его нервность, улыбаясь, спокойно спрашивает: “На чьем носу? На твоем или на моем?” Надо вам сказать, что Багратион по происхождению был грузин и нос имел длинный, а его адъютант отличался коротким носом. Так вот, Багратион ответил: “Если на моем носу, то, значит, далеко, а если на твоем — следует принимать экстренные меры”».

[4] *Амиран Кубрава* (р. 1938) — в ту пору начинающий литератор, работник прокуратуры, ныне стал известным абхазским писателем. Его документальный роман «Дорога к сраму» (2010), посвященный грузино-абхазской войне 1994 года, стал большим событием в Республике Абхазия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Реабилитирован в 2000 году
Из следственного дела Варлама Шаламова

«19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях»[1], — так писал Шаламов о начале своего первого срока.

Ему не было и двадцати двух лет. Свобода, Равенство и Братство всех людей казались возможными и достижимыми, да и что стоит человек, который в двадцать лет чужд этой благороднейшей мечты человечества? А пойти за эти идеалы в тюрьму, на каторгу юный Шаламов считал великой удачей: «Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благосклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни»[2].

Наверное, он прав. Закалка первым лагерным сроком позволила ему устоять нравственно и там, на Колыме, где большинство заключенных не могли противостоять нравственному растлению.

Но тогда, в 20-е, штурм неба казался возможным.

«Вчерашний миф делался действительностью... старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол свои тайные мечты, и мы взяли»[3].

И вот в 2000 году я наконец держу в руках это первое следственное дело Шаламова. О нем до сих пор мне говорили, что оно уничтожено. А оказывается, что по этому делу Шаламов не был реабилитирован. Сотрудники Центрального архива ФСБ В. Гончаров и С. Поцелуев посоветовали мне написать заявление.

И Генеральная прокуратура РФ 12 апреля 2000 г. реабилитировала Шаламова по делу 1929 г.

В ряды «большевиков-ленинцев» (так называли себя оппозиционеры), или троцкистов (так называли их сталинисты),

он вступил в 1927 году: его привела и поставила в ряды демонстрантов Сарра Гезенцвей. Демонстрация к 10-летию Октября проходила под лозунгом «Выполним Завещание Ленина!» Эта оппозиция была единственно массовой, может быть, у нее был шанс остановить «этого носорога» Сталина. Сталин надолго сохранил страх перед ней: всех несогласных или неугодных называли троцкистами — Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Г. Ю. Пятакова, Н. И. Бухарина, М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира и др.

Шаламов, впрочем, не был убежденным троцкистом — он был противником насилия, государственного насилия. «У меня не было преклонения перед идеей движения — тут много было спорного, неясного, путаного»[4].

В 1928 г. он был исключен из МГУ «за сокрытие социального происхождения» — он написал в анкете, что его отец — инвалид. Но и слепой священник оставался священником, и сын его не имел права на высшее образование.

В конце 1928 — начале 1929 года он целиком отдается оппозиционной деятельности: печатает в подпольной типографии «Завещание В. И. Ленина» (известное «Письмо к съезду») и распространяет его, а также другие документы оппозиции. И попадает в засаду в этой самой типографии.

Дело 1929 года тоненькое. Шаламов заполнил свою анкету, а отвечать на вопросы следователя отказался. Он говорит на допросе 1 марта 1929 г.: «На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь». И на втором допросе 2 марта 1929 г. пишет собственноручно: «Подтверждаю свое прошлое показание, что на всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь. С предъявлением обвинения по ст. 58 УК, примененным ко мне, как и другим тт. <товарищам>, разделяющим взгляды больш<евиков>-ленин<цев> (оппозиции), решительно не согласен и считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 с<татья> направлена против контрреволюционеров. 2 марта 1929 г. В. Шаламов». Другие арестованные члены оппозиционной группы МГУ получили ссылку в то время. Кстати, об этой группе и пребывании ее в ссылке написала Н. М. Иванова-Романова (Нева, 1989, № 2–4).

Дерзкое поведение на допросах было оценено по заслугам: ОСО при коллегии ОГПУ постановило: «Заключить в концлагерь сроком на три года».

13 апреля 1929 г. Шаламов впервые вступил в ворота лагеря. Бесстрашие этого мальчика удивляет. Избитый на этапе, брошенный в лагерь вместе с уголовниками, он 6 июля 1929 г. пишет письмо в ЦК ВКП(б) и ОГПУ. Сколько прямодушия и верности однажды принятому решению! Как член оппозиции он протестует против репрессий.

6.VII.29 г. Коллегии ОГПУ, ЦК ВКП(б), Прокурору ОГПУ
Закл. 4 р. УВЛОН В. Т. Шаламова

Напряженная политическая жизнь последних лет вынуждала каждого настоящего советского гражданина так или иначе определить свое отношение к сегодняшнему и завтрашнему дню.

С другой стороны, совершенно ясно, что партия не представляет замкнутой касты, что интересами партии живут не только люди, имеющие партийный билет. Любой «беспартийный» может и должен принимать участие в разрешении всех вопросов, которые выдвигает жизнь перед партией, а след<овательно>, и перед рабочим классом или, вернее, перед рабочим классом, а след<овательно>, и перед партией.

Для всякого, кто научился знать ленинскую правду, политической осью событий последнего времени являлись взаимоотношения партии и оппозиции. Ни один человек, считающий себя ленинцем, не может говорить о второй пролетарской партии в стране в эпоху диктатуры пролетариата, т. е. обостреннейшей борьбы с умирающим капиталистическим миром. Нельзя допускать и клеветы о том, что ВКП(б) не пролетарская партия.

Работа оппозиции и до и после XV съезда не была антипартийной работой. Содержание ее, включая самые «криминальные» методы, вроде поддержки в кратких и исключительных случаях стачек, — направлены были по существу на пользу ВКП(б) как партии рабочего класса.

Вынужденная прибегнуть к «нелегальным» методам апелляции к рабочему классу — только к нему обращалась оппозиция — и не ошиблась в своей правоте. В мероприятиях последних месяцев в значительной степени участвовала ленинская оппозиция своей критикой, указаниями и работой. Решения XVI конференции, чистка партии, чистка аппарата, борьба с правым уклоном, правда, ведшаяся почти вслепую без названия имен, имен, которые смело называла оппозиция, — представляют собой несомненно серьезные шаги руководства влево, т. е. в направлении исправления сделанных ранее ошибок. Об этих тяжелых ошибках внутр<енней> и внешней политики, достаточно известных, приведших к перманентному экономическому кризису страны, затяжке мировой революции и ухудшению международного положения Коминтерна — все три следствия диалектически связаны между собой, здесь говорить я не буду. Ясно одно: эти ошибки руководство старается исправить. Но исправить сверху силами того же аппарата. Каждый большевик-ленинец обязан поддерживать все практические революционные шаги настоящего центристского руководства, которое сейчас оголяет себя, отсекая налево и напра-

во (больше налево, чем направо). О методе борьбы «на два фронта» достаточно хорошо сказано в письме Л. Д. Троцкого «Кризис правоцентристского блока и перспективы».

Одной рукой стараясь исправить ошибки (что невозможно без самого близкого участия широких масс рабочего класса), партруководство другой рукой посылает оппозиционеров на каторгу. Именно это в первую очередь заставляет сомневаться в решительности взятого курса, ибо политика не может знать злобы и за каждое мероприятие, направленное к защите пролетарской диктатуры, готов бороться и борется всякий, считающий себя большевиком. Партруководство упорно толкало оппозицию на отрыв от партии. Целый ряд выступлений вождей и целый ряд репрессивных мер по отношению к оппозиционерам, вплоть до высылки Л. Д. Троцкого за границу и последующих попыток дискредитировать имя одного из вождей Октября в глазах рабочих — достаточно веское свидетельство двойственности политики партруководства. Болтовня о том, существует или нет диктатура пролетариата — пустая болтовня, ибо мера диктатуры измеряется целым рядом отношений между СССР и капит<алистическим> миром (в целом долей участия рабочего класса в распределении доходов страны, степенью участия капит<алистических> элементов в этом распределении и степенью роста того и другого и еще целым рядом моментов).

Политика меньше всего вопрос самолюбия. И кто не понял того, что рука оппозиции все время протянута партии — тот не понял ничего в политических событиях последних лет. Беда в том, что руководство продолжает оставаться аппаратом, несмотря на Смоленские, Сочинские, Артёмовские и Астраханские дела[5]. Я считаю вместе с большинством ленинской оппозиции — единственным средством выправления курса партруководства, а след<овательно>, и всей советской и профсоюзной политики является глубокая внутрипартийная реформа на основе беспощадной чистки всех термидориански-настроенных элементов и примиренцев к ним. Возвращение ленинской оппозиции в партию из ссылок, тюрем и каторги.

Заключенный 4 роты Упр. Виш<ерских> лаг<ерей> ос<обого> наз<начения>

Варлам Тихонович Шаламов.

Ответ на письмо пришел с некоторым запозданием: ОСО при Коллегии ОГПУ 14 февраля 1932 г. постановило: «По отбытии срока наказания Шаламова Варлама Тихоновича выслать через ППОГПУ в Севкрай на три года».

На что Управление Вишерских ИТЛ сообщило, что «з/к Шаламов Варлам Тихонович освобожден из Вишлага 11/X–31 г.».

Долго еще поиски «скрывшегося с места ссылки з/к» велись по всему Севкраю, а он был в Москве, писал очерки в профсоюзных журналах, печатал рассказы, женился.

Все его прошлое, как сказал однажды Варлам Тихонович, было еще впереди. Он не стал больше заниматься политикой, раз навсегда поняв, что в борьбе за власть он будет «игрушкой в руках политиканов»[6].

Он писал дни и ночи, сотни стихов, рассказов... Уцелело только напечатанное.

Литература, искусство навсегда станет главным делом его жизни. Печатаются его рассказы — в журналах «Октябрь», «Вокруг света», «Литературный современник»... Он думает об издании сборника прозы, а потом — сборника стихов.

Но впереди — его ждала Колыма. Литер «Т» станет клеймом на всю его жизнь. И даже после реабилитации 1956 года за ним будут бдительно следить, будут следить до самой смерти.

И. Сиротинская

Примечания

[1] «Вишера. Антироман». Гл. «Бутырская тюрьма». М.: Книга, 1989. С. 9.

[2] Там же.

[3] Воспоминания // Знамя. 1993. № 4. С. 121.

Можно ли порицать эту мечту поколения 20-х годов, если даже в 1968 г. мудрый А. Д. Сахаров писал: «Доказана жизнеспособность социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение труда» (*Сахаров А. Д.* Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Юность. 1990. № 3. С. 5).

[4] «Вишера. Антироман». С. 10.

[5] Дела, связанные с коррупцией.

[6] «Вишера. Антироман». С. 58.

[7] Был принят на факультет советского права в 1926 г., в 1928 г. — отчислен.

[8] В 1929 — январе 1932 года Шаламов находился в Вишерских лагерях (до октября 1931), а затем на строительстве химкомбината в Березниках (до января 1932).

Под оком стукача

Следующая предлагаемая вниманию читателей публикация являет собой новый литературный жанр: донесения осведомителей.

Освобожденный из лагеря В. Т. Шаламов находился, как видим, под надзором даже после его реабилитации 18 июля 1956 года.

В Москве и Калининской области донесения поставляет некто И., однако он, видимо, имеет общих знакомых с Шаламовым в Магадане. Варлам Тихонович осведомляется у него, где теперь Лоскутов (донесение от 23 декабря 1957 года). Видимо, И. — лицо собирательное. Однако тот факт, что о наиболее часто посещавшем Шаламова колымчанине И. умалчивает, позволяет сделать определенные выводы.

Шаламов всегда знал, что к нему подведут осведомителя, и даже определенно называл его имя — поэт П., но П. был не одинок. И. также не чужд литературы: в донесении от 11 апреля 1956 г. он опытным пером разоблачает «субъективные» позиции Шаламова: тот, кто следует теории «откровенности», может отразить лишь правду своей души, а не тенденции поступательного движения к коммунизму и т. п. Как-то неприятно и горько, что дорогие для Шаламова мысли услышаны были этим И. Тем не менее есть в этих документах интересные сведения о Шаламове, особенно в донесении от 31 мая 1957 года, где подробно обрисовано его окружение перед первым арестом 19 февраля 1929 г.

О Сарре Гезенцвей и Нине Арефьевой скажет Шаламов на следствии 1937 года: «Я любил их». И много лет спустя с большой теплотой говорил Варлам Тихонович о своих университетских друзьях, поднявшихся со всей отвагой юности против Сталина. Фигурирует здесь и вездесущий И., арестованный, видимо, в 1929 г. Их отвагу, их жизни использовали в борьбе за власть. Все заплатили по кровавым счетам политических игр. К тому же в каждой организации, бросающей вызов государству, были свои Азефы.

Донесение № 1

...Шаламов вернул журнал, а И. предложил ему стихи Пастернака. Шаламов буквально обрадовался. Он говорил в восторженном тоне: «Это гениальный поэт! Стихи у него восхитительны. Кроме того, он замечательный переводчик. Но сейчас Пастернак не печатается, потому что он не станет писать то, что от него требуют. А между прочим, в Москве его неопубликованные стихи читают многие в рукописях и любят их».

И. спросил Шаламова, знаком ли он со стихами Леонида Мартынова. Шаламов ответил: «Я хорошо знаю его стихи. Это талантливый поэт. Но у него много ненужных стихов. Их он написал, сбитый с пути. На него давили и чуть не погубили его. Так что многие его стихи нужно выбросить. Хотите, я вам почитаю его стихи?» И. с удовольствием согласился послушать.

Тогда Шаламов начал читать. Прочел несколько стихотворений Мартынова, затем стал читать стихи Пастернака. Читал он хорошо, грамотно, с душой. И. взаимно прочел ему стихи Есенина: «Я иду долиной», «Все живое особой метой», «Я спросил сегодня у менялы...» и одно стихотворение С. Щипачёва «За окном синел далекий лес».

После чтения беседа продолжалась. Шаламов говорил: «Стихов много, а поэтов мало. Выше всех я ценю Твардовского. Вы знаете, что он сейчас не у дел. Его проработали и сняли с поста гл. редактора "Нового мира"[1]. Сняли ни за что. Читал я статьи Померанцева и Лифшица[2]. Ничего там страшного нет. Хорошие, грамотные статьи. А "Дневник писателя" Мариэтты Шагинян я просто выбросил бы».

И. ответил, что он знаком с неудачами Твардовского, читал статью Лифшица, которая написана хлестко и остро. Шаламов перебил: «Это неважно, что не печатают хороших стихов. Их будут печатать и петь. Все, что написано кровью сердца, зазвучит. Есенин уже зазвучал, а в дальнейшем зазвучит еще больше. Начинает звучать большой поэт Блок, которого раньше крестили интеллигентом, символистом и декадентом. Теперь уже не говорят, что это певец "Прекрасной дамы", а что Блок большой талантливый поэт русского народа. Зазвучит М. Цветаева. Об Ахматовой я не говорю, потому что она уже стара. Жданов[3] в своем выступлении обрушился на ее старые стихи. Но ведь она же очень давно их писала. Ведь находятся же люди, которые не могут простить Пастернаку стихотворение о Керенском[4], написанное сорок лет назад. Вот оно, это коротенькое стихотворение». И Шаламов продекламировал стихотворение, которое восхваляет Керенского. Прочитав это стихотворение, Шаламов воскликнул: «Что же, собственно, здесь опасного?»

Затем Шаламов заговорил о К. Симонове. Симонова он не любит и говорит о нем так: «Симонова к поэзии нельзя допускать на орудийный выстрел».

Затем Шаламов сделал такое обобщение: «Возьмите 20-е годы. Какой расцвет был литературы. Все, что есть у нас лучшего, написано в эти годы. А сейчас ничего нет. Это подтвердил и Сурков на XX съезде. Он привел имена и названия 20-х годов. А сегодня пока обещания».

И. спросил: «Чем это объясняется?»

Шаламов ответил: «Объяснение этого явления известно. На одном совещании писателей один литератор сказал: «Жизнь была хорошая, а поэтому и произведения были хорошие».

Сейчас мы переживаем колеблющееся, неустойчивое время. Неизвестно, что писать и как писать. Поэтому люди не пишут. Те, что пишут, — это чепуха. Те, которые пишут от души, не публикуют своих произведений, но их знают в рукописях». Посмеялся Шаламов над юбилеем Достоевского. Он назвал этот юбилей вынужденным. Объяснил он так: «Достоевский — гени-

альнейший писатель — находился в забвении. Весь мир его читал, а у нас его не читали. И вот у нас вынуждены были организовать юбилей, потому что читатель не мог относиться равнодушно к такому таланту. Любопытно, что в юбилейные дни "Литературная газета" поместила статью "Неизвестный Достоевский"[5]. Оказывается, Достоевский еще не издан полностью. Как это можно!» И. спросил Шаламова, что ему известно о судьбе Н. Клюева[6] (учитель Есенина). Шаламов ответил: «Если он не умер в тюрьме, то его расстреляли».

Шаламов не одобряет выступления Шолохова[7] на съезде партии. Не согласен он и с Гиндиным[8]. По мнению Шаламова, такой крупный писатель, как Шолохов, не должен был размениваться на мелочи, а должен был говорить о проблемах творчества, о сущности творческого процесса. Не согласен он с Шолоховым, когда тот призывал быть в гуще народа и собирать материал. Шаламов говорит, что классики не собирали материал, а писали правдиво и хорошо. Л. Толстой прежде писал в голове главы о тюрьме к роману «Воскресение», а в тюрьму поехал, чтобы познакомиться с некоторыми подробностями и не сделать ошибку. Недовольство высказывал Шаламов в адрес Ермилова, который выступал со статьями о Гоголе и Достоевском. «Пусть бы он выступал как профессор, — говорит Шаламов, — это ничего. Мало ли профессоров. Но этот профессор работает при ЦК партии по вопросам литературы, задает тон, а он приводит к тому, что у нас хороших произведений, написанных кровью, не печатают»...

Простились Шаламов с И. тепло, по-дружески.

Ст. оперуп. УКГБ при СМ СССР
по Калининской области ЦА ФСБ РФ.
Архивное дело № ПФ-4678, т. 1, часть II, л 59–63.
Машинописная копия

10 апреля 1956

Примечания

1 Полный текст постановления Секретариата ЦК КПСС «Об ошибках журнала "Новый мир"» от 23 июля 1954 года, которым Твардовский был в первый раз освобожден от должности главного редактора этого журнала, (см.: История советской политической цензуры: Документы и комментарии. М., 1997. С. 106–115).

2 Имеются в виду статья В. М. Померанцева (1907–1971) «Об искренности в литературе» (1953, № 12) и памфлет Михаила Лифшица «Дневник Мариэтты Шагинян» (1954, № 3), в котором он язвительно и весело разбирал домашнюю философию Мариэтты Шагинян. *Шагинян* Мариэтта Сергеевна (1888–1982) — русская советская писательница. *Лифшиц* Ми-

хаил Александрович (1905–1983) — советский философ, специалист по истории эстетической мысли, действительный член Академии художеств СССР (1975).

[3] *Жданов* Андрей Александрович (1896–1948) — политический деятель. Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах "Звезда" и "Ленинград", которое было отменено в 1988 году как ошибочное. Сразу после его опубликования А. А. Жданов выступил с одноименным докладом на собраниях партийного актива и писателей Ленинграда. (См.: *Жданов А. А.* Из доклада о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Культура и жизнь. 1946. 20 августа; «Правда». 1946. 21 августа.)

[4] Имеется в виду стихотворение «Весенний дождь» («Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил»), впервые опубликованное в московском журнале «Путь освобождения» (1917, № 4) и вошедшее в книгу Пастернака «Сестра моя — жизнь». В стихотворении описывается концерт-митинг 26 мая 1917 г. на Театральной площади в Москве по случаю приезда А. Ф. Керенского (тогда — военного министра Временного правительства) и его выступления в Большом театре.

[5] Речь идет о редакционной статье «Неизданный Достоевский» («Литературная газета», 1956, 7 февраля) о возможном составе посвященного Достоевскому тома «Литературного наследства», который вышел лишь в 1971 г. (т. 83).

[6] *Клюев* Николай Алексеевич (1887–1937) — русский поэт, оказал известное влияние на раннее творчество Есенина. Арестован и выслан из Москвы в Нарым в марте 1934 г., расстрелян в Томске в октябре 1937. Материалы архивно-следственных дел см.: *Пичурин Л. Ф.* «Последние дни Николая Клюева». Томск, 1995.

[7] *Шолохов* Михаил Александрович (1905–1994) — русский советский писатель. Выступление Шолохова М. А. на XX съезде см.: XX съезд КПСС / Стенографический отчет. М., 1956.

[8] Возможно, *Гиндин* Михаил Маркович (1929–1988) — литератор.

Донесение № 2

...при знакомстве с Шаламовым В. Т. последний произвел впечатление человека грамотного и культурного, хорошо знающего современную и классическую литературу. Ориентируется в литературных течениях: реализм, символизм, декаданс, имажинизм и др. Явления литературы объясняет с позиций сугубо субъективных. Ценность художественного произведения он рассматривает не с позиций ленинской теории отражения реальной действительности, а с позиций так называемой теории откровенности. Эти попытки были раскритикованы и отброшены.

Тот, кто в художественной литературе отражает реальную действительность с ее тенденцией поступательного движения к коммунизму, тот отражает правду жизни; тот, кто следует только теории «откровенности», — может отразить откровенно «правду» лишь своей души. Шаламов считает несущественным, куда зовет произведение, на что оно мобилизует читателя. Главное, по его суждениям, состоит в том, чтобы оно было написано кровью сердца, т. е. откровенно.

Шаламов по первому впечатлению человек общительный. Из разговоров чувствуется, что у него есть в Москве приятели, которые его информируют о явлениях в литературной жизни помимо официальных источников.

Шаламов обладает пытливым умом. К установившимся и очевидно бесспорным оценкам в литературе относится весьма критически. При первой встрече он прямо сказал, что Горького не любит, Ермилова не терпит, хотя последний считается лучшим теоретиком и критиком-марксистом. Находит, стараясь, оправдание политически неправильным стихам Пастернака, пророчит звучание стихам М. Цветаевой (Цветаева — поэтесса лирического круга. Причем круг этот ограничен — кроватью, церковью, богом без особых примет и возлюбленным «лебедем-молоденьким». Никаких общественных вопросов в стихах Цветаева не поднимает. Критики ее относят к писателям личной лирики, причем очень бедной).

Ст. оперуп УКНБ при СМ СССР
по Калининской области ЦА ФСБ РФ.
Архивное дело ПФ-4678, т. 1, часть II, л. 65–66.
Машинописная копия

11 апреля 1956

Донесение № 3

19 июня 1956 года в 13 ч. 30 минут И. зашел в столовую пообедать. Выбив чек, он подошел к столу, и его один из сидящих назвал по фамилии. Это был Варлам Тихонович Шаламов, приехавший в командировку...

...Шаламов беседовал с И. и на литературные темы, и на политические, и на семейно-бытовые. Шаламов весьма словоохотлив, любит поговорить, но не с каждым. Обращаясь к И., он сказал так: «3-й год я катаюсь по снабженческим делам, но встретил первого человека, который полюбит литературу». О литературе и об искусстве Шаламов скорбит. Он считает, что в течение 30 лет почти все наши писатели создавали казенные портреты, в которых абсолютно нет никакого искусства. Соображения, которыми руководствовались писатели, носят якобы конъюнктурный характер. Как пример конъюнктурщика и человека бездарного он приводит Константина Симонова,

сумевшего, однако, получить пять Сталинских премий. Не пощадил Шаламов ни Горького, ни Маяковского. Авторитет Горького он считает дутым. Маяковского, по его мнению, давно уже следует поставить на свое место. Смерть Маяковского он объясняет не теми причинами, которые общеизвестны. Смерть его — это результат осознания пустоты, которую представлял собою этот поэт. Она последовала после выставки, которую организовал Маяковский. Эта выставка называлась «20 лет литературной работы»[1]. Находилась она в клубе писателей. Шаламов утверждает, что «Маяковский увидел на выставке, что его работа за 20 лет ничего не стоит, и поэтому решил покончить с собой». Шаламов считает, что пора уже развенчать и Маяковского, и Горького.... Шаламов говорит: «Мне жаль погибшей молодости, жаль потерянных лет. Но поймите меня правильно. Я не о себе лично скорблю, а о нашем искусстве, литературе, поэзии. Шло искусство по ложному пути. Оттого оно бледно, бездарно и пустое. Писатели пели славу Сталину, отошли от правды жизни, забыли об искренности в творчестве, преследовали другие цели совсем нетворческого порядка. Правда, жили эти люди отлично, у них все было: и слава, и квартира, и деньги, и "Победа", но не было творчества. Есть анекдот о писателе Софронове[2]. Он сидел у реки, к нему приплыла золотая рыбка и спросила, что ему нужно. Софронов ответил, что ему ничего не надо: деньги у него есть, квартира не одна, машина есть. Дома жене он рассказал об этом, и та обругала его. Она сказала мужу: "Дурак ты, нужно было попросить хоть немного таланта". Откуда же талант, если писатель подделывается под общее ходячее направление политики, которая была неправильна. В Москве большое впечатление произвел жест Тито[3], который возложил венок на гроб Ленина, а на гроб Сталина — нет. Он сделал плевок на весь 30-летний период деятельности под руководством Сталина».

Круг писателей, к которым питает симпатии Шаламов, имеет свои особенности. Он лично знаком и очень любит Пастернака. Этот писатель известен тем, что на всех этапах жизни советского государства его всегда подхватывали наши враги. Однако это его не смущало. Шаламов говорит, что Пастернак не горевал, когда его не печатали. Теперь в Москве читают в рукописях его цикл стихов под названием «Автобиография»[4]. Скоро выйдут в свет эти стихи. Пастернак перед издательством поставил условие — не изменить ни одной строчки, в противном случае пусть эти стихи лежат у меня — это условие издательством якобы принято.

Любит Шаламов стихи Николая Клюева, известного кулацкого поэта. Клюев заявлял, что он не хочет коммуны без лежанки. Когда Клюев попытался написать стихи о Ленине, из этого ничего не вышло. Начинаются эти стихи так: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах»[5]. Даже

Есенин, ученик Клюева, идеологически весьма путаный, и тот осудил Клюева в своих стихах. Приведу 8 строчек:

Вот Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка
Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая,
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.[6]

Любит Шаламов Марину Цветаеву (она повесилась по личным мотивам). Несколько слов о Цветаевой. Она «ужасная» греховодница.

Как последний сгас на мосту фонарь —
Я — кабацкая царица, — ты — кабацкий царь
Присягай, народ, моему царю,
Присягай его царице — всех собой дарю.
Люди на душу мою льстятся,
Нежных имен у меня святцы
А восприемников за душой
Целый, поди, монастырь мужской!
Уж и священники эти льстивы,
Каждый день у меня крестины![7]

От греха до покаяния недалеко. Нагрешила — и в церковь:

Пойду и стану в церкви.
Помолюсь угодникам
О лебеде молоденьком[8]

Эта поэтесса вкладывается в «теорию искренности», и поэтому нравится она Шаламову. Любит Шаламов Есенина, всего, со всеми его недостатками, с идеологическими вывихами, с кулацкими идеями, с путаными заявлениями. А ведь у него есть вещи, которые никак любить и принять нельзя. Ну хотя бы такие стихи:

Как грустно на земле, как будто бы в квартире,
В которой год не мыли, не мели
Какую-то хреновину в сем мире
Большевики нарочно завели[9].

Любит Шаламов Алексея Кручёных, этого сумасшедшего, бездарного пройдоху в литературе. Этот самый Крученых, который написал такое стихотворение:

Дар — бул — щыл
Убещур
Скум
Вы — ско — бу
РЛЭЗ[10].

Кручёных заявил, что в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина[11]. Такую поэзию Кручёных называл «Грозная баячь». Маяковский назвал ее так: «Поэтическая похабщина Крученых»[12]. Шаламов лично знаком с Кручёных и весьма высоко его ценит. Каждое воскресенье Шаламов ездит в Москву (уезжает в субботу на выходной день). У него в Москве есть жена и дочь. Жена работает бухгалтером[13]. Получает тысячу рублей. Сам он имеет оклад 450 рублей. Дочь учится на пятом курсе строительного института[14]. Но ездит он не только к семье. Каждую поездку он посвящает восстановлению старых знакомств. Поэтому всегда заезжает в писательский городок (Переделкино, под Москвой, с Киевского вокзала). Там застрелился Фадеев[15]. Шаламов говорит, что Фадеев якобы оставил два письма: одно — всем, другое — Хрущёву[16]. Письмо «всем» он читал. Начинается оно так: «Я 20 лет умирал, и мне надоело...» Шаламов уверяет, что причина смерти — не алкоголизм. «Он не мог доказать пером, что он писатель, поэтому он решил доказать пулей. Ведь за последние 15 лет он ничего не написал».

Дружен Шаламов со студентами с литературного отделения Московского университета, с теми, которые пишут стихи. Они, по его мнению, правильно оценивают обстановку. Не любят они, по словам Шаламова, Ермилова, который работает в ЦК партии по вопросам литературы, даже ненавидят. Сам Шаламов считает, что Ермилов олицетворяет в литературе зло, «персонифицированное зло», как он выражается.

«Сейчас, — говорит Шаламов, — в мире литераторов растерянность и сумятица. Все чего-то ждут. Так дальше не может продолжаться. После письма о Сталине[17] все ожидали коренных изменений. Но их пока нет. Никто не знает, что делать, как писать, куда идти. Необходимо убрать Ермилова и много других Ермиловых. Есть признаки хорошие. Начинают издавать людей, которые были уничтожены. Но это полумера. Я подсчитал, сколько погибло от руки НКВД. Их больше, чем погибло во время Отечественной войны. Расстреляны, умерли в тюрьме или повесились: Воронский[18], Пильняк, Мандельштам, Павел Васильев, Бруно-Ясенский, Буданцев[19], Бабель, Авербах[20] и многие другие. Да и сами руководители НКВД расстреляны. Избежал такой участи Дзержинский. И только потому, что рано умер. Ведь он подписывал платформы не одной оппозиции[21]. Поживи он больше и его бы расстреляли. Между прочим... известно ли вам, что жена Троцкого обратилась к 20 съезду партии с просьбой реабилитировать Троцкого? Неизвестно? Это факт. А в 1937 году, когда стали хватать людей, домой отказались вернуться 12 наших дипломатов[22]. Они знали, что их посадят. Хотя и там небезопасно. Троцкого и его сына и там достали и убили[23]. Страшные дела».

И. вопросов не приходилось задавать. Шаламов поговорить любит. Директор торфопредприятия относится к нему хорошо. Шаламов считает, что причиной является письмо управляющего торфо-трестом Калининской области Опенченко, с которым Шаламов приехал в Туркмен. Шаламов в молодости дружил с Опенченко. Шаламов приглашает И. в гости. В Москву сейчас он не приглашает. Комната у него очень маленькая. Сам он там, в семье, почти не бывает. Он получил ответ из военной прокуратуры на его заявление. В ответе говорится, что прокурор опротестовал приговор по его делу, и он ждет решения суда. Как только он будет реабилитирован, сразу переезжает в Москву. Поэтому он сейчас спешит восстановить литературные связи. Он рассчитывает получить квартиру, а работа найдется. И вот тогда он рад принять гостем И. в Москве. Отбывал наказание Шаламов на Колыме, 15 лет[24]. Работал он в ведомственном журнале «Промышленные кадры»[25]. Редактор Петровский был расстрелян[26]. По словам Шаламова, он осужден за знакомство с ним. Шаламов рассказывал, что Пастернака вызывали в органы безопасности и беседовали с ним[27]. В конце беседы ему сказали, что хотели бы побеседовать с некоторыми лицами. Пастернак ответил: «Я вполне верю, что вы желаете с ними беседовать, но пожелают ли они беседовать с вами?»

Говорил Шаламов о художнике по фамилии Фальк, или Фальт[28]. У него своя худ. мастерская. Он рисует. Ни одного казенного портрета или картины он не рисовал. Он честно рисует то, что ему по душе. Не продается. Пусть его картины и не покупаются, но он остается самим собой. За это любит его Шаламов. О Зощенко Шаламов сказал так: «Его задавил Жданов, и он никак не может подняться. Хороша у него “Голубая книга”»[29].

верно. Начальник УКГБ при СМ СССР
по Калининской области ЦА ФСБ РФ
Архивное дело № ПФ-4678, т. 1, часть П, л 83–90
Машинописная копия

21 июня 1956

Примечания

[1] Точное название этой выставки — «20 лет работы», открылась она 1 февраля 1930 года в одновременно созданном клубе Федерации Советских писателей (ул. Воровского, 52), затем показывалась в Ленинграде (с 5 марта) и вновь в Москве (в Центральном Доме комсомола Красной Пресни, с 18 марта).

[2] *Софронов* Анатолий Владимирович (1911–1990) — русский советский писатель, драматург, в 1948–1953 годах секретарь СП СССР. Главный редактор журнала «Огонек» в 1953–1986 гг.

[3] *Тито* Иосип Броз (1892–1980) — деятель югославского и международного коммунистического и рабочего движения. С 1940 г. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Югославии, с 1952 г. Генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии, с 1966 г. председатель СКЮ. С 1945 г. глава государства и правительства ФНРЮ (затем СФРЮ). После разрыва в 1948 году по вине руководства СССР межгос. и межпарт. связей с Югославией Тито противостоял идеологическому и политическому давлению СССР и выдвинул собственную модель социалистического общества. Выступал поборником внеблоковой политики, был одним из лидеров «Движения неприсоединения». Газета «Известия» от 05.06.56 сообщала: «4 июня Президент Федеративной Народной Республики Югославии Иосип Броз Тито и сопровождающие его лица посетили Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина и возложили венок. На ленте венка написано «Владимиру Ильичу Ленину. Иосип Броз Тито».

[4] Речь, очевидно, идет о стихотворениях из будущей книги Пастернака «Когда разгуляется», в которую вошли его стихотворения 1956–1959 гг.

[5] Неточная цитата из одноименного стихотворения Н. А. Клюева из цикла «Ленин» (1918, впервые опубликовано в июньском номере журнала «Знамя труда», цикл полностью опубликован в 1919 г. в Петрограде во второй книге двухтомника Клюева «Песнослов», точный текст: «Есть в Ленине керженский дух. Игуменский окрик в декретах»).

[6] Здесь слиты воедино отрывки из двух разных стихотворений Есенина: первые четыре строки — не везде точная цитата из стихотворения «На Кавказе» («Страна советская», Тифлис, 1925) и «Теперь любовь моя не та» (впервые — в коллективном альманахе «Конница бурь. Второй сборник имажинистов». М., 1920).

[7] Первые четыре строки — не вполне точная цитата из стихотворения Цветаевой «Кабы нас с тобой — да судьба свела», написанного 25 октября 1916 г., следующие шесть строк — не вполне точная цитата из стихотворения Цветаевой «Люди на душу мою льстятся», написанного 6 апреля 1916 г. Оба стихотворения впервые опубликованы в книге Цветаевой «Версты» (М., 1922).

[8] Из стихотворения «Разлетелось в серебряные дребезги», написанного 1 марта 1916 г. и впервые опубликованного в книге «Версты». Обращено к О. Мандельштаму (1891–1938), с которым Цветаева познакомилась в 1915 г. во время его приезда в Москву.

[9] Первые строки стихотворения Есенина «Заря Востока», написанного в октябре 1924 г. и посвященного сотрудникам одноименной тифлисской газеты. Впервые опубликовано в журнале «Журналист», 1926, № 5.

[10] Не вполне точно приводится скандально знаменитое стихотворение А. Крученых «Дыр, бул. Щыл» (написано в декабре 1912 г., впервые опубликовано в его книге «Помада». М., 1913), демонстрирующее возможности «заумного» языка и позднее неоднократно перепечатывавшееся.

[11] Скрытая, но точная цитата из книги А. Кручёных и В. Хлебникова «Слово как таковое» (с. 9), изданной в 1913 году в Москве типолитографией «Я. Данкин и Я. Хомутов». *Хлебников* Велимир (Хлебников Виктор Владимирович, 1885–1922) — поэт-футурист.

[12] Выражение «Поэтическая похабщина Кручёных» принадлежит не Маяковскому, а происходит из «Декларации» имажинистов, впервые опубликованной за подписями С. Есенина, Р. Ивнева, А. Мариенгофа, В. Шершеневича, Б. Эрдмана и Г. Якулова в воронежском журнале «Сирена» (1919, № 4–5, 30 января) и затем в газете «Советская страна» (М., 1919, № 3, 10 февраля). Основным автором «Декларации» считается В. Шершеневич (см.: *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 7. Кн. 1. М., 1999. С. 510). В ней говорится: «Поэзия надрывная Маяковского, поэтическая похабщина Кручёных и Бурлюка, в живописи — кубики да переводы Пикассо на язык родных осин, в театре — кукиш, в прозе — нуль, в музыке — два нуля (00 — свободно)» (там же, с. 305).

[13] *Гудзь* Галина Игнатьевна (1909–1986) — уроженка г. Калинина, украинка. В 1937 году арестована органами НКВД Московской области по обвинению в «контрреволюционной троцкистской деятельности» и на основании инструкции НКВД СССР выслана из Москвы на 5 лет как жена осужденного мужа. Постановлением УМВД Чарджоуской области (Туркмения) 15 апреля 1946 года от административной высылки освобождена.

[14] Дочь — *Шаламова* Елена Варламовна (1935–1990) — уроженка Москвы, учащаяся. После ареста родителей находилась на воспитании Гудзь Марии Игнатьевны (родная сестра Гудзь Г. И.).

[15] *Фадеев* Александр Александрович (1901–1956) — русский советский писатель, общественный деятель. Из докладной записки председателя КГБ при СМ СССР И. А. Серова от 14 мая 1956 г.: «13 мая 1956 года примерно в 15. 00 у себя на даче, в Переделкино Кунцевского района выстрелом из револьвера покончил жизнь самоубийством кандидат в члены ЦК КПСС писатель Фадеев Александр Александрович».

[16] Письмо Хрущёву — письмо А.А. Фадеева в ЦК КПСС от 13 мая 1956 г. (См. выверенный с оригиналом текст и фотокопию автографа с сопровождающими документами. Известия ЦК КПСС. 1990. № 10. С. 146–156.)

[17] Имеется в виду рассылавшийся с 5 марта 1956 г. по всем партийным организациям с грифом «не для печати» и зачитывавшийся на партийных и комсомольских собраниях текст доклада Хрущёва «О культе личности и его последствиях» на утреннем закрытом заседании XX съезда 25 февраля 1956 г. (см.: Реабилитация: Политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. С. 447).

18 *Воронский* Александр Константинович (1884–1937) — литературный критик, издательский деятель, писатель, один из виднейших марксистских эстетиков. В 1921–1927 годах редактор журнала «Красная новь» и издательства «Круг». Идеолог литературной группы «Перевал». В 1928 г. был исключен из партии за принадлежность к троцкистской оппозиции. В 1930 г. восстановлен, являлся редактором Гослитиздата, 1 февраля 1937 г. арестован, 13 августа приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР (в печати долгое время фигурировал подложный год смерти — 1943).

[19] *Буданцев* Сергей Федорович (1896–1940) — русский советский писатель.

[20] *Авербах* Леопольд Леонидович (Леопольдович) (1903–1937) — критик, ответственный редактор журнала «Молодая гвардия» (1922–1924), член бюро ВАПП и РАПП, Генеральный секретарь РАПП (1926–1932), шурин наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды.

[21] Вопрос о Брестском мире. «Подписывая этот мир, мы ничего не спасаем», — говорил Ф. Э. Дзержинский. При голосовании по данному вопросу воздержался (см.: Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. С. 212), а также его позиция в вопросе о профсоюзной дискуссии конца 1920 — начала 1921 года (см.: Одиннадцатый съезд РКП(б), март–апрель 1922 года. Стенографический отчет. М., 1961. С. 178; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2. С. 533–534).

[22] Имеются в виду Раскольников Ф. Ф. (полпред СССР в Болгарии), Бармин А. Г. (полпред СССР в Греции), Беседовский Г. З. (советник полпредства СССР в Японии) и многие другие.

[23] Высланный в 1929 г. вместе с Троцким из СССР его сын Лев Седов неожиданно умер 16 февраля 1938 г. в парижской больнице после операции аппендицита при странных обстоятельствах, однако в известных сейчас документах НКВД нет сведений о какой-либо акции по его устранению (см.: *Судоплатов А. П.* «Тайная жизнь генерала Судоплатова: правда и вымыслы о моем отце». М., 1998. Кн. 1. С. 226–227). Сам Троцкий был смертельно ранен 20 августа 1940 г. в Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркадером и на следующий день умер.

[24] На Колыме В. Шаламов пребывал с августа 1937 по ноябрь 1953 года (16 с половиной лет). Освобожден из лагеря в октябре 1951 г.

[25] Журнал «За промышленные кадры», издававшийся в 1933–1937 гг. НИИ промышленных кадров ВСНХ СССР.

[26] Петровский. Сведения не обнаружены.

[27] Данный факт не установлен.

[28] Имеется в виду *Фальк* Роберт Рафаилович (1886–1958) — художник.

[29] «Голубая книга» (публиковалась в 1934–1936) — цикл сатирико-философских новелл о человеческих пороках и страстях, рубежный в творческой эволюции М. Зощенко. Почти сразу же эта книга подверглась резкой критике (см.: *Зощенко М. М.* Уважаемые граждане. М., 1991. С. 71–74).

Донесение № 4

На днях Добровольский[1] получил письмо от Шаламова, в котором главное место занимают новые, написанные во второй половине июля, стихи поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Шаламов пишет: «Из этих стихов Вы можете видеть, насколько художественно тверда сейчас его рука. Можете видеть и другое — что все, что с нами было, не прошло для него бесследно и что знамя большой русской литературы он смог держать высоко. Если бы Вы читали его роман, его гениальный роман, Вы увидели бы, что все эти вопросы подняты и ответы утверждаются с толстовской силой...».

Добровольский ждет результатов своих заявлений о реабилитации, но за последний месяц никаких извещений ниоткуда не получал. Добровольский продолжает утверждать, что он послал на конкурс и кинорежиссеру Пырьеву свой сценарий, который он якобы отправил в середине июля... Однако когда на литературной группе ему предложили ознакомить со своим сценарием всех членов группы, то Добровольский уклонился от чтения сценария, хотя неоднократно обещал это сделать. У участников литгруппы создалось впечатление, что Добровольский всех их обманывает. Добровольский сочинил и распространяет следующий анекдот: Хрущев и Тито осматривают Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Тито удивляется богатству и обилию в Советском Союзе. Выходя с выставки, оба они видят сидящего у входа и просящего милостыню нищего. Тито бросает нищему десятирублевую бумажку и проходит дальше. Хрущёв останавливается и говорит нищему: «Как тебе не стыдно, шел бы лучше работать!..» — «А я, Никита Сергеевич, — говорит нищий, — этим после работы занимаюсь».

Вообще тема «обнищания» народа, тема «неустойчивой экономики» часто проскальзывает в разговорах и высказываниях Добровольского. В одном из последних писем к Добровольскому Шаламов В. Т. сообщает, что он (Шаламов) сейчас много пишет как в стихах, так и в прозе. О темах и сюжетах своих произведений Шаламов ничего не пишет...

верно: Уполномоченный УКГБ при СМ СССР
по Магаданской обл. в Ягодинском р-не ЦА ФСБ РФ
Архивное дело № ПФ-4678, т. 1, часть II, л. 116–117.
Машинописная копия

14 августа 1956

Примечания

[1] *Добровольский* Аркадий Захарович (1911–1969) — уроженец Винницкой области, украинец, беспартийный, с неоконченным высшим образованием, ранее дважды судим за антисоветскую деятельность, работал и проживал в пос. Ягодный Магаданской области на положении ссыльно-поселенца. В 1937 г. арестован органами НКВД в г. Киеве и приговором Военного трибунала Киевского военного округа от 10 апреля 1937 г. осужден «как участник контрреволюционной террористической организации» (ст. 20-54-8 и 54-11 УК УССР) в ИТЛ сроком на 7 лет. Отбывая наказание в Северо-Восточных лагерях на Колыме, Добровольский А. З. в 1944 г. по обвинению «в создании контрреволюционной группы из числа заключенных и проведении антисоветской деятельности» (ст. 58-10 УК РСФСР) осужден в ИТЛ сроком на 10 лет.

Донесение № 5

Справка:

1. Шаламов Варлам Тихонович, 1907 года рождения, беспартийный, в прошлом активный троцкист.

2. Неклюдова Ольга Сергеевна, 1909 года рождения, детская писательница[1].

...встречался с Варламом Тихоновичем Шаламовым и его женой Ольгой Сергеевной Неклюдовой...

Неклюдова рассказывала И., что она написала новый роман под названием «Ветер меняет вывески»[2], но боится, что роман этот может быть не напечатан, так как, по ее словам, он чересчур левый и демократичный, более того что сейчас требуется.

Говоря о Неклюдовой, Шаламов характеризует ее как человека и писателя, никогда не стоявшего на официальных позициях, а всегда немножко оппозиционно настроенного.... Шаламов излагал свои взгляды на современную литературу и на

советскую внутреннюю политику. По мнению Шаламова, «советская литература после XX съезда партии, пережив короткую передышку, снова попала в рамки сталинского зажима». По мнению Шаламова, произошло это от того, что XX съезд партии, наметив новые нужные вехи в советской литературе и в жизни, не довел дело до конца, ибо не сменил, а оставил на месте весь аппарат государственной, а также и литературно-бюрократической машины, а теперь этот аппарат всеми силами и средствами старается сорвать ту демократизацию всех сторон нашей общественной жизни, путь к которой указал съезд партии.

Шаламов считает также, что из-за того, что вся литературная общественность с силой набросилась на книгу Дудинцева[3] и просто-таки раздавила ее (а книга эта, по мнению Шаламова, очень слаба и неинтересна как с художественной, так и с идейной стороны), тем самым преградив возможность выхода и написания новых книг, по сути своей отражающих свободные ленинские принципы и более сильных с точки зрения художественной, чем «Не хлебом единым».

Шаламов считает, что через год, максимум полтора, ЦК партии возьмет в оборот «Литературную газету» за то, что она на протяжении всего времени в своих статьях выступала против того, что сказал XX съезд партии о литературе... По мнению Шаламова, «Литературная газета» явно стоит на позициях «тащи и не пущай».

Говоря о внутренней политике в стране, Шаламов утверждает, что за ближайшие 2–3 года никакого поворота в сторону большей демократизации не произойдет, если только на Советский Союз не будет оказано крепкое давление извне, со стороны Америки и европейских стран.

Основываясь на своих наблюдениях во время проживания на станции Туркмен Калининской области, Шаламов расценивает современное крестьянство как явно аполитическую массу с рваческими, кулацкими тенденциями, проявляющимися весьма резко и повсеместно. По мнению Шаламова, крестьянство настроено отнюдь несоветски и не верит ни в бога, ни в черта. Девиз крестьянина — рубай! — говорит Шаламов. Шаламов утверждает еще и то, что в настоящее время, благодаря социально-экономическим факторам, не может быть написано ни одно по-настоящему крупное произведение. По словам Шаламова, такое же точно мнение высказывает и теоретик литературы профессор Леонид Иванович Тимофеев. «И вдобавок ко всему, — говорит Шаламов, — каким-то естественным подпором в вожди современной литературы проникли люди, творчески бесталанные и завистливые: Сурков, Долматовский, Симонов, Васильев, Смирнов и др.» Однако, говорит Шаламов, государство существует, и не уважать его, не считаться с ним,

противопоставлять себя ему нельзя, а с мелюзгой, мешающей развитию русской литературы, надо бороться.

верно· Ст. оперуполном КГБ
при СМ СССР ЦА ФСБ РФ.
Архивное дело № ПФ-4678, т 1, часть II, л 147–149.
Машинописная копия.

26 июля 1957

Примечания

[1] *Неклюдова* Ольга Сергеевна (1909–1989) — уроженка ст. Каменная Гора Камышинского района Сталинградской области (по другим данным, с. Калинин Брод Царицинского района Саратовской области) — писательница, член Союза советских писателей, вторая жена В. Т. Шаламова.

[2] Роман Неклюдовой «Ветер срывает вывески» не издан.

[3] Необычайно популярный в годы «оттепели» роман В. Д. Дудинцева (1918–1998) «Не хлебом единым» (1956), рисующий советского изобретателя в столкновении с «хищниками и карьеристами», вызвал, согласно внутренним документам ЦК КПСС, «резко противоположные суждения среди руководителей Союза писателей» (см.: «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей» из Записки отдела культуры ЦК КПСС о современной литературе и драматургии, 1 декабря 1956 // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М., 1997. С. 122) и неоднократно критиковался в печати.

Донесение № 6

...Шаламов появился на фоне университета в конце 1928 года. Главное окружение вокруг него были: Марк Куриц[1], Гезенцвей Сарра[2], а также оппозиционеры с литературного отделения, занятия которого он посещал явочным порядком, т. к. не был принят в университет. В 1929 году В. Шаламов выполнял задания райорганизатора Хамовнического района Н. Адольф[3]. Шаламов был также знаком со следующими лицами: Арефьевой[4], Дебитом[5], Сарматской[6], Кронманом[7] и Ароном Коганом[8]. В феврале 1929 году Шаламов пытался организовать в переулке на Сретенке печатание листовок на гектографе, но «освоить» гектограф не удалось — печать получалась грязная, и дня через два был арестован.

Шаламов представлял в те годы рослого, волевого парня, с немного угрюмым взглядом, производил впечатление честного, открытого и убежденного в своей правоте человека. В годы

1930–1932 Шаламов сдружился с Арефьевой и часто бывал у нее на Арбатской площади, куда приходил также и брат Арефьевой, работавший где-то в булочной. Лица, окружавшие Шаламова из комсомольцев, по своему характеру представляли: Марк Куриц — первокурсник, слабо политически развит, но любит «поговорить» и особенно о своем брате-дипломате, в подпольной работе участвовал неактивно, выполняя отдельные задания; Гезенцвей — тоже пассивная оппозиционерка; Сарматская — комсомолка, дружила с Арефьевой и участвовала в передаче в тюрьму продуктов для Шаламова, когда тот был арестован, как его невеста, под таким видом и была у него на свидании. Арефьева Нина — долгое время активно боролась против троцкизма, была одним из лучших агитаторов-комсомольцев, выступавших за генеральную линию. И вдруг... заявила, что она считает свои прежние действия неправильными и что выступит на следующем собрании против ЦК. Это выступление (тему) разрабатывал по заданию бюро Д. Мильман[9]. Ее выступление было неожиданно и эффективно, тем не менее Арефьевой долгое время не доверяли и не вводили в подпольную работу, и лишь после ареста И. она была в нее втянута, но последовал первый арест Арефьевой и ссылка.

Нина Арефьева — вдумчивый, умный человек, человек собранности и продуманности убеждений, пользовалась общим уважением ребят.

верно: Зам уполн. УКГБ
в Щербаковском районе ЦА ФСБ РФ.
Архивное дело № ПФ-4678, т. 1, часть II, л. 161.
Машинописная копия.

1 мая 1957

Примечания

[1] *Куриц* Марк Семенович (р. 1909) — уроженец г. Николаева, окончил в 1927 году школу 2-й ступени им. Короленко, на момент ареста — студент литературного отделения 1-го МГУ, активный троцкист. Арестован органами ОГПУ 30 декабря 1928 года и Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 25 января 1929 года по ст. 58-10 (антисоветская пропаганда и агитация) УК РСФСР выслан через ПП (пересыльный пункт ОГПУ) на Урал сроком на 3 года. Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 8 сентября 1931 г. во изменение прежнего постановления выслан в Западную Сибирь сроком на 3 года. По отбытии срока наказания в западно-сибирской колонии (г. Минусинск) Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 10 февраля 1934 г. срок высылки продлен еще на 2 года, считая срок с 26 мая 1934 г. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР

от 28 сентября 1935 года по обвинению «в контрреволюционной деятельности» осужден к 5 годам лишения свободы. Срок наказания отбывал в Магаданской области (Севвостлаг). Умер 28 августа 1936 г. при отбытии срока наказания.

[2] *Гезенцвей* Сарра Менделевна (р. 1908) — уроженка г. Гомеля БССР, активная троцкистка, студентка литературного отделения 3-го курса этнологического факультета 1-го МГУ, с 1925 по 1927 год состояла в ВЛКСМ, исключена за участие в троцкистской оппозиции. Арестована органами ОГПУ 8 мая 1928 года. Обвинялась по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 20 июня 1928 года из-под стражи освобождена на поруки отца. В 1929 г. постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10 УК РСФСР осуждена к 3 годам ссылки, в 1933 г. выслана на 3 года в Казахстан. В 1936 г. арестована УНКВД по Актюбинской области по ст. 58-10 УК РСФСР, обвинялась в том, что являлась участницей «контрреволюционной троцкистской организации», существовавшей в г. Актюбинске и состоявшей из отбывавших ссылку кадровых троцкистов и децистов. 9 октября 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР на основании ст. 58-8 (совершение террористических актов) и 58-11 (организационная деятельность) УК РСФСР приговорена к 10 годам тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 21 ноября 1937 г. тройкой УНКВД Алтайского края осуждена к ВМН. Приговор приведен в исполнение.

[3] *Адольф* Надежда Августовна (р. 1905) — уроженка г. Могилева БССР, студентка литературного отделения 1-го МГУ, активная троцкистка, руководитель Хамовнической районной молодежной троцкистской организации, работала в Московском троцкистском центре. В феврале 1928 г. Адольф Н. А. за активную троцкистскую деятельность была исключена из рядов ВЛКСМ. После исключения из комсомола она продолжала вести троцкистскую деятельность, за что в мае 1928 г. была арестована ОГПУ. Находясь под следствием, Адольф Н. А. отказалась порвать свою связь с троцкизмом и назвать участников троцкистской организации. 20 июня 1928 г. Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ из-под стражи была освобождена. 31 октября 1950 г. Адольф Н. А. за прошлую троцкистскую деятельность была арестована и 17 февраля 1951 г. постановлением Особого совещания МГБ СССР по ст. 58-10 ч. 1 и ст. 58-11 УК РСФСР осуждена на 10 лет ИТЛ. 12 апреля 1956 г. постановлением Президиума Мосгорсуда Постановление Особого совещания МГБ СССР от 17 февраля 1951 г. в отношении Адольф Н. А. отменено, и делопроизводство за недоказанностью обвинения прекращено 14 апреля

1956 г. Адольф Н. А. в связи с поданным ею заявлением из-под стражи освобождена со снятием судимости.

[4] *Арефьева* Нина Андреевна (р. 1906) — уроженка Рязанской губернии, активная троцкистка. 23 апреля 1929 г. Постановлением Особого совещания ОГПУ по ст. 58-10 УК РСФСР выслана на 3 года в Казахстан. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 18 ноября 1929 г. прежнее постановление отменено, разрешено свободное проживание по территории СССР, от ссылки освобождена. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 23 июня 1930 г. через ПП ОГПУ выслана в Среднюю Азию на 3 года. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 3 августа 1930 г. прежнее постановление отменено, разрешено свободное проживание по территории СССР. 27 марта 1935 г. вновь арестована органами НКВД г. Москвы по ст. 58-10 УК РСФСР, и Постановлением Особого совещания НКВД от 10 мая 1935 г. осуждена к 3 годам ИТЛ, Постановлением Особого совещания НКВД от 16 октября 1938 г. осуждена на 5 лет ссылки в Казахстан.

[5] *Лебит* Давид Александрович (р. 1906) — уроженец Одессы, студент искусствоведческого отделения 1-го МГУ, неоднократно судим за активную троцкистскую деятельность, обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 20 июня 1928 г. выслан в Среднюю Азию на 3 года. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 14 ноября 1937 года осужден к 5 годам ИТЛ. 17 мая 1951 года вновь арестован УМГБ по Новгородской области, обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением Особого совещания от 19 сентября 1951 г. сослан на поселение в Красноярский край.

[6] *Сарматская (Сармацкая)* Галина Ивановна (Игнатьевна). Сведения не обнаружены.

[7] *Кронман* Евгений Леонтьевич (р. 1907) — уроженец г. Белостока Литовской ССР, студент искусствоведческого отделения 1-го МГУ, судим за троцкистскую деятельность Кронман Е. Л. был арестован органами НКВД 10 февраля 1936 г. как троцкист и Постановлением Особого совещания НКВД от 15 июня 1936 г. осужден на 5 лет ИТЛ.

[8] *Коган* Арон Моисеевич (р. 1905) — уроженец Тулы, студент физико-математического отделения 1-го МГУ, являлся одним из активнейших и ведущих участников троцкистской организации в 1-м МГУ. У него на квартире устраивались подпольные собрания студентов-троцкистов. Арестован органами ОГПУ 28 марта 1929 г. и Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 23 апреля 1929 г. по ст. 58-10 УК РСФСР осужден к 3 годам лишения свободы. В 1936 г. он вновь арестован органами УНКВД Московской области. Обвинялся по ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР. Приговором Военной коллегии

Верховного суда СССР от 16 июня 1937 г. осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 17 июня 1937 г.

[9] *Мильман* Гдалий (Даля) Маркович (р. 1907) — уроженец г. Берлина (Германия), член ВЛКСМ с 1925 по 1927 г., исключен из ВЛКСМ за принадлежность и активное участие в троцкистской оппозиции, руководитель молодежной студенческо-троцкистской организации на историческом факультете 1-го МГУ. Арестован органами ОГПУ 8 мая 1928 г. и Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 20 июня 1928 г. по ст. 58-10 УК РСФСР выслан через пересыльный пункт ОГПУ в Сибирь сроком на 3 года. Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 23 марта 1930 г. прежнее постановление отменено и Мильману Г. М. разрешено свободное проживание по территории СССР. 21 апреля 1931 г. вновь арестован органами ОГПУ и Постановлением Особого совещания при коллеги и ОГПУ от 8 июля 1931 г. по ст. 58-10 УК РСФСР осужден к лишению свободы сроком на 3 года. По отбытии срока наказания в политическом изоляторе Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 9 марта 1934 г. выслан через ПП ОГПУ в Западную Сибирь сроком на 3 года. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 10 июля 1936 г. осужден к 5 годам лишения свободы. 25 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД по Архангельской области по ст. 58-1 и 58-11 УК РСФСР осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 1 марта 1938 г.

Донесение № 7

Справка:

1. Шаламов Варлам Тихонович, 1907 года рождения, беспартийный, в прошлом активный троцкист.
2. Неклюдова Ольга Сергеевна, беспартийная, член Союза советских писателей.
3. Слуцкий Борис, поэт, в своих стихотворениях пытается охаивать патриотические чувства советского народа в период Отечественной войны.

...встретился с Варламом Тихоновичем Шаламовым и его женой Ольгой Сергеевной Неклюдовой и был у них дома на Хорошевском шоссе, д. 10, кв. 2...

В разговорах о литературе Шаламов рассказал, что вышла «интересная книга стихов Слуцкого “Память”»[1]. Когда И. выразил свое мнение о том, что книжка эта вычурна и мелка по постановке стихотворной темы, Шаламов заявил, что то, что вошло в эту книгу, — это наименее интересное из всего, что Слуцким написано, что Борис Слуцкий — талантливый поэт, но из-за создавшихся в литературной политике обстоятельств лишен возможности печатать свои лучшие стихи и

читает их только в домах своих знакомых и по пьянке в ресторанах. По словам Шаламова, стихи Слуцкого «очень резки и остры».

Сказал также Шаламов, что Слуцкий бывает у них дома, и довольно часто. Очень много Шаламов рассказывал о Борисе Леонидовиче Пастернаке, о том, что в одном из издательств Италии вышел роман Пастернака «Доктор Живаго», не напечатанный в Советском Союзе. По словам Шаламова, роман этот должен выйти в Англии, Швеции и Австрии[2].

Рассказал Шаламов также и о том, что Сурков и Панфёров несколько раз разговаривали с Пастернаком и предлагали ему взять из итальянского издательства тогда еще не напечатанную рукопись, но Пастернак категорически отказался, и, как говорит Шаламов, Пастернак сейчас «держится очень уверенно».

Говоря о статье Софронова в «Литературной газете», Шаламов сказал, что она никак не является взглядом партии на литературу и даже наоборот, так, например, очень неприязненно отнесся к этой статье один из партийных руководителей идеологического фронта товарищ Поспелов. Будто бы после его замечания «Литературной газете» третья часть статьи была срочно переделана самим Софроновым совместно с редактором «Литературной газеты» Кочетовым.

Шаламов говорил, что статья Софронова вызвала большое возмущение в литературных кругах и что, если бы кто-либо из «обиженных» Софроновым писателей выступил в печати против этой статьи, то такого бы человека единодушно поддержала писательская общественность.

Неклюдова сказала, что, хотя ее книга «Ветер меняет вывески» и готова, но она ее в издательство не сдает, оттягивая вот уже несколько раз сроки сдачи. Причина, которой руководствуется Неклюдова, — такова: она считает, что если она сдаст в издательство эту книгу сейчас, то книга будет немедленно и насмерть «зарезана». Неклюдова очень сетует на свою писательскую судьбу, объясняя свои неудачи «литературным безвременьем», «новой рапповщиной».

Сказал еще Шаламов, что он присутствовал при разговоре председателя комиссии по литературному наследству А. К. Воронского Дементьева[3] с редактором «отдела смеси» в журнале «Москва» Морморштейном[4] по поводу печатания писем А. М. Горького к А. К. Воронскому[5]. Шаламова возмутило, что председатель комиссии по наследству не рекомендовал журналу «Москва» печатать эти письма. Об этом разговоре Шаламов написал в Магадан — Галине Александровне Воронской[6]. Шаламов несколько раз повторял такое выражение: «рамки, сковывающие советскую литературу, еще очень узки».

Интересовался Шаламов судьбой Добровольского и был очень огорчен, узнав, что амнистия Добровольского не косну-

лась. Шаламов получает письма от жены Добровольского. Шаламов очень интересовался, где в данное время находится Лоскутов Фёдор Ефимович[7]?

...Шаламов сказал, что последнее письмо от Лоскутова он получил из Белоруссии. В этом письме Лоскутов сообщал, что выезжает к сестре в Молдавию. Недавно Шаламов написал Лоскутову письмо по его молдавскому адресу.

Связь Шаламова и Лоскутова началась на Колыме, когда они оба были в больнице УСВИТЛа, на 23-м километре. К этому же времени относится и их знакомство с Добровольским (это 46–51-й годы). Позднее Шаламов и Лоскутов (и Добровольский также) встретились на Левом берегу в больнице. Их в те времена объединяла общность взглядов на жизнь. Действительность в ту пору казалась им чрезвычайно мрачной и бесперспективной. Кстати говоря, это очень ярко отразилось в стихах Шаламова того периода.

В настоящее время Шаламов очень скверно себя чувствует, он почти лишился слуха, страдает головокружениями и даже упал на улице и почти месяц пролежал в Институте неврологии.

Последний раз И. видел Шаламова 21 декабря. Шаламов очень скверно себя чувствовал, и поэтому беседы не получилось. Шаламова морально весьма угнетает его физическое состояние.

верно: Ст. оперуполном КГБ
при СМ СССР ЦА ФСБ РФ.
Архивное дело № ПФ-4678, т. I, часть II, л. 164–166.
Машинописная копия

23 декабря 1957

Примечания

[1] Сборник Слуцкого «Память. Книга стихов» выпущен издательством «Советский писатель» в 1957 г. *Слуцкий* Борис Абрамович (1919–1986) — русский советский поэт. Сборник «Память» — стихи о Великой Отечественной войне, которые драматично и достоверно передают фронтовой быт.

[2] Имеется в виду выход в Милане на итальянском языке 15 ноября 1957 г. романа «Доктор Живаго», вскоре переведенного на многие другие языки и изданного по-русски (Борис Пастернак. «Доктор Живаго» (на итальянском языке). Feltrinelli Editore Milano, 1957, 712 с.). Публикация этого романа за рубежом и присуждение за него Пастернаку Нобелевской премии (23 ноября 1958) вызвали резкую критику со стороны официальных властей. 27 октября 1958 г. Пастернак был исключен из Союза писателей и был вынужден отказаться от Нобелевской премии.

[3] *Дементьев* Александр Григорьевич (1904–1986) — литературный критик, в 1953–1956 и 1958–1966 гг. первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир».

[4] Информация из материалов дела Шаламова: «В редакции журнала «Москва» при отделе очерковой литературы была создана небольшая группа внештатных сотрудников, занимавшихся составлением отдела "Смесь". В эту группу входили: Н. И. Морморштейн (Мормерштейн) — руководитель группы, работающий по трудовому соглашению, Шаламов, Гуревич В. и еще одна девушка, фамилии которой я сейчас не помню».

[5] Переписка А. М. Горького и А. К. Воронского за 1915–1931 гг. была издана А. Г. Дементьевым лишь десятилетие спустя (Горький и советская печать. Архив Горького. Т. X. Кн. 2. М., 1965. С. 8–79).

[6] *Воронская* Галина Александровна (1916–1991) — уроженка г. Кемь Карело-Финской ССР, литературный работник, на момент ареста — учащаяся Литературного института им. М. Горького, дочь критика Александра Константиновича Веронского. В июне 1937 г. была арестована органами НКВД г. Москвы и Постановлением Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена на 5 лет ИТЛ. Срок наказания отбывала в Северном ИТЛ Дальстроя. Освобождена по отбытии срока наказания. Постановлением Особого совещания при МГБ СССР от 1 апреля 1950 г. за участие в троцкистской группе сослана в ссылку на поселение в район Колымы. В ссылке поддерживала связь с Шаламовым и другими писателями и журналистами. Упомянутое письмо не обнаружено.

[7] *Лоскутов* Федор Ефимович (1897–1977) — уроженец д. Липовки Смоленской области, врач военного госпиталя г. Бобруйска. Военным трибуналом войск МВД по Дальстрою от 17 июня 1947 г. по ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осужден к 10 годам ИТЛ. Определением военного трибунала Дальневосточного военного округа от 13 января 1955 г. освобожден. Находился на положении врача в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин), затем — в Магадане. Познакомился с Шаламовым в Центральной больнице для заключенных УСВИТЛа в 1946 г., когда Шаламов туда прибыл на курсы фельдшеров, а затем работал в хирургическом отделении.

Донесение № 8

5 мая с. г. И. посетил Варлама Тихоновича Шаламова, находящегося на излечении в институте уха-горла-носа в Боткинской больнице.

Здоровье Шаламова за последнее время сильно пошатнулось, и в зависимости от этого все больше и больше ухудшается его моральное состояние. Он стал больше брюзжать по самым различным поводам, злобно охаивая советскую литературу, кино, музыку. Шаламов считает, что Пастернак сделал непростительную ошибку, написав свои письма Хрущеву и отказавшись от Нобелевской премии[1]. По мнению Шаламова, Пастернак должен был «оставаться стойким до конца», то есть взять Нобелевскую премию и «не отвечать ни единым словом на собачий лай». Однако Пастернак, по словам Шаламова, «струсил и своими письмами к Хрущеву показал свою беспомощность и беспринципность, сделав тем самым хуже себе и другим, в то время когда, поступив правильно, он сделал бы в России переворот в отношении правительства к литературе и литераторам...».

Шаламов заявил, что он не видит на ближайшее время никаких перспектив «к улучшению литературной обстановки в стране», говорил о том что «тенденция совершенно задавила литературу», что в настоящее время «в искусстве никто не нуждается», и высказывал много других пессимистических фраз. Шаламов немного подрабатывает на внутренних рецензиях для журнала «Новый мир», жена его тоже имеет случайные, не систематические заработки, поэтому семья Шаламова и Неклюдовой материально несколько стеснена, и это тоже накладывает свой отпечаток на настроения и взгляды Шаламова. У Шаламова несколько раз бывал Добровольский во время своих наездов в Москву. Останавливался Добровольский в Москве у сценариста Помещикова[2], и Шаламов характеризует Добровольского как человека, которому сейчас даны все возможности для работы и который не хочет и не может, не верит в творческие силы Добровольского.

2 июня 1959

Примечания

[1] Имеются в виду письма Б. Пастернака: в «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. Никите Сергеевичу Хрущёву» от 31 октября 1958 г. («Правда», 2 ноября 1958 г., с. 2) и «В редакцию газеты “Правда” от 5 ноября 1958 г. («Правда», 6 ноября 1958 г., с. 4).

[2] *Помещиков* Евгений Михайлович (1908–1979) — киносценарист (в частности, автор сценариев фильмов «Богатая невеста» (1938) и «Трактористы» (1939). Дополнительная информация из дела: «Кроме Помещикова Добровольский осуществляет переписку с директором фабрики “Мосфильм”

Пырьевым, его женой М. Ладыниной, режиссером Киностудии имени Горького Луковым Леонидом Давидовичем».

Ирина Сиротинская

Печатается по: *Шаламов В.* Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Изд-во «Эксмо», 2004. С. 945–1061.

Алфавитный указатель произведений, включенных в тома 1–7 собрания сочинений В. Т. Шаламова

ПИСЬМА

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (1960–1970)

СТИХОТВОРЕНИЯ (1950–1970), НЕ ВОШЕДШИЕ В ТРЕТИЙ ТОМ

СТАТЬИ, ЭССЕ, ПУБЛИЦИСТИКА

ПИСЬМА (1950–1970)

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ
(публикуется впервые)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Варлам Тихонович
Шаламов

Собрание сочинений в шести томах
+ том седьмой, дополнительный

ТОМ СЕДЬМОЙ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Редактор *Ю Григорьян*

Художественный редактор *А. Балашова*

Технический редактор *О Стоскова*

Корректоры *Е. Петрова, Н. Кузнецова*

Компьютерная верстка *А. Деева*

Подписано в печать 30.08 13 г.
Гарнитура «Журнальная». Формат 84x108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ л 27,72. Уч -изд. л. 29,01.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано BALTO print
www.balto.lt
www.baltoprint.ru

Литературное приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0697-5

9 785422 406975